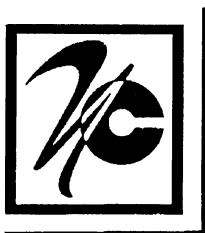


Библиотека  
Московской  
школы  
политических  
исследований

---

# Ускользающий мир



**Институт  
социологии  
РАН**



**Библиотека  
Московской  
школы  
политических  
исследований**

Библиотека Московской школы  
политических исследований

Редакционный совет:

А. Н. Мурашев  
В. А. Найшуль  
Е. М. Немировская  
А. М. Салмин  
Ю. П. Сенокосов  
А. Ю. Согомонов  
М. Ю. Урнов

# Ускользящий мир

*Московская  
Школа  
Политических  
Исследований*

2004

ББК 60.56(2Рос)  
У 75

Авторы и исполнители проекта  
А.И. Волков, М.Г. Пугачева, С.Ф. Ярмолюк.  
Проект (№ 03-03-00167а) осуществлен при поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ).

Дизайн серии А. Бондаренко

Часть тиража передается в государственные, муниципальные и публичные библиотеки, а также в университеты Российской Федерации.

### **Колл. авторов**

У 75 Ускользящий мир. — М.: Московская школа политических исследований, 2004. — 496 с.

Название книги подчеркивает особенность современного мира и общества — их изменчивость, сложность их познания. Но совершенно очевидно, что познание необходимо, ибо стремительные перемены в нашей жизни несут с собой отнюдь не только новые блага, но и новые вызовы и угрозы, побуждающие науку, общественную мысль искать возможности воздействия на социальное развитие. Однако и такое воздействие — проблема чрезвычайно сложная, дискуссионная, поскольку оно само по себе может диктоваться той самой "пагубной самонадеянностью", которая уже принесла людям немалые беды. О новых реальностях России и мира, о потенциале креативности современной российской общественной мысли размышляют в своих интервью авторы книги — специалисты в различных областях знания, представляющие новые поколения исследователей (от 25 до 50 лет). Все они в той или иной мере уже заявили о себе в сфере науки, политики, бизнеса, общественной, культурной, духовной деятельности. И несомненно, что к их оценкам, суждениям, предложениям с интересом отнесутся и профессионалы-обществоведы, и политические деятели, и широкие круги читателей.

**ББК 60.56(2Рос)**

*Книга издана в авторской редакции.*

ISBN 5-93895-063-5

© Институт социологии РАН, 2004  
© Московская школа политических исследований, 2004

# Содержание

А.И. Волков	
Вводная статья .....	7
 <i>Часть первая</i>	
А.Ф. Филиппов	
“Другой мир — другая социология” .....	43
В.А. Рыжков	
“Люди не живут без идеалов” .....	67
С.Г. Недорослев	
“Высвобождение инновационной энергии — ключевой момент” .....	88
С.Л. Кравец	
“Очень легко думать о мире и трудно думать о себе” .....	109
В.А. Шмелев	
“Первое свободное поколение: социальные фантазеры” .....	134
М.Ф. Черныш	
“Прогнозировать будущее невозможно” .....	153
А.Ю. Согомонов	
“Мы — слепок глобального мира” .....	171
 <i>Часть вторая</i>	
Е.Е. Гавриленков	
“Учиться, учиться и быть мобильным” .....	195
Т.М. Малева	
“Вся история человечества — поиск социального баланса” .....	222

С.В. Захаров	
“Одно поколение может проживать много жизней” .....	245
Н.В. Мкртчян	
“Нужны стране мигранты или нет?” .....	277
М.И. Алхазуров	
“Будем выбираться из тупика” .....	298
С.А. Васильев	
“В поиске новой экономической теории государства” ....	321
О.И. Маховская	
“Живем в эпоху хаоса мыслей” .....	340
 <i>Часть третья</i>	
А.В. Леденева	
“Понять происходящее как оно есть” .....	365
М.В. Ремизов	
“Мысль должна соучаствовать в процессе изменений” ....	384
А.В. Кураев	
“Задача-минимум — поставить вкус к религиозной мысли” .....	407
А.Ю. Ашкеров	
“Философия вершится здесь и сейчас” .....	431
А.Г. Гордон	
“Естествознание versus обществознание” .....	451
К.В. Ремчуков	
“...Ввести в повестку дня страны” .....	464
Ю.П. Сенокосов	
Вместо послесловия .....	486
Об авторах .....	490

# Ускользящий мир

## Вводная статья

**Русская общественная мысль всегда была креативна.** Она пророчествовала, и пророчества сбывались. Эти слова из труда известного историка\* привлекли наше внимание потому, что и мы размышляли над проблемой воздействия общественной мысли, в том числе научной мысли, на современное социальное развитие. На процесс столь сложный сегодня, полный конфликтов, что проблема его коррекции стала по-новому актуальной.

Вопрос о возможности такой коррекции имеет, как известно, свою историю. Конец XIX — начало XX века отмечены, в частности, дискуссией, с одной стороны, сторонников социального дарвинизма, утверждавших, что закон естественного отбора универсален и действует в человеческом обществе так же, как в животном мире, с другой стороны, тех, кто верил в способность *homo sapiens* как субъекта исторического процесса цивилизованно корректировать социальные отношения и социальное развитие согласно неким целям и ценностям. XX век дал множество аргументов сторонникам социального дарвинизма. Более того, с появлением ядерного оружия стало очевидным, что борьба за место под солнцем, когда она разворачивается уже не между индивидами, а между народами, может привести к гибели человека как биологического вида, а возможно, и всего живого на Земле.

И все-таки этого не произошло даже тогда, когда “противостояние двух общественных систем” доходило до кульминации, как это случилось во время Карибского кризиса. *Homo sapiens* раз за разом доказывал, что он все же именно

---

\* См.: Пивоваров Ю. Два века русской мысли // Красные холмы. Альманах. М., 1990. С. 169.



сапиенс, то есть разумный, и способен находить способы урегулирования вроде бы неразрешимых конфликтов.

С крушением Советского Союза и исчезновением противостояния двух миров опасность гибели человечества, казалось, отступила надолго или даже навсегда. Но это только казалось, и то не очень сведущим людям. Новые опасности обступали человека и человечество все более очевидно и агрессивно со всех сторон. Они хорошо известны. Природные катаклизмы, во многом связанные с воздействием человека на окружающую среду. Применение новейших технологий, несущее с собой не только новые блага, но и новые угрозы. Нарастание разрыва между бедностью и богатством — не только внутри той или иной страны, но между странами и регионами. Острые конфликты цивилизационного масштаба, связанные с глобализацией, и терроризм, обретающий опору и социальную базу в тех самых конфликтах... В таких вот условиях развертываются и без того сложные трансформационные процессы в России.

Отсюда — желание найти не только средства лечения “по симптомам”, как говорят медики, но и некую новую формулу (парадигму, модель) организации общественной жизни, ибо прежние формулы и модели все более обнаруживают свою исчерпанность. В том числе — и казавшаяся до последнего времени наиболее адекватной модель евроатлантической цивилизации. Но еще прежде того — раскрыть и понять намеки на это будущее устройство в реальных тенденциях мирового развития, поскольку очевидно, что ничто невозможно навязать обществу, если в нем нет для этого неких предпосылок и готовности к восприятию тех или иных сознательных корректирующих действий. Отсюда и наше желание в той или иной степени прозондировать направления поисков и потенциал креативности современной российской общественной мысли.

Ставилась, собственно, более широкая задача — продолжить изучение “общества, в котором живем”, предпринятое нашим научным коллективом и нашедшее отражение в книгах “Российская социология 60-х годов”<sup>\*</sup> и “Пресса в обще-

---

<sup>\*</sup> Российская социология 60-х годов в воспоминаниях и документах. СПб., 1999.

стве (1959–2000)”\*. Их авторами были в основном “шестидесятники”. На сей раз нас интересовали **исследователи новых поколений, определяющие научный поиск уже нового века**, их интерпретации происходящего, новые объяснительные схемы, применение этих теоретических построений. И соответственно — не только общество, в котором живем, но и в котором будем жить.

Однако на этом пути мы сразу же, уже в ходе предварительных бесед с возможными экспертами, столкнулись с сопротивлением материала. Прежде всего — с неоднозначным восприятием самой мысли о возможности и необходимости сознательного воздействия на реальность, сложным и противоречивым отношением к понятиям “идея”, тем более “идеал”, “проект переустройства общества”, “модель развития” и т. п. Более того, когда мы спрашивали нечто об обществе, нам задавали встречный вопрос: “А что такое общество?” В лучшем случае: “Какое общество вы имеете в виду — открытое, закрытое?..” То же происходило с понятиями “человечество”, “цивилизация” и др. Отчетливо обнаружилось, что многие прежние, привычные для нашей социальной науки понятия либо просто устарели, к тому же стерлись от длительного и многозначного употребления, либо по отношению к их смыслу и содержанию разошлись мнения, и уже нет единства их понимания, а новые понятия и определения еще не вызрели, не устоялись, не стали общеупотребимыми. Люди одного поколения, даже сходные в мировоззрении, научной и социально-политической ориентации, порой коренным образом расходились в принципиальных вопросах. “Бороться за реализацию идеи, — говорили одни, — строить жизнь по идеалу, строить новое общество или вообще что-то строить — значит вернуться в казарму и понести новые напрасные жертвы...” “Жить бездуховно, без поиска смысла, без стремления к высоким целям — значит погрязнуть в тупом прагматизме и превратиться из общества в стадо”, — утверждали другие. Мы ожидали, разумеется, расхождений во взглядах, но, пожалуй, недооценили

---

\* Пресса в обществе (1959 — 2000). Оценки журналистов и социологов. Документы. М., 2000.

степени этих расхождений, а прежде всего того, насколько значительное место в общественном и в особенности научном менталитете занял постмодерн, постмодернистские концепции и стратегии, даже релятивизм, подогретый открытиями в естественных науках (новой вспышкой интереса к выводам квантовой механики, синергетики, других современных ветвей науки).

Бросается в глаза, что в среде исследователей общественных проблем, с одной стороны, укореняется веберовская “ценностная нейтральность”, стремление занять позицию объективных, а по сути пассивных наблюдателей, замкнутых в узкой сфере собственного интереса, что порой рассматривается как высшее достоинство ученого — возможно, в противовес марксистскому призыву не просто объяснять, а переделывать мир. Прежде социальная и философская мысль, замечает Дмитрий Затонский, нечто либо принимала, либо отвергала; чего в ней (за весьма редкими исключениями) по-настоящему никогда не было, так это безразличия. Откуда же оно взялось? С другой стороны, присутствует тенденция сведения научной деятельности к поверхностным оценкам в ходе заказных опросов общественного мнения, пристрастного обслуживания экономических или политических частных интересов, что порой идет в ущерб научной истине. Этим явлениям парадоксально сопутствует критика того, что на разных уровнях управления часто принимают некомпетентные, научно необоснованные решения, имеющие между тем судьбоносное значение для страны.

Но все же главное впечатление от наших первых бесед с экспертами состояло в том, что не только в науке, но и в российской общественной мысли утверждается мультикультурность. Утверждается и в том смысле, что уже широко признается.

Разумеется, полного единомыслия никогда не существовало. История российской общественной мысли, равно и перемен в массовом сознании, отраженных еще задолго до применения современных методов социологических

---

\* См.: *Затонский Д.* Постмодернизм: гипотезы возникновения // Иностранная литература. М., 1996. № 2.

исследований в трудах наших выдающихся историков, философов, литераторов, указывает как на устойчивые тенденции, так и на постоянную борьбу различных взглядов и течений. Более того, российское общество глубоко антиномично, и на это обстоятельство обращали внимание многие русские мыслители, в частности Николай Бердяев, который отмечал, что “антиномичность проходит через все русское бытие”\*. Однако современное состояние, при всей условности определений самого понятия “мультикультурность”, отличается от прошлого как некое новое качество. Оно образуется на основе небывало тесного сосуществования и взаимного влияния не просто разных взглядов, но именно различных культур, складывавшихся на основе многих национальных и конфессиональных традиций, а вместе с тем — идеологий, локальных субкультур и множества прочих воздействий. И притом — что, может быть, особенно существенно — в условиях, когда завоеванные свободы служат благодатной почвой для духовных поисков и небывало надежной, так кажется, гарантией от засилья некой одной культуры.

Однако при таких вот благоприятных обстоятельствах совершенно вроде бы не логично в нашем обществе обнаруживается, проявлялось и в наших беседах с экспертами, постоянное присутствие опасений, что может возвратиться идеологическое государство, духовное насилие, казарма. Отчего же это?

На поверхности много простых ответов. Самый простой — вот такая вот она особенная, загадочная страна — Россия. Нашим социологам, политологам и, к сожалению, политикам очень уж полюбились строки Тютчева: “Умом Россию не понять, аршином общим не измерить...” Но ведь это сказал поэт! Чешский писатель Милан Кундера в своей знаменитой “Шутке” обронил вполне справедливые слова о том, что поэту позволено сегодня утверждать, будто мир залит солнцем и радостью, а завтра сокрушаться: в мире царит мрак безысходный. И поэт всегда прав. Ибо он художник, и его дело — передать отнюдь не обязательно

---

\* Бердяев Н. Судьба России. Харьков, 1998. С. 277.

то, что есть в реальности, а собственное сиюминутное восприятие действительности. Он имеет на это право. Имеет ли, зададимся вопросом, такое же право ученый, тот же социолог или политолог? Совершенно ясно, что нет. Само слово “понять” для ученого означает, что в оценке реальности предстоит руководствоваться не субъективными впечатлениями и настроениями, а надежными фактическими данными. И если уж ставим перед собой задачу понять Россию, то требуется **измерить ее по всем параметрам, поддающимся оценке и измерению, именно общим аршином**, выявить общее и особенное, ее место и роль в мировом, общечеловеческом пространстве. Что совершенно очевидно, так это то, что рассматривать процессы, происходящие в России, а тем более прогнозировать их развитие немислимо вне контекста глобальных перемен, вне связи с развитием мировой научной и общественной мысли.

Но почему все же так модны стали в наше время, можно сказать, укоренились в политическом и даже научном лексиконе эти строки поэта? Кстати, строки оборванные, ведь дальше-то говорится, что “в Россию можно только верить”. Боюсь, что это продолжение утеряно не случайно: вера основательно подорвана. Ни понимания, следовательно, ни веры. Да, в прошлом тоже жестко сталкивались и боролись различные воззрения на действительность, различные представления о том, как должны развиваться страна и мир. Но у спорящих сторон все же их представления, их аргументация были строго выстроены, можно сказать — разложены по полочкам. У одних это были такие “полочки”, как производительные силы, производственные отношения, надстройка и т. п. Отсюда — обобществление, классовая борьба, революция, перераспределение собственности. У других — приоритет личности перед обществом, открытое общество, разделение властей, священное право собственности, демократическое государство. Или — регулируемая экономика, социальное государство и т. д. Собственно, в наиболее авторитетных философских концепциях тоже существовали строгие “полочки”. У Гегеля, от которого шел Маркс, а потом и наши марксисты, мир был более чем рационален. И Кант, хотя его теперь пытаются причислить к постмодернистам, мечтал о хорошо обустроенном мире. Популярный

и очень влиятельный ныне в США мыслитель Роберт Кэган уверяет, что Европа и живет сейчас как раз в таком мире\*. Он противопоставляет в этом смысле Европу и Америку, утверждает, что Европа движется от господства силы к самоорганизующемуся обществу закона и правил, международных соглашений и сотрудничества, она уже входит в постисторический рай, воплощающий кантовский “бесконечный мир”, благоденствует и не склонна поэтому вязываться в различного рода силовые акции. А вот США имеют дело с анархичным и жестоким гоббсовским миром, где не действуют международные законы и правила и все зависит от наличия и использования военной мощи. Здесь тоже ведь нет и намека на хаос и анархию, у Кэгана и гоббсовский мир по-своему рационален, разложен по полочкам, на которых таблички: тут — добрые, хорошие люди, а тут — злые и нехорошие...

Но в научных представлениях, отражающих современную реальность, такого рационального мира нет. Не существует он прежним даже в естествознании, где всегда признавались незыблемые законы, вроде закона сохранения энергии: тут убыло — там прибыло. Согласно квантовой механике, электрон движется не по строго определенной орбите, а совершает скачки “по своей свободной воле”\*\*(!). Эта теория, как и близкая ей по духу синергетика, ставит под сомнение причинно-следственную связь, то есть — не у каждого явления есть очевидная причина, а из одной причины не обязательно вытекает одно и то же следствие. Тем более в социальных науках понятия “закон общественного развития” и даже паллиативная “закономерность” практически исчезли. Ныне перед нами предстает **ускользающий мир**, ускользающий от познания, тем более от раскладывания по полочкам. Мир, к тому же непредсказуемо меняющийся под воздействием его исследования, и если уж об изменении объекта наблюдения под

---

\* См.: Кэган Р. Сила и слабость. Почему США и Европа по-разному смотрят на мир // Общая тетрадь. М., 2002. № 3. С. 90.

\*\* Из письма Эйнштейна Борну 24. 04. 24. Цит. по: Белокуров В. В., Тимофеевская О. Д., Хрусталева О. А. Квантовая телепортация — обыкновенное чудо. Ижевск, 2000. С.16. Эйнштейн, правда, спорил с таким представлением, утверждавшимся в то время в физике.

воздействием наблюдателя, его инструментов говорят, скажем, физики, то можно себе представить, насколько более вероятны изменения социальных объектов, явлений и процессов в результате и даже в ходе их изучения (скажем, социологических опросов и публикации их результатов). Ускользящий и меняющийся мир... Не случайно в новейшей социальной мысли нет, кажется, темы более модной, чем “конец науки” и даже “конец истории”. Хотя, казалось бы, попытки в той или иной сфере науки остановить процесс познания, равно и попытки — от гениального Бэкона до Фукуямы — создать систему науки, которая решила бы ее основные теоретико-познавательные проблемы, неизменно оказывались несостоятельными.

И в России в сознании людей происходит принципиальный сдвиг, ментальный переход от представления об однозначности, определенности, безвариантности социального развития к признанию многосложности, многовариантности, неопределенности. И не случайно одна из авторов книги “Российская социология 60-х годов” Нина Наумова завершила свое интервью такими словами: для социологии жизненно необходимо выходить на уровень мышления в естественных науках, перейти к усвоению того стиля, аппарата мышления, которым располагает современная неклассическая физика и теория сложных систем, овладеть такими категориями, как дополнительность, неопределенность, случайность, неустойчивость, целостность\*...

Но может ли жить наука при такой неопределенности, при отрицании самой возможности выявления законов общественного развития, при отсутствии таких ориентиров, как ценности и цели? Тем более может ли идти речь о какой-либо **сознательной и целенаправленной коррекции социальных процессов**? Не стоит ли тогда согласиться с Фридрихом фон Хайеком, что “пагубная самонадеянность” всякого рода реформаторов и революционеров только усложняет человеческую жизнь, приводит к ухудшению условий существования и страданиям людей? Есть ли сегодня ответы на эти вопросы?

---

\* См.: Российская социология 60-х годов... С. 316.

На фоне достаточно утвердившейся “ценностной нейтральности”, в условиях рассредоточения усилий общественной мысли, при дефиците, как было подмечено участниками одной из передач Александра Гордона, универсальных мыслителей, способных к синтезу научных достижений — типа Леонардо да Винчи (хотя, конечно, в науке присутствует и даже опять-таки модно стремление к междисциплинарности), на мировом интеллектуальном поле идет все же дискурс о новизне современности и о будущем. Интеллектуальная элита человечества, пережив крушение многих социальных идеалов и пору тупого прагматизма, как реакции на это крушение, все же возвращается к поиску смыслов — своего существования, существования личности и самой Вселенной.

Ницше в свое время сказал красиво: “Мир неслышно вращается вокруг людей, создающих новые ценности”\*. Социально активные мыслители не только рожают новые, но прежде всего возвращают людям вечные ценности. Может быть, можно сказать иначе — возвращают стремление осознать эти ценности на новом уровне, размышляя о современных вызовах жизни и возможных ответах на них. Но о каких ценностях идет речь? Не тут ли и начинаются главные сложности? Даже те, кто склонен признать необходимость и реальное существование ценностей, объединяющих людей, часто относят это лишь к тем или иным конкретным культурам, нациям, конфессиям, идеологиям, территориальным объединениям, то есть признают их локальное значение, но не общечеловеческое. Однако Папа Иоанн Павел II утверждает иное: “Всеобщие человеческие ценности существуют во всем многообразии культурных форм, и их следует найти и выделить как ведущую силу всего развития и прогресса”\*\*. Пытается ли кто-то сделать это сейчас?

Нечто, несомненно, вырисовывается в трудах современных мыслителей, российских и зарубежных. Эрнест Геллнер в своей книге “Условия свободы”\*\*\* рассматривает свободу

---

\* Цит. по: Франк С. Непрочитанное... Статьи, письма, воспоминания. М., 2001. С. 50.

\*\* Обращение к Папской академии социальных наук. Рим, 2001.

\*\*\* См.: Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники. М., 1995.



как *высшую ценность*, которая, однако, не дается человеку как некий дар, без собственных его усилий, прежде всего без осознания этой истины, без преодоления многого в себе и в окружающем мире. Его аргументы убедительны. Свобода представляется неоспоримой ценностью с точки зрения личности. Но вслед за этим встает множество вопросов. Почему же человек добровольно закабальет себя, например, в разного рода организациях, партиях, объединениях? Часто в таких, где лишается свободы чуть ли не полностью, как, скажем, в очередной партии власти, где непременно выстраивается жесткая иерархическая структура, не терпящая вольностей, ибо власть — дело серьезное. Тем более в экстремистских организациях, где культивируется беспрекословное подчинение лидеру, вождю, и ограничивается свобода воли рядовых членов? Не говорю уж о религиозных объединениях, особенно сектах. Одному человеку в современном мире плохо? Одному ничего не добиться? Или не каждый готов принять на себя бремя свободы, полную ответственность за собственное поведение, хочет переложить ее на других? У многих авторов с тревогой звучит вопрос: каким же станет человек, когда он окажется действительно свободным? Каждый ли способен справиться с этим состоянием? И в самом ли деле тогда свобода — абсолютная ценность? Может, прав великий инквизитор Достоевского, что “ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы... Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, перед кем преклониться”<sup>\*?</sup>

Для России проблема ценностей и — в частности или в особенности — понимания свободы неимоверно значима. Как представляется, потому, что страна в прошлом веке пережила глубокие общественные расколы и потрясения, в ходе которых не только отрицались те или иные ценности, но и утрачивались все ориентиры, все точки отсчета — понятия добра и зла, нравственного и безнравственного, героического и позорного. Гражданская война — вершина раскола, но, я бы сказал, что в состоянии “холодной граждан-

---

<sup>\*</sup> *Достоевский Ф. М. Братья Карамазовы // Полн. Собр. соч. Т. XIV. С. 230 — 231.*

ской войны”, протекающей то в открытом, то в латентном виде, Россия находится постоянно, по крайней мере уже второе столетие. Это и теперь становится явным при любом общественном опросе: полярно противоположные ответы на вопросы, касающиеся как раз ценностей, делят общество, как правило, примерно пополам. Из глубины истории тянутся многие линии раскола. Начать ли отсчет от предреформенного времени середины XIX века, от 1861 года, или от Октября 1917, или от конца 80-х и начала 90-х, отношение к характеру власти и роли государства, к собственности, предпринимательству, к религии, западной культуре — что ни возьми, все вызывает резкое расхождение взглядов, а толерантности и компромиссам мы не обучены. Скорее наоборот: нам более свойственно, не будет преувеличением сказать — навязано, привито — отношение к тем, кто придерживается иной точки зрения, чем ты сам, как к противникам и даже врагам. Привито государственной школой, которая учила “ленинской бескомпромиссности”, “сталинской последовательности в борьбе с врагами”, собственно — всей системой образования, отголоски которого живы и сегодня во многих семьях, передаются по наследству и молодым поколениям. Это не говоря уже о системе пропаганды, самой атмосфере, в которой исповедовался принцип “жизнь есть борьба”. Но в значительной мере это обусловлено и объективной реальностью жизни ряда поколений, скажем войной с фашизмом. Притом даже церковь, разные религии, начиная с господствующего на Руси православия, демонстрировали скорее нетерпимость к инакомыслию, чем толерантность и компромисс.

Невольно возникает некая параллель с судьбой Германии. Близкий соратник Гельмуга Коля Михаэль Мертес в книге “Немецкие вопросы — европейские ответы” исследует проблему национальной идентификации немцев. Какая, казалось бы, проблема в стране, где живет одна нация? Но Мертес следует “самому сильному и прекрасному”, как он пишет, определению того, что составляет основу нации, данному французским мыслителем Эрнестом Ренаном\*. Эта основа — общая память о том, что было пройдено вме-

---

\* См.: *Мертес М.* Немецкие вопросы — европейские ответы. М., 2001. С. 18.

сте. Общие достижения. Общее страдание. Общая виновность. В воссоединенной Германии это проявилось как нечто очень значимое. В течение четырех десятилетий разделенности страны чувство общности у немцев не исчезло — уже потому, что память была старше, чем разделение. Однако почти два новых поколения немцев сформировались в разных мирах, где и достижения, и страдания, и то, что порождало чувство вины, были разными. Сами критерии оценок того, что хорошо и что плохо, различались порой полярно. У каждой стороны накапливалась своя “общая память”, и если прежде в Западной Германии была в ходу формула “два государства — одна нация”, то теперь, когда границы нации и немецкого государства совпали, новой реальности лучше соответствует формула “одна нация — два общества”. “Расколота память”<sup>\*</sup> — так характеризует автор состояние немецкой нации, немецкого общества даже через много лет после разрушения Берлинской стены.

Россия не знала подобной длительно разделенной жизни. Ее народ совместно пережил и революцию, и гражданскую войну, и сталинские репрессии, противостояния времен перестройки и путча, сначала защиты, а потом расстрела Белого дома... Но пережил-то по-разному: одни были красными, другие белыми, одни сидели в тюрьмах, а другие писали доносы, сажали, охраняли и расстреливали, одни слали танки к Белому дому, другие стояли в живом кольце его защиты. Общая память или тоже расколота у этих людей, находившихся по разные стороны баррикад? Было ли все, что случилось в последние десятилетия, только верхушечным расколом, верно ли, что все страсти, как часто говорят, бушевали только в пределах Садового кольца? Была ли у каждой из сторон социальная база в масштабе страны? И какие значения имеют ответы на эти вопросы для будущего России?

Возвращаясь к мысли Бердяева **об антиномичности российского общества**, современный исследователь Юрий Красин стремится выяснить, как эта антиномичность проявляется ныне<sup>\*\*</sup>. В трактовке И. Канта, напоминает он,

---

<sup>\*</sup> См.: Там же. С. 42.

<sup>\*\*</sup> См.: Красин Ю. А. Политическое самоопределение России: проблема выбора // Полис. 2003. № 1. С. 124–133.

антиномии — это утверждения, которые в равной степени логически доказуемы и в то же время взаимоисключающи. В применении к социальной действительности антиномичность указывает на особый тип противоречия, где каждая из противоположностей имеет одинаково прочное базовое основание в реальности. Противоречия-антиномии ведут к возникновению дилемм, не поддающихся снятию в результате единожды сделанного выбора. Пока сохраняются глубинные основания противоположно направленных тенденций, антиномичная дилемма вновь и вновь воспроизводится, требуя и нового выбора.

Российская действительность насыщена подобными дилеммами: авторитаризм *versus* демократия, гражданское общество *versus* корпоративное общество, федерализм *versus* унитаризм, рынок *versus* государственная опека над экономикой, постиндустриализм *versus* сырьевой анклав мировой экономики, противостояние *versus* партнерство на международной арене. Несмотря на принципиальную важность всех перечисленных дилемм, для политического самоопределения России особенно важное значение, констатирует автор, имеют первые три. На политическом уровне решающей представляется антиномия *демократия — авторитаризм*. Не будет преувеличением сказать, что вся российская политическая жизнь (и только ли политическая?) протекает в ее энергетическом поле, а ее центр тяжести смещается то к одному, то к другому полюсу\*.

Но ведь русская общественная мысль двух последних веков, как пишет Юрий Пивоваров, подготовила несколько моделей обустройства общества, прежде всего властного его измерения. Что-то и почему-то утверждалось в жизни и что-то отпадало. **Почему отнюдь не всегда утверждалось лучшее?**

Русская история, считает автор, навек карамзинская. Его, Карамзина, миф по поводу прошлого отечества стал одной из констант русского сознания, миф, сводящий историю страны к истории власти... Тем более интересно, чему же учит карамзинская история, чему наставлял наш Макиавелли власти предержавшие. Его именно наставительная

---

\* См: Там же. С.125.

“Записка о древней и новой России” утверждает, что единственно возможный для России строй — самодержавие, претерпевающее, правда, постепенное развитие от самовластия к своеобразному варианту просвещенного абсолютизма. Свообразие это состоит в патриархальном типе правления. Монарх руководствуется не юридическим законом, а действует по “единой совести”; воля самодержца — “живой закон”. В “Записке” содержатся такие принципы: “требуем более мудрости охранительной, нежели творческой”, “для твердости бытия государственного безопаснее поработать людей, нежели дать им не вовремя свободу”\*. Не знакомые ли нашим современникам мотивы звучат здесь? Не возникает ли ассоциация с множественными выступлениями ученых, деятелей искусства и других интеллектуалов, утверждающих, будто России необходимо если уж не самодержавное, то авторитарное правление?

Нечто совершенно иное, по мнению Пивоварова, предстает перед нами в творчестве М. М. Сперанского. Он завещал России идеи правового государства, разделения властей, систему министерств, кодификацию законов, теорию элит, социальное христианство... Но это “самый недооцененный отечественный мыслитель”\*\* . Как видим, и здесь отмечается разномыслие, особенно по главному вопросу: о политических устоях общества и государства, о соотношении противоположных установок — демократического и авторитарного характера. Почему же опять-таки в жизни России на протяжении столетий утверждалось и возобладало не то, что предлагал Сперанский, а нечто более близкое идеям Карамзина? Почему в нашем общественном сознании так крепка вера в монособъектную власть, проще — в способность некоего мудрого правителя, “сильной руки”, всегда готовой “навести порядок”, всю нашу жизнь устроить наилучшим образом, и почему так слабо понимание возможностей и роли институтов гражданского общества, а также подконтрольных ему демократически разделенных властей? Этот вопрос давно волнует отечественных мыслителей, он остро стоит и теперь, ибо

---

\* Цит. по: Пивоваров Ю. Два века русской мысли С. 173.

\*\* Там же. С. 175.

при малейших политических или экономических неурядицах на нас накатывается волна советов обратиться все к тому же “рецепту спасения” — установлению жесткого режима правления, чрезвычайного положения, даже “демократуры” (додумались и до такой нелепицы). Ну, хоть на время, вот только на период этой кризисной ситуации... Теперь вот модна “авторитарная модернизация”. Почему?

Не думаю, что ответ найден. Хотя авторы ряда исследований, в том числе Ю. С. Пивоваров, А. И. Фурсов, Г. С. Лисичкин и другие, подводят к тому же выводу, к которому в свое время пришел наш выдающийся историк В. О. Ключевский: “Все беды нашего народа происходят от вьезшегося в нас за всю тяжелую российскую историю холопства”\*. Холопское мышление, не ведающее иных форм существования, кроме как под чьим-то сапогом, не ценящее свободы, приспособляющееся к униженному состоянию лишь двумя способами — угождением этому “сапогу” и при возможности хитростью, обманом, — и не могло выработать иного представления о порядке, кроме устанавливаемого насильственно. Поэтому и в массовом сознании, и в русской общественной мысли (одно и другое не напрямую, но тесно связано) тенденция к установлению, оправданию, обоснованию авторитарной, по меньшей мере, патерналистской власти — одна из наиболее устойчивых.

Но, может быть, теперь, после длительной борьбы за демократические преобразования, после утверждения в обществе (в той или иной степени) либеральных ценностей, она сильно поколеблена? Социологические исследования не дали пока, на мой взгляд, убедительного ответа на этот вопрос. Несмотря на обилие цифровых данных, полученных по результатам опросов, пока можно говорить только о точках зрения. Прежде всего потому, что **данные эти противоречивы.**

Привлекло, например, общественное внимание широкомасштабное социологическое исследование “Самоидентификация россиян в начале XXI века”, проведенное на базе ВЦИОМ по заказу Клуба 2015. Татьяна Кутковец и

---

\* *Ключевский В. О.* Соч. Т. IX. М., 1990. С. 975.

Игорь Клямкин в статьях, отражающих и осмысливающих результаты этого исследования, дают характеристику того типа государственности, который часто называют “русской системой”. Ее основные характеристики — как раз самодержавная власть, патернализм, закрытость страны от внешнего мира, доминирование интересов государства над интересами личности, великодержавные внешнеполитические амбиции. “Предполагается, — пишут они, — что именно такая государственность соответствует особенностям россиян как народа (их врожденной приверженности коллективизму и православным ценностям, предрасположенности к патерналистской опеке и т. д.). Но так ли это на самом деле?”\* Авторы утверждают, что это представление устарело. Исследование показало: названные особенности действительно свойственны определенной части российского общества, но эта часть составляет незначительное меньшинство населения. Убежденные сторонники “русской системы” в таких ее проявлениях, как доминирование государства над личностью, патернализм и закрытость страны, составляют менее 7 процентов респондентов. Невелик и их резерв (22 процента), в котором сохраняется ориентация на два из трех названных признаков “русской системы”. В том и другом случае речь идет о группах населения с очень высоким процентом пожилых людей и низким уровнем образования. Между тем сторонники модернистской альтернативы “русской системе” (приоритет интересов личности, ее самостоятельность и ответственность за свою жизнь, открытость страны) составляют 33 процента населения при несколько большем по численности резерве (37 процентов). Вектор развития российского общества, вопреки распространенному мнению, явно направлен в сторону, противоположную традиционализму. Общество в большинстве своем отторгает отношение к себе как пассивному объекту государственного управления и государственной опеки.

Эти результаты многими специалистами были восприняты с немалым сомнением, настолько они оказались не-

---

\* Кутковец Т., Клямкин И. Нормальные люди в ненормальной стране // Московские новости. 2002. № 25.

ожиданными. Ю.А. Красин, например, замечает, что в данных того же ВЦИОМ какой-то устойчивой долговременной тенденции в пользу определенного выбора не просматривается. Публикуются и другие данные, противоречащие наиболее оптимистическим выводам. Разумеется, нет оснований поддерживать или опровергать ту или иную точку зрения. Хотелось лишь подтвердить, что однозначного убедительного ответа на поставленный вопрос все же еще приходится ждать.

Некоторые социологические исследования, в частности и посвященное самоидентификации россиян (в целом чрезвычайно интересное), провоцируют постановку вопроса именно **о народных корнях негативных тенденций**, о которых говорилось выше. Таких, как приверженность идее сильной самодержавной власти, “сильного государства”, укрепления централизма. И более того — об отношении к подобным “народным ценностям”.

Убедителен ли вывод социологов, что народ у нас хороший, привержен модернистской альтернативе, современным европейским ценностям, а вот элита плохая, не готова и не способна управлять свободными людьми, и поэтому страна у нас “ненормальная”, как считает сам народ?

Нетрудно согласиться с тем, что наша политическая элита далека от совершенства, что она не научилась управлять обществом на основах демократии — иначе, чем с помощью традиционной “вертикали”, — даже в условиях относительно спокойного состояния общества. Очень живуче в ее среде заблуждение, будто достаточно построить что-то вроде трубопровода для директив, спускаемых сверху вниз, от инстанции к инстанции, организовать контроль за исполнением, усилить жесткость наказаний за неисполнение, и дело пойдет. Вот такая “простая власть”, несмотря на ее полный провал “в прошлой жизни”, многими еще рассматривается как универсальная, пригодная для любой сферы деятельности “в этой жизни” — управления государством, экономикой, предприятиями, средствами массовой информации, образованием... Но откуда же такая элита берется? Кем она выделяется, выдвигается к власти? Народ отдельно, власть отдельно — разве так бывает?



Да, отчуждение народа от власти, от государства существует, разрыв между народом и правящей элитой тоже присутствует — это фиксируют многие исследователи общественного мнения. Однако разве нынешняя власть сформировалась не демократическим путем? Кто-то пришел к власти путем переворота? Были, конечно, на выборах разные уловки, но возможно ли отрицать открытую массовую поддержку наших лидеров последнего времени, забыть тот энтузиазм, которые сопровождали избрание и Ельцина, и Путина?

Говорят, нами манипулировали. Но ведь манипулировать кем-то можно ровно столько, сколько объект манипуляции это позволяет. Несомненно, то, что называют "административным ресурсом", серьезная штука. Вокруг лидера, в особенности авторитарного, будь то в центре или в регионе, всегда образуется некая рать, с которой не просто бороться. И все же мы знаем, что настоящая, как теперь говорят, упертость дает результат. Значит, дело в том, как сочетаются в народе терпимость и потенциал протеста, а вот относительно этого в серьезных социологических исследованиях не звучит оптимизма: первое преобладает. Более того, почти беспрецедентная русская терпимость часто рассматривается как достоинство народа и противопоставляется "кровавым революциям" и "беспощадным бунтам". Но правомерно ли противопоставлять именно крайности? Если уж настроились учиться демократическому разрешению общественных проблем, то не следует ли и в этом случае искать, да и просто использовать уже найденные другими средства влияния на элиты?

Еще древние наши предки различали два вида, два способа организации общественной жизни, взаимодействия людей, их мобилизации на общее дело — власть, основанную на законе, и власть тирана. Признаюсь, не впервые цитирую высказывание неизвестного моралиста V века, слова которого мне очень импонируют: "...Тирания, это ужасное и гнусное бедствие, обязана своим происхождением только тому, что люди перестали ощущать необходимость в общем и равном для всех законе и праве. Некоторые думают, что причины появления тиранов — другие и что люди лишаются свободы по недоразумению, без вся-

кой вины, просто потому, что они стали жертвой тирана. Но это ошибка... Как только потребность в общем для всех законе и праве исчезает из сердца народа, на место закона и права становится отдельный человек. Поэтому некоторые люди не замечают тирании даже тогда, когда она уже наступила...”\* Это в V веке писано! Это в V веке было осознано! То, что власть — плоть от плоти народа.

Говорят, причем с чувством глубокого удовлетворения: народ осознал, что живет в “ненормальной” стране. Но не мало ли этого? Не важнее ли, чтобы он осознал, почему страна “ненормальная”. По чьей вине? На чисто бытовом, а то и политическом уровне достаточно часто звучит: во всех наших бедах виноваты влияние Запада, происки США, какие-то иные внешние силы, плетущие против нас заговоры, жидо-массоны, теперь вот мигранты, но только не мы сами. А вот заключение социолога, основанное на солидной базе данных: мы и теперь не избавились от “комплекса врага”, вся атрибутика этой политической мифологии советского происхождения не может выйти из употребления, пока общество (именно общество и общественное мнение, а не только официально-воинственная пропаганда) нуждается в комплексе врага, бережно его хранит и активно использует. Прежде всего — для самооправдания, для того, чтобы носителем вины непременно оказывался некто посторонний\*\*. А наша самобытность, противопоставляемая внешним влияниям, если ее “поскрести”, оказывается не столько приверженностью национальным культурным, историческим традициям, сколько комплексом своей исключительности, и это “самый распространенный в российском массовом и политическом сознании способ оправдания собственной косности”\*\*\*.

Нас учили с детства, что народ всегда прав, народ мудр и справедлив, “глас народа — глас Божий”. Не настало ли время разобраться и с этим поточнее? Великие философы понимали, что тирания и рабство могут устанавливаться “в тени народной власти” (А. де Токвиль), даже при наличии

---

\* Цит. по: В. Хазанов // Октябрь. М., 1991. № 10.

\*\* См.: Левада Ю. От мнений к пониманию. М., 2000. С. 504–505 и др.

\*\*\* Там же. С. 546.

внешних атрибутов свободы, демократических институтов. Мы знаем из совсем недавней истории, и своего, и, скажем, германского опыта, что диктатура может приходить *не вместо* демократических институтов, а *вместе* с ними. Не пора ли более вдумчиво оценивать этот глас?

Но пойдём чуть дальше: а **состоятельно ли в строгом научном смысле само понятие “народ”**, всегда ли пригоден для анализа конкретных ситуаций и проблем? В те времена, когда за “блок коммунистов и беспартийных” голосовало 99,9 процента избирателей, было хотя бы это формальное, обманчивое, лживое основание считать, что существует единая “историческая общность — советский народ”. Теперь, когда явилось понятие “электорат” и в реальности он оказался чрезвычайно сложной структурой, нет и этого аргумента. Так стоит ли сейчас с прежней лёгкостью оперировать понятием “народ”, особенно в таком контексте, что он всегда сделает правильный выбор, он неизменно прав, выражает волю Божию? Это понятие годится для публицистики, но в науке, наверное, настало время употреблять его с большей осторожностью и точностью.

Позволю себе завершить размышления на тему о народе и власти тем, чем завершил свою книгу “Собственность и свобода” Ричард Пайпс. Он обращается к Токвилю, который предчувствовал, что в современном мире свобода столкнется с неведомыми прежде опасностями. Правители будущих поколений, писал он, “будут не столько тиранами, сколько наставниками”\*. Потакая желаниям людей и используя их зависимость от своей благотворительности, они отнимут у народа свободу. Он предвидел пришествие своего рода демократического деспотизма, при котором “неисчислимые толпы равных и похожих друг на друга людей... тратят свою жизнь в неустанных поисках маленьких и пошлых радостей, заполняющих их души”\*\*. Охранительная власть возвысится над людьми, государство-благотетель будет заботиться о безопасности граждан, возьмет на себя руководство их основными делами, управление промышленностью, регулирование прав наследования... “Отчего бы...

---

\* *Де Токвиль А.* Демократия в Америке. М., 1992. С. 416.

\*\* Там же. С. 497.

совсем не лишить их беспокойной необходимости мыслить и жить на этом свете?” Правитель вылепит из граждан то, что ему необходимо. Он покроет общество сетью мелких, витиеватых, единообразных законов, которые мешают наиболее оригинальным умам и крепким душам вознестись над толпой. Он не сокрушает волю людей, но размягчает ее; он редко побуждает к действию, но постоянно сопротивляется тому, чтобы кто-то действовал по своей инициативе; он ничего не разрушает, но препятствует рождению нового; он не тиранит, но мешает, подавляет, нервирует, гасит, оглушает и превращает в конце концов весь народ в стадо пуливых и трудолюбивых животных, пастырем которых выступает правительство... К тому ли мы стремимся?\*

И в самом деле — к тому ли? И как выглядит с этих позиций столь распространенная “ценностная нейтральность” науки?

Современный мир предстает в глобальном дискурсе о настоящем и будущем во всей противоречивости разнонаправленных процессов. Мир объединяется, и мир дробится, атомизируется. В нем сосуществуют своего рода анклавов, образуемые подчас целым народом, большой или малой группой людей, живущих, с точки зрения других людей, в некоем зазеркалье. Европейец, француз или англичанин, стремится осмыслить и все же не может до конца понять, скажем, палестинца, который взрывает себя ради того, чтобы убить иногда двух-трех, пусть и больше, израильтян. Или российскую шахидку, поступающую точно так же. Но все же должны быть какие-то ключи к взаимопониманию людей, пусть относительно, неполному, однако такому, которое позволяет им, сведенным историей в соседи (мы ныне все соседи на этой планете, где так сжались пространства, расстояния и даже время), по крайней мере жить, не уничтожая друг друга. Где искать эти ключи?

Безопасное и плодотворное сосуществование цивилизаций, тех самых культур, представленных в их разных формах, многообразных общественных и политических течений, а также идеологий возможно лишь в **определен-**

---

\* См.: *Пайнс Р.* Собственность и свобода. М., 2000. С. 378–379.

**ных условиях и формах, которые характеризуются как демократия**, — так отвечают на этот вопрос многие исследователи. Но ведь для российских условий это понятие — “демократия”, тем более “практика демократии” — тоже оказались новыми, и мы нередко пугаемся здесь еще в самых азах. Демократия, понимаемая как ценность, как современная ценность, смысл которой постоянно меняется, оставаясь, однако, в некотором идеальном отношении равным себе (определение Алексея Салмина), побуждает исследователя постоянно обращаться к истокам демократических идей, к Аристотелю с его понятиями политики и народовластия. И мы найдем в истории развития этой идеи много интересного. Но главное-то состоит в том, как в процессе становления демократии в России изменялись и практика, и отношение граждан к этой практике, и то, как перерабатывала информацию об этом наука.

В начале преобразовательных процессов мы мало задумывались над тем, **какой демократии хотим**, так же как не задавались вопросом, к какому рынку идем. И только в начале 90-х нам стало яснее, что мы не просто выстраиваем внутренние рыночные отношения, но выходим на мировой рынок и принимаем его правила игры. Так и с демократией. Мы просто переносили на российскую почву те элементы демократического устройства, те принципы и институты, которые сложились на Западе — демократические выборы, разделение властей, свободу слова и прессы... Мы приняли западный идеал, который нас привлекал, не пропустив его через себя, очень мало задумываясь поначалу даже над тем, что немислимо перенять (как это представлял в свое время по отношению к конкуренции Прудон) только хорошую сторону демократии, устранив дурную. И вот теперь констатируем, что “идеальный образ демократии разошелся с реальной практикой преобразований” (вывод ИКСИ РАН)\*. Наши граждане испытывают глубокое разочарование (как это произошло, кстати, и во всех других странах бывшего “социалистического лагеря”) в идеалах демократии, по крайней мере в их воплощении на российской почве. Это фиксируется социологами

---

\* Известия, 28 июля 2003 г.

многих исследовательских центров, по результатам различных исследований — и длительных мониторингов, и последних опросов. Свобода и демократия, по этим данным, в России — не ценности. Возможно, и ныне актуально объяснение этих явлений Крейном Бринтоном: “...самое правдоподобное объяснение относительно крушения идеалов демократии и прогресса заключается в переоценке, допущенной их сторонниками в отношении разумности и способности к аналитическому мышлению сегодняшнего среднего человека”?\*

И вот теперь Россия, по крайней мере ее интеллектуальная элита, мучительно размышляет о том, **на какой культурно-политической почве укоренится ее историческая судьба**. Соединится ли она определенно и окончательно с европейской цивилизацией или так и будет искать свой особый путь, колеблясь между Западом и Востоком, упиваясь верой в свое особое предназначение, в некую свою миссию.

Многие, как известно, пишут о глубокой связи русской и западной культур, о том, что их противопоставление опасно, ведет к самоизоляции страны и повторению горького опыта прошлого. Вспоминают слова Вацлава Гавела, остроумно заметившего, что “третий путь ведет в третий мир”. Может быть, несколько категорично, без оговорок о реальных особенностях нашей страны, иные авторы заявляют, что выбор для России только один — это Запад, не в географическом, а культурном смысле слова. Кто же мы, если не европейцы? Может ли даже быть какой-то иной ответ на этот вопрос?

Но вот Александр Ахиезер, размышляя уже о научном осмыслении опыта западных демократий, буквально обрушивается в журнале “Pro et Contra” на догматизацию западной теории и методологии, на идолопоклонство перед ними. Он пишет, что не поверил бы в существование маститых обществоведов, отрицающих специфику российского общества, если бы не слышал собственными ушами, как они защищают именно такую позицию. “По-

---

\* Бринтон К. Истоки западного образа мысли. М., 2003. С. 38–39.

знание... России — это в первую очередь уяснение ее особенностей”\*

Этот пафос спровоцирован как раз тем, что наши общественные науки, ограниченные в советские времена множеством табу, тихо заимствовали нечто из научных источников Запада, опережавшего нас уже в силу свободы исследований и публикации их результатов. Когда же у нас распахнулись не только окна, но и двери в Европу, а цензура над публикациями практически исчезла, кто-то вышел в использовании зарубежных научных достижений далеко за рамки разумного. Как писал Василий Осипович Ключевский, “чужой западноевропейский ум был призван нами, чтобы научить нас жить своим умом, но мы попытались заменить им свой ум”\*\*. Алексей Богатуров замечает в том же “Pro et Contra”, что научная молодежь, основывающая исследования на западных методиках, оказывается не в состоянии соединить их с конкретными знаниями о России. Порой работы молодых ученых напоминают “две механически сочлененные емкости: одну — с описанием западной литературы и методик, другую — с ...фактическим материалом”\*\*\*. Отталкиваясь от этого, Александр Ахиезер развивает мысль, что западные методики безразличны к российской специфике, западная социология не улавливает особенностей российского исторического процесса, а наши исследователи некритически пользуются готовыми схемами и не видят источника нового знания в изучении отечественной реальности.

Наверное, в этом немало истины. Но ведь, с другой стороны, возможно ли двигать вперед науку, изолируясь от общественной мысли иных, тем более развитых стран, от науки, уже осмыслившей многое из того, что нам еще предстоит осознать? Вопрос риторический. И сказать, что у нас особый путь, — значит еще не сказать ничего. Может быть, мы просто непродуктивно тратим время на такие дискуссии? Может быть, все дело в не очень строго прописанных позициях, в столкновении крайностей, кото-

---

\* Ахиезер А. Можно ли понять российское общество, не исследуя его специфику? // Pro et Contra. Осень 2000. С. 201.

\*\* Ключевский В. О. Соч. Т. IX. С. 371.

\*\*\* Богатуров А. Десять лет парадигмы освоения // Pro et Contra. 2000. Т. 5. № 1. С. 197.

рые при большей гибкости и точности формулирования окажутся отнюдь не противоположностями, а просто разными акцентами на разных сторонах одного предмета, даже одной истины? Большая точность, даже строгость в этом смысле особенно важна теперь, когда в стране не существует хотя бы самого общего согласия как раз относительно путей и целей ее развития, нет нужной ясности ни у граждан, ни, кажется, у властей. Возникает даже мысль, что сами поиски того, вокруг чего могло бы образоваться согласие, идут не по главному направлению. **И не смещают ли даже дискуссии на тему “общим путем или своим путем” акцент внимания от цели к средствам?**

Сейчас нам пришлось озаботиться не просто чертами будущего России, а тем, есть ли у нее будущее. **Это связано с демографическими проблемами**, которые выступают как часть общей демографической ситуации евроатлантической цивилизации — Европы и США. Мощные миграционные процессы, без которых стареющая Европа уже и существовать не может, ведут к тому, что к концу нашего века этнические европейцы станут, возможно, меньшинством у себя дома. При этом, замечает, например, Михаил Веллер, замена этноса внутри государства раньше или позже, в той или иной степени ведет к видоизменению самого государства. Нам ли, пережившим татаро-монгольское нашествие, не знать, какое влияние вторгнувшаяся в некую национальную среду посторонняя культура способна оказать на всю жизнь нации и в частности на ее государство? Тогда ведь мало что осталось от традиционного для России общественного и государственного порядка, в том числе — специфической ее “демократии”, основанной на своеобразном разделении властей: князь — вече — боярство — церковь...

В последнее время о демографических проблемах стали много говорить и писать. Но чисто ли демографические они, эти проблемы? Приводились, как известно, такие цифры: территория России составляет примерно 1/8 мировой территории, население же — менее 2,4 процента, а наша доля в мировом производстве валового продукта — того меньше: по разным подсчетам, от 0,6 до 1,3 процента. При таких соотношениях, считают специалисты, страна не мо-



жет выдержать естественного давления соседей. И проблема, подчеркнем, не в их злонамеренности или агрессивности, а прежде всего во внутренних наших причинах, в ослаблении и упадке бывшей империи. Экономическая плотность населения на огромных территориях Сибири и Дальнего Востока недостаточна для создания современной инфраструктуры, для нормального экономического развития. И этот вакуум сам по себе втягивает теснящиеся рядом народы. Если даже быть большим оптимистом, то придется сказать, что мы стоим перед опасными тенденциями, ведущими к исчезновению России, по крайней мере как значительной в мировом масштабе державы, что перед нами со всей остротой и по-новому встает проблема, задача, цель, сформулированная применительно к иным условиям графом Шуваловым: **сбережение народа**. Не верно ли было бы уже с этих позиций, понимая неимоверную важность и сложность проблемы, и оценивать средства достижения цели, возможные пути общественного развития, учитывая опять-таки, что мы движемся не в пустом пространстве, а вместе со всем человечеством, крепко с ним спаяны? Не самоубийственны ли попытки отделиться от него, тем более противопоставить ему себя, таких особенных, таких непопулярных, к тому же все еще не до конца избавившихся от притязаний на великодержавность и даже мессианство?

Научное осмысление перемен в мире и места России в нем происходит ныне главным образом под углом зрения **глобализации**. Наверное, это правильно. Глобализация со всеми ее плюсами и минусами — определяющий процесс. Однако содержание его и общего процесса мировых трансформаций столь сложно и многообразно, что хочется все же выделить некоторые проблемы, заслуживающие особого внимания и осмысления.

Процесс глобализации развивается таким образом, что узкая группа индустриальных держав играет в нем главенствующую роль, выступает в качестве субъекта преобразований, а огромное большинство остальных стран превращается в объект их действий и вынужденно дрейфует в заданном ими направлении. Более того, никогда еще в мировой истории не складывались условия, столь благо-

приятные для установления мирового господства одной державы (возможно, совместно с клубом союзников, конфигурация которого меняется, подбирается каждый раз ведущей державой в соответствии с ее конкретными целями). Мне приходилось уже писать в связи с этим о возможности международного тоталитаризма. Наверное, это понятие еще эпатирует иных ученых. Будем говорить тогда о тенденции сосредоточения во властных структурах одной страны или некоей международной организации средств глобального господства, об использовании их для воздействия на всю международную ситуацию, о подчинении своим интересам жизни всего мирового сообщества, о вмешательстве в дела суверенных государств и насильственном подавлении любого протеста против такого вмешательства. Это примерно и соответствует понятию “тоталитаризм” в национальном масштабе.

Ныне самый реальный претендент на мировое господство — Соединенные Штаты Америки. Они владуют прежде всего в экономике. Но они вольно или невольно и во всем ином подгоняют жизнь человечества под свои интересы и стандарты. Пусть даже во многом привлекательные, эти стандарты оказываются чуждыми для иных народов и вызывают отторжение, а порой и жесткий протест. Вместе с тем, основываясь на грандиозных технических достижениях, США добились подавляющего военного превосходства, многократно превзойдя военную мощь всех остальных государств, вместе взятых. Эта оценка принадлежит видному британскому ученому, лауреату Нобелевской премии мира, одному из первых разработчиков атомной бомбы Джозефу Ротблату. И он обвиняет сегодняшнюю администрацию США в том, что она начинает воспринимать ядерное оружие не как средство сдерживания агрессии, а как инструмент давления на неудобные государства.

Эти процессы развиваются на фоне реального ослабления эффективности деятельности международных организаций. В последние десятилетия росла их численность, создавались новые региональные конструкции, возникали новые, как бы отраслевые, международные ведомства, но в целом качество взаимодействия стран в рамках основных организаций, охраняющих мир на планете, прежде всего

ООН, отнюдь не улучшалось и даже ухудшалось. Очень печально, что мировое сообщество слишком легко согласилось с практической отменой одного из общепринятых прежде принципов международного права — невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Появился новый постулат, провозглашенный Генеральным секретарем ООН Кофи Ананом: принцип невмешательства не является основополагающим по отношению к государствам, нарушающим права человека. Как всегда в подобных ситуациях, возникает вопрос: кто решает — “нарушают” или “не нарушают”? De facto признается право превентивных военных действий против той страны, которая только подозревается в злонамеренных и опасных умыслах против других стран. И здесь господствуют субъективные оценки правомерности применения насилия. То, что прежде, без сомнений, назвали бы агрессией, теперь выступает как оправданное действие в интересах “цивилизованных стран”. Не запугались ли уже юристы-международники во всех этих понятиях, просто признавая право сильного? Не слишком ли молчаливой оказывается наша наука, занимающаяся международной проблематикой?

Односторонние действия такой могущественной державы и ее союзников обретают в глазах мирового сообщества, по крайней мере значительной его части, своеобразную легитимность в связи с активизацией сил **мирового терроризма**. Причины его небывалой вспышки часто трактуются упрощенно, сводятся чуть ли не к личным качествам людей. Серьезные аналитики говорят о глубоких его корнях. Здесь также обнаруживаются разные подходы к проблеме и точки зрения.

**Основную причину многие специалисты усматривают в исламском фундаментализме.** Ислам, как признано большинством исследователей, неоднороден, но исламский фундаментализм действительно таит в себе серьезнейшие опасности для человечества. Он ведь тоже претендует, по сути, на мировое господство. Эрнест Геллнер писал, что в наше время в мусульманском мире можно наблюдать устойчивую тенденцию к созданию Уммы, харизматического сообщества, преданного религиозной идее и считающего своим моральным долгом “насаждать ее всюду, где оно обладает какой-то властью или влиянием. Исламский закон

формально обязывает мусульманских правителей вести Священную войну за распространение веры не реже чем раз в десять лет (таков максимальный срок перемирия с неверными), если обстоятельства этому благоприятствуют и есть хоть какая-то надежда на победу... Некоторые исламские лидеры тихо игнорируют это обязательство, и будут так делать впредь. Но кто-то ведь может его и выполнить”\*. Едва ли стоит не принимать это во внимание.

Но вот и совершенно иная точка зрения: “Запад использовал силу в отношениях с Востоком с тех самых пор, когда эти отношения только зародились, — пишет Мухаммед Аба аль-Хейль, видный государственный деятель Саудовской Аравии. — Практически ничего не изменилось и сегодня: две цивилизации связаны враждой и неприятием друг друга... нет оправдания тому, что Запад, имея дело с Востоком, всегда воспринимал применение силы как правило и средство. Поэтому восточным народам Запад представляется постоянным агрессором”\*\*. Найдется ли историк, который сумеет опровергнуть по меньшей мере то, что было в прошлом?

Та же проблема рассматривается и под иным углом зрения. Известно, что гарвардский профессор Сэмюэл Хантингтон и его коллега из университета Геттингена (ФРГ) Бассам Тибби еще в последние годы прошлого века независимо друг от друга пришли к выводу: **в исследовании современных международных процессов большое значение имеет понятие “цивилизация”**. Бывший посол Германии в Российской Федерации Эрнст-Йорг фон Штудниц писал в журнале “Общая тетрадь”, что самые серьезные конфликты современности происходят на разделительной линии между западной цивилизацией и арабским, мусульманским миром\*\*\*. Нельзя не признать, что в повседневном взаимодействии различных цивилизаций проявляется их неравное положение, и проявляется болезненно. Одна из них, навязывая другой (или другим) свой образ жизни, как бы не позволяет более слабым жить по своим законам, в соответствии со сво-

---

\* Геллнер Э. Условия свободы... С. 187.

\*\* Аба аль-Хейль М. Эгоизм силы // Россия в реальной политике. Т. 1. № 1. Январь — март 2003. С. 102.

\*\*\* Штудниц Э-Й. Диалог культур в мире завтрашнего дня // Общая тетрадь. 2002. № 1. С. 26.

ими традициями. На этой почве, как пишет Бассам Тибби, “происходит милитаризация конфликта мировоззрений”<sup>\*</sup>.

Не следует ли искать корни терроризма, в частности, и в том, что **в мире нарастает экономическое неравенство**? Мировая экономика расслоилась на “зоны роста” и “зоны застоя”. Директор Института стратегических оценок Александр Коновалов назвал такие данные: если в XIX веке богатые страны были богаче бедных в 3 раза, то теперь — в 86 раз. Он не считает это оправданием терроризма, но не сомневается, что нарастающее экономическое неравенство, связанное с этим чувство униженности и бесправия целых народов — элемент той базы, на которую опирается экстремизм вообще и терроризм в частности.

Стоит принять во внимание и то, что **терроризм профессионализировался**, и, возможно, все описанные обстоятельства — лишь условие, которое способствовало возникновению особой сферы бизнеса — бизнеса на крови. Но это еще надо доказать. То, что превращение террора в бизнес — самое существо явления. Это требует исследований и проверки, так же как и международный тоталитаризм.

Нет, я не хочу сказать, что международный тоталитаризм — уже сложившаяся реальность. Не обязательно разовьется та тенденция, о которой говорилось выше. Но я глубоко убежден, что существует такая возможность. Она слишком серьезна, чтобы не предпринимать нечто именно для того, чтобы она не реализовалась. Но что можно предпринять в столь сложной ситуации?

Еще в середине XIX века сэром Генри Мейном, юристом, были сказаны такие слова: “Война, судя по всему, стара, как само человечество, мир — это новейшее изобретение”. Думается, очень верно подмечено, что мир нужно именно создавать, без человеческих усилий, без поисков общественной мысли, научных поисков, политической воли демократических государств он не родится.

Приходится, однако, обратить внимание на то, что эта же, по сути, **проблема — суверенитета, взаимосвязи национального и наднационального** — по-своему, но тоже

---

<sup>\*</sup> Тибби Б. Самобытность Европы — отсутствие самобытности // Общая тетрадь. 2002. № 1. С. 38.

достаточно остро, встает как раз в процессе активного созидания нового, современного мира, в частности в процессе интеграции. Европа прошла долгий и мучительный путь к своему объединению. Между тем трудные европейские проблемы и теперь не решены до конца. Для каждого народа стал болезненным вопрос: либо уступить важные полномочия и прерогативы наднациональным институтам, ограничив национальный суверенитет, национальные амбиции, либо окзаться в стороне от интеграции, а значит, и от стремнины перемен. Между тем государственная мощь и благосостояние граждан любой страны все больше зависят именно от включенности национальных предприятий в мировое разделение труда, от конкурентоспособности стран-систем, больше, чем от территории и народонаселения\*. Экономика страны, которая выпала из перекрестья информационных, финансовых, торговых и прочих потоков, обречена на упадок.

Противоречие между необходимостью наднациональных институтов и сохранением национального суверенитета, возможно, разрешимо или разрешаемо каждый раз по-своему в конкретных обстоятельствах, описанная альтернатива, возможно, ложная, но ведь еще надо найти решения.

Множество новых вопросов встает перед наукой с развитием и применением современных технологий. Скажем, формы работы и общения специалистов Силиконовой долины в США и других подобных центров, творящих новые образцы деятельности и ломающих прежние представления как о видах продукта, так и о способах его производства, обуславливают **смену представлений об управлении**. (И это один из важнейших аспектов проблемы коррекции социального развития.) Схемы “простой власти”, типа трубопровода, о которых говорилось выше, в таких условиях абсолютно непригодны. Современное производство сравнимо с творчеством художника. Но ведь если можно заказать или даже приказать написать портрет женщины, то возможно ли по приказу создать Джоконду?

Вот в этом мы расходимся все дальше с выбором развитых стран. Мы все еще исходим из возможности произвола

---

\* См.: *Жан К., Савона П.* Геоэкономика. М., 1997. С. 12.

в управленческих решениях и хватаемся за самые грубые инструменты воздействия на общественные процессы, — образно говоря, за лом и дубину, однако тенденции современного развития требуют совсем иного: всматриваться в реальности жизни, как мастер резьбы по камню всматривается в его естественный узор, чтобы выявить и подчеркнуть потом природный рисунок. А для необходимой коррекции использовать тончайшие инструменты. Человек ведь куда сложнее, чем любая иная материя. Шекспир устами Гамлета ой как давно сказал, что “играть” на нем, как на флейте, невозможно... Не требует ли и само развитие человека пересмотра всех принципов и способов управленческой деятельности?

Громада проблем, встающих перед человечеством в начале XXI века, все вызовы жизни — это вызовы человеческому интеллекту, от него зависит выживание человека как биологического вида. Вся сложность преломления общечеловеческих проблем в России — это вызовы нашей общественной мысли и нашей науке. Право каждого ученого реагировать на них по-своему, может быть, не брать на себя ответственность за весь мир и всю Россию, а просто “наслаждаться сложностью мира и процессом понимания этой сложности”? Художники и поэты любят говорить о самовыражении как своем праве и даже единственном мотиве творчества. Почему бы и ученому не заявить о своем таком праве?

Но есть иные мыслители, иные исследователи, и среди них есть модернизаторы и консерваторы, агностики и, можно сказать, прорицатели, оптимисты и пессимисты, которых, однако, объединяет одно очень важное качество, не всегда даже связанное с тем или иным из названных свойств и настроений. Это стремление понять, что происходит в мире, и если даже не до конца ясен вектор изменений, “делать, что должно”, сознавая, что только человеческая мысль, слово и дело могут предотвращать или как-то смягчать опасное, вредное, нежелательное в стихийном процессе развития, обеспечивать по возможности достойное человека существование. Юрий Сенокосов напомнил в журнале “Общая тетрадь” о девизе эпохи Просвещения и его происхождении. В одном из поэтических посланий Го-

рация, пишет он, говорится: чтобы зарезать человека, до света встанет разбойник. Так неужели ты не проснешься, чтоб уберечь себя? Стоит ли уподобляться глупцу, ждущему, когда мимо него протечет вся река, чтобы перейти на другой берег? Не лучше ли немедленно начать упорядочивать свою жизнь, чем ждать, пока она кончится? Тот, кто начал, уже сделал половину дела. “*Sapere aude!*” Осмелься быть мудрым! Кант в статье “Что такое просвещение?” уже в первом ее абзаце цитирует Горация и заявляет: “*Sapere aude!* — имей мужество пользоваться *собственным* умом! — таков, следовательно, девиз Просвещения”.

Пафос философии Канта — творчество, он пытался объяснить исследователям, что ученый труд есть деятельность, а не созерцание. Его размышление о “вещи в себе” (так принято переводить немецкое *Ding in sich*, хотя, пожалуй, вернее было бы сказать “вещь сама по себе”, или “вещь как она есть”) уже содержит эту мысль, ибо эта вещь превращается в нечто реальное для человека только тогда, когда она научно познана. Сознание не только отражает, но и творит тот мир, в котором живем.

Мир, по сути, повторяет конфигурацию нашего действия, вторит Канту Анри Бергсон, он вырезан из вселенной ножницами нашего восприятия. Этот творимый человеком мир включает и самого творца.

Есть исследователи, которые считают, что представления о будущем определяются тем, сумеет ли человек как вид себя трансформировать. “Сколько веков человек ставил задачу — познай себя. А в сравнительно недалеком будущем... он серьезно начнет менять себя как вид... Человек будет менять и себя, и мир. Он придаст и себе, и миру удобные формы. Разрешим ему устроить свой дом по-разному...” — это слова одного из наших авторов. И вот эти люди, смело мыслящие, активно действующие, при нашем полном признании права каждого ученого и мыслителя на собственную позицию в этом вопросе, все же интересовали нас более всего.

Если вернуться к замыслу книги и учесть ее своеобразие, станет понятно, что в отборе авторов не могла идти речь о какой-либо форме представительства различных школ и течений, тем более о привычной для социологии репрезента-



тивности. Не могли мы быть и беспристрастными, как, впрочем, и подавляющее большинство социальных исследователей, даже если они и декларируют свою беспристрастность. И все-таки стремились отразить различные умонастроения, даже порою далеко не соответствующие нашим собственным. Отбор собеседников не был и случайным.

Масштаб поставленной задачи предполагал участие в работе специалистов различных отраслей знания. Принцип отбора авторов — наличие в их публикациях широты взгляда на социальную реальность, глубокого понимания новизны современной ситуации и свежих идей. Наверное, добрая сотня или более вопросов, заданных нами самим себе и частично нашедших отражение в этой вводной статье, сконцентрировалась в нескольких общих тезисах, выдвинутых на обсуждение наших собеседников. Вопросы конкретизировались в ходе бесед соответственно научным пристрастиям, тематике исследований каждого автора. А суть их, на мой взгляд, соответствует тому, над чем еще полвека назад размышлял Крейн Бринтон в своем бестселлере “Идеи и мысли. История западной мысли”: “В демократическом обществе сейчас существует убеждение, что каждому члену этого общества дано играть определенную роль в сложном процессе, который ведет к тому, что медленно, сбивчиво и, пожалуй, непредсказуемо желания людей и формы, в которых они выражают эти желания, видоизменяют существующую действительность и наши представления о ней”. И далее: “...одна из больших проблем состоит сегодня в следующем: могут ли так называемые общественные науки или науки о поведении человека (включая прикладную генетику) вооружить нас способностью управлять окружающей средой, сотканной из человеческих жизней и отношений, хотя бы приблизительно в такой же степени, в какой естественные науки позволяют управлять средой нерукотворной?”\* Не стало ли это в начале XXI века даже более актуальным, чем прежде?

*Александр Волков*

---

\* Цит. по русскому изданию части этой книги: Бринтон К. Истоки западного образа мысли. М. 2003. С. 10, 29.

## *Часть первая*

А.Ф. Филиппов

“Другой мир — другая социология”

— Александр Фридрихович, вы относитесь к тому поколению ученых, которые определяют сегодня научный поиск. По мнению ряда исследователей, мы переживаем критический момент в истории цивилизации, когда происходит переход человечества в качественно новое состояние. Отвечает ли это вашему мироощущению? Как вы охарактеризовали бы важные, с вашей точки зрения, тенденции мирового развития и российские реалии?

— По-моему, практически каждое поколение ощущает, что живет в какой-то переломный период. Или, точнее говоря, на протяжении жизни каждого поколения возникает ощущение, что оно попало на какой-то очередной перелом, потому что бывают очень долгие периоды тяжело переживаемого безвременья (это отдельные ощущения) и бывают столь же тяжело переживаемые переломы. И в этом смысле — да, конечно, такое ощущение есть, однако то же самое чувствовали или будут чувствовать другие при совершенно иных обстоятельствах. Скажем, люди, которые на двадцать лет старше меня, в 60-е годы, конечно, сказали бы: да, мы живем в переломный момент... Но мне кажется очень важным не придавать чрезмерного значения этим своим ощущениям.

Двадцать лет назад у меня было ощущение абсолютно безвременья, полной глушки. А потом — ощущение того, что происходит решительный перелом, мир переменялся, наступает небывалая эпоха. Сейчас это ощущение становится несколько глуше, потому что я вижу: очень многое из того, что казалось невиданным, таким не является. Я никогда не использую в своих работах понятия “че-

ловечество”, “цивилизация”, то есть они не являются моими рабочими понятиями, поэтому и здесь соответственно не хотелось бы говорить в терминах, в которых вопрос предложен. Но могу сказать (чтобы не оставлять его совсем без ответа), что все очень сильно зависит от конкретного момента, когда такой вопрос задают, и от конкретного места, где на него отвечают. Например, когда мне приходилось в начале 90-х годов беседовать о наших событиях с коллегами в Германии, упоминая и о тогдашнем достаточно кризисном состоянии, они отвечали: “Но вы все-таки не понимаете, что для нас сделал Горбачев. Мы прожили всю свою жизнь под навесом ракет, это был постоянный страх. Теперь наконец-то мы освободились”... Да, у нас были абсолютно разные ощущения, у них — облегчения, у меня — определенно катастрофическое. Но ни то, ни другое не были подлинными. Не только в смысле житейском — это был и неправильный научный взгляд на ситуацию.

Если не уходить от вопроса слишком далеко, а с другой стороны — не вдаваться в перечисление общих мест, я бы сказал так: проблема любого социального ученого состоит в том, что он пытается осмыслить некий обыденный опыт в научных терминах, понятиях, объяснительных схемах. Но у него тот же самый опыт, что и у других современников, благодаря чему и могут появиться теоретические работы, представляющие интерес для тех же современников. У всех общее ощущение, в значительной степени возникшее не из того опыта, который раньше в философской антропологии называли “опытом из первых рук”, но из вторичного — опыта, пропущенного через призму чужих книг, чужих мнений, в свою очередь тоже вторичных или третичных, циркулирующих в средствах массовой информации, во всей информационной среде. И когда я пытаюсь фиксировать это ощущение, могу сказать: да, я чувствую, как мало-помалу размываются некие опорные точки, которые структурировали бы как позитивное, так и негативное восприятие мира; эти опорные точки, или схемы восприятия, которые шли со мной, как мне казалось, из детства в юность, из юности в более зрелый возраст, когда я испытывал разочарование и когда появлялась надежда, —

шли со мной, потому что и возникали от столкновения со всем этим. Сейчас, повторю, происходит размывание той устойчивой структуры. Не думаю, что у меня могут быть разочарования, потому что у меня нет надежд. Нет страха, потому что нет ощущения безопасности. И я фиксирую это не только как новое ощущение, присущее и другим, но и как определенное состояние мира. Если угодно, состояние социального мира.

— *Такое ощущение, вы считаете, присуще всем поколениям?*

— Это можно выяснить только эмпирически.

— *А себя вы относите к какому поколению?*

— Оно достаточно четко фиксируется. Когда я начинал учиться в университете, там было немало людей, уже прошедших какую-то школу жизни (на философском факультете, а тем более на отделении научного коммунизма это не считалось редкостью). Некоторые были намного старше меня (на 7–8 лет). И соответственно сейчас, по прошествии стольких лет, хотя связи между нынешними 50-летними возникли по большей части помимо меня, я не чувствую себя чужим среди этих людей. Много друзей. Общаемся как равные коллеги. И думаю, мое поколение кончается именно на этом возрастном уровне — кому сейчас 50 или чуть больше. Ну а если брать нижний уровень, то он замыкается где-то на 39–40 годах. И это связано не с тем, что, скажем, люди, которым сейчас 35–38 лет, мне чем-то чужды. Все обстоит гораздо хуже — я их просто не знаю. Я с ними не соприкасаюсь, даже не уверен, что они вообще есть в науке. Может быть, здесь сказался процесс, который я с грустью отмечаю уже давно — нарушение нормального формирования научных имен, и люди, которые при других обстоятельствах (таких, какие были, скажем, у меня) сейчас уже имели бы имя, по ряду причин не могут его себе составить. Но чем бы это ни было вызвано, я их не знаю. С другой стороны, я знаю 30-летних и более молодых, примерно до 25 лет. То есть я снова представляю

себе это поколение. Здесь есть некий провал в 7–8 лет. Но я точно знаю, что какие бы приятные отношения у меня ни были с теми, кому сейчас 25–32, — это не мое поколение и оно никогда не будет таковым. И я, в свою очередь, для них не являюсь тем, кем для меня являются нынешние 50-летние.

— *Известно суждение, что поколения складываются под влиянием “судьбоносного” для данной возрастной когорты события. Какое именно событие, если следовать этому суждению, вы склонны считать определяющим для вашего времени и поколения?*

— Есть два момента: главное событие и главное несобытие. Главное несобытие: когда мы пошли в школу, это было начало брежневской эры (1965 год), а когда я пошел в аспирантуру, приближался ее конец (80–81-е годы). А значит, практически все формирование молодого человека, ключевые годы прошли в самую “неподвижную” эпоху. Это, безусловно, важно не только для меня, но и для всего моего поколения.

— *“Потерянное поколение”?*

— У меня именно такое ощущение. Когда в школе мы стали учить стихотворение Лермонтова “Печально я гляжу на наше поколение...”, я с ужасом понял, что это про меня. Думаю, до известной степени так оно и есть. Из этого невозможно выпрыгнуть, сколько не пытайся.

А главное событие, которое в известном смысле мобилизовало нас, — это вся так называемая перестройка. И в смысле возможностей, которые появились, и в смысле возможностей, которые исчезли. В начале 90-го я уехал в Германию, на год, в числе первых отечественных стипендиатов Фонда Эберта. Помню, когда в 86-м или 87-м начали говорить, что сейчас мы станем открывать “всякие двери” и т. д., меня охватывала жесточайшая тоска: я был в полной уверенности, что все это очередная болтовня, ничего не будет. И когда наконец это случилось — могу сказать теперь, оглядываясь, — случилось слишком поздно. Мне

было 32, уже совсем не юношеский возраст. С одной стороны, еще ученый без имени, но с другой — вполне сложившийся, сформировавшийся и в значительной степени негибкий (менее гибкий, чем бывает человек, у которого за спиной нет ни публикаций, ни какой-то собственной позиции, ни тем более диссертации). Тем не менее я считаю, что это событие — перестройка, открывшиеся с ней возможности, лично для меня, безусловно, сюда добавилась и поездка в Германию — полностью меня перевернуло. Не в том смысле, что прежде, скажем, в моих текстах были хвала советской власти и много ссылок на Брежнева, а теперь советская власть исчезла и я стал кричать: “Долой партократов!” И до того встречались лишь навязанные ссылки (любой нормальный редактор знал, что книга просто не пройдет, если в каком-то месте нет соответствующей цитаты). И после не было ни одной публикации, например, по разоблачению ужасов социализма. Я говорю о другом: в принципе поменялось все воззрение. Просто работы разного типа, разного уровня.

— *Несмотря на то, что ваши работы, скажем так, несколько абстрактного характера?*

— Именно поэтому. Прежние писались под влиянием тех людей, которые входили в этой связи в мою референтную группу, в первую очередь, конечно, Юрия Николаевича Давыдова. И это были работы просвещенческого плана: “Недавно мне достали книжку, которой нет больше ни у кого, сейчас я вам расскажу”. Ройся хоть во всех библиотеках Москвы и страны, этой книжки действительно нигде не было. А когда попадаешь в Германию, в город Билефельд, где на полкилометра, в два этажа, по обе стороны огромной галереи тянется библиотека, и ты можешь взять любую книгу... — то понимаешь, что рассказывать кому-то, что ты прочитал какую-то книгу и в ней сказано то-то, — по меньшей мере, странно; что надо заниматься какими-то совсем другими вещами, которые как бы откладывались на потом. Предполагалось, что главное люди вычитают между строк. Ну, разве не ясно: “Я написал то-то и то-то, а все остальное читатель может додумать сам”. Не мо-

жет он ничего додумать. Ему нужно все говорить открытым текстом. Перед ним нужно ставить проблему — именно абстрактную, кстати говоря, потому что раньше не хотели ставить “закрытые” проблемы, считавшиеся прерогативой либо высших, номенклатурных философов, либо людей совершенно сумасшедших, сочинявших какие-то отечественные самоделки и потому никакого интереса не представлявших. Сегодня совершенно невозможно представить, что я начал бы так писать, если бы не возможность посмотреть на то, как нормально функционирует нормальная наука.

— *Ваша референтная группа осталась прежней?*

— Думаю, референтная группа осталась та же. Может быть, когда я пишу для кого-то, она шире, чем мое поколение. Это разные вещи. Но я точно знаю, что трудно установить контакт с теми, кто пришел сейчас со школьной скамьи.

В 95-м году я приехал в Швейцарию, там была большая русская колония, молодые люди, которые практически все сейчас выпускали книжки здесь, в России (живут там, а книжки выпускают тут, у них неплохие имена в своей среде). Теперь им, конечно, уже за 30, тогда они, соответственно, были моложе. Все получили докторские степени во Фрибуре, в университете, а я писал про империю. Они не могли понять, почему меня так интересует эта тема. Их занимали совсем другие вещи: постмодерн, какие-то высшие сферы (не будем это перечислять, пришлось бы вводить ненужную терминологию). А мои проблемы, связанные с распадом империи, нашей империи, были им совершенно чужды. Они жили в этом Фрибуре уже три или четыре года, некоторые больше, приехали, как правило, из провинциальных городов, большая часть их была, кажется, из Ростова. Жили прекрасно, ну, распалась империя — и бог с ней. Какая здесь может быть проблема и зацепка для теоретического интереса? Их это не интересовало в принципе. У нас сложились неплохие отношения, они хотели сохранить их и в будущем; но когда у меня была лекция в университете, на лекцию из них не пришел ни один.



— *Тема империи возникла из социального контекста или из развития теоретических концепций?*

— Просто совпали некоторые вещи. В Германии я страшно тосковал по родной речи, бывали недели, когда не с кем словом перемолвиться. Поутру говоришь домохозяйке “доброе утро” и вечером, возвращаясь, можешь сказать ей на лестнице “добрый вечер”. Все. Смотреть только немецкое телевидение невозможно. У меня был приемник, а какое радио лучше всего принимает Германия? Конечно, “Свободу”. “Радио Свобода”, 90-й год — это постоянные передачи о том, что необходимо ликвидировать империю, что империя — главное зло. Империя, империя, империя — навязло в зубах. У меня был некий интерес, связанный с историей социологии, появлением некоторых понятий, и я пытался прояснить их происхождение не только по источникам чисто социологическим, но и по истории политической науки, потому что политическая философия является в значительной своей части идейным источником теоретической социологии. Уходя во все это, я, естественно, наткнулся на проблематику империи (еще, кстати, здесь, в Москве). И так сошлось, что империя появилась в моих теоретических изысканиях и одновременно у нас ее клеймили изо всех сил как то, что надо разрушить. У меня просто началось такое шевеление в мозгах, которое выкристаллизовалось вначале в совершенно абстрактный историко-социологический текст “Социология и космос”, а потом, когда я уже был в Москве, появилась работа “Наблюдатель империи” (1991). Опять совпало несколько интенций: желание показать, какой может быть другая социология — не заимствованная, а своя, но при этом специфическим образом встроенная в связи с имперским характером того государства, в котором мы находимся; желание показать, что само слово, сам термин “империя” не несет в себе ничего негативного, а, наоборот, означает некоторые очень важные вещи. И все это еще наложились на результаты, полученные при подготовке статьи “Социология и космос”. Вот так появилась большая работа...

— *...на которую бурно реагировали вне нашей научной среды.*

— ...и которая, кстати, сейчас — у меня такое ощущение — в полном забвении. Новое поколение тех, кто пишет сегодня об империи (а пишут многие), практически не знает или не помнит эту и более позднюю мою статью для сборника “Иное” (1995). На них уже никто не ссылается. Можно понять почему: работа была научная, но в тот момент понятая — и нельзя сказать, что совсем уж без оснований, — и как некий политический акт, то есть как стремление показать ресурсы империи. Да, в этом была определенная политическая составляющая. У меня возникали большие опасения, связанные с разрушением империи. Частично они подтвердились, частично — нет. Когда прошло время и эта позиция была зафиксирована, я не стал развивать ее дальше. Скажем так: когда-то статья сыграла свою роль и достаточно долго служила важной вехой или маркером меня в научном поле. Не уверен, что это продолжается. Думаю, сейчас она интересна только тем, кому интересен я.

Возможно, здесь стоит упомянуть один очень тонкий момент, что называется, в интересах научной честности. Когда писалась та статья и были выступления на “Эхо Москвы”, я, в частности, говорил, опираясь на Карла Шмитта (это один из моих больших интересов в то время, немецкий политический теоретик, много писал об империи), что так просто все не разрушишь. Имперское пространство не произвольно, оно способно стянуться обратно после того, как будет разрублено. Это происходило в истории уже много раз. И если сейчас произойдет, можно предположить, что все вернется на круги своя. Потом, когда все-таки разрушили (а статья, подчеркиваю, писалась до распада Советского Союза), была сделана попытка перевести все на новый уровень абстракции, то есть рассмотреть это более фундаментальным образом, выстроить более обоснованный категориальный аппарат и вместе с тем, — поскольку много было еще неопределенного (ну, 1994 год), — воздержаться от конкретных социально-политических оценок и высказываний. Их, собственно, не было и в первой статье, тут же появилось желание проявить еще большую осторожность. Не в смысле боязливости (что мне за это будет?), а в том смысле, что не ясна тенденция и очень сложно фиксировать, куда что идет. В ито-

ге статья получилась до такой степени осторожной, что людям, интересующимся проблематикой империи, ее теоретическая составляющая без конкретных выводов показалась слишком туманной и абстрактной.

Сейчас, пожалуй, я думаю, что должен был проявить больше веры в свои научные выводы и заключения. О чем я говорил? О том, например, что результат разрушения империй — не демократические государства, а абсолютистские. Частично это было заключение по аналогии, но частично у него была какая-то теоретическая подкладка. И если в 1991 году я писал о таких вещах с достаточной легкостью, то в 95-м уже казалось, что это не так, теория не работала. Прежде я говорил, что империя может вернуться, стянуться вновь, потому что идея пространства достаточно сильна, сильно стремление к оформлению в большей или меньшей степени в старых устойчивых границах. В 95-м это тоже казалось преувеличением, вроде бы складывается какой-то баланс, при котором вновь образовавшиеся государства держатся в своих границах (бывших административных границах Советского Союза), и если стягивание пространства обратно и произойдет, думал я, то уже не на моем веку. Опять-таки поосторожничал, потому что теперь совершенно очевидно: хотя старый Советский Союз вряд ли возродится, реальное пространство политической власти, скажем президента, превышает административные границы России, те, которые называются государственными границами. Очевидно также, что скорее всего здесь будет некое приращение. Напротив, как раз начиная с 95-го года я более охотно прорабатывал другую тему: о том, что имперская идея, имперские границы, мотивация широких масс в отношении империи — вещи, в общем, достаточно хрупкие, абстрактные и широко приняты быть не могут. Это, скорее, элитная мотивация. Думаю, здесь я не ошибался, в том смысле что сфера строительства империи — дело элит. Но недооценил инерцию каких-то фоновых имперских представлений.

Иными словами, в моем случае вряд ли можно говорить о даре политического аналитика. Попытка оценить ситуацию еще ни разу мне не удавалась — во всяком случае, настолько, чтобы я сам высоко ценил ре-

зультаты. Думаю, пожалуй, мне нужно было быть более уверенным в долгосрочных прогнозах. И хотя по текстам это, может быть, не так заметно, сам-то я знаю, что метался, не был в себе уверен. Но это теперь все в прошлом.

— *Вы уже никогда не вернетесь к этой теме?*

— Не исключаю, что вернусь. Но, видимо, на каком-то другом этапе. У меня с ней связаны некие проекты, я слежу за нынешними публикациями.

— *Скажите, Александр Фридрихович, есть у вашего поколения и у вас лично некие представления о будущем — и неизбежном, объективно обусловленном, предопределенном сегодняшним ходом событий, и желаемом, если хотите — идеальном? Как вы вообще относитесь к проблеме социальных идеалов? Согласны ли с довольно распространенным утверждением, что новых социальных идей сейчас вообще нет? Насколько возможна, по вашему мнению, сознательная коррекция социальных процессов и как вы это себе представляете?*

— Я вообще социальными идеалами не занимался и не думаю, что сейчас они есть. Есть, на мой взгляд, другое: попытка прагматичного использования социальных идеалов.

Как-то молодой швейцарский ученый пытался интервьюировать меня относительно коррупции в нашей жизни. Я ему объяснил, что поскольку не вхож в высшие эшелоны власти и не присутствую непосредственно при даче взятки, то не могу сказать, что такой-то — коррупционер. Но я могу сказать другое: если в своей повседневной жизни я постоянно сталкиваюсь с тем, что “не подмажешь — не поедешь”, что коррупция разъела практически все формальные социальные отношения, то у меня нет никаких оснований предполагать, что на каком-то уровне она оставалась и там поселяются одни херувимы. Это заключение по аналогии, никакого другого смысла оно не имеет. То же самое могу сказать и по поводу прагматизма: любое управление, насколько я вижу, осуществляется не на основе идеалов или высших идей, а на основе инструмен-

тального овладения сиюминутными ситуациями, значит, по аналогии, это происходит на всех уровнях. Но если не фиксировать в какой-то момент для тех, кем ты хочешь управлять и кого хочешь мотивировать, наличия неких идеалов, люди становятся плохо управляемыми. Поэтому идеал также принадлежит не к сфере реального целеполагания, а к сфере, где работают механизмы мотивации. Чтобы у кого-то появился мотив, он должен быть ориентирован на некий идеал.

— *Идеал как основа оптимизма...*

— Но самому верить в этот идеал — чрезмерная роскошь. Что же касается новых социальных идей, то я тоже считаю: сейчас в этом смысле один из самых серьезных кризисов.

— *Это касается только России?*

— Нет, не только. В России вообще нет никаких новых идей, это совершенно очевидно. Но вот собирается, скажем, конгресс германоязычных социологов с участием самой Германии, Австрии, Швейцарии. Роскошный зал Фрайбургского университета, солидные господа, какие-то речи, люди обнимаются, зачитывают доклады. Подходишь к книжной стойке — покупать нечего. Скучные тексты с перепеваниями идей, которые были известны 10–15 лет назад. После того как умерли Луман, Бурдье, после того как Хабермас ушел в область философии, а Гидденс — в политику, ничего в общем-то нет, хотя есть неплохие социологи второго плана. Похожая ситуация и в Англии, и во Франции. Наверное, в принципе так случается; возьмите, например, 20–30-е годы минувшего века. Нельзя сказать, что тогда вообще не было крупных социологов, но до 37-го года, когда появилась “Структура социального действия” Парсонса, и в особенности до 50-х годов, когда сформировалась школа структурного функционализма, а одновременно (хотя в тот момент многие этого не замечали) шло интенсивное формирование интеракционизма, складывалась феноменологическая

школа, начала формироваться этнометодология, Ирвинг Гофман приступил к написанию своих основных работ, — до этого нельзя было говорить о каком-либо уровне в социологии.

— *Вы связываете это просто с физическим уходом людей либо и с тем, что то были годы Великой депрессии, возникновения тоталитарных режимов и т. д.?*

— Согласен с такой постановкой вопроса. Социология — наука, у которой есть несколько важных ограничений. Именно социология, которая, естественно, не покрывает всю социальную науку. Но давайте посмотрим, как она возникла. В период между Франко-прусской и Первой мировой войнами. Это первое. Второе: кто были отцы-основатели социологии, труды которых мы сейчас преподаем? Это были люди — и французы, и немцы, и итальянец, и американцы, — которых судьба, жизненные обстоятельства поставили вне возможности каким-либо образом влиять на реальные процессы управления. Это плебейская наука, рождающаяся в ситуации, когда на авансцену выходят массы. И поскольку массы важны, то те, кто говорит о массах и вместе с тем считает, что по-старому управлять нельзя (как, скажем, управляла аристократия или бюрократия предшествующих эпох), они и становятся, собственно говоря, основателями новой науки.

Но вот пример, который я всегда привожу: есть прекрасные исторические, историко-социологические исследования образа жизни английского рабочего класса и нет исследований, посвященных образу жизни английских лордов. Почему? Можете себе представить, что социолог приходит со своей анкетой на порог поместья и говорит: “Я тут хотел бы задать вам 115 важных вопросов. Интервью займет столько-то времени, а теперь сообщите о себе...” Это дичь, причем относящаяся к любому обществу. Был такой случай с нашими социологами, когда они проводили очередное обследование “образа жизни”. Совершенно случайно (что самое интересное — по адресной выборке) они попали на квартиру первого секретаря алмаатинского горкома партии. Самого его не было дома,

жена, послушав вопросы о расходах и доходах, сказала: “Ребята, уходите отсюда быстро”. Тем не менее сообщила об этом визите мужу, и потом, я знаю, были проблемы. И если бы не связи руководителя исследования в ЦК и т. д., думаю, их было бы больше и выводы — серьезнее.

Совершенно ясно, что это все не для социологии. Социологи не знают (и должны ли знать? — профессионально, не лично), как принимаются решения на высшем уровне, не обязательно политическом, но и на высшем уровне менеджмента. Провести опрос среди членов Президентского совета или, скажем, фокус-группу с ними — тут все социологические методы получения информации не работают. Абсолютно. Можно изучать биографии элит, проследивать их связи, собирать какую-то побочную информацию (сын такого-то женился на дочке такого-то), но в любом случае, когда социальная ситуация увязана с процессом принятия решений, которые так или иначе вырабатываются в более-менее устойчивых иерархиях, — социологии там нечего делать. Она сжимается: “Ну, мы будем говорить о мнениях”. И говорите о мнениях, но только тогда, когда они имеют хоть какую-то ценность. “В такой-то области 55 процентов рабочих сказали, что будут голосовать за того-то”. Кому это сейчас интересно в России? За кого понадобится, за того и проголосуют. Какие цифры нужны, такие и будут. Подобная информация имеет ценность лишь как элемент общей структуры производства *видимого социального мира*. Вот в этом видимом социальном мире для каких-то целей нужно, например, чтобы были исследования, в которых обследуемые группы делились бы на рабочих, крестьян, интеллигенцию и — в качестве невероятного добавления — еще на предпринимателей (хотя такой вид социальной структуры ничего не дает). Сейчас у меня на рецензии статья, посвященная России, из одного английского электронного журнала. И там очень четко говорится: в современной России *отказываются основные социологические предсказания*. Иначе говоря, исходя из обычных социологических параметров (пол, возраст, образование, профессия), ничего толком не объяснишь и не предскажешь. Нельзя сказать, что такое положение возникло только сегодня. Я сослался на дан-

ную статью по одной причине: это перешло уже на уровень конкретных исследований.

Считаю, что все-таки в ситуациях, когда большую роль играют (а) массы и (б) массы в более или менее хорошо структурированном обществе, социология с ее традиционным аппаратом очень важна. В ситуации же, когда принимается много иерархических решений или когда размывается традиционная структура — социология отказывает. Нужна какая-то другая либо более широкая социальная наука. Социальный ученый может дать очень интересные описания и объяснения. В конце концов, Макиавелли и Гоббс, Руссо, Суарес, Локк — это все люди, которые писали необыкновенно интересные работы, хотя мы их не относим непосредственно к социологам. Но очень важно, кстати говоря, что все они, кроме Руссо, и большинство других политических философов были прикосновенны к вершинам власти. Они твердо знали, как на самом деле все происходит. Надо писать о том, что знаешь.

Не может быть в современном мире такой ситуации, когда все интересное концентрировалось бы только наверху. Соответственно, не может быть в современном мире такой ситуации, когда социология потеряла бы всякий смысл. Но может быть изменение баланса. Сейчас защищаются просто фантастические диссертации. Давайте исследуем торговлю антиквариатом в Санкт-Петербурге. Ну, давайте, страшно интересно. При чем здесь наука, строго говоря? Приходит социальный ученый, кроме него, никто не сможет дать методически контролируемое и корректное описание определенных процессов в определенной социальной среде. В этом смысле социолог здесь бесценен. Но когда спрашивают: “Есть ли новые идеи в социологии?” — какие могут быть новые идеи у человека, который исследует торговлю антиквариатом или освоение дачных участков. Огромное поле — так называемая социография, о которой говорил Теннис. Социолог со своими понятиями и инструментарием, когда они годятся, будь то опрос, использование статистики или что-то другое, методически контролируемый опыт, эксперимент — все нормально. Только один вопрос: откуда здесь взяться новой идее? Социальная идея рождается из какой-то большой проблемы.



— *Вы хотите сказать, что сейчас нет такого рода проблем?*

— Может, они и есть, но не для социолога с его нынешним теоретическим аппаратом. Социология — западная наука (как и всякая социальная наука). В данном случае это особенно важно подчеркнуть, потому что камни на голову с одинаковой скоростью падают и во Франции, и в Китае, и в Америке, а социальная жизнь устроена совершенно по-разному. Так или иначе социологи всегда принимали состояние западного общества за образец, за некую точку отсчета, даже если оно им чем-то не нравилось. То же можно сказать и о новейших идеях. Ну, скажем, идея глобализации — очередной вариант идеи модернизации: рано или поздно все придут к тому, к чему пришел Запад, придут к единству. Сейчас этого уже никто не говорит, делается вид, будто всегда предполагалось, что глобализация — это наличие во всем мире сходных феноменов. Грубо говоря, если в старом варианте идея глобализации означала, что все начнут болеть за одну лучшую футбольную команду (понятно, я утрирую) и эта команда обязательно должна быть американской, то сейчас под глобализацией понимают то, что в каждом поселке есть своя футбольная команда, каждый болеет за нее и не желает видеть какую-то другую, — но поскольку это явление повсеместное, то оно тоже глобальное. Это гораздо более сомнительное представление о глобализации и уж точно в нем не содержится идея единства.

Думаю, ощущение единства субстанции потеряно социологами, потому что, разумеется, внешне все происходит так же. Вот, скажем, приезжают в Германию миллионы туристов. У них другие взгляды на жизнь, другие ценности, мотивы — все другое. Ну и как раньше описывали общество гомогенное, в тех же терминах считают возможным описывать общество гетерогенное, то есть то, в котором есть такие и есть сякие ценности. Но, на мой взгляд, при внешней простоте выхода из ситуации (а почему мы должны отказываться от нашего аппарата?) в таком решении присутствует некоторая недоговоренность. Если взять, например, поздние работы Бека (а последняя, вышедшая у нас —

“Что такое глобализация?”), из них можно узнать как раз о множестве каких-то локальных образований, ниш и прочая, которые образует не столько единство, сколько, скажем так, единство мозаики, единство какой-то фрагментарной картины. Или, например, мой друг Герхард Вагнер, немецкий профессор, заимствует у Делёза и Гватари образ ризомы — такого корня, от которого все время идут какие-то отростки, не обладающие единством традиционного организма, когда все замкнуто в единый цикл, все представляет цепочку взаимосвязанных и отсылающих друг к другу элементов. А в этой ризоме какие-то части отмирают, какие-то, наоборот, разрастаются...

— *Грибница?*

— Нет, грибница как раз единый организм. А здесь — какой-то весь перекрученный, растет сразу во все стороны, совершенно неожиданным образом. Полемизируя с Луманом, который пытался применять теорию систем к обществу, Вагнер обращается именно к этому образу, показывая, что здесь не система, а ризома. Это хорошая аналогия. Но возникает вопрос: какой для этой ризомы пригоден теоретический социологический аппарат? Вагнер написал блестящую книжку “Вызов многообразия”, где говорит, что то невероятное многообразие, которое обнаруживается в современном мире, является вызовом для социологической теории. Вызов-то есть, а ответов я, например, пока не нахожу.

— *А теория постмодернизма?*

— Постмодернизм — определенный способ философского осмысления этого многообразия, скажем так. Социологи частично пытаются его усвоить. Некоторые из них, такие, как английский социолог Скот Лэш, высказывают достаточно тонкое, хотя, может быть, и не бесспорное суждение: с сугубо социологической точки зрения постмодернисты не представляют интереса, но то, что они говорят с точки зрения эстетической, интересно именно для социологов. Примерно так. Вводятся новые понятия —

“креолизация”, “гибридизация”, есть аналог ризомы, есть тот же “вызов многообразия”, есть попытка перевести это в разряд исследования социальных сетей, так называемая ANT — Actor Network Theory (теория “действующий — сети”, здесь нет устоявшегося перевода термина, и мой не очень удачен). Джон Урри, ланкастерский социолог, написал мощную книгу “Sociology beyond Society” (“Социология за пределами общества”). В сущности, о том же: сейчас совсем другая социология. Терборн пытается показать, что социология с ее традиционными ресурсами проиграет, если не будет учитывать, скажем, новейшую экономическую теорию, теорию игр, теорию культуры и т. д. Ощущение того, что нужны новые понятия и новая социология (может быть, для этих понятий), — повсеместное. Но при всем при том нет такой концепции, про которую можно было бы сказать: “Ну, вот!”

Есть проблема, есть. Нет решения. Вы спрашивали, насколько возможна сознательная коррекция социальных процессов. Мне кажется, я достаточно четко ответил. Да, коррекция, конечно, возможна, только не социолог это делает. А когда он это делает, он — не социолог.

*— В таком случае, Александр Фридрихович, какими вы видите смысл и роль вашей исследовательской деятельности? Каковы та тема, проблема, а возможно, идея, которые вам представляются значимыми сегодня, когда мир пытается разобраться в самом себе?*

— Для меня это социология пространства. Когда я писал статью “Социология и космос”, набрал на переводную книжку социогеографов, которая называлась “Все возможные миры”. Там, в частности, проводилась аналогия между пространством как его понимает физическая теория Эйнштейна (теория относительности) и пространством в понимании современной географии. Сейчас я сознаю, что это достаточно слабая аналогия, достаточно скучная книжка, но в тот момент для меня это было, что называется, ударом молнии, озарившей все вокруг. Я понял: вот оно, вот чем я должен заниматься. Предстоял довольно долгий путь до социологии пространства, не хотелось бы здесь его просле-

живать, не о том сейчас речь. А смыслов до некоторого времени было два. С одной стороны, я считал, что социология пространства нужна потому, что без нее просто невозможна нормальная работа над абстрактной социологической теорией. То есть я увидел, что пространство могло стать одной из тех общих схем, в рамках которой можно было бы объединить и описать всю работу, которую я предполагал, по сведению аппарата социологического знания — разрозненного, иногда никак не сопряженного в пределах одной теории, вместе с тем достаточно ценного. С другой стороны, я занимался проблематикой империи, и социология пространства оказалась для меня одновременно и методологической (для сведения абстрактных понятий) и позитивной задачей (для объяснения империи). А, соответственно, объясняя империю, я считал, что объясняю как бы общее, не систему, а то поле, на котором находится наш социолог — имперский социолог, сознает он это или нет. У него своя перспектива, свое видение, свой социальный опыт, который возникает за счет определенных характеристик, связанных исключительно с местоположением — не просто на карте, а на политической карте, где проведена какая-то граница. Она фактически есть — вот и пограничный столб. Но сегодня он там, завтра — в другом месте. В процессе исторических изменений этот столб кочует самым неожиданным образом. Между тем у рефлексирующего человека есть некое представление о том, где он находится и как это ограничено. Представление “контрфактическое”, то есть фактически границы могут пролегать и где-то в другом месте, но человек все еще говорит о России так, будто десять веков ее истории проходили в одних и тех же границах. Почему это невозможно? Потому что у него определенное видение пространства, и оно присутствует в любой схеме, не только в моей. Значит, социология пространства — выведение всего этого на поверхность, показ реального положения вещей.

Вот такой был замысел. Но с течением времени, по мере того как начитывалась литература, выяснилось, что многое из того, что я считал собственным открытием, уже прописано у современных социальных географов — немецких, английских, американских, в меньшей степени

французских. Я выяснил, что нахожусь в некотором интеллектуальном русле. Как любит говорить Юрий Николаевич Давыдов, “я выяснил, что я не сумасшедший”. С одной стороны, было обидно: я придумал, а оказывается, все уже опубликовано. С другой стороны, если я нахожусь “в русле”, то надо уходить в эту тему глубже. А уходя глубже, я, естественно, практически оставил задачи кодификации, теоретико-методологические и в большей степени занялся задачами позитивными. Меня интересует, каков категориальный аппарат не социологии вообще, не прикладной и не частной, не теории среднего уровня, а именно социологии пространства как варианта общей социологии; интересно, какие она предлагает решения, объяснения и для чего именно, какие ситуации исследует и т. д. В этом смысле при том, что результаты последнего времени, на мой взгляд, содержательнее, амбиции социологии пространства стали намного скромнее. Я не считаю, как считал пять лет назад, что она вообще должна перевернуть всю теоретическую социологию, а поскольку я говорил, что у нас теоретической социологии как устойчивого дискурса нет, то считал, что она должна способствовать появлению такого дискурса в этих категориальных рамках. Больше я так не думаю, просто потому, что практическая работа показывает: позитивные результаты — это результаты, повторю, особой дисциплины, значимые в особом контексте и не значимые для других контекстов, для других дисциплин внутри социологии же.

— *Ведущая ваша тема, стало быть, видоизменилась?*

— Она видоизменилась в том смысле, что передо мной открылись глубины. Я очень давно принялся писать книгу, сейчас ее завершаю и должен поставить здесь точку.

— *И что дальше?*

— Не могу сказать, куда я двинусь дальше в идейном смысле. Структура науки сейчас такая: существует определенное количество фондов, у которых есть свои про-

граммы. Они под эти программы ищут людей, способных достаточно надежным образом их реализовать, так чтобы деньги фонда для попечителей, руководителей, для ответственности не казались выброшенными на ветер, проеденными, растраченными, украденными и т. д. Я сам видел, как очень мощные и очень продуктивные ученые на Западе рвали себе жилы, работая на какие-то фонды по проектам, которые, на мой взгляд, им совершенно чужды. Б. Тёрнер — крупнейший специалист по теоретической социологии, истории социологии, социологии медицины — занялся проблемой гражданства и обследовал какие-то архивы в Шотландии. Что ему это гражданство? Или прекрасный социолог Оукс, специалист по Риккерт, Веберу, Карлу Шмитту, вдруг переключился на американскую идеологию гражданских убежищ времен “холодной войны”. Да, это есть. Вместе с тем у них там жизнь устроена так, что они могут уйти в свободный поиск. Про себя я этого сказать не могу.

Теоретическая деятельность, говорил Аристотель, — это результат досуга. У наших ученых досуга нет, нет и достаточной теоретической деятельности. Есть проект, оприходование каких-то грантов, написание отчетов по ним и т. д. В предисловии к своей последней прижизненной книжке “Общество общества” Луман написал: вот перед вами результат проекта под названием “Теория общества”, длительность проекта 30 лет, расходы — никаких. Как никаких расходов, возмущается уже упомянутый здесь мой коллега Вагнер, а зарплата ординарного профессора немецкого университета это что, по-вашему? И я его прекрасно понимаю, потому что действительно немецкий профессор работает много и тяжело, но это “много и тяжело” — совсем другое. Как я помню, Луман (я все-таки знал его когда-то) издевался на семинарах: “Вот проект, три года. Почему-то все эти проекты продолжаются три года?” И так смотрит на всех хитрым глазом. Ну, действительно, разве можно за три года сделать хоть что-то серьезное? А у нас все проекты — на год. За год можно сделать только одно по существу проекта: написать отчет по результатам работы, которую ты делал всю жизнь. Поэтому и по отношению к самому себе у меня надежд особых нет,

но и относительно состояния науки вообще у меня мысли, скорее, скорбные.

— *А вы не выделяете кого-либо среди молодых, у которых, надо признать, и подготовка лучше, и есть определенная раскованность, возможности широкого общения и главное — сегодняшняя жизнь это прежде всего их жизнь?*

— В какой-то мере я уже затрагивал этот вопрос. Когда я говорю, что не вижу никого, что процесс формирования научных имен прервался, я прекрасно понимаю, что в известном смысле это звучит несправедливо. Я знаю, что защищаются диссертации, люди читают и пишут книги. У меня у самого — современные студенты и аспиранты. Однако то, что мне приходится читать, чаще всего не вызывает интереса, хотя несколько знакомств последнего времени я рассматриваю как подарок судьбы. Надо сделать исключение. Не хочу называть имен, чтобы не сглазить преждевременными похвалами, но совсем недавно появились молодые дарования очень высокого качества. Что же до общей тенденции, то я склонен к брюзжанию. Не нравится. Предполагаю, что это возрастное. По наблюдениям, немецкому профессору, чтобы стать профессором, приходится предпринять такие усилия, продрасться сквозь такое, что, когда он наконец достигает желаемого, характер его портится окончательно, на всю жизнь. Думаю, в известном смысле я уже близок к этому состоянию.

Тем не менее (если убрать юмористическую составляющую, в которой гораздо меньше юмора, чем хотелось бы) могу сказать, что мне конкретно не нравится в работах, которые все-таки читаю. Во-первых, как человек, который старался, хотя и безуспешно, провести идею соединения ресурсов разных концепций в рамках одного теоретического рассуждения, я терпеть не могу текстов, в которых люди, прочитавшие, скажем, только Бурдые, только Лумана или только Гидденса, пишут так, будто это и есть Теория с большой буквы. Это неправильно. У каждой из этих концепций огромные недостатки. И если их создатели обладали большой теоретической продуктивностью и способно-

стью понимать реальную проблематику, так сказать, за рамками своей концепции, то уже их последователи у нас этим не обладают. Не только молодые и не только сейчас. Это было и раньше. Скажем, когда вошла в моду феноменологическая социология, первый человек, который ввел у нас эту моду, Ионин, прекрасно понимал, какая за этим стоит проблематика. Все остальные говорили о смыслах, текстах, интерпретациях, в общем не понимая, о чем речь. С Ионина все началось, и им все закончилось. Во-вторых, мне не нравится чрезмерное увлечение модной французской философией. Не сама модная французская философия (что-то нравится, что-то нет), и я был бы превратно понят, если бы из этого вывели, будто я против чтения, например, Фуко, Делёза или Бурдьё (Бурдьё я тоже отношу к французской философии в широком смысле этого слова, а не только к французской социологии). Но я считаю, что там сформировался некий стиль, который позволяет забалтывать любую тему: автоматизм текста становится сильнее, чем энергия мысли и рассуждения. Оттого что мы будем писать звучными красивыми фразами, наши рассуждения не станут более убедительными. В этом смысле, думаю, ни для кого из пишущих ныне не является примером Юрий Николаевич Давыдов: он пишет звучно, даже, может быть, чрезмерно звучно, но при этом всегда совершенно отчетлива его мысль, ясно, от чего он шел, к чему пришел, как он это доказал или, по крайней мере, пытался доказать. Когда же, повторю, начинается то, что я называю “автоматизмом письма”, “автоматизмом текста”, — этого нет.

Еще один момент из тех, что я не принимаю в новой волне социальных ученых, — их социально-публицистической литературы. На мой взгляд, они отравлены вульгарной версией марксизма — подчеркиваю, не марксизма как такового. Они его “не проходили”, и поэтому для них разоблачительские концепции, основанные на так называемой культуре подозрения, обладают невероятным шармом. Условно говоря: “А вы знаете, что на самом деле за представлением о прекрасном стоит жажда власти... А вы знаете, что на самом деле человек...”. Это Фуко, который на самом деле является Ницше, который на самом деле является Марксом. Все пето-перепето. Очень скучно. Найти что-нибудь и



вскрыть, что там за ним... Если бы это был психоанализ, они бы вскрыли какое-нибудь сублимированное влечение, какое-нибудь либидо. Или депрессию. Или невроз автора. В лучшем случае, для самых продвинутых, — какой-нибудь “архетип”. Если это социологическая или квазисоциологическая литература, они вскрывают властные структуры, либо авторитет, либо собственность, либо что-то еще в этом роде. Ну, какое здесь приращение научного знания!

Протицирую самого себя, ибо именно это мое суждение стали что-то слишком уж часто цитировать другие, редуцируя до одной звучной фразы: “Теория общества — социология — это самоосмысление общества, если воспользоваться старой и, несомненно, гегельянской формулой Х. Фрайера. Я осмеливаюсь утверждать, что теоретической социологии в сегодняшней России нет. Обидным или неожиданным такое утверждение может показаться лишь тем, кто занят анализом чужих либо построением собственных концепций, что само по себе, безусловно, является теоретической деятельностью. Однако теоретическая деятельность не есть теоретическая социология. И ее отсутствие столько же говорит о науке, сколько и о самом обществе”. В одной из недавно вышедших работ, написанных как раз в том духе, который мне противен, я нашел (без указания имени, но с указанием одного из мест публикации) критику этого взгляда. Мне было указано, что есть наука. У науки есть автономия. Автономия предполагает решение научных задач. А я, значит, предлагаю решать задачи не научные, а социальные. Таким образом, возвращаюсь к старому посылу советской социологии: наука должна не истину искать, а служить обществу.

Думаю, в определенном смысле мои критики правы. Я разделяю это воззрение с советской социологией. Я разделяю его также и с нес советской социологией. Мысль о том, что служить обществу можно на пути поиска истины и что в формуле “социология есть теоретическое самосознание общества” важно каждое слово, видимо, слишком сложна. Точно так же сложна и мысль о том, что автономия науки есть априорное условие научного познания, независимо от того, откуда берется основное целеполагание теоретика. Между тем, хорошо понимая опасность аналогий, я писал о том, что теоретическая социология так же нужна обществу,

как нужна человеку возможность дистанцироваться от течения повседневности и посмотреть на себя как бы со стороны. Продолжая аналогию, скажу: отвлекаясь от течения будней, он может посвятить себя высшей математике или физике. Ему нужна автономия интеллектуальной деятельности. Но, ставя вопрос о смысле жизни, о своем характере, об отношениях с другими людьми и т. д., он — хотя и нуждается в свободе от давления непосредственной необходимости принимать решения, хотя и автономен в области нравственности, если верить Канту, ничуть не менее, чем в области теоретического познания, — все-таки автономен по-другому, не так, как теоретик. То же и с социологией. А баланс актуальности автономии может опасно смещаться от погруженности в повседневные и мнимо актуальные задачи к схоластическим интеллектуальным играм, нужным (если уж вести разговор в духе незримо витающего здесь Бурдьё) только для того, чтобы перетянуть на себя одеяло скудных социальных ресурсов, вступить в борьбу за власть номинации. Зная состояние дисциплины, я не сомневаюсь в успехе представителей обеих крайностей. Так что одни будут ставить псевдопроблемы “чистой науки”, а другие станут размахивать знаменем актуальности и также ставить псевдопроблемы социальной жизни. Теоретического осмысления и самоосмысления общества не предвидится.

— *Общество не осмысливает себя? Живем быстрее, чем мыслим?*

— Общество не нуждается в инстанции теоретической саморефлексии, которая использует ресурс теоретической социологии — ни в смысле понятий, ни в смысле объяснительных схем. Это не значит, что такой инстанции вовсе нет и быть не может. Но то, что есть и что может быть, оказывается и еще окажется, скорее всего, ресурсом иной дисциплины или группы дисциплин. Может быть, и социология еще не сказала у нас не только последнего, но и предпоследнего слова. Но ей придется, боюсь, прибегнуть к маскировке. Некогда она маскировалась у нас под видом литературоведения. Потом пришел черед истории социологии. Впереди еще может оказаться философия.

В.А. Рыжков

“Люди не живут без идеалов”

— Вас, Владимир Александрович, не надо представлять ни научной, ни широкой аудитории. Вы, несмотря на еще молодой возраст, уже много лет в политике, при этом в ваших выступлениях и публикациях всегда проявляется не только приверженность исторической науке, но и неподдельный интерес к анализу современной ситуации на исторической основе. Многие сейчас говорят, что мы переживаем критический момент в истории цивилизации. Вы с этим согласны?

— Конечно, наше время критическое, впрочем, как и все времена. В этом смысле оно уникально только тем, что имеет свои черты, отличающие его от, скажем, довоенной или послевоенной эпохи, и главные из этих черт уже достаточно хорошо проанализированы. Нас, я думаю, прежде всего должно интересовать, насколько сопоставимы тенденции мирового развития и российские реалии. И тут не может не беспокоить, что еще, казалось бы, недавно считалось: Советский Союз — система закрытая, но современная; да, у нас тоталитарный режим, коммунистическая диктатура, но при том по большинству параметров мы современная нация, у нас высокие технологии, космос, информатика, скоростные поезда, крупная промышленность, у нас завидный уровень образования, мощная литература и самое читающее население... Одним из разочарований последних 10–15 лет стало то, что это представление оказалось сильно преувеличенным, причем как со стороны Запада, так и со стороны самой России. В советской реальности были отдельные сегменты современности, но на самом деле доминировало непомерное отставание от стран, ушедших далеко вперед в области технологий, знания,

уровня и качества жизни. Наша экономика вроде бы и пытается преодолеть разрыв, тем не менее он только увеличивается. Наши гуманитарии — политологи, социологи, историки — переводят книги, меняют учебные программы, осваивают какие-то методики, методы, терминологию и т. д., — но где он, наш современный мыслитель?

— *И это не кризис?*

— Нормальное состояние: мы расплачиваемся за XX век. За изоляцию, за плановую экономику, за политическую систему, закрытое общество, идеологизированное образование. В XX веке мы много чего наблюдали в нашей стране, может быть, больше, чем любая другая из великих наций. Теперь платим по счетам, в частности наше поколение.

Возрастающий разрыв между нациями, ушедшими вперед, и теми, которые не могут адаптироваться к ускоряющемуся, глобализирующемуся миру, — одна из важнейших тенденций мирового развития. И очень беспокоящая. Характерно, что бедности как таковой сейчас намного меньше, почти нигде не умирают от голода (что, скажем, 30–40 лет назад было массовым явлением в Африке, в Южной, Юго-Восточной Азии), но чудовищными темпами нарастает разрыв между бедными и богатыми странами. И проблема заключается в том, что очень трудно понять причину этого нарастающего разрыва, трудно объяснить, почему отдельные нации преуспевают в современном мире, а другие безнадежно отстают, почему одни культуры оказываются способными к восприятию высоких технологий, образования, стандартов, типов поведения, другие — нет. И я очень боюсь, что Россия все больше и больше попадает в число тех, кто не успевает, не может конкурировать. При этом, на мой взгляд, важно осознавать, что такого понятия, как “нация в целом”, или “страна в целом”, — нет. Есть сегменты. Тут я сослался бы на книгу Харрисона и Хантингтона “Культура имеет значение” — результат их исследования в десятках стран, на протяжении почти десяти лет. Их центральная тема — как раз выявление, скажем, в одной и той же отрасли одной и той же страны как безнадежно отстающих сегментов — по поведению, мотивации, способности к самообучению, так и тех,

которые легко вписываются в современный мир. И авторы считают: чтобы какую-то нацию, какую-то страну успешно трансформировать, модернизировать, важно уметь найти легко адаптирующиеся, готовые к конкуренции и т. д. индивидумы и группы, пытаться расширять их число, улучшать состав и опираться именно на эти силы. В России такие люди и группы есть, я могу привести конкретные примеры из практики своего региона — Алтайского края, где родился, вырос и от которого избираюсь в Госдуму.

— Ну а как с остальными людьми?

— Вот в том и проблема, и мне кажется — одна из ключевых для России: это косность, в широком смысле слова, традиционное свойство нашей российской культуры.

— И вы считаете, что косность в частности и российская культурная модель в целом не согласуются с западноевропейской или американской моделью?

— Вы знаете, что Хантингтона часто представляют как автора концепции конфликта цивилизаций, несовместимости православной, католической, конфуцианской культур и т. д. Сам же он говорит, что это абсурдная постановка вопроса. И я с ним согласен. Когда-то отсталость Азии объясняли конфуцианской культурой, потом, когда “молодые драконы” (Южная Корея, Япония, Тайвань, Малайзия, Тайланд) совершили свой фантастический прорыв, их процветание и успех стали связывать с возможностями именно конфуцианской культуры, конфуцианской трудовой этики. А когда в 1997 году Юго-Восточная Азия рухнула, опять стали объяснять этот крах конфуцианской культурой, которая слишком корпоративистская, слишком общинная, слишком семейная (что и заставляло давать плохие кредиты родственникам и друзьям). Этот пример, на мой взгляд, наглядно иллюстрирует, что такие макропонятия, как конфуцианская или православная культура, ничего не объясняют, потому что внутри той же конфуцианской культуры есть более мелкие сегменты, которые на самом деле дают нам более богатую, разнообразную и гораздо более точную

картину. Есть сомнения и в веберовской схеме: протестантская этика способствует утверждению капитализма, католическая — препятствует. Согласитесь, что к таким, скажем, очень католическим странам, как Италия и Испания, это вряд ли применимо. В Италии одна из крупнейших экономик мира, по своему техническому, предпринимательскому уровню она соответствует самым высоким стандартам. А Испания после смерти Франко демонстрирует просто чудеса. За последние 20 лет — это самая успешная страна Европы с точки зрения перехода от полузакрытой экономики к открытой, от авторитарного режима к гражданскому обществу и т. д.

Так что, суммируя, можно сказать: серьезнейшая проблема современного мира заключается в том, что жизнь ускоряется невероятно, феноменально, и это еще больше сегментирует общества и страны. Кто-то успевает, кто-то не успевает, причем внутри успевающих стран есть миллионы людей, которым трудно адаптироваться. Откуда взялось нынешнее антиглобалистское движение? Это движение тех, кто не успевает, — ведь оно зародилось в самых развитых странах, это часть их общества, ее протест против нового мира. И в такого рода процессах Россия, как мне кажется, еще до конца не раскрылась. Она еще полуспит-полупроснулась.

У нас некоторые специалисты уже говорят о том, что традиционные конфликты 90-х годов минувшего века, к которым мы привыкли (коммунисты и демократы, реформаторы и консерваторы), возможно, в “десятые” годы этого века сменятся какими-то другими противостояниями. Скажем, работодателей и работников, труда и капитала, большого города и малого города.

— *Это вы рассматриваете как новые конфликты?*

— По отношению к 90-м годам. Я говорю о том, что сейчас, по мере того как мы удаляемся от советского и накапливаем новый социальный опыт, будет в принципе меняться “общественная повестка”, и разлом пойдет как раз по тем группам, которые “успевают” и “не успевают”.

— *А успевают и не успевают — куда?*

— Идти в ногу с этим веком, с новым временем.

— *С Европой?*

— Не обязательно с Европой. Можно сказать — с Японией. С современным миром, который требует от вас знания английского языка, например того, что такое e-mail, SMS, требует, чтобы вы много читали и всю жизнь учились, чтобы вы были готовы оставить эту квартиру и этот город и уехать в другой, где вас ждет конкретная работа или контракт, чтобы вы искали грант, писали бесконечные проекты (что вы наверняка сейчас уже и делаете).

— *Вы, конечно, имеете в виду прежде всего свое поколение, которое разочаровалось, вдруг обнаружив, насколько несовременна Россия, которое “платит по счетам” за деяния предшественников. И спешит, спешит... А действительно — во имя чего, Владимир Александрович? Чтобы выжить, не сойти с орбиты несущегося современного мира или как-то иначе устроить этот мир, полагаясь на свои возрастающие возможности или на новые идеи? Согласитесь, что у тех же “шестидесятников”, о которых многие сейчас отзываются крайне скептически, было нечто за душой. К чему-то стремились, чего-то добились, но многое оказалось иллюзией. В итоге — глубокий пессимизм, время ушло (а вы говорите, что вы расплачиваетесь). Теперь ваше время. С какой долей оптимизма или пессимизма вы его рассматриваете? И что за душой у вас, у вашего поколения?*

— У меня диаметрально противоположный взгляд — я глубокий оптимист. Я считаю, что на самом деле сейчас, пожалуй, вторая счастливая эпоха в истории нашего народа и нашей страны. Первая была с 1861 по 1917 год, потому что пореформенная Россия, Россия Александра II — это действительно критическое время: огромный прорыв к свободе, праву, гласности, местному самоуправлению, то есть прорыв к гражданскому обществу, о чем прежде и говорить было невозможно. Россия шла очень мощно. Более

того, при Александре III произошли колоссальные перемены в экономике. То, что делал Витте в экономической сфере, — это огромный успех. Потом новый прорыв — и мы получили первую в нашей стране конституцию, многопартийность, первый парламент, появились профсоюзы — в результате стечения ряда обстоятельств, которые нам хорошо известны.

И вот два последних неполных десятилетия уже нашего времени — они уникальны. Это вторая в российской истории демократия за тысячу лет. Первая просуществовала всего 12 лет (с 1905 по 1917 год) как система с элементами политической демократии. Вторая исчисляется у нас с 1989 года. Вот практически четверть века за десять веков истории. Что мы видим? При распаде империи мы, в общем-то, обошлись без большой крови — в отличие, скажем, от Югославии. Мы, как это ни странно, все-таки довольно неплохо смогли разделить государственную собственность — в том смысле, что через 10 лет большая ее часть управляется достаточно эффективно, по крайней мере по российским меркам. По-крупному приватизация дала положительный результат (хотя думаю, что 99 процентов из тех, кто услышал бы это, бросил бы в меня увесистые камни). Конечно, в ряду тех 160 стран, которые формально являются демократиями, мы в лучшем случае в середине — с точки зрения качества нашей демократии. Не просто как системы выборов, а как системы, где контроль за властью осуществляет сильное гражданское общество. Лучше, чем казахская демократия, но хуже, чем болгарская, лучше, чем белорусская, но хуже, чем польская. Мы находимся среди отстающих восточноевропейских демократий, но это огромный шаг вперед по сравнению с советской тоталитарной системой. Более того, это огромный шаг и по сравнению с николаевской конституцией.

— *Что-то мы все время сравниваем себя с николаевской Россией.*

— А больше не с чем. Если начнем сравнивать себя с современным постиндустриальным миром, то мало что поймем, на мой взгляд, поскольку слишком велик разрыв.



И сравнивать нас, скажем, с Францией, имея русскую историю и французскую историю, невозможно: у нас не было III, IV, V республик. А если вернуться к сравнению с николаевской Россией (я имею в виду Николая II), то можно сказать, что наш нынешний институт парламентаризма мощнее (при всей своей слабости), чем был тогда; наш политический класс больше готов к компромиссам, что очень важно; есть еще много других обстоятельств, и может быть, главное — мы не ведем мировую войну, и это гарантирует от новой большевистской революции, распада страны и т. д. Есть шанс, что все-таки мы будем двигаться вперед. Мне понятен пессимизм “шестидесятников”. Это талантливые, сильные люди, с очень ясной системой ценностей, гуманистической в своей основе, и, конечно, им тяжело сознавать, что их огромные ожидания, усилия, их очень трудная и сложная жизнь на самом деле не привели к реализации их идеалов.

— *Это не значит, что с ними уходит и сам идеал?*

— Ну, так не бывает. Люди не живут без идеалов. Дизраэли говорил: “Нациями движет воображение”. Могут на какой-то период победить цинизм и прагматизм. Но только на очень короткий период — три, пять лет, когда в обществе, кажется, утверждается мнение: никакой идеологии, никаких новых идей, вот я, моя семья, мой огород — слава богу, мы дожили до того, чтобы заняться только собой, своим частным миром. Но это приводит к тому, что человек на дорогом “мерседесе” едет по улице и бесконечно объезжает ямы, колдобины и коррумпированных “гаишников”. Невозможно создать рай в своей семье, если вокруг воровство, цинизм, коррупция. И человек задается вопросом: я-то, в принципе, в порядке, а почему же вокруг такое, мягко скажем, неблагополучие?

Нет, люди не могут жить без идеала. Вот сейчас, вы видите, все ударились в православие, так что оно аж бьет из всех телеэкранов — храмы, храмы, кресты, купола, маковки, ладаны, свечечки, все курится, патриарх докладывает президенту в прямом эфире, что Иисус воскрес... Кстати, это тоже одна из российских традиций: симфония Власти

и Церкви (вместо их конкуренции, что в западной традиции). Экзальтированный патриотизм сейчас в моде. Все начали креститься, поститься, чаще всего даже не вникая в суть этой символики. Но и такая мода говорит о том, что идет какой-то поиск идеала. В общем-то хорошо и важно, если он идет и в сфере религии, но настоящее стабильное гражданское общество строится, конечно, вне религии, принципиально. Оно должно базироваться на определенных светских ценностях, как принято говорить, на ценностях предпоследнего порядка.

Мой идеал — современная европейская Россия, которая интегрирована в мир, которая открыта, терпима. Я не верю в предопределенность, что мы — православная цивилизация, взявшая от Византии ее внешнее величие и внутреннюю гнилость, поэтому обречены быть пьяными, бедными и отсталыми. Вся история опровергает эти измышления. Да вот даже одна и та же цивилизация: Китай при Мао-Цзэдуне и Тайвань. Или Сингапур. Один и тот же народ, те же самые китайцы. И что это доказывает? Ничего, что говорило бы о предопределенности народной судьбы. Поэтому на самом деле все зависит от тех, кто сейчас живет, действует, движется...

Хочу отметить, что я высоко ценю Горбачева и Ельцина (тоже сейчас непопулярная точка зрения). Это два великих исторических персонажа, история еще воздаст им должное, ибо после их 15 лет возврат России к тоталитаризму принципиально невозможен. Люди, сформировавшиеся в те годы, органически чужды тоталитаризму.

*— А вам не кажется, Владимир Александрович, что вы несколько идеализируете самого человека? Ведь многие, в том числе, а может и прежде всего, молодые, связывают свой идеал как раз с авторитаризмом, насилием.*

— Это не так. И в самом молодом поколении — 15–16-летних — вы найдете любые типажи. Опять-таки нельзя говорить вообще о России, вообще о молодых.

*— Вы различаете социальные миры новых поколений?*

— Конечно. Я, например, безусловно из поколения перестройки, которая в наибольшей степени повлияла на мою общественную, политическую и личную философию. Когда Горбачева избрали генсеком, я был студентом второго курса истфака Алтайского госуниверситета. Интересовался политикой, много читал, был общественно-активный. Боролся с размещением “першингов” в Западной Европе, за мир во всем мире. Типичный советский молодой человек. Но серьезный прорыв, действительно революция в мозгах, катарсис связаны были с Горбачевым, полным пересмотром истории. Потом появился Ельцин, статьи Гавриила Попова в “Огоньке”... Фактически мое мировоззрение сложилось с 1985 по 1990 год.

Поколение 90-х годов, для которых прорывом стала приватизация, на мой взгляд, циничнее: оно гораздо в большей мере ориентировано на жизненные блага, дачи, машины, серфинг, горнолыжные курорты. В период нашего формирования еще не было бизнеса, частной собственности. Время чистых идеалов. Сохранялось советское общежитие: все мы жили в нашей стране, в панельных домах, ездили на троллейбусах, покупали молоко в треугольных пакетах; революция в мозгах уже произошла, а денег практически не было. Следующее же поколение сформировалось в следующие пять лет, когда уже появилась собственность, когда на передний план вышли совсем другие вещи. По приверженности каким-то ценностям, по приоритетам я все-таки ближе к “шестидесятникам”, для меня идеальный мир важнее, чем материальный. А вот для тех, кому сейчас 25–30, по всей видимости, материальное важнее (это моя гипотеза, она требует проверки).

— *А если обратиться к поколению, которое перед вашим, кому сейчас за сорок?*

— Оно, как мне кажется, в большей степени воспроизводит брежневские модели поведения. Это, скажем, те, кто тогда еще не успел стать партийным функционером, но уже был высокопоставленным работником в обкоме, горкоме комсомола. У них есть корпоративная солидарность, и они каждый год в своей компании отмечают День

комсомола. Как правило, они сейчас успешные банкиры, бизнесмены, их довольно много в органах власти. Соригированы на карьере, на материальный достаток. И очень лояльны власти, никогда не пойдут против системы. Лояльность — их безусловная ценность. Они достаточно прагматичны, с душком цинизма, но не абсолютные циники. Для них большое значение имеет профессиональная состоятельность. Достигнув определенного уровня, не хотят падать вниз, но и не пойдут на серьезный риск, чтобы выйти на следующий уровень. Вот “молодые волки” в гораздо большей степени готовы рисковать, сутками “пахать”, спя в самолетах, идти на захват, экспансию и т. п. Сорокалетние так не могут, у них совершенно другая трудовая этика. Такие советские, успешные, лояльные приспособленцы.

— *И как, на ваш взгляд, Владимир Александрович, взаимосвязаны этот человеческий потенциал и, прямо скажем, пока неутешительные итоги реформирования России?*

— Я все-таки и в этом отношении оптимистичен, хотя, конечно, ситуация тяжелая. Настораживают и беспокоят не только нарождающиеся негативные тенденции, но и то, с чем мы давно знакомы. Страна во многом остается изолированной (это мы видим на конкретных примерах). Катастрофически не хватает людей с современным образованием, притом у нас огромное чувство самодовольства, мы по-прежнему внутренне считаем себя великими.

— *А какие у вас, у вашего поколения на то основания?*

— А что? — все хорошо. Сейчас ведь молодые доминируют в бизнесе, начинают доминировать в политике. Мое поколение, посмотрите — оно всюду. Возьмите лист высшего менеджмента, сто крупнейших компаний России — это все мое поколение. Люди ворочают миллиардами, становятся губернаторами, среди вице-губернаторов уже сотни моих ровесников — почему же не быть довольными со-

бой? Но при том фундаментально-то Россия остается страной несвоевременной. Но это не осознается моим поколением. Вот в чем проблема. Я как оптимист считаю, что все-таки ситуация заставит нас стремиться к большей конкурентоспособности; просто даже в поиске более высоких заработков, доходов люди начнут получать хорошее образование. Такая потребность уже есть. Сейчас в московских крупных фирмах большой спрос на людей с английскими и американскими дипломами МВА, потому что они на голову выше наших доморощенных менеджеров — принципиально другие методы, методики, подходы к пониманию бизнеса, да и самой жизни.

Рынок требует прорыва, но Россия движется очень медленно. И по причинам не только экономическим. Приведу пример. Лет пять уже я участвую в Давосских форумах как эксперт и могу сказать, что Россия там практически не представлена интеллектуально. Мы видим в Давосе огромное количество индусов — бизнесменов, политологов, культурологов, физиков, математиков. В последние годы там большое число китайцев, не говоря о японцах. Есть аргентинцы, испанцы. И нет русских. Российская интеллектуальная жизнь все больше и больше отстает, отрывается от мировых тенденций. Замыкаемся в себе, обсуждаем какие-то свои вопросы, пережевываем старые проблемы, но не включаемся в глобальный контекст. Наша наука мало включена сейчас в глобальный контекст, наши эксперты не котируются. Включенных, ну, может быть, человек сто на всю страну, очень мало. Это проблема людей. И общества. У нас самодовольное общество, которое как раз считает, что мы самодостаточная православная цивилизация. На деле же нет установки на интеграцию. Нет установки на интеграцию в нас самих. Нам комфортнее здесь, у себя. Мы конкурируем между собой, с другими не хотим, нам это сложно. А кто хочет конкурировать, тот уезжает, порывает связи с Россией, живет там и пишет там. Никогда ведь не наблюдалось такого сильного разрыва. До советского времени наша элита была достаточно хорошо интегрирована. Петр Струве писал в германские газеты, в научные журналы, и это было нормой. Таких людей и тогда, правда, насчитывалось не так уж много. Но сейчас их почти нет.

У моих знакомых есть попугайчик; сидит в клетке, дверца открыта, а он не выходит. Ему хорошо там. Висит колокольчик, висит зеркальце — и он сутки проводит, шагая по маршруту от колокольчика к зеркальцу. И еще к кормушке. Посмотрится в зеркальце, дернет колокольчик, поест, попьет, поспит.

— Он наверняка уже взрослый, даже пожилой. Поколение “шестидесятников”, так сказать. А когда он молод, то рвется из этой клетки, вылетает из нее при первой возможности, бьется об оконные стекла, пожирает книги на полках, и ни за что его не загнать назад, в клетку. Когда же он потихоньку стареет, все эти книжные полки ему уже не интересны, в клетке привычнее, спокойнее. Но вы-то молоды...

— А ведем себя, как этот пожилой попугай. Нас вполне устраивают зеркало и колокольчик. И совсем не хочется вылетать. Вот раньше клетка была закрыта и попугай мог бы сказать: “Ах, как бы я полетал, показал, что не хуже других”.

— Вам не напоминает это реальную ситуацию 1986–1989 годов, когда у тех же обществоведов появилась возможность открыто сказать то, что прежде говорилось “на кухне”, опубликовать то, что писалось “в стол”? Сказали, вынули, опубликовали. Хватило на 2–3 года. Все. Дальше пошли по кругу. Хороший социолог Нина Федоровна Наумова (к сожалению, уже ушедшая из жизни) говорила тогда: началась перестройка, время действий, но оказалось, что мы не знаем своего общества, мы его не описали; слов было много, а вот просто заняться изучением, описанием, чтобы знать, с чем имеем дело, — нет...

— Действительно, казалось, дайте нам свободу, и тут уж мы покажем, на что способны. А в итоге — свободу дали, а летать почти никто не хочет и не может. Сидят на жердочках. В принципе, ведь все довольны. И молодежь тоже, потому что есть пиво “Клинское”.

— *Это, видимо, уже юное поколение.*

— Да, можно потусоваться, в кино сходить, пивка попить. Жизнь замечательна... Мое поколение сейчас руководит экономикой страны — и тоже все хорошо. Другое дело, как я уже говорил, что у этой экономики незавидный уровень, как и у товаров, услуг, которые мы имеем. Но ведь покупают же — в чем вопрос? В России практически нет High-Tech, который экспортируется. Книги наших авторов издаются на Западе? Почти нет. Мы пишем о своем для своих, восторгаемся в рецензиях, но когда сравниваем, над чем думает мир сейчас и что обсуждаем мы, грустно становится.

— *После событий 11 сентября 2001 года в США многие говорили: “Начинается новая эпоха, все подлежит переосмыслению, все начинается с нуля”. Как, по-вашему, те настроения сказались на нашем образе мысли?*

— Это стало мощным толчком к анализу. Все как бы заново перечитали старые книжки, и сразу выявились провалы, пустоты. Это и есть Событие с большой буквы, из тех, что провоцируют переоценку ценностей. Много поднялось и легло на то же самое место, а что-то изменилось. Мы серьезно задумались о диалоге культур, об исламе. О том, что новые технологии плохо защищены от террористов, что современные государства неэффективны, требуется сотрудничество между ними. Многие вещи получили новую акцентировку. Изменился сам тип мышления в смысле его глобализации. И в этом отношении можно говорить об 11 сентября как начале новой эпохи.

— *Переосмысливается, кажется, и сама идея демократии. Говорится о том, что хваленая европейская демократия дошла до некоего своего предела и требуется уже нечто иное. Вместе с тем довольно распространено утверждение, что новых социальных идей сейчас вообще нет. Ваше мнение?*

— То, что мы видим сейчас в Западной Европе, — из области невозможного. Этого не было никогда и нигде в

истории: чтобы различные нации вдруг сняли границы, ввели единую валюту, управлялись демократическим образом; стабильно, процветая, с регулярной сменой власти, не подавляя никакие точки зрения. В Испании есть провинция, где заседают депутаты от трех баскских партий. Спрашиваю: “А какую цель вы перед собой ставите?” — “Выход из испанского государства”. — “То есть, вы за разрушение испанского государства?” — “Да”. — “Вы против конституционного строя?” — “В этом смысле — да”. — “Вас никто не запрещает?” — “Нет”. В стенах парламента заседают люди, которые открыто выступают за развал государства, — и ничего, государство живет. Конечно, в современной Европе свои проблемы, их много. Очень большая угроза — ультраправые течения. Еще одна угроза, о которой говорит Дарендорф: ключевые решения принимаются в институтах, которые не являются демократически избранными. Скажем, Брюссельская европейская комиссия никем не избирается, а она уже на 70 процентов определяет экономическую жизнь европейцев. Или проблема транснациональных корпораций, никому не подчиненных, более того — вообще анонимных. Известная Nokia не является финской компанией, у нее штаб-квартира находится в Хельсинки, а акционеры распылены по всему миру; но Nokia — это на 30 процентов больше, чем бюджет Финляндии, и если завтра эта анонимная компания примет решение уйти из Финляндии — рухнет бюджет страны. Тот же МВФ не подчинен никакому демократическому общественному контролю, а может, например, спасти Аргентину или ее погубить. Случаются и кризисные моменты. Но говорить о том, что демократия умерла либо может умереть от старости? Один лишь пример с Ле Пеном в ходе выборов во Франции показал, насколько жизнеспособна современная демократия.

Вот сейчас расширяется Европейский союз; в нем 25 стран, а Жан Монне и Робер Шуман создавали его как союз шести стран. Каким он должен стать теперь? Проблема. И возникает политическая идея: создать Европейский конвент, где были бы собраны лучшие мозги Европы и самые умные, опытные, мудрые продумали бы, как Европу шести превратить в Европу двадцати пяти, чтобы она ра-



ботала как одно государство. Интересно? Вот вам новая социальная идея, и она уже реализуется. Появляется еще одна идея — создать евронацию (euronation) и воплотить ее в институтах, Европейском парламенте, интегрировать туда другие культуры.

Это же совершенно новый мир. Как же нет новых социальных идей? Будут новые вызовы — будут новые проблемы — будут новые идеи. И появятся люди с конкретными именами, которые всем этим займутся и, несомненно, войдут в историю. Наверняка, например, Жискара д'Эстен, глава Европейского конвента, воображение и талант которого помогают “придумывать” Общую Европу, и это будет Европа XXI века.

— *Все прекрасно, кроме того, что в вашем рассказе нет России. Опять ее нет в счастливой сказке.*

— Россия идет в том же направлении. По пути демократии.

— *И этот ее путь еще долг?*

— На самом деле он бесконечен. Демократия вечна. Да, Россия движется достаточно медленно, с довольно большим числом ошибок, провалов и неудач, очень болезненно. Мы легко отказываемся от своих решений, все переедываем, потому это движение еще и хаотическое. Но в правильном направлении. Надеюсь, к году 2050-му Россия станет развитой крупной европейской страной, во всех отношениях — экономическом, культурном, технологическом. И надеюсь, она выживет как единая страна.

— *Что есть сейчас в России такого, что дает вам основания для этих надежд?*

— Два главных основания. Первое: мы перепробовали уже все самые ужасные пути, мы их отбраковали. Остается не так уж много вариантов. И мы, на мой взгляд, избрали наиболее правильный — пытаемся строить открытое общество, открытую экономику, интегрироваться в миро-

вые глобальные институты, модернизироваться. И второе основание: если мы хотим просто выжить как народ, то должны стать современными. Иначе говоря, сама жизнь заставляет делать для этого все необходимое. К тому же географически мы расположены так, что с Запада и Востока наши соседи идут именно этим путем. У нас нет других примеров.

— *Некоторые склонны связывать успех движения и с таким основанием, как уход старших поколений, которые якобы сдерживают его уже в силу своего менталитета, своей идеологической настроенности. Вот когда действительно хозяевами жизни станут новые силы...*

— С моей точки зрения, это очень примитивизирует наше общество. И в моем поколении есть люди (их по-прежнему большинство), которые воспроизводят тот же культурный тип: общественная апатия, абсентеизм, патернализм, ненависть к начальству и одновременно рабская покорность, нежелание что-то менять. А в старших поколениях я нахожу близких мне по взглядам. Немало примеров, когда современные люди разных поколений делают общее дело, чтобы изменить страну. И это межпоколенческое сотрудничество гораздо важнее, чем сидеть и надеяться, что вот эти уйдут, а эти придут и будет другая страна. Та же самая будет страна, а может, и хуже. Надежда на смену поколений, на мой взгляд, не имеет серьезных обоснований. Я бы сказал так: проще, конечно, изменить сознание тех, кому сейчас 30, чем тех, кому 60. Но это потенциал. Далеко не факт, что он будет реализован. Ясно, что новые силы не согласятся со сталинизмом в новой форме. Но далеко не ясно, что это поколение создаст новую Россию — процветающую, конкурентоспособную. Это не аксиома. Это теорема, которую еще предстоит доказать.

Все не так однозначно. Возьмите, например, Германию. Раньше, во времена “железного занавеса”, там была в ходу формула: “Один народ, две страны”. Теперь новая формула: “Одна страна, два народа”. Ведь восточные немцы как были “советскими” по своему мышлению, так и остались. Психологический, культурный разрыв пытались ликвидировать,

завозя тысячи людей — учителей, судей, юристов — с Запада на Восток, уравнивая возможности получения работы, повышения зарплаты. Сейчас депутаты в земельных ландтагах на Востоке получают столько же, сколько и депутаты в Баварии. И что изменилось? Они купили и построили себе дома — дорогие, большие. А разрыв не сокращается. И там думали, что “гэдээровские старики” уйдут, а уже их дети будут западными немцами. Сколько лет прошло, а дети такие же, только еще более отчужденные, озлобленные, растут неонацистские настроения.

— *А на что надеетесь в этом связанном с человеком отношении вы? Отыскивать, как говорили вначале, отдельных людей и отдельные группы, расширять их число?*

— Так всегда и было. Как менялись общества? Та же немецкая нация после войны была в полной фрустрации. Как ее удалось собрать? Нашлись тысяча, две тысячи человек, сам Аденауэр, сыгравший колоссальную роль, Эрхард. Япония в 1945 году: тысяча молодых офицеров нашли в себе силы изменить всю страну. Такая возможность не закрыта никогда. Это то, во что я верю. Думаю, я один из тех, кто пытается что-то изменить и у нас, в той мере, в какой хватает понимания и сил.

— *Вы говорите о сознательной коррекции социальных процессов? Насколько она возможна? Не могли бы вы в этой связи несколько подробнее рассказать о собственной политической, общественной, научной деятельности? Какие темы, проблемы, идеи выдвигаются для вас на первый план?*

— Первая объемная тема, которая интересует меня как историка и политика, — это судьба гражданского общества и его институтов. Когда они встанут на ноги, только тогда можно будет решать задачи создания у нас современной демократии — не по названию, а по существу. Непосредственно с ней связана и другая тема — политическая система, которая либо способствует утверждению гражданского общества, либо подавляет его развитие. Консти-

туционный дизайн в очень большой степени предопределяет общественное развитие. Возьмите, например, наше общество и болгарское. Десять-пятнадцать лет назад, на стартовой позиции они мало отличались, мы были почти обществами-близнецами. Сейчас же в Болгарии гораздо более устойчивая и качественная демократия, и одной из причин является то, что они избрали для себя модель парламентской республики, которая стимулировала быстрое создание многопартийной системы, сильную роль парламента. Левые меняли правых, правые — левых (за 90-е годы трижды), благодаря чему возникла политическая интрига, позволившая утвердить демократическую политику. У нас был избран другой конституционный дизайн — суперпрезидентской республики, фактически выборной монархии, — в результате с 1991 года у власти находится одна и та же анонимная группа, которая никак не идентифицируется идеологически (кроме общего расплывчатого понятия “реформаторы”), и при существующей конституционной конфигурации даже не понятно, как она может быть кем-то заменена.

В рамках темы “политическая система” я все эти годы занимаюсь проблемой федерализма, потому что в России он имеет самостоятельное значение. Я, пожалуй, согласен с Джеффри Хоскингом, который считает, что мы не сложились еще как нация гражданская, светская, как сообщество граждан, которые имеют какую-то идентичность. И в этом смысле мы остаемся постимперским государством с большой внутренней угрозой распада. Высказывается и такая точка зрения: внутри России есть порядка 20 протонаций, которые при определенном стечении обстоятельств могут поднять знамена национально-освободительного движения и взорвать страну изнутри.

Именно национальная идентичность на первом плане. Религиозная, несмотря на всплеск интереса к православию, — все-таки на периферии (это фиксируют и социологи). Потому федерализм важен — для меня в том числе — не только как система взаимоотношений центра и регионов, а как средство, гарантия сохранения единой России. Федерация — наиболее мягкая модель, позволяющая до поры до времени сдерживать националистические амби-

ции. Попытка выстроить жесткую систему власти у нас приведет к росту националистической оппозиции и к опасности распада страны.

Вот то, что меня интересует, если коротко: судьба демократии в России, история гражданского общества, становление гражданского общества, политическая система. Я много пишу на эти темы, много выступаю. И уже как политик, естественно, стараюсь свои взгляды и убеждения проводить в жизнь, по мере тех сил и возможностей, которые возникают.

Очень много времени и внимания уделяю проектам просвещенческим, образовательным. Все эти годы участвую в работе Московской школы политических исследований, через которую уже прошло свыше пяти тысяч представителей молодой российской и прежде всего региональной элиты. Задача, которую мы перед собой ставим, — стимулировать у них мотивацию к собственному совершенствованию, изменению моделей поведения, разрушать стереотипы. Не могу сказать, насколько мы в этом преуспели, но надеюсь, что хотя бы один процент из этих пяти тысяч действительно вошел в современный мир и озаботился его проблемами. Это то, что для нас так важно. У себя в избирательном округе я создал Школу молодого гражданина, она существует уже три года. В своей думской работе стараюсь выдвигать и поддерживать те законодательные инициативы, которые фундаментально способствуют (или крупные идеи, которые могли бы способствовать) утверждению местного самоуправления, многопартийности, свободы слова и т. д. Смысл и роль своей многообразной работы вижу в том, чтобы делать все, что могу сделать в нашей ситуации — когда преобладают традиционная культура и традиционные модели поведения.

— *При том, что говорят: политика — “грязное дело”.*

— Это расхожая фраза. Что, Махатма Ганди был “грязным политиком”? Или тот же Черчилль делал “грязную политику”? Любой серьезный политик — это человек убеждений и идеалов, и только такие люди что-то меняют в этом мире. Другой вопрос, что политика имеет дело с

деньгами, репрессивным аппаратом, конкурентной борьбой. И там, где область идеалов сталкивается с прозой жизни, конечно, могут возникать всякого рода деликатные сюжеты. Но все сводить к ним было бы глупо.

— *И все же, Владимир Александрович, остается вопрос: многого ли в наше время можно достичь личным примером, просвещенческой деятельностью?*

— Я приведу в ответ пример из жизни своего Алтая. У нас долго не было университета и даже просто чего-либо солидного в области гуманитарного образования. И вот приезжает Брежнев вручать краю орден за рекордный урожай. Вручает, а первый секретарь крайкома Георгиев говорит: “Леонид Ильич, вы нам орден даете за урожай, а дайте нам университет”. Дали, как это ни странно. И тогда Георгиев сделал два важных дела: первое — в только что построенное, роскошное здание с конгресс-центром, столовыми, предназначавшееся горкому партии, вселил университет; и второе — выделил сто квартир в центре города в хороших домах для молодых доцентов из двух лучших сибирских университетов. Из Томска, из императорского университета, где великая библиотека и глубокие традиции, и Новосибирска, где сосредоточен был цвет науки, приехали на Алтай, в этот аграрный край с невероятно косным, застойным обществом, 30-летние кандидаты наук, талантливые историки, социологи, экономисты, математики, химики, физики, журналисты и создали замечательный университет, который сегодня, на мой взгляд, один из лучших за Уралом. А истфак был просто фантастический. Та школа, к которой я принадлежу через Седельникова—Могильницкого—Данилова—Неусыхина—Косминского, восходит к Герье, к Московскому университету 60-х годов XIX века. Это непрерывная научная школа, существующая до сих пор в Томске со своим ответвлением на Алтае. Появление университета изменило регион кардинально. Его выпускники сейчас доминируют в органах власти, бизнесе, науке, газетах и, собственно, определяют развитие края.

Это к вопросу о том, как можно изменить страну: от-

крывайте такие университеты. В том же 1973 году появился университет в Кемерово. Руководство Кузбасса палец о палец не ударило, чтобы привлечь талантливых молодых ученых. И все — пустое место... Люди все решают. Есть пять-десять современных специалистов на факультете, которые могут изменить регион. Что они сделают за пять лет со своими студентами — такой и будет народ. Преподаватель — в университете. Предприниматель — на своем предприятии. Вы — в своем институте.

— *Теория конкретных дел?*

— Плюс высокая миссия просвещения.

## С.Г. Недорослев “Высвобождение инновационной энергии — ключевой момент”

— *Позвольте, Сергей Георгиевич, сначала задать вам вопрос, так сказать, из прошлого века — о “физиках” и “лириках”. Вы только родились, а он уже был предметом споров, сюжетом для фильмов, и главное — в реальной жизни “физики” серьезно обсуждали общественно-ведческую тематику, выдвигая различного рода социальные проекты и идеи. Вам — физику по образованию, ставшему крупным бизнесменом, — сегодня это интересно?*

— Я действительно из “физиков”: учился в физико-математической школе в Барнауле, там же окончил физический факультет университета, отстраивал кафедру радиофизики, занимаясь научной работой, и, отслужив, так сказать, родному университету, поступил в аспирантуру Института электронной техники в Зеленограде. Специальность — приборы на основе полупроводников, в общем, специфическая тема. Шел, что называется, по вехам: Московская олимпиада 1980 года (поступил в университет), Пленум ЦК КПСС 1985 года (окончил университет), в 1987 году (тоже достаточно знаменательном по развитию ситуации) из аспирантуры был призван перестройкой в частный бизнес, который создал со своими же товарищами, людьми технического образования, и который развился потом в группу компаний “Каскол”. Президентом ее я сейчас и являюсь.

Почему физика? Она вообще изучает, как устроен мир. А если вы знаете, как устроен мир — нас уверяли, что мы будем это знать, когда всё выучим, — то различные его проявления и прочие частности уже не будут важны. Со-



циальные проекты, идеи... Но это шутка, конечно. А если серьезно, возьмите книжку с простым названием “Курс квантовой механики”, и вы обнаружите, что представление о физике как о мире конкретных знаний отойдет в прошлое, поскольку постигнуть квантовую механику невозможно, не обладая абстрактным мышлением, не обладая воображением, всем тем, чем должны быть наделены лирики, по нашим убеждениям. Я уже не говорю о том, что многие законы физики, как, скажем, второй закон термодинамики, основополагающие и объясняют серьезные явления, которые происходят не только с материальными телами (с шарами при столкновениях), но и в обществе, в природе. Ведь неспроста, наверное, даже в советское время у нас был очень сильный и популярный среди физиков семинар по философии, где всегда искали связь между вторым законом термодинамики и социальными процессами. База, конечно, все-таки на этом построена. Я понимаю, в Швейцарии есть порядок в том смысле, в каком представляют это швейцарцы. Но если навести его на Руси в этой системе, то другой мир просто взорвется, поскольку возрастет энтропия. И это второй фундаментальный закон термодинамики. Иначе говоря, если вы где-то наводите порядок, то обязательно где-то должен возникать беспорядок. Потому не стремитесь навести порядок на больших территориях — неизвестно, чем это кончится. Система должна быть подвижной, нежесткой, жесткая может существовать на очень ограниченном пространстве — как по объему, так и по времени.

Это интересная тема, на которую можно рассуждать бесконечно. Потому я и говорю, что физика — вообще интересно. У меня четверо детей, и я хотел бы, чтобы все они прежде всего изучали физику, потом — экономику как второе образование. Хорошо, если удастся заложить фундамент естественными науками, а дальше уже можно познавать поэзию, рифмы и все остальное. Сначала надо структурировать мозги, потом они примут и прочее. И все встанет на свои места. Если у вас есть талант — и стихи будете писать, и на пианино играть. К сожалению, чтобы поизучать физику, нужно много времени, лет шесть-семь. А сейчас время предельно сжимается. Вот и Лихачев гово-

рил, что невозможно использовать опыт своих родителей. Сегодня уже невозможно использовать собственный опыт, и это ключевой момент в развитии цивилизации. Это его разрыв. Потому в нашем бизнесе (как принято говорить), в том, чем мы занимаемся, вы должны весь день работать, а всю ночь учиться, поскольку утром, когда вы придете в тот же кабинет, что-то уже изменится: где-то, например в Штатах, Японии, в этот момент не спали, работали. Ночью нужно учиться, а днем работать. Чтобы успевать.

— *А жить когда?*

— Это и есть жизнь. А что значит жить? Только люди, наделенные глубокими внутренними комплексами — это уже психиатрия, у меня, кстати, мама психиатр, — способны разделять: здесь я живу, здесь работаю, а здесь еще что-то делаю. Так не бывает. Вы не живете, когда работаете? Люди жили и в концлагерях, в аду, но жили. Правильно? Ну, можно, конечно, засаливать помидоры в банках — это вы считаете жизнью?

— *Но четверо детей — их же надо видеть, общаться с ними...*

— И я вижу, и общаюсь. Может быть, реже, чем среднестатистический папа. Но почему вы считаете, что главный критерий духовной общности — насколько часто мы видимся? Можно ведь видеться целыми сутками и быть далекими. Я понимаю, что в массовом сознании все это, наверное, коррелирует именно с тем, “часто или редко”. Однако не обязательно то, что заложено в массовое сознание, безусловно верно. Как правило, наоборот.

— *Вот вы говорите: ночь поспал, а наутро мир уже изменился. Эти стремительные перемены заставляют, видимо, как-то иначе оценивать современные реалии и возможности, строить иные социальные конструкции? Все настойчивее утверждается: мы живем не просто в новом веке — в другую эпоху, в “быстром” мире, в условиях глобализации.*

— Я думаю, это вопрос терминов, больше лингвистический. Не случилось в истории ни одного такого века, в начале и в конце которого не было бы недостатка в определениях мира. Я убежденный в этом отношении консерватор. И глубина философской мысли пять тысяч лет назад была ничуть не меньше, чем современной. И это понятно, потому что человек как вид не слишком изменился. Морфологически он в принципе не изменился. Следовательно, ability, то есть возможности мыслительных процессов, вообще не изменились. Не сгенерировано ведь никакой новой, особо прорывной идеи. Две тысячи лет назад возникло христианское учение. А что потом? Мир потихонечку меняется, но во многих фундаментальных вещах, в том, что движет прогрессом, перемен почти нет. Прогресс — это вообще функция производная. Ну, есть диктофоны (мы тут с вами сейчас не на бересте пишем). Но вы же понимаете, что принципиально это вообще не важно. Важно для количества информации, которую вы можете усвоить, для удобства ее обработки, но все это технология, мне кажется. Как-то меняет принципиально наши представления о мире Интернет? Да нет, это неправда. Интернет — один из инструментов. Безусловно, мир всегда удивлялся инструментам, возникающим у него на глазах. Каждый век и каждую тысячу лет. Если мы переместимся на триста лет назад и хоть как-то попытаемся проникнуться тем, что было тогда, то с удивлением обнаружим, например, что ввоз арабских скакунов на равнины, где всю жизнь были только тяжеловесные лошади, по влиянию на развитие цивилизации был гораздо глубже, чем Интернет. Когда конные орды монголов стали покрывать расстояния в тысячи километров буквально за считанные дни, вообразите, как это перевернуло представление людей о мире. Все время так происходит, в том числе и сейчас, в том числе и с Интернетом. Для Гейтса и других, кто его создал, это перевернуло мир, что, конечно, важно. Наша жизнь индивидуальна, проживаема лично нами, и все, что с нами происходит, и есть то, что переворачивает мир. Но мы должны понимать, что и тысячу лет назад было так же. Да, появляются приборы на новых физических принципах, которые позволяют нам раздвинуть рамки Вселенной. Но в принципе мы и

раньше жили глобально, понимая, что все мы тут, на плоской планете; потом поняли, что она круглая. Ну и что, собственно, это изменило в нашем сознании? Сейчас можем делать какой-то продукт в подмосковной деревне и продавать его в Африке, за счет того что сокращены расстояния, издержки на перемещение продукта не такие серьезные, как были раньше. Но для человека-то в принципе ничего не изменилось.

— *Мы помним, как 11 сентября 2001 года, после трагедии в США, мир ахнул: “Все рухнуло, начинается новая эра!”*

— Ну, радикализм он во всем радикализм...

— *Вы не считаете, что произошло событие, которое перевернуло представления людей и в чем-то действительно изменило мир?*

— Нет, это не так. Чьи представления конкретно? О чем? Все очень преувеличено, в силу того что невозможно консолидировать и выразить мнение миллионов, и, как правило, выражение этого мнения узурпируется узкими группами людей. Нет уверенности, что технология сбора данных сертифицирована и настроения, мнения отражены верно. Ну, спросите меня, я же был 11 сентября в Вашингтоне, на моих глазах упал самолет и т. д. А что это изменило?

— *В вашем представлении о жизни, о мире...*

— Вообще ничего. Мы нормально два часа простояли в пробке. 14 сентября первым же рейсом я вылетел на заранее назначенную встречу с представителями компании, для которой мы строим самолеты. И мы провели запланированное производственное совещание, естественно, почтив память погибших...

— *А что-то вообще производило на вас сильное впечатление, влияло на ваши настроения, представления, в конце концов — планы?*

— Об этом я и хочу сказать. Два события накладываются очень серьезно в жизни любого человека (не знаю, как это происходит, пусть будет линейно). Давайте рисовать. Здесь, по оси абсцисс, будем откладывать возраст, а здесь — какие-то представления человека, вернее, это функция от его изменения. Вот вам пять лет стукнуло, да? Это серьезное изменение, здесь рождаются представления о мире. Вот вам двадцать, вот сорок лет, восемьдесят, сто... Здесь, на возрастной оси, масштаб сто лет, а на другой — миллион: это эволюция цивилизации, человека как вида. Если миллион лет тоже разбить на отрезки, сначала будет более-менее ровная линия — нарастают серьезные изменения, на это нужно, ну, полмиллиона лет; потом как бы резкий скачок — значит, появилась палка в руках, понятно, что уже можно кормиться на качественно ином уровне, исчезает проблема выживаемости. И что в сравнении с этим наши сто лет? Если в масштабе нарисовать вот этот маленький период жизни человека и круглую кривую серьезных изменений, то что же он скажет вам об этих изменениях, если для него — он эгоцентричен — драматически мир менялся с возрастом, вот на этом небольшом отрезке. Вот здесь мама за руку в детский сад водила, а здесь уже почему-то перестала — это принципиально иное. Здесь ты физически умирали без родителей, а здесь они без тебя умирают. Эти драматические изменения в жизни каждого человека настолько подавляюще несравнимы с тем, что там происходит в мире... Ерунда: Интернет или лошади арабские.

Один умный человек сказал мне, когда я советовался с ним, чему учить своих детей: “Древнегреческому языку”. Это очень мудро. Я битый час выкладываюсь на беговой дорожке, чтобы выдержать темп, который себе задал, и три часа ночью на ней же сплю, чтобы никуда не уезжать, не отвлекаться, — это как бы очень важно, сегодня на такой суёте все строится. И круг моего общения — три заместителя, которым надо успеть что-то сказать, отдать, в чем-то их проверить. Плюс еще ряд людей. И я вообще не вижу, мне не интересно, что где-то там происходит. А наверное, много чего происходит... Слава богу, если в двадцать, вернее, в пятнадцать лет постигнешь основы древнегреческого и можешь без субъективизма переводчиков, по

своему выбору прикоснуться к тому, что люди выработали, скажем, пять тысяч лет назад. Для человека это важнее, если не в данный момент, то позже, в старости.

Один мой друг, которому за девяносто лет, — для меня как машина времени. Я его спрашивал: “Интересно, а что я буду чувствовать в сорок лет? Вот в двадцать восемь я чувствую то-то, а что люди чувствуют в сорок? А в пятьдесят? В шестьдесят?” И он мне рассказывал. Вот здесь больше изменений, и этот мир — внутренний мир человека — интереснее. Что там Интернет! Вот придумали электропечку, в которой не горячо, а все кипит. Ну, это тоже изменило мир, нам говорят, домашних хозяек. Да ничего это не изменило. Тысячу лет назад жарили курицу на огне и сегодня сырую ее не едят. Как раздирали эту несчастную курицу, так и сейчас раздираем. Что изменилось в культуре человечества? Как-то не могу искренне ответить, что я потрясен уровнем, вернее, динамикой мирового развития.

*— А как складывался ваш социальный мир? Что вы склонны считать определяющим для вашего времени и поколения? Ориентируетесь ли на какую-то референтную группу, менялась ли она с течением времени?*

— Да, мама тоже водила меня за руку, потом вдруг я — один на улице, уже сам могу себя защищать, могу, наверное, поскольку молод и жесток, и напасть на человека из каких-то там смутных соображений. Это этап отрочества. При том интенсивное познание всего, читается 15 книжек из папиного портфеля в неделю, и ждешь, какие он тебе еще из библиотеки принесет. А что-то в это время менялось: было подписано соглашение о стратегических и наступательных вооружениях, Картер встретился с Брежневым, поцеловались. А я знал только одно — что я один на школьном поле, где горит костер, что я молодой, сильный, штангу могу поднимать и вообще... Потом годы учебы в физико-математической школе, мир тригонометрии, геометрии, разрезания плоскостями сложных фигур, изучение законов, по которым устроен мир, интерес. Выясняется, что — хо-хо-хо! — значит, все это ерунда, что мы там костры жгли и в битки играли. Вот он — мир, наконец-то.

Оказывается, человек-то, собственно, может все, его энергия переворачивает мир — и это не слова, это моя энергия переворачивает мир, я в этом участвую. Вдруг понимаю, что все вокруг сделано вот такими, как я, и притом они еще получили огромное удовольствие. В принципе ничего и не надо, кроме власти, в любом ее проявлении — политическом, экономическом, “ученом”. Залезть на вершину, реализовать. И когда ты начинаешь осознавать, что в тебе это есть, — это меняет за тебя твой мир. Драматически, безусловно.

Вот центр изменений, которые случаются в жизни. А дальше... Сейчас мне 40. Перемены в моих представлениях за последние 10–15 лет — огромные. От понимания, что я ничто не могу глубоко изменить, к осознанию того, что в принципе нет такой вещи, которая не может меняться под воздействием объединенной энергии, воли людей. И, собственно, доказательство тому — все, что мы видим: от обычного костра до атомных электростанций.

— *Вас не оставляет желание перемен?*

— Если можно, вместо ответа — лирическое отступление. Сын у меня все время что-нибудь спрашивает: “Папа, а как определить, молодец я или нет? Я вот старался, но меня из школы выгнали”. — “Критерий один, — говорю. — Ты должен сравнивать себя с собой вчерашним. Если ты узнал на сто человек больше, если ты узнал на сто знаков больше (условно говоря), ты понимаешь, что тот, вчерашний — щенок по сравнению с тобой нынешним, ты молодец. Как только за год (а не дай бог, за два-три) с тобой ничего не произошло — это первый звонок: кончился твой рост. Ты можешь быть нищим в бочке, это не важно. Но если ты бросил материальный мир ради того, чтобы глубже что-то понять, — теперь ты мне покажи, как гнешь ложки на расстоянии. Силой своей мысли, потому что ты ее тренировал. Если не покажешь, а уже бросил прежнее, я скажу, что ты несостоятелен. Что ты узнал? Что понял? Ты просто ничего не сделал. Каждый год энергия, которую тебе дают солнце, еда и прочее, должна превращаться во что-то реальное. Ты должен себя капитализировать”.

Я ему говорю, что не могу сравнивать себя с Биллом Гейтсом, который много чего придумал, потому что тогда буду чувствовать себя ущербным. Но я считаю себя сильнее Гейтса, поскольку динамика изменений, происходивших у меня лично за каждый год, пока больше, чем у него. А когда-то он переигрывал. Сегодня я. Такие личные соревнования можно устраивать с кем угодно. Вот это, мне кажется, важно: динамика развития.

Конечно, о таких вещах не думаешь, тем более не говоришь, разве только когда сын спросит или вы сейчас. Я приехал сюда с совещания, где думал о весьма конкретном: почему у правительства не хватает денег на запуск космонавтов, а мы этим занимаемся бесплатно. Решался вопрос, насколько важна для нас человеческая космическая программа, где мы имеем уникальную технологию. Вот разбираемся...

*— Как вы, Сергей Георгиевич, оцениваете на фоне тенденций мирового развития наши российские реалии?*

— Должен сказать, что мы — я имею в виду Россию — молодцы. Если пользоваться моим критерием, то есть сравнивать себя с собой вчерашним, думаю, мы сегодня по происходящим изменениям самая динамичная в мире страна. Лучше Польши, Венгрии...

*— Китай?*

— Безусловно. Что Китай? Он не решил свои фундаментальные проблемы. У него впереди то, что мы прошли. Это банально, конечно, но факт. Россия дала реальную свободу своим людям за один день. Вот мне дала. Да? То есть вызвали или не вызвали, просто сказали, что раньше у тебя была строго иерархическая структура, ты был встроен в нее, и шансов выйти — никаких. Внесистемного не существует — вакуум. Ты должен сидеть в институте, у тебя есть начальник — не важно, дурак он или не дурак. Должен, как все. И вот тебе дали возможность выбора, ты можешь взять и уйти, создать свою компанию и т. д.



Я считаю, это было фундаментальное изменение за последние, скажем, сто лет в России.

— *Социальное.*

— Социальное, конечно. Высвобождение инновационной энергии. Это ключевой момент при переходе, начатом в 1985 году, от тоталитарного общества к новому его состоянию. Говорят иногда: дали больше свободы, чем надо бы. Но кто мерил, сколько ее полагается? То, что мы через это реально прошли, — факт. То, что сложно, с материальными потерями для многих, — безусловно. Ну, без этого просто нельзя было. Все теории насчет управляемого, знаете ли, социального перехода — это рассуждать хорошо. Вы попробуйте, идите и сделайте. Либо вы высвобождаете инновационную энергию, либо пытаетесь регулировать огромную структуру, часть природы фактически, воображая себя чуть ли не Богом. Вернемся опять к закону об энтропии. Я могу регулировать часть природы, осуществив какие-то исследования и т. д. Но так вот выстроить целый социум — для этого просто, как правильно говорит Кагель, у вас не хватит линейных программистов. Невозможно все это просчитать, слишком сложна система. Даже простые задачи, сошедшиеся одновременно на каком-то отрезке времени, в одном месте, — не решаемы. Вы же имеете дело не с абстракциями, у вас один механизм — государство, как нас учили, механизм перераспределения. В общем, так это и есть, государство определенного типа. Оно должно у того взять, тому отдать. А что можно взять? Если продукт не вырабатывается — распределять нечего. Вот почему получается: если слишком сильное государство, оно подавляет инновационную энергию общества, прекращает, само собой, проводить какие-либо реформы, и как следствие — фактическая деградация, у вас продуктов нет никаких. Поскольку трансформация энергии в продукт — она прямая и непосредственная. Вот отберите у меня возможность решать — я тут же вам на шею и сяду.

Надо опираться на тех, кто занимается такой трансформацией, тогда один может кормить тысячу человек — тех,

кто этого делать не может. Не обязательно беззащитных, беспомощных, старых. Просто “делателей” в жизни весьма ограниченное число. Природа так устроила, там многое подчиняется известному распределению Гаусса, почти всё. Из этого надо исходить. Глубоко ложен посыл насчет того, что все люди одинаковые, который когда-то внедрялся. Что-то дано одному, что-то другому. И когда государство вводит в качестве механизма регулирования какие-то новые правила игры, действие которых как бы выключает тех немногих, ту созидательную силу, — прекращается генерирование. Этот дождь просто тушит все костры. Где вы греться будете? Вот мы и пришли к тому, что в США генерируется валового национального продукта на порядок больше, чем у нас. Соответствующие возможности выравнивания социальных отношений. За счет чего? За счет того, что у них высвобождена энергия тех 2-3-5 процентов людей, которых даже не знаю, как верно назвать.

— *Элита?*

— Ну, это смотря какие критерии вы примените. Если элитное заключается в том, например, чтобы меньше работать, а больше получать, то элита тут персонально тоже выкладывается.

— *А может, мозги?*

— Кто это сказал, интересно?

У нас сейчас тоже идут инновационные процессы. Десять лет — почти ничто даже в жизни одного поколения, мало во всяком случае. Я уже не говорю — жизни целой страны в определенный исторический период. Потому спады на протяжении десяти лет — это, безусловно, отражение тренда. Высвобождение состоялось, уже не надо быть пророком, чтобы сказать, что в следующей декаде станет лучше, и в следующей — тоже. Эта проблема будет решена. Но возникает другая. По Гауссу, 20 процентов народа создает 80 процентов продукта, а 3 процента — пользуются 90 процентами. Когда людям это вдруг разъяснили и показали, почти каждый, кто не оказался среди тех “творцов”, вос-

принимает это как глубокую несправедливость. Но у него проблема не с теми, кто создает, а со Всевышним: “Ты почему меня ущемил? Я тоже хочу сюда”. Хочется быть лучшим. Всевышний не Всевышний, однако все в тебе заложено. Человек достаточно развит, чтобы осознать свою ситуацию. Он, как в Швейцарии например (я просто там много времени проводил), идет и стреляется. Ему что — есть нечего? Он вообще живет в социальном государстве, почти при социализме. Тот пакет компенсации, который ему полагается, даже если он никогда в жизни не будет работать, серьезно превышает доход самого работающего в Камеруне. Но в Камеруне тот не стреляется, а здесь стреляется, потому что все познается в сравнении.

Таким образом, обязательно появятся другие проблемы. Но те, о которых мы говорим сейчас, безусловно, будут решены. Вы высвободили инновационную энергию общества — получите по полной программе. И валовый национальный продукт будет расти, и динамика станет серьезно больше, чем в США. Там это высвобождение произошло двести лет назад, собственно, никогда запрета и не было. А здесь, после долгого запрета, должен быть всплеск — на какой-то срок. Грубо говоря, развиваться от нуля всегда легче.

*— По вашему мнению, Сергей Георгиевич, за последние 10–15 лет случилось что-либо равнозначное высвобождению инновационной энергии?*

— Мы от диктатуры фактически перешли к свободному развитию общества. А это высвободило именно его энергетику. Ничего уже столь же фундаментального вы не сделаете. Есть, конечно, какие-то проблемы, проблемки. Для их решения существует правительство, и мы в этом участвуем, как можем.

*— А то, что народ в большинстве своем пассивен, — не из тех, фундаментальных вещей?*

— Народ не пассивен, это глубокая ошибка. Мы находимся в сложном трансформационном периоде, где встре-

чаются почти три поколения. У нас есть поколение, да, пассивное, которое всю жизнь считало, что за него решат. И мы фактически потеряли те 3 или 5 процентов людей-созидателей, которыми движется мир. Сегодня они уже не могут быть задействованы, хотя физически они там есть. И это ярко демонстрируется на отдельных примерах. У нас директор одного из заводов — дедушка, которому 70 с лишним. Так совпало, что он как раз из тех 3 процентов, плюс активизирован сегодня, то есть включен в дело. Вот он — да, а другие — нет. Вместе с тем мы еще не получили таких людей из новых поколений. Когда у нас перестали ставить штамп “выезд разрешен”? Те, кто родился уже после этого, пока малы. Они и в 20 лет еще ничего не дадут, возможно, только в 30 начнется отдача. Разрыв сейчас такой происходит, в силу чего у нас не генерируется ни национальный продукт, ни мысль, в науке упадок. То есть мы попали в такой неудачный период (1985–2025 годы), когда у нас просто выбило эти 3 процента: одни уже не могут, они сломлены фундаментальными изменениями, а другие не дозрели. Вы им дайте дозреть, для этого много чего надо. Свобода — необходимое условие, но не достаточное. Как сертификация самолета, чтобы его пустили на линию. Товар сертифицирован, но это не значит, что его сразу все купили. Так и здесь. Нужны инфраструктурные изменения, чтобы свободой можно было пользоваться. Нельзя просто сказать предпринимателю: “Вы свободны”. Ну и что? А инфраструктуры нет, ну, побился-побился и умер от отчаяния. А кто ее создает? Эти же люди, из тех же 3–5 процентов. Соответственно, они должны появиться в законодательстве, стать бюрократами в лучшем смысле слова. Все это должно двигаться параллельно.

— *А вот вы, строя самолеты, считаете себя причастным к этому делу всеобщего преобразования?*

— Конечно. Я — один из его центров. Безусловно. Неважно, чем я занят. Раньше пароходы строил, сейчас — самолеты. Мне было 28, и я еще не успел быть подавлен, но успел созреть. Таких мало. Мы — первая маленькая прослойка в фундаменте, на котором будут уже основываться

после нас. Мой возраст — почти критический для изменений. В 85-м, собственно, еще ничего не происходило: глубоко внутри правящей верхушки — споры, конфликты, выходы-пути; и небольшие волны по обществу. Это все-таки изменение внутри правящего социума. А выплеснулось оно через пять лет в практическое законодательство, например в Закон об акционерных обществах (1990 год). Они сами сначала поработали пять лет с собой, потом вышли к народу и дали инструмент: создавайте акционерные общества, стройте — от платных туалетов до самолетов — у кого на что хватит сил и энергии. А нужно еще осознание, что ты действительно можешь, нужна вера в свои силы — на это ушло еще пять-семь лет. И только последние несколько лет, с 1995 по 2003 год, — это уже активная фаза, когда мы начали менять среду, инфраструктуру. И законодательство сейчас создаем, и продукты производим — всё сразу делаем. Потом уже будет более глубокая специализация. Их, то есть нас, станет больше, поэтому одни займутся законами, другие — сельским хозяйством (я уверен, что с ним у нас через пять лет не будет проблем; Евросоюз уже вводит квоты на экспорт российского зерна, можете себе представить, какой путь мы прошли — от 50 лет закупок сельхозпродукции до борьбы с Евросоюзом за право ее экспортировать). А на этой основе возникнет дальнейшее движение, и мы уже начнем определять место нашей страны в мире.

*— И каким представляется ее будущее? Вы не считаете, например, что возможен поворот назад?*

— Да нет, какие глупости. Это даже не достойно обсуждения. Козьма Прутков говорил: “Зри в корень”. Значит, надо понять физику, химию процесса — главное, корневое меню. Мы пошли одним путем, потом он закончился, изменился. Экономический крах породил идеологический. Если бы мы могли еще лет пятнадцать производить в достатке угля и стали, поверьте, ничего бы не изменилось, никакой демократии никому не надо было бы. Это не корневое меню, потому что здесь все просто и неинтересно на самом деле: система показала свою неэффективность. Пытались си-

стему в 250 миллионов отпрограммировать? Просчитать, сколько потребуется пуговичек для рубашек? Но уже в самом начале, я думаю, в 40–50-е годы, людям, которые об этом думали, было ясно, что система имеет насыщение, чем больше станет параметров, тем меньше наши возможности, даже при динамичном росте вычислительных мощностей. И было понятно, что это тупиковая ветвь. Но если вы используете физический принцип трансформации энергии пара в энергию движения, то инженер будет доводить до совершенства паровоз, тупо шлифовать котел, а физик посмотрит в корневое меню и выведет формулу, из которой ясно, что предел коэффициента полезного действия этого устройства ограничивается его физическим принципом — 5 процентов, все, нужен иной принцип. Перешли на другой физический принцип — трансформации энергии в электрическое механическое движение, — а там уже 90 процентов. Чувствуете? Так и в социуме. Мы пользовались не тем физическим принципом.

— *Который устарел?*

— Ну, он не устарел, он был параллельный. Существовало много возможностей, но никто глубоко их не анализировал. Побежали, мосты и телеграфы взяли. И предложили какую-то схему, так сказать, бизнес-план. Действовали как инженеры. А обратились бы к физику, он подумал бы и сказал: “Ребята, у этого принципа теоретически достижимый КПД — 3 процента. При таком условии задача неразрешима. Тогда зачем взяли мосты и телеграфы?”

А другие анализировали и просчитывали. Во всяком случае, в той сфере, что называется рыночной экономикой. Есть много талантливых людей, и не одна Нобелевская премия была выдана по результатам их исследований. Потому, как ни крутись, из экономических систем она пока единственная и базовая. А на экономике — идеология, все становится взаимосвязанным. Система. И все познается в сравнении. Они опережают, обгоняют. Но могут и уничтожить более слабую систему, не испытывая при этом глубоких потрясений, а, напротив, полагая, что идеологически, политически, экономически это полезно.

— *Конфликт цивилизаций? В последнее время это обсуждается особенно обостренно.*

— Я считаю, что возникновение, развитие различных цивилизаций на одной планете опасно. Именно тем, что периодически одна возрастает так, что использует другие, не зная этого. Сейчас Америка вкладывает в НИОКР в 40 раз больше средств, чем вся Европа. Это уже создает другую цивилизацию. Я склонен рассматривать идею существования трех цивилизаций, которые скоро не будут замечать друг друга, поскольку серьезно оторваны друг от друга. Уже сейчас. Прежде всего это США — совершенно отдельная цивилизация, явление планетарного масштаба, о чем еще не известно подавляющей массе людей, потому что Америка ассоциируется пока с кока-колой, Макдоналдсом и прочими, весьма для нее незначительными вещами. А у этой цивилизации есть и будут продукты — не говорю, лучше, чем у других, просто основанные на иных физических принципах. Даже невидимые. Например, самолеты, движущиеся со скоростью света. Вы их просто не видите. А следовательно, не только пересекаться — воевать-то с Америкой вы точно никогда не будете, это уже гарантировано, потому что, как правило, такие цивилизации не воюют (вы с теми же курицами воюете? Вы их едите). Вот вам развитие параллельных миров на одной планете.

— *Считается, что как раз глобализация стирает границы между цивилизациями.*

— Ну да!.. Вторая цивилизация — это мы. Базовая, широкая по вовлеченности людей. Если первая охватывает едва ли 250 миллионов вместе с эмигрантами, то вторая — несколько миллиардов человек, тех, кто находится в одном поколенческом типе цивилизации, прежде всего по уровню развития техники, как это ни странно. Вот здесь реально технология является определяющей. Ну, например, вы слышали про разные поколения военной техники? Вы не задумываетесь, когда читаете в газете, что Россия строит, вернее, хочет построить самолет пятого поколения, чем они отличаются — четвертое и пятое? А фундаментальное раз-

личие предыдущего поколения от следующего в том, что совсем незначительное количество оружия следующего поколения принципиально способно уничтожить все существующее предыдущее. Грубо говоря, один станковый пулемет, укрепленный в доте, положил бы всю конницу Чингисхана. И самолеты нового поколения уничтожают весь флот старого. Просто сразу, сколько ты их ни пошли. МИГ-29, самолет четвертого поколения, может уничтожать бесконечно большое количество самолетов третьего поколения — МИГ-15, МИГ-17, МИГ-21. Почему? Потому что, скажем, МИГ-31 захватывает одновременно 12 целей. Обстреливает 8, передает на соседние самолеты всю информацию о противнике, имеющуюся у него в компьютере, и тогда, даже если он случайно упадет, другие самолеты уничтожат захваченные цели. И нет шанса от них спастись. Так вот: Россия думает, как ей построить, например, самолет пятого поколения, Европа думает. А Америка уже построила два самолета пятого поколения на выбор, уже их отработала, один выбросила, а второй запустила в серию и работает над шестым. А разрыв даже в одно поколение, вы понимаете, создает две цивилизации. Все-таки есть в этом, что ни говорите, определенный напряг. Прежде всего — для цивилизаций низшего поколения.

— *А третья, по вашей классификации?*

— Третья — весь остальной мир. Существует такой потерянный континент — Африка. Есть еще много потерянных стран в рамках других континентов. Это действительно почти весь остальной мир. В Камеруне не знают, чем отличается оружие четвертого поколения от пятого, потому что у них не было первого. Они его не сгенерировали просто-напросто. Энергетически не создалось таких условий. Они бы могли пойти по другому пути, как я говорил, остаться голыми, в повязках, но на расстоянии стали бы ложки гнуть. Тут еще неизвестно, кто кого: ты над ними летаешь, а они ложки гнут. Но не гнут, вот в чем проблема. Эта цивилизация как бы полностью зависит от первых двух и на них полагается; причем вторая для нее более важная, она где-то рядом, а это и Европа, и Россия, срав-



нительно много стран. С Америкой же она почти может не пересекаться.

— *А тогда, 11 сентября, они не пересеклись? Это все-таки вызов.*

— Вызов, конечно, а кто же говорит, что не вызов. И вызов, и трагедия. Но мир это, повторю, не изменило.

— *И все же: три цивилизации, о которых мы говорим, неминуемо противостоят.*

— Да нет, в том-то и дело. Иногда пересекаются — вот это правильное слово. В момент таких пересечений бывают недоразумения, даже катастрофы. А иногда катастрофа — это война, с уничтожением целого народа или континента.

— *Люди боятся быть поглощенными этой первой цивилизацией? Те же антиглобалисты.*

— А кто такие антиглобалисты, кто их финансирует? Если это существует, надо опять-таки разбираться в корневом меню — что откуда взялось. Все имеет свои причины. Другой вопрос, что, наверное, фундаментальное устройство мира мы тут сейчас не изучим. Если бы покопаться лет десять, можно было бы эти рассуждения привести в систему и тогда сказать: “О, это следствие вот того-то закона, к которому мы вернулись”...

— *Хотелось бы все же услышать ваше мнение — что ждет нас, нашу цивилизацию в масштабе глобальных изменений?*

— Я считаю, что представления о будущем определяют тем, что человек как вид начнет себя трансформировать. Вот это серьезно. Люди уже смогут заняться собой. Не жалкий аутотренинг, который известен тысячи лет китайцам, не хитрые приемы акупунктуры (ущипнуть себя за ухо, чтобы не болела поясница) и прочее. Но именно принципиальные изменения. Сколько веков человек ста-

вил задачу — познай себя! А в сравнительно недалеком будущем, через 300–400 лет, он серьезно начнет менять себя как вид. И мы сейчас даже не можем прогнозировать, как это будет, к чему приведет. Морально это или аморально? Асоциально? Трудно что-либо утверждать. Но ясно, что человек начнет себя трансформировать, уже сегодня ясно. Наивны люди, которые пытаются сейчас — запретами, законами, проповедями — остановить процесс клонирования. Это не остановишь. Человек будет менять и себя, и мир. Он придаст и себе, и миру удобные формы. Разрешим ему устроить свой дом по-разному, если уж речь заходит о формах существования. Это может быть и фундаментальный русский дом с метровыми стенами, и японская хижина, говоря абстрактно.

— Скажите, Сергей Георгиевич, у вас есть любимая тема, идея, которая бередила бы вас всю жизнь, а возможно, идеал?

— Идея? Никакой. Это все рассказы насчет того, что вот я был маленький, шел, увидел падающую звездочку и решил, что стану космонавтом...

— Ну, примитивно, да. Но в принципе?

— Если вы посмотрите, как были организованы любые фундаментальные социумы, которыми безусловно являются крупные компании, скажем Hewlett Packard, если спросите самих создателей — ведь никто не собирался делать именно это. Когда Packard в конце жизни давал интервью, он признался: “Как мне хотелось бы сейчас вам рассказать, как мы с Hewlett’ом сидели в гараже (они начинали дело в гараже) и видели перед собой через 25 лет весь этот ряд принтеров, компьютеров, которые изменили мир, скорость печати. И как мы шли через потери семей, через все к этой цели. Но не было ничего такого. Мы вообще, по моему, сначала замки для гаражей делали”. То есть force, старание — что из этого получится, никогда невозможно предсказать. Просто реализуешь все, что можешь. Просто можешь все больше и больше. И никакой фундаменталь-

ной идеи — изменить человечество и прочее. Как правило, сначала движет элементарное желание нормального материального существования. Когда удовлетворяется эта потребность, переходишь на другой уровень, например, чтобы у всех было то же самое. Когда появляется у всех, хочется иных перемен, уже интересно сделать лучше, пойти дальше, чем другие, самоутвердиться. Так и идет. Никакой идеи сразу не возникает. Если Сорос, например, реально давал миллионы долларов на российские образовательные программы, на книги, библиотеки, то почти наверняка 50 лет назад его это никак не беспокоило. Если вы будете брать у него интервью и он скажет: “Вы знаете, я всю жизнь шел к тому, чтобы людей...” — не верьте.

*— Ну почему? У него есть своя идея — открытое общество. К тому же говорится, что XXI век должен стать веком гуманитарных знаний, что слишком сильно влияние прагматизма на нашу общественную мысль. Многих тревожит духовный кризис, переживаемый человечеством, обесценивание жизни человека и вместе с тем тщетность поисков ее высокого смысла. Вы разделяете эту тревогу?*

— Проблема, которая, по-моему, с тех пор как появилось человечество, возрождается каждым индивидом. Вот тревогу точно не разделяю, насчет тщетности поисков высокого смысла. Мне очень нравятся высказывания некоторых людей, живших в совершенно разные эпохи, но очень часто сходящихся в том (как и академик Сахаров), что смысл жизни — в экспансии. Энтропия возрастает — всё. Диоген в бочке, еще раз могу сказать, захватывал своей мыслью умы, да так, что спустя тысячи лет захватывает, хотя сколько там этих философов в бочках сидело. Но он отвоевал пространство мысли. Вот его экспансия, другого — в другом, в третьем. Поэтому чего тут тревожиться? Смысл жизни давно найден и подтверждается каждым поколением.

Не думаю, что XXI век должен стать веком гуманитарных знаний. Через пару веков вообще не будет такого грубого разделения знания. Могу даже утверждать, что организация обучения (learning organization) станет важнее:

днем работать, ночью учиться, как я уже говорил. Масса примеров, когда знания не отнесешь ни к гуманитарным, ни к естественным. Мы сгенерируем целый классификатор знания, и сотрется это различие (его никогда, собственно, не было, это искусственное разграничение). Как правило, талантливый человек талантлив во всем. Общего знания, конечно, нет. Речь идет о генерации идей. Есть люди (их немного, может, даже меньше, чем те 3 процента), которые генерируют идеи в любой области, они могут быть полезны и на естественном семинаре, и в бизнесе. Конечно, инструментарий (возьмите медицину и генную хирургию) еще будет разделяться. Но это инструментарий. А генерация, сама мысль... она и раньше не разделялась, сейчас не разделяется и не будет разделяться.

С.Л. Кравец

“Очень легко думать о мире  
и трудно думать о себе”

*— Сергей Леонидович, вы занимаетесь уникальной работой — подготовкой и изданием одновременно двух энциклопедий: Православной и Большой российской. И, надо полагать, живете как бы в двух мирах, двух измерениях. Традиции, каноны, вечные истины и вместе с тем стремительные перемены вокруг, предельное “сжатие” исторического времени, даже, по мнению ряда ученых, переход человечества в качественно новое состояние. Воспринимаете ли вы наше время как критический момент в истории цивилизации?*

— Думаю, что и сам вопрос возник оттого, что ощущение “сжатия” времени или “убыстрения” жизни существует во всех областях человеческой деятельности, в каких-то — даже фиксируется. Вот есть такое известие: при гробе Господнем существует лампада, в которую в течение многих веков наливали одно и то же количество масла одного и того же состава, но буквально в последние 20 лет это масло не успевает выгорать за обычный, строго соблюдаемый срок, причем остается все больше и больше. Иными словами, если представить себе, что в том ореоле (при гробе Господнем) время движется несколько по-иному, то время, в котором живет мир, действительно как бы сжимается. Не знаю, насколько благочестива легенда... Во всяком случае, она говорит, что ощущение такого “сжатия” у людей действительно присутствует.

Конечно же, мир, человечество переходят в другое состояние. И физически человек изменяется — не только в том, что он становится менее физически развитым или более развитым умственно, меняется вся система его жизни.

Если раньше он был настроен прежде всего на воспроизводство (этим во многом обуславливались ранние браки), то теперь практически во всем, скажем так, более-менее цивилизованном мире огромная беда — так называемые отложенные роды. Человечество стареет уже при рождении каждого человека, потому что новое поколение продуцируется более старыми людьми. От этого происходит много негативного. И мне кажется, отмечаемые изменения определенно направлены, это некий поступательный ход истории, который не изменить. И, собственно, любому человеку — будь он трезвомыслящим или настроенным экспрессивно-пророчески, но как-то признающим верность христианского взгляда на мир — абсолютно понятно: история в конце приходит к Апокалипсису. Когда? Этого даже Христос не знал. Он говорил, что нам не дано знать времена...

Понимаете, очень легко думать о мире и трудно думать о себе. Следуя христианской догматике, в этой ситуации, когда ты осознаешь, что мир идет к своему концу, а потом будет Страшный суд и второе Воскресение, естественно подумать о себе. Сказано: спаси самого себя. Или как в свое время сформулировал Серафим Саровский: “Спасись сам, и тысячи спасутся вокруг тебя”. Думай, как тебе было бы лучше, и поступай соответствующим образом, и оттого будет лучше другим. Но вообще осознание того, что история не основана на причинно-следственных связях, что мир развивается в определенном направлении, целеполагающе, признать психологически достаточно сложно. Один современный ученый сформулировал это так: честный историк постоянно сталкивается с тем, что он должен или признать полную бессмысленность истории, каких-то ее актов, или признать наличие некоего плана, некой высшей силы, — ибо объяснить всю эту бессмыслицу, исходя из каких-то причин, нельзя. Ее можно понять только по результатам, последствиям — то или иное делалось не из-за чего-то, а для чего-то. И это никак не меняет трезвого взгляда на жизнь, скорее, даже помогает разрушению иллюзий, которыми мы постоянно себя утешаем, скажем иллюзиями прогресса, гуманизма и т. д.

Вспомните начало 90-х годов, когда мы были готовы обменять свои национальные интересы на так называемые

общечеловеческие ценности. Что такое сейчас общечеловеческие ценности, уже после Югославии и Ирака? Оказалось, такого аморфного понятия не существует. Каждый раз, по отношению к конкретной стране оно применяется по-разному. Собственно, рассыпается еще одна иллюзия, сквозь нее проступает жесткий национальный интерес, сформулированный еще во времена Трумэна: если в Калифорнии жить хорошо, то все должны жить так, как в Калифорнии.

*— Но все же имелось в виду (во всяком случае, в пору перестройки) прежде всего некое этическое, нравственное содержание, вкладываемое в понятие “общечеловеческие ценности”.*

— А какое может быть нравственное содержание у ценностей, если их носитель и блюститель — человек — является высшей ценностью? Это та же, но закамуфлированная фраза Раскольникова: “Если Бога нет, то все позволено”. Если я — Бог, если я — высшая ценность, значит, я и делаю все, что мне нужно.

*— А человек — не высшая ценность?*

— Конечно, нет. Высшая ценность — мир в целом, потому что человек — как бы это сказать? — не хозяин мира. Он его распорядитель. Есть даже такое понятие, как христианская экология. Достаточно четко сформулировано, что человек, конечно, как бы возглавляет этот мир. Но он за него и отвечает перед Богом. Всё в его руках, ему даны возможности управлять и распоряжаться. Но распоряжаться можно с чувством ответственности и абсолютно безответственно. Можно этот мир настолько изгадить, что он будет непригоден для проживания сначала отдельных видов, потом целых семейств, потом и самого человека. И в какой-то момент вполне вероятна ситуация с повторением, да, Всемирного потопа, когда человек довел мир до того, что легче было уничтожить человека, чтобы сохранить этот мир. Если относиться к человеку не как к властителю всего и вся, а как к сотворенному ради некой цели, тогда у

него возникает и чувство ответственности. А так — ну, делай что хочешь, главное, чтобы тебя не поймали. Да? Вот к чему на самом деле сводится та этика...

— *Давайте согласуем это с тем, что вы говорили прежде: “делай как тебе лучше, и тогда всё и всем будет хорошо”.*

— Так лучше не в гедонистическом смысле. А вот если для вас существует понятие Страшного суда и вы сознаете, что нужно нравственно спастись, что это самая главная ваша задача, тогда и работает принцип: делай, думая о себе. Не пытайся рассказать другому, как плохо он поступает, не старайся воспитывать другого — воспитай себя, тогда вокруг и другие спасутся, смотря на тебя и поступая так же. Ты станешь для них авторитетом. Если этого нет, то и возникают либо теория Раскольникова — Ставрогина, либо теория гедонизма, полного расслабления. Ну а какая разница? Почему бы, скажем, не употреблять наркотики? Мне так хорошо, я сам за себя отвечаю. Но оттого что человек имеет право свободно выбрать зло, оно не перестает быть злом, не становится добром. В конечном счете, если мы рассмотрим все учения, начинавшие с отрицания Бога, — будь то коммунизм, фашизм, сатанизм, — все они приходили в итоге к человеконенавистничеству. Потому что, отрицая Бога, ты отрицаешь и ценность его творения. Статистика, например, сейчас подтверждает: как только возникают какие-то богоборческие, сатанинские секты, появляются ритуальные убийства и т. д.

Религия, несомненно, дает человеку поддержку, он понимает, что он не один. Это и страх, и ответственность, и помощь, и любовь. Даже в случае, если нет любви к ближнему своему или нет любви, которую дарит женщина или мужчина, вы чувствуете другую любовь, другую заботу, и ее просто надо научиться ощущать. А это дается только верой.

— *И как это все применимо к сегодняшним российским реалиям, когда человек и не хозяин, и не распорядитель, когда сама ценность человеческой жизни низве-*



*дена едва ли не до нуля — даже убить его, кажется, уже ничего не стоит?*

— Что значит “у нас убить ничего не стоит”? Если посмотреть статистику преступлений по России и, допустим, по среднеамериканской провинции, то она примерно одинакова. Образ жизни, степень потребления продуктов, товаров, конечно, разнятся, тут наш человек действительно проигрывает. Но, скажем, число приобретенных и приобретаемых автомобилей, предметов длительного пользования в последнее время в стране увеличилось в несколько раз. У людей появляются иные ориентиры. Естественно, человек никогда не будет счастлив только оттого, что больше потребляет. Но он и не может быть несчастлив потому, что потребляет недостаточно. Существует некоторая грань, за которой действительно нищета. А нищета — уже несчастье, как это всегда понималось любым народом. Бедность — совершенно другое дело, она может быть разной — объективной, спровоцированной, вполне может иметь в основе завышенные потребности. Ну, чем мы с вами, гуманитарии, жили в советское время? Особенно мне запомнились конец 70-х — начало 80-х годов... Исключительно за счет ограничения собственных потребностей. Вот я закончил аспирантуру, зарплата 120 рублей, у жены — 110. Чтобы жить счастливо, ты должен ощущать, что не надо тебе ни машины, ни дачи. За чем? Тебе и так хорошо, с твоими близкими, с книжками...

У нас же в 91-м году, когда вроде бы перед тобой все открылось, неуловимо нарушился некий баланс. Увидели, что вокруг есть много чего хорошего, захотелось иметь это сразу, и многие до сих пор не понимают, какого огромного труда все это стоит. До сих пор. Вот строят у нас заводы “БМВ”, все равно: вместо того чтобы закручивать гайки, мы заколачиваем их кувалдой. А получать хотим, будто закрутили.

*— Но речь, видимо, и о вопросах иного рода: согласитесь, что у нас человек крайне задавлен государством.*

— Во-первых, вы передаете самоощущение бюджетника, потому что у небюджетника оно другое: заработал — съел. Дальше. Вы передаете самоощущение не востребо-

ванного бюджетника и скажете, что таких бюджетников у нас большинство. Но это уже не большинство, давно не большинство, после трех этапов приватизации. Что такое востребованный и невостребованный бюджетник? Существует общество, потребляющее услуги, знания, продукты — все, что угодно. Если вы производите, скажем, словари, будь вы при этом частной или государственной фирмой, вы производите востребованный сегодня продукт. У вас его выкупает общество. И государство вам здесь совершенно не нужно. Если вы производите...

— ...скажем, научные монографии...

— ...то в данную минуту вы не востребованы обществом. И государство говорит: вот я создаю нишу для того, что сегодня не востребовано, но может быть востребовано завтра или будет опосредованно востребовано (на основе этих монографий выпустят справочники или другие книги, по ним будут кого-то учить). За счет налогоплательщиков (других денег у меня нет) я создаю определенный запас. Так вот, у нас этот запас всегда был невероятно велик. К сожалению, очень мало из того, что делалось наукой, прежде всего гуманитарной наукой, реально потреблялось обществом. В области философии, литературоведения, даже истории — бесконечные затраты сил, зарплат, бумаги, средств печати. При том, что наши современные учебники действительно без слез читать невозможно. Такое ощущение, что наука существует сама по себе, образование — само по себе, люди — сами по себе. Как это преодолеть? Почему это нельзя преодолеть? Потому что накоплена огромная масса людей — бюрократический аппарат, который самовоспроизводится. Если я сам себе начальник, я получаю 100 рублей, если у меня десять подчиненных, я получаю 150 рублей и готов нанести государству ущерб (это же не мои деньги) еще в 1000 рублей. Это действительно плохая система. Невостребованный бюджетник — самый несчастный человек просто потому, что он не востребован. Но надо отметить: сама жизнь идет так, что бюджетник должен производить качественный продукт, только тогда он сможет попасть в тот запас.

— *Это не замкнутый круг? Пока человек не станет хорошо получать, он не будет производить качественный продукт.*

— Будет, даже получая 110 рублей. Если он качественный ученый, он может написать одну статью в год, и эта статья попадет в хороший журнал, будет иметь большой индекс цитируемости и ...

— *Ему проще написать плохой учебник.*

— Вы знаете, нет. При подготовке и той и другой энциклопедии мы работаем с огромным числом ученых, и можно составить четкое представление на сей счет. Есть такие, что говорят: за ваши гонорары я писать не буду. И смотришь: а он и нигде не пишет. В другом случае констатируешь: хороший ведь был парень, хороший ученый, занимался средневековой западноевропейской историей, а сейчас — редактор в мужском журнале. Потому что, если ты глубоко сосредоточен на проблеме денежных знаков, это уже ведет тебя по определенной дороге. Можно сказать, что вот человек подзаработал, зато потом... “Потом” не получается. У Бунина, кажется, есть рассказ, как он встретил композитора, написавшего “Цыпленок жареный”. И тот человек ему признался: “Вот, казалось бы, пустячок, эпизод, а теперь сажусь за пианино, и ничего, кроме этого, не выходит”. Достаточно ведь талант единожды на потребу пустить — и все, он может пропасть. Таланты должны много работать.

Реально я вижу другую проблему. Сейчас в “Большой Российской энциклопедии” жуткая ситуация с разделами экономики. Это большой проект, там много авторов, причем и несхожих взглядов. И все врут. И не могут не врать, потому что исходят из официальных данных. Ищем выход из ситуации, когда вранье настолько пронизало нашу жизнь, что мы даже уже не возмущаемся, а просто смеемся над этим враньем. Когда ты понимаешь, что балансовая стоимость Саяно-Шушенской ГЭС — 50 тысяч долларов, ты спрашиваешь: “Вы будете продавать ее за 50 тысяч долларов? Можно я первым стану в очередь?” — “Нет, не будем”. — “По-

чему же балансы такие показываете?” — “А кто же будет платить налог на имущество?” И это говорят министры. То есть все друг друга обманывают. Собирается попечительский совет “Большой Российской энциклопедии” — четыре министра, губернаторы — и думает: как бы уйти от налогов. Казалось бы, избавляясь от советской системы, мы должны прежде всего избавиться от вранья, а оно процветает, потому что прочно соединилось с государством, — вот в чем проблема. В нашем аппарате подавления появился милиционер берущий — новая особь государства. У нас теперь государство берущих. И в этом коррумпированном государстве берущих ложь становится нормой.

Вот сказано у апостола Павла: “Все творения, вся тварь стонет и ждет от человека, чтобы человек примирился с Богом, покался и примирился”. И тогда вся тварь спасется. И все творение ждет, когда человек начнет жить по совести. Но если у человека нет такого представления о своем предназначении — ну, родился и родился, возникает вопрос: а зачем родился? Наверное, для того, чтобы хорошо пожить. Тем более мы понимаем, что десять тысяч поколений было до нас и десять тысяч будет после нас. И я — такая маленькая частица. Давай я и поживу. И весь мой мозг, все мои таланты работают не на то, как жить не по лжи, а на то, как солгать так, чтобы меня не поймали. Вот и все. Можно ли изменить пропорции? И как? На мой взгляд, человек с детства должен знать о своем предназначении, о том, что здесь он, как учит христианство, — на очень малый отрезок времени, но у него будет еще и другая жизнь. Человек не умрет весь, ему дана душа, которая вечна и которой суждено быть спокойной или мучаться, в зависимости от того, как он повел себя здесь. Это во-первых. Во-вторых: есть некто, кого не обманешь, потому что он даже не поступки твои оценивает, а помыслы. Ты можешь не украсть, но ты готов был украсть. И ты должен бороться не со следствием (с тем, что ты взял и украл), а с причиной (с тем, что тебе захотелось украсть). Ты должен победить в себе зло, которое позволяет тебе захотеть украсть. И вот тогда ты справишься сам с собой. Недаром же, если говорить о концепции теперь уже позапрошлого, XIX века, хочется вспомнить мысль Федора Михайловича Достоевско-

го: войн будет очень много, но основная битва будет в сердце человеческом. Или человек научится жить, исходя из своего предназначения, или нет. Если не научится, то он проиграл заранее. Сколько будет длиться эта проигранная битва — два поколения, десять поколений, — это уже не имеет большого значения. Человечество будет самоуничтожаться. А если оно победит, само себя победит, если оно научится жить по совести...

— *Вы в это верите? Как в реальность?*

— Абсолютно верю. Как в абсолютную реальность. Я верю в то, что человеку дано настолько много сил, талантов и возможностей, что он сможет преодолеть любое сопротивление — внешнее и внутреннее. Если только он действительно научится по-другому жить. В какой-то степени, может быть, я верю в вынужденность этого как единственного способа существования человека, его выживания. А иначе все силы, таланты и способности будут идти на самоуничтожение. Или всем миром спасаться, или никто не спасется. Невозможно спасти только себя.

— *Речь, надо полагать, идет о всеобщем обращении в веру?*

— Нет. Это должен быть совершенно естественный процесс. Он может идти по-разному. В моем представлении, самое важное — преодолеть индифферентность, гедонизм (“мне на все наплевать, живу как живу”). Вместе с тем во многом это усиливается, из-за того, как мне кажется, что люди, мыслящие не стратегически, просто нерационально, пытаются такого рода настроения искусственно подогревать. Вот я просматриваю газеты, журналы, телевизионные фильмы, которые собирают огромную аудиторию, ведь все о потреблении. Даже любая псевдогероическая картина о бандитах о том же: мало поработал — много потребил, это хорошо. Не получается потреблять много? Не можешь убить? Считаю, потерянный ты человек.

То, что это делается сознательно, — понятно. Для чего делается — тоже абсолютно понятно. Ведь все сформулиро-

вано вполне конкретно. Первая задача: превратить страну в территорию, а народ, гражданское общество — в население, население, проживающее на этой территории. Людей ничто не объединяет, кроме неких экономических связей. Потом поставить вопрос, который на самом деле уже поставили не только иностранцы, но и наши, скажем советник президента Илларионов: а может ли такое население соответствовать такой территории? Как это так — мы обладаем 20 процентами мировых ресурсов, занимаем седьмую часть суши, а производим меньше 1 процента мирового ВВП? Непорядок. Реально поднять ВВП в 20 раз мы не можем, значит, надо делиться территорией. Такая идея уже вбрасывается. Если народ, граждане этому сопротивляются, то населению все равно. А чтобы народ перестал быть народом, став населением, нужно одно — воспитать в нем полный пофигизм.

— *Если придерживаться этой терминологии, разве на протяжении многих лет он уже не воспитан?*

— Думаю, что нет. Я оптимист, который считает (как в том анекдоте), что может быть и хуже. Что-то еще сохраняется. Уж сколько раз подходило к тому. Казалось бы, все, конец... Нас просто нормальной истории не учили. Читаешь, например, послание патриарха Гермогена к русскому народу начала XVII века, во время Смуты: “Да вы просто свиньи, вы — уже не народ, и даже не люди, вы насилуете собственных дочерей, вы грабите...” Ну, куда дальше. Но все-таки что-то случилось, нашлись здоровые силы. А ведь свои же грабили, насильовали, разбойничали. Целый народ разорял собственную страну и этим жил. Отобрать у соседа, убить его, сделать рабами его детей — это вот XVII век, его начало. Более того: уже поляки в стране, уже польский ставленник на троне, патриарх умирает в тюрьме от голода. Все, конец...

— *Потому что исчезла верховная власть? Или ослабла?*

— Нет, верховная власть не исчезала. И власть Бориса Годунова на самом деле не была слабой. Это была, я бы

сказал, самая человеколюбивая власть в конце XVI — начале XVII века. Он единственный, когда наступил голод, открыл все свои амбары, пытаясь накормить людей. Но все равно, понимаете, ничего не брало. Вот при Иване Грозном, который уморил тысячи, страна становилась сильнее. Интересная вещь: все происходит непонятно почему (возможно, я повторяюсь), а вот для чего — понятно. Иван Грозный, опричнина, гонения, люди бегут от этого режима на так называемые дикие земли. И буквально через десять лет — это форпост Русского государства, это новые земли, приращенные к России. Трудно понять логику, если только ты не пытаешься это объяснить по результату.

В нашем случае, в принципе, я думаю, здоровые силы есть (ну, не может за одно-два поколения раствориться, пропасть национальное самосознание, оно все равно прорвется). Но, конечно же, должны быть какие-то изменения. Власть, к сожалению, никаких надежд не дает, ведь каждый раз мы смотрим, как та тварь на человека, на верховную власть и думаем: “Вот сейчас, вот-вот!” А власти, по сути, нет. В стране нет системы принятия решений, нет ответственности за них.

*— И как вы представляете себе те изменения — сейчас и в будущем? Можно ли в данной связи, на ваш взгляд, говорить о неких идеалах? Для вас они вообще существуют? Раньше реально ощущалось их присутствие — возможно, наивных, утопических, романтических. В наше время, говорят, идеала быть не может (как и веры тоже). Тогда что?*

— Я, к сожалению, а может быть, к счастью, застал только конец того, что сейчас называется “раньше”. Но не могу сказать, что тогда у меня были идеалы, отличные от сегодняшних. Прежде всего был идеал человека, которого я знал, любил, жизни которого верил. Это Алексей Федорович Лосев. Более того, я видел, как интересно происходит: никогда ничего не говорилось о церкви, а все идут в церковь рядом с ним. Он не рассказывал про свое, про то, скажем, что он тайный монах (я не знал этого). Но врач, который его лечил, становится священником. Многие его

ученики тоже приходят к вере. Он просто учил очень серьезному отношению к жизни и к нравственности. Да, бывают хорошие священники и плохие, бывают воры, пьяницы, распутники — какие угодно. Но в церкви нет амбивалентности нравственной. Она не назовет зло добром, а добро злом.

— *И сейчас?*

— И сейчас не назовет. Никогда не приравняет кражу и бизнес, проституцию и романтику. В жизни должен быть стержень. Амбивалентность возможна в чем угодно, но не в нравственности. А для того чтобы она, нравственность, так не шаталась, она должна находиться на каком-то более прочном основании, чем сегодняшняя жизнь. Вот церковь такое основание предлагает.

У нас есть своя телестудия, и я обращаю внимание на некоторые передачи центрального телевидения. Есть, например, такая, где весь интерес состоит в том, чтобы на максимальное число вопросов ответить так же, как отвечает большинство. Ставка на массовое сознание: и я думаю (поступаю, живу), как все; все вокруг пьют (приспосабливаются, воруют) — чем я хуже? На этом очень многое построено. Сегодня можно любой порок внешне превратить в добродетель. И у человека должна быть на это внутренняя нравственная реакция, что по силам воспитать и в себе самом, и в детях. Должны быть внутренние ограничения, чтобы не распуститься. Я думаю, все-таки это возникает.

Мне нравится мысль, высказанная Юрием Кублановским: ничего сейчас с нуля в России не создать. Вот Солженицын очень уповал на земство, а теперь и ему стало ясно, что никакого земства не будет, потому что его, по сути, и не было. Сохранить, возродить можно лишь то, что не утеряло способность к возрождению. И в качестве надежды приводятся приходские общины. Их 20 тысяч по стране; таких, в которых идет жизнь — тысяч 10. Но 10 тысяч, и в каждой по 30–40 человек, в основном молодых. Это уже не традиционные “старушки”. Сейчас “старушками” становятся “шестидесятники”, люди как раз крайне



нерелигиозные, поколение даже более атеистическое, чем предыдущее и, как ни странно, последующее.

В 70-е, особенно в их второй половине, была острая реакция на тот апофеоз “шестидесятников” (я это помню по последним годам школы, по своей компании). Начался бум знаний, но не тех, которые нам давали. Казалось главным — найти то, что от тебя скрывают. Беркли, Ницше, Шпенглер — мы зачитывались ими. С трудом могу себе представить, как наш учитель обществоведения выносил нас с этими ницшеанскими высказываниями. Так же и в вузе. Жизнь действительно уже разделялась: одно дело, что надо сдавать историю партии, марксистско-ленинскую философию, и совершенно другое — лекции Мамардашвили, курс Игоря Виноградова по истории русской философии. Если ты был успевающим и выторговывал себе право свободного посещения, то ты учился одновременно на пяти факультетах, потому что у Азы Альбертовны Тахо-Годи ты слушал греческий, ты слушал Сергея Аверинцева на филфаке и т. д. И это было знание, которое казалось истинным и честным (хотя там тоже было много галimatъи, как я сейчас уже понимаю).

— *Для вас это был уход от общества?*

— Да, в какой-то степени вы правы. Это была романтика “Игры в бисер” Гессе. И темы: “Особенности испанского произношения” (эта тема казалась просто блестящей), “Греческие схолии Максима Грека на рукописях...” (тема моей жены, классика такая), “«Бесы» в русской религиозно-философской критике” (моя собственная тема, закрытая).

— *Человеком-идеалом, идеалом личности стал для вас философ-патриарх Лосев. А был все же и некий социальный идеал?*

— Нет, такого идеала, конечно, не было. И сейчас нет. Не знаю, возможен ли он вообще. По крайней мере, если он и может быть сегодня, то только составным: что-то от этого, что-то от того. Нечто цельное не вырисовывается. Если говорить о нынешних лидерах, то они, конечно, не

могут внушить такую степень доверия, чтобы стать идеалом. Хотя я знаю многих людей, которые не бегают по телеэкранам, серьезно работают и заслуживают самого высокого авторитета. Есть действительно личности. Но они еще, наверное, не востребованы временем, потому что — у меня такое впечатление — слишком богата страна и есть еще много чего разбрасывать.

— Скажите, Сергей Леонидович, когда вы ходили к Лосеву, что вас объединяло? Его самого, Аверинцева, представлявшего уже другое поколение, и совсем молодых, как вы. Любовь к знанию, присущая вам нетрадиционность, некая преемственность во взглядах, которую можно бы назвать школой?

— Мы были абсолютно разные. Связь, конечно, есть. Но я бы сказал так: самым тяжелым для моего поколения было то, что у нас как раз не состоялась настоящая душевная и духовная связь с поколением Сергея Аверинцева. Понимаете, это не линия. Мы по отношению к поколению Алексея Федоровича ощущали себя такими же внуками, но у нас не было отцов. Мы слушали Аверинцева, мы им восхищались. Я очень любил Игоря Ивановича Виноградова и моего научного руководителя в Институте философии Арсения Гулыгу. Но вот духовной связи с ними не ощущал. Мы были разные. В чем эта разница?

Своим поколением я считаю тех, кто родился где-то с 58 по 64 год, 65-й — уже совершенно другие ребята. Когда на четвертом курсе мы сдавали историю западноевропейской философии и я, видно, увлекшись, что-то там наговорил, преподаватель вдруг оставил аудиторию, побежал в деканат и стал кричать: “У нас на факультете белокурая бестия, нищепанец!” Еще пять лет назад это было бы страшно и неизвестно чем могло бы кончиться. А теперь, скорее, смешно. И в том же деканате, кстати, к этому отнеслись спокойно. Все было уже по-другому. Мой курс открыто читал и обсуждал “Раковый корпус”, хотя еще сажали за его распространение. Вот наше отличие от предыдущего поколения: мы уже почти не боялись. А от последующего: мы успели поработать, что-то сделать до

90-го года. У меня, например, вышли две книги, 90–91-е годы я встретил человеком с определенной профессией, с детьми, даже с каким-то запасом денег, которые получил за свои труды. Была работа в журнале “Литературная учеба”, тираж которого мы с 8 тысяч за год довели до миллиона. У нас уже было что-то за спиной, а у тех, кто пришел позже, этих четырех лет не было. Они сразу окунулись непонятно во что. И сразу уже были никому не нужны. Я помню свой журнал, скажем, 90-го года: все напуганы, непонятно, что с экономикой, очевидно, что развития не будет, но как-то надо держаться. А в 85–86-х у нас было ощущение, что да, есть временные трудности, но на самом деле идет развитие. Вот у них, у следующего поколения, такого ощущения, думаю, уже не было, и поэтому многие, по сути, бежали. Мы, скажем, не уехали в Германию, а они уехали. Им нечего было терять, они не ощутили вкуса созидания, который у нас появился за эти несколько лет.

Веселое было время! Когда мой приятель Саша Ситтель, замечательный писатель, был вызван в райком (а он лауреат, получил премию Ленинского комсомола), его спросили: “Ну что, Александр Юрьевич, будете вступать в партию?” “В какую?” — спрашивает. “У нас одна партия, КПСС”. — “В эту — не хочу”. Через три года вопрос стал уже бессмысленным. Три года назад такой ответ был бы невозможен, а вот то было время такого ответа. Время, когда мы готовили к публикации “Записку о древней и новой России” Карамзина. Безумная неделя, которую я вспоминаю с восхищением: рукописи, списки, часть хранилась в Пушкинском Доме в Питере, часть — в Салтыковской библиотеке, между ними — пирожковая “Минутка”; мы утром ехали в Пушкинский Дом, там работали, потом в “Минутке” обедали, потом отправлялись в “Салтыковку” и сидели там с рукописями. Неделя абсолютного эвристического счастья. Такого потом уже тоже не было. И до этого не было. Никогда.

Думаю, и наше общение у Лосева строилось на эвристическом интересе. Со мной вообще в то время случился печальный казус. Я был одним из лучших студентов на факультете, у которого все хорошо, прекрасно сдает экзамены, но в какой-то момент столкнулся с полным незнанием.

Со своим. Ощущение, что на самом деле я ничего не знаю. И оно было настолько острым, что, собственно, и привело меня к Алексею Федоровичу. Человек должен все зарабатывать сам, своей головой. И это очень интересно. Любовь к знаниям была бесконечна. Все свободное время я проводил в Исторической библиотеке. Приходил к девяти утра, садился у своего окна. На заказ здесь давали в руки не пять книг, как в Ленинке, а сразу двенадцать. Можно было обложиться ими и... Потом, конечно, возник для меня и интерес чисто человеческий. Попав в семью Лосевых, я узнал и семью Флоренских, других совершенно замечательных людей.

— *Таких уже нет?*

— Есть, продолжают, например, встречи в музее Флоренского у Александра Андронникова. Там собирается много молодых. Я из-за своей работы не могу там бывать, очень жалею. А у них каждую пятницу проходят такие интеллектуальные чаепития, где читаются лекции, делаются доклады, потом они спорят, разбирают их. Жизнь продолжается. В 93-м году мы, занимавшиеся русскими философами, испытали жуткий шок. Ведь мы думали, что все трудности — в их запрете, в том, что не разрешали их издавать, а только разреши — это сотни работников, миллионные тиражи. Мы только развернулись, и вдруг выяснилось, что работников — пять человек, больше никому это неинтересно. А тиражи должны быть 2–3 тысячи. Что тоже неинтересно. Шок был и чисто семейный: с этого нельзя жить, ты должен заниматься еще чем-то. Действительно было тяжело.

— *Вы говорите о предназначении человека, о смысле жизни. В чем вы видите смысл собственной деятельности, насколько она креативна? Вы расцениваете ее как просветительскую?*

— Думаю, если мне удастся завершить оба проекта — Православную и Большую Российскую энциклопедию, то я буду считать, что долг свой выполнил. Проекты очень раз-

ные и функции разные. У Православной энциклопедии, несомненно, функция наукообразующая. Дело в том, что нет половины наук, которые есть в нашей энциклопедии. У нас нет реального богословия, очень плохо с церковной историей, нет литургики, исследований в области католичества. Всё надо воссоздавать. И воссоздается это здесь. Просто так провозгласить рождение еще одного института — он бы не работал или стал очередной бюрократической организацией. А тут, с одной стороны, есть жесткие сроки, очень тяжелая работа, но, с другой стороны, есть выход, есть результат, и результат, приучающий к систематичности. Мы привыкли к тому, что энциклопедии — это кодификация, это как бы систематизация уже имеющегося знания. И забыли о том, что первые энциклопедии выступали, наоборот, как созидатели знания. И вот здесь то же самое: 95 процентов материалов для русского читателя, в принципе, публикуется впервые, 70 процентов — и для нерусского в первый раз. Прежде этого не было, потому я и говорю о Православной энциклопедии как наукообразующей.

Большая Российская — другая. Я поставил себе задачу сделать максимально честную энциклопедию.

— *Не врать.*

— Да, не врать, причем не только под давлением политики, но и не поддаваясь собственным ощущениям. Проверять самого себя постоянно. Слова “не врать” в моем кабинете как бы начертаны, мне кажется, огненными буквами, потому что люди приходят и спрашивают: “Ну что, опять вранье, что ли, у нас?” “Сами смотрите”, — отвечаю. Для того чтобы не врать, нужно найти верный тон. Когда-то Алексей Федорович говорил, чем страшно рабство: тем, что у раба и рабовладельца абсолютно одинаковая психология. Раб не видит для себя никакой перспективы, кроме той, чтобы стать рабовладельцем. И рабовладелец не представляет иной опасности, кроме той, что превратится в раба. Это зашоренность, сцепка. И когда я смотрю сегодня на то, что происходит в “Большой Российской энциклопедии”, то вдруг чувствую то же самое: если раньше люди писали “Колхоз имени Берии”, то сейчас они готовы

писать “Колхоз имени врага народа Берии”. Но выйти из этого противостояния “коммунисты — антикоммунисты” не могут. Можно писать “Тютчев — реакционер”, можно писать “Тютчев — либерал”, а надо писать, что Тютчев — хороший русский поэт. И это очень трудно. Можно взять и назвать Савинкова террористом. Но надо сделать следующий шаг — отказаться от рассмотрения нашей истории как истории борьбы революционеров с правительством. Было много чего другого в истории.

— *Вы хотите осуществить поворот в мозгах?*

— Это поворот в мозгах, да. Я всегда могу отличить человека, читающего Брокгауза, от того, кто читает БСЭ. Потому что энциклопедия — мощнейшее идеологическое оружие. Человек уверен, что он берет из той же БСЭ только факты. На самом деле он берет трактовки. И если он начинает мне говорить, что Лозанна — это место, где сейчас закрыта типография Ленина, я понимаю, что он читал. В отборе материала, отборе людей вот здесь, в Православной энциклопедии, мы идем широким и частым гребнем, потому что нам нужно все, потому что не известно практически ничего. А там — в Большой Российской — известно очень много, надо тщательно отобрать события, людей, термины, понятия. Очень хочется написать про молоток и не писать про IT-телефонию, потому что IT-телефония мне еще не понятна. Но я знаю, что нашу энциклопедию люди будут читать через десять лет.

— *Возможно, совсем молодые сейчас вам скажут про “телефонию”, но уже не всегда ответят, кто такие Керенский или Троцкий.*

— Действительно, многие не знают, что такое революция. Но вот опять же мы пошли по самому легкому пути — по пути забвения, потому что еще очень страшно дать реальную оценку, что же тогда произошло. Просто рассказать о реальных корнях еще очень страшно. Мы не хотим в новой энциклопедии оценивать события с точки зрения “правильно” — “неправильно”. Но хотим вскрыть реаль-

ные механизмы того, что творилось с теми или иными государственными, общественными организациями. Это очень тяжело. Вы обратили внимание на то, что в наше свободололюбивое время на 20 лет продлили срок закрытия архивов? Было 50, сейчас — 70. А должно быть 30. Но если я сегодня открою архив даже не 70-х, а 60-х годов, это будет трагедия для очень многих людей. В том числе, допустим, архив Совета по делам религий. Вместе с тем без знания этого действительно идет вранье, причем с разных сторон — как церковной, так и антицерковной. Мне говорят: было вот так. А я-то, читая архивы, вижу разницу... Замечательный пример. Передо мной оказались два архива — уполномоченного Совета по делам религий по Эстонии и дневники нынешнего патриарха (он сам мне их дал). И я их сравнивал. Патриарх близок немцам по своей систематичности, он все время записывал, скольких людей он причастил и скольких елеем помазал. В течение двадцати лет в одни и те же праздники он служил в одних и тех же храмах и записывал: в таком-то храме миропомазал 50 человек, причем отмечал, сельский ли это храм, сколько рядом было машин, автобусов, повозок. И вот у меня такие данные с 61 по 81 год. Они разные, но растут. В один год миропомазал 50 человек, в другой — 150. И смотрю официальные отчеты, а в них количество верующих все время снижается. Более того, встречаю в дневниках патриарха запись: был у уполномоченного, он меня спрашивал, куда я собираюсь. Говорю: “Еду в Москву на Синод”. И буквально тут же читаю в архиве: “По моему распоряжению митрополит поехал на Синод проводить работу с...” Понятно. Но люди-то вот той части, церковной, не знают, поэтому мы вместе с сотрудниками архива создаем здесь у себя новый архив на новых основаниях. Пока сделали полную опись того, что есть у них, а им передали опись того, что есть у нас. Так, чтобы исследователь мог хотя бы заказать, прочитать что-то интересующее его и там и тут. Следующий этап — обмен копиями. Мы можем дать, они, к сожалению, не могут (там свои правила).

— Скажите, Сергей Леонидович, как вы себя делите между двумя проектами? Можно предположить, что кол-

*лектив, с которым вы работаете над Православной энциклопедией, достаточно однороден и близок вам. А коллектив Большой Российской энциклопедии? Возглавляет издание Президент РАН, среди авторов порядка восьми-десяти академиков. Все разные. В их число входит, кажется, и академик Гинзбург, ярый атеист. В принципе, вы и там и тут должны быть “своим”, профессионалом, которому доверяют. Удастся?*

— Виталий Лазаревич Гинзбург, кстати, написал мне письмо и предложил публичные диспуты... Несомненно, в Православной энциклопедии работать легче, но прежде всего потому, что здесь на стыке эвристического и профессионального интереса удалось собрать очень умную молодежь. Средний возраст — около 30 лет, как правило, после аспирантуры, в основном МГУ (филфак, истфак, философский). Очень высокий образовательный уровень, два, три, четыре языка — норма для сотрудника Православной энциклопедии. Здесь им интересно, для них все заново. Конечно, их еще немножко тешат и первые публикации, и то, что они такие молодые, а их уже приглашают на все конференции, везде почет и уважение. Хотя, должен сказать, многие получают гранты Российского государственного научного фонда — они же и научной работой занимаются, процент кандидатов наук очень высокий. Сейчас и коллектив Большой Российской энциклопедии отстроен так, что никогда здесь не было такого количества докторов и кандидатов, сколько, в частности, есть в моей редакции. Они разные, но, думается, все-таки удалось собрать большинство редакции под тот же эвристический интерес. Хотя, конечно, отсутствие конфессионального рычага притяжения чувствуется.

— *А академический рычаг?*

— Нет, он сейчас не работает. Когда я пришел, средний возраст был 63 года. Сейчас, наверное, лет 40. Появилось, во-первых, немало 40-летних, уверенных уже редакторов, и очень много молодых, неопытных, конечно, но желающих работать. Им интересно. Остались и пожилые редак-



торы, с большим опытом, сейчас учат их, работают парами, тандемом.

У нас, конечно, выстраивается трудная энциклопедия, требующая труда для того, чтобы ею пользоваться. Мы с самого начала решили делать ее не “энциклопедией для народа”, а “энциклопедией для энциклопедии”, на основании которой можно будет потом выпускать облегченные справочники, другие общедоступные издания. А сейчас рассчитываем прежде всего на коллективного пользователя — библиотеки. Безусловно, работать над этим проектом сложнее, но тоже уже за живое взяло. Могу сказать, что, когда заседала, скажем, секция математики, разве что стулья не летали — так горячо господа академики обсуждали проблемы энциклопедии, ее словники. Ну а уж выражений типа “тупица”, “невежда” по отношению друг к другу не сосчитать. Нет, живой интерес есть. Находим хороших авторов, им есть что сказать. Думаю, что и это удастся сделать, а если выпустить обе энциклопедии, то можно будет какое-то время, да, “почтить на лавке”.

*— В принципе можно сказать, что душа не разрывается, взаимопонимание вполне достижимо, вас считают своим человеком и там и там?*

— Мне кажется, что вполне.

*— И чей вы больше?*

— А я ничей, я совершенно нормальный человек. У нас в этом была огромная путаница — путали, допустим, светское и атеистическое мировоззрение или отсутствие любого мировоззрения. А сегодня, мне кажется, мы начинаем понимать, что человек независимо от того, какого мировоззрения он придерживается, может быть или профессионалом, или непрофессионалом, честным или нечестным. Вот и все. Это, конечно, трудно. У меня никогда не было ощущения, что Православная энциклопедия — это что-то сугубо церковное. Она и создается и силами церкви, и силами Академии наук. У нас 90 процентов авторов

представляют Институт всеобщей истории, Институт отечественной истории, Институт философии, ИРЛИ, ИМЛИ. Собственно, здесь работает весь гуманитарный цикл, а Институт искусствознания при министерстве культуры, музеи и библиотеки — это же тоже наши авторы. Я, скажем, совершенно не удивился, проводя собрание авторов одной из исторических редакций Большой Российской энциклопедии: там 60 процентов — все те же лица. Если человек — специалист по латинской Греции или поздней Византии, он и пишет про позднюю Византию. И там и там.

Да, в Большой Российской энциклопедии гораздо шире сам круг наук — естественные науки, социология, экономика. Но и здесь я чувствую себя абсолютно своим, просто потому, что представлена разноголосица убеждений. Ну, вот авторы первого тома, допустим, по экономике: Греф, Гайдар, Мау, Глазьев, Некипелов, Жуков, Игнатъев — люди абсолютно разных убеждений, некоторые из них — православные. Но все это никак не сказывается на профессиональной полемике. А, скажем, редакцию религиоведения я набрал из Российской академии госслужбы — нормальные люди, нормально работаем.

— *А как вас принимают в церковном мире, в его верхах? Ведь вы же пришли туда как бы со стороны, так сказать, “самоучка”.*

— Вы знаете, я очень близок с патриархом, это, наверное, и обусловило хорошие условия нашей работы в церкви. Когда мы встретились (больше десяти лет назад), он мне как-то поверил, а я, мне кажется, четко понял, чего ему очень не хватает в жизни. А ему не хватало именно реализации своих интеллектуальных сил. У него очень хорошая докторская диссертация по истории Эстонии и вообще Лифляндии и Курляндии. Он хороший историк, у него действительно много интересов, не сводимых ни к церковной службе, ни к церковной политике, ни к управлению. И тут появились мы, то есть реальная возможность все это реализовать...

— *С идеей издания энциклопедии?*

— Все было немного не так. Мы в 90-м году вместе с отцом Андроником, внуком Флоренского, который был тогда наместником Валаамского монастыря, решили создать научное издательство. Собственно, мы хотели представить Флоренского, Соловьева, Булгакова (потом оказалось, как я уже говорил, что это никому не нужно). Выпустили другие книги, тоже очень тяжелые для читателей — Евсевия “Церковную историю”, полные месяцесловы Востока, Болотова “Историю древней церкви”. В общем, переиздавали ученые книги и, конечно, жили, “положив зубы на полку”, пока не пришла в голову идея издать “Историю Русской церкви” (к 850-летию Москвы). Не буду здесь излагать, как добивались реализации этой идеи, скажу только, что тогда я первый раз и пришел к патриарху. А в самой работе было два пути — простой и сложный. Простой: взять Макария и переиздать. Мы пошли по сложному: сделали новый огромный комментарий, собрали человек двадцать хороших историков. И когда уже заканчивали “Историю Русской церкви”, пришла идея: делать Православную энциклопедию. Шла огромная, тяжелая, долгая переписка. 1997-й год. Мы выпустили последний том “Истории Русской церкви”. У издательства еще есть какие-то деньги, немного, но есть. У меня большая команда, и надо или ее расширять (тогда денег хватает, но месяцев на пять, в надежде, что переписка благополучно завершится, будет решение и будут новые средства), или всех распускать (оставив пять-шесть человек, маленькое издательство, в надежде, что удастся его потихоньку поднять). В этот момент приходит один мой знакомый, банкир, и спрашивает: “Сколько тебе нужно на то, чтобы сделать всю Православную энциклопедию? Я тебе даю. Начинай”. И он меня обманул, не дал ничего. А мы начали — создали еще больший коллектив, стали заниматься словниками, не выпускали никаких книг, только готовили энциклопедию. И вот 26 февраля 1998 года ко мне приходит бухгалтер и говорит: “Все, последняя зарплата. Больше денег нет. Надо будет что-то говорить людям”. Мы шли на займы, на все, что угодно, но никогда не задерживали зарплату, чтобы люди спокойно работали. У нас было правило: коллектив и не знает, что происходит с финансами; когда его жизнь ста-

бильна, ему и не важно, какие там у начальства бывают сложности. И мы выплатили эту последнюю зарплату, никому ничего не сказав, 1 марта, а 3 марта вышел Указ Президента о государственной поддержке Православной энциклопедии. Вот те два дня я запомнил: как сказать людям даже не то, что они уволены, а что они больше не нужны, что все уже сделанное — снова неудача? Ведь это третья попытка издать Православную энциклопедию в нашей стране. При неудаче все отложилось бы еще лет на 50.

Сейчас мы здесь живем такой, я бы сказал, креативной и очень естественной жизнью. Я твердо убежден: если что-то развивается естественным образом, то это живет, это надо поддерживать. И это приносит отдачу. Если не деньгами, то, так сказать, функциями. Мы, например, взяли на себя и полностью оплачиваем всю работу по церковной тематике в архивах, в ГАРФе и в архиве ФСБ. Пишем статьи о новомучениках и епископах в XX веке. Стали заниматься русскими святыми и убедились, что в течение 70 лет многие рукописи практически не изучались. Соответственно, открыли агиографический совет, выделили определенную сумму для грантов тем светским ученым, которые занимаются рукописями, поддерживаем их. Мы поняли, что накопили огромный потенциал информации, надо ею как-то делиться. И организовали сразу три направления — интернет-портал, радиопрограмму и телепрограмму. Интернет-портал пошел, с 700 какого-то места поднялся на 32-е за год. Значит, им пользуются, это нужно. Телепрограмма тоже пошла — рейтинги выше, чем у предшествующих и последующих программ на этом канале. Значит, кто-то смотрит, интересно, есть отклики. А радио не пошло, как в пустоту.

*— Хочется сказать: человек может все! Если... Вы говорите — “должен быть стержень”. Часто слышишь: “Если есть реальная цель, близкая тебе идея, тема, которая не дает тебе покоя”. И вера — во что? В Бога? В себя, в свои силы?*

— Ну, вера в свои силы — это, по-моему, самолюбование. Ничего не производит. Если бы я был неверующим, моя жизнь — при заданных возможностях и способностях —

сложилась бы по-другому. Думаю, я сейчас руководил бы каким-нибудь PR-агентством и за деньги делал бы конфетку из любого... уж извините. Если бы нужно было просто сделать карьеру. Я не могу сказать, что обладаю какой-то сверхидеей, что родился и рос с идеей издавать энциклопедии. Если уж говорить откровенно, то у меня ничего не получается с первого раза. В отличие от многих. Все делается с трудом. С очень большим трудом. Вот потом, когда получается, — уже получается и развивается. Но так, чтобы был, что называется, фарт — нет. То есть я не помню, чтобы с первого захода был результат. Я возвращаюсь. Я просто считаю, что любое затеянное дело надо доводить до конца. Или убеждаться в его полной неперспективности. Вот если ты убедился — да, ты имеешь право от него отказаться. Но если есть хоть малейшее представление о том, что ты недоделал, ты должен вернуться и доделать.

В.А. Шмелев

“Первое свободное поколение:  
социальные фантазеры”

— *Прежде всего попросили бы вас представиться: многие, видимо, знают об общественном движении “Первое свободное поколение” и о его руководителе.*

— Если кратко: зовут меня Владимир Шмелев, родился в Москве в 1980 году, окончил Российский государственный гуманитарный университет, поступил в аспирантуру Института русского языка РАН. Образование у меня лингвистическое, то есть нельзя сказать, что оно напрямую связано с моей общественной деятельностью. Хотя, с другой стороны, с лингвистикой связано все, так как занятия ею позволяют лучше сохранить форму мыслительных процессов. А практическая деятельность, о которой я говорю, началась удивительно рано: мне было 16 лет, я только поступил на первый курс. Это было время после избирательных кампаний 95–96-х годов, когда у меня и моих друзей сложилось внутреннее ощущение, что нет политических сил, которые представляют нас, которые хотелось бы поддерживать, которые говорили бы действительно так; как говорили мы, просто собираясь друг у друга, — мы были достаточно сильно политизированы. Ощущение некой пропасти между нашим пониманием того, что происходит, и тем, что видим, картинкой в телевизоре. И мы решили создать свою организацию. Честно говоря, был еще интерес посмотреть, насколько провозглашенная демократическая система позволяет обычным молодым людям самоорганизоваться, создать общественное объединение, начать действительно участвовать в общественной жизни. Тогда и появилось “Первое свободное поколение”. Стало ли это название результатом четкого поколенческого видения мира — не знаю. Сейчас кажется, что да, накопилось мно-

го объяснений. Чем мы отличаемся от других? Тем, что мы первое поколение людей, чье становление, воспитание происходит уже в условиях нового государства, в условиях свободной России. И наше движение — принципиально отличающийся от других продукт общественной деятельности, общественной жизни, поскольку это действительно классическое гражданское объединение, то есть созданное снизу (не секрет, как у нас обычно создаются политические движения и партии). Поэтому я так и дорожу своей организацией, хотя было много предложений и соблазнов — влиться в какую-то партию, стать участником именно существующей партийно-политической системы.

Мы объединились на основе некоего манифеста (у нас это называлось “Декларация”), конечно, с элементами если не радикализма, то эпатажа. При том характерно: если в 96-м году это была небольшая группа друзей, в основном московских студентов, то сейчас наше “Первое свободное поколение” имеет филиалы и отделения в 52-х регионах. Любая партия склонна приводить свои формальные реквизиты, но у нас действительно если не в 52-х, то в 30-ти понастоящему сильные организации, где такие же молодые люди участвуют в местной жизни и политике, даже пытаются избираться в местные органы власти и предлагать свое видение существующих проблем. Реальные, активные группы, может быть, не очень масштабные — такой задачи не ставилось, — но действующие.

Первые несколько лет прошли в основном под знаком шумных уличных акций и подобного рода мероприятий (при этом отнюдь не бесцельных). Иными словами, сначала решалась задача самовыражения, а потом уже мы стали понимать, зачем, собственно, мы объединились. В нашей “Декларации” прежде всего говорилось о свободе как об очень важной для нас ценности, о гражданских и политических свободах, которые были продекларированы в 91-м году. То есть мы заявляли, что становление нашего поколения начинается с августа 91-го. Кроме того — и это тоже принципиально важно для нас, — мы подчеркивали свою привязанность к нашей земле, свой патриотизм, если можно так выразиться, причем не только в масштабах всей страны, но и региональный и местный патриотизмы. *Роди-*

на и свобода — это две ключевых ценности нашего поколения, мы не видим противоречия между ними, как многие, кто просто живет по другой еще шкале. Причем свободу мы понимаем прежде всего как *ответственность*, которой так не хватает, я это вижу, в современной практической политике. И принципиальный момент — конечно, *многообразие*. Мы совершенно отчетливо понимаем, что как бы успешно мы ни работали, все люди не будут такими же, как мы, — да мы этого и не хотим. Наше поколение — первый прецедент подлинного политического, культурного многообразия, что тоже является нашей ценностью. Мы хотим его сохранить, может быть, лучше сформировав в каком-то смысле его рамки (на самом деле у любого разнообразия есть рамки). И главная наша задача — проекция этих ценностей на тот или иной участок общественной жизни, то, что действительно является предпосылкой любого нашего проекта.

Сейчас мы понимаем, что недостаточно просто объявить себя поколением, — им нужно стать. Не каждая возрастная группа становится поколением в таком историческом смысле, когда говорят, что вот это — “шестидесятники”. Они стали ими не только потому, что жили в такие-то годы. Нашему же поколению, как мы считаем, предстоит провозглашенные в качестве ориентиров ценности наполнить реальным содержанием, сделать так, чтобы они действительно были нашими ценностями, чтобы по-настоящему работали те или иные гражданские политические институты, движимые прежде всего нашей активностью. У нас есть такой шанс, потому что, будучи воспитанными уже новой российской демократией, можно посмотреть на нее как бы изнутри и лучше понять, оценить окружающую реальность как, с одной стороны, нечто абсолютно естественное (мы в этом живем), а с другой — как то, что нуждается в изменениях. По шкале “хорошо — плохо”: вот это хорошо, а это явление кажется опасным. В принципе такая оценка и является единственно возможной во всем мире, однако в России до сих пор еще преобладает совершенно иной подход: “вот так было в Советском Союзе”, “вот так есть на Западе”, “вот так сейчас у нас”.



Складывается впечатление, что в последнее время как бы проведена граница между “шестидесятниками” и поколением, которое сейчас оказалось у власти (в моем представлении это именно поколение, хотя, конечно, там люди разных возрастов). Очень четко эта граница была обозначена 31 декабря 99-го года. Произошел некий исторический момент — и произошла в целом поколенческая революция на всех уровнях власти. Но мы-то уже начинаем рисовать себе не то чтобы границу, а все же некоторую линию между поколением, которое сейчас у власти, и нами. Мы ее видим. Все равно основная масса людей, представляющих политический класс России 91-го года, склонна считать: это плохо, потому что так было в Советском Союзе; это принято на Западе — значит нужно поступать именно так. Или ровно наоборот. Все же подобный подход к политике, к политическим учениям и мыслям — наверное, естественный, выросший именно из советского времени — указывает на то, во что нужно верить, но что не обязательно понимать, что сложно оценить, пропустить через себя и добавить свое.

*— Есть суждение: родившиеся в 80-х — самое многочисленное поколение за последние пятьдесят лет и уже сейчас живущее в принципиально ином, чем остальное общество, информационном пространстве — через несколько лет почувствуют силу и будут диктовать свои условия, потребуют перераспределения властных полномочий, обрушив всю систему власти. Вы согласны с таким утверждением? Это про ваше поколение?*

— Ну, в чем-то... Есть, конечно, предпосылки к тому. К чему мы стремимся? К тому, чтобы приход нашего поколения в общественно-политическую и культурную жизнь связывался с ценностями, о которых я говорил. Да, мы понимаем: ценности местного патриотизма, свободы, единства в многообразии, самостоятельности, ответственности, отсутствия иждивенчества не обязательно должны утвердиться и характеризовать наше поколение потому только, что так распорядилась история. Нет, конечно. Но мы считаем, что у нас есть шанс вместе с этими ценностями

прийти и оставить свой след в общественно-политической жизни. Соответственно, мы стремимся делать все для того, чтобы как можно большее число молодых людей, участвующих в общественной жизни, эти ценности разделяли, чтобы наши представления стали “визитной карточкой” поколения.

— *Получается? Посторонний взгляд пока видит здесь, да, многообразие, но вызывающее по меньшей мере тревогу. Среди ваших сверстников есть и те, кто привержен идее насилия, даже сверхнасилия, и новые левые, выступающие за революционную идею, и группы, ассоциирующиеся с прежним комсомолом, откровенно возрождающие его лозунги и методы, и многочисленные другие. Есть и вы — “первое свободное поколение”. Единственные в своем роде?*

— Таких инициатив, конечно, было много. Ну, откуда бы взялось наше общероссийское движение? Мы не просто ездили в разные регионы и находили там людей — нашими партнерами становились, в общем, такие же гражданские инициативы, сложившиеся небольшие организации, молодежные, общественные. Именно на их базе мы уже создавали региональные отделения. Так что инициатив довольно много, просто редко какая из них доходит до уровня общероссийского объединения. Это очень сложно. Но заметьте: в молодежном движении преобладают группы, возникшие снизу как инициатива, а вовсе не созданные партией для себя. Ведь многочисленные “новые левые” — это тоже не молодежные организации КПРФ. Мне кажется очень важным затронутый вами вопрос: о политическом пространстве, в которое вовлечены сейчас молодые люди. И давайте подчеркнем, что создается некое параллельное пространство. То есть “Идущие вместе” — это более успешный проект, чем молодежное “Единство”. Мы, скажем, в свое время по некоторым вопросам взаимодействовали с СПС, но в любом случае наша организация, по мнению многих, более успешная, чем молодежное крыло “Союза правых сил”, и т.д. На самом деле, как я считаю, это показатель совершенной недееспособности сложив-

шейся у нас партийной системы, ее неестественности, придуманности.

— *Почему все же, на ваш взгляд, усиливаются левацкие настроения у молодых? Есть точка зрения, что одна из серьезных угроз новой Европе — именно левацкие протесты. Набирает силу такой протест и у нас. Кажется, что те, кто опоздал к “разделу пирога”, ничего не получил в ходе реформ, ринулись в революционность, видя в этом для себя единственный путь.*

— Бесспорно, наше поколение (мы сами про себя так говорим, даже мы) — это “поколение не успевших к раздаче”. Мы активны, молоды, и будь мы чуть-чуть старше... Не успели. И можно в этом видеть какие-то корни левых настроений. Но я вижу и другое, находясь внутри этой среды. Молодым людям вообще присуще желание быть левыми. Всегда. Ну, некоторый радикализм. Вроде бы Черчилль говорил, что, если ты не был левым в соответствующем возрасте, у тебя не было сердца. Ну и, конечно, мода, потому что именно левые политические объединения связаны, как правило, с молодежной культурой, андеграундом, современным искусством, что всегда более привлекательно и не столь скучно, как традиционное правое мещанство, бюргерство — этакое спокойствие. В случае с левыми я, скорее, вижу истоки культурные. Я сам не был на антиглобалистских, скажем, мероприятиях, но бесспорно — это культурное событие для молодых людей. Фестиваль! Приезжают музыканты, все просто живут на улицах...

— *А это не игра?*

— Игра, конечно. События 1968 года — тоже игра. Но какая!.. Если вдруг в этой массовке небольшая группа, которая уже чего-то хочет, движима действительно некими идеями протеста, революционными идеями, начинает устраивать беспорядки, то получается, что разговор идет обо всех. Я вдруг замечаю, как у многих людей, которых я, в общем, считал, скорее, своими единомышленниками, появляется некий элемент симпатии к антиглобалистскому дви-

жению. Дань моде на левые настроения. Это первый момент. А второй момент — политический, может быть, более серьезный — связан с тем, что не исключено: именно левые движения и партии в России, как, собственно, во многом и в Европе, в большей степени будут действительно восприниматься как защитники прав и свобод человека, защитники справедливости, в каком-то смысле и демократии. Нам это еще сложно представить, потому что сразу перед глазами — такой монстр, как КПСС или КПРФ. Должно пройти время. Тем не менее звонки к тому, мне кажется, уже есть. Хотя я думаю, что тяга к какой-то глубинной анархии, перспективы левой идеи, создания оппозиции и прочие вещи сейчас меньше влияют на симпатии молодежи к левым движениям, чем просто некоторая мода.

*— Вы как-то связаны с другими молодежными организациями и движениями, пытаетесь с ними сотрудничать либо, напротив, противостоять им? Или вы стремитесь заявить о себе как о самостоятельной силе и действуете обособленно? Потому, возможно, и менее известны.*

— Естественно, потому, что мы — не картинка. Некоторые партии тоже гораздо больше известны, но не будем же мы всерьез утверждать, что в России существует множество полноценных партий. Просто есть некие продукты, проекты, некий заказ. Если ты отработываешь заказ, о тебе сложно говорить с точки зрения обусловленности твоего появления. Ну, возможно, был коммерческий интерес либо это была политическая идея. Заказчик может быть и в администрации президента, не обязательно он должен быть олигархом, хотя часто это сочетается. Такова изнанка той жизни. Как и в молодежных движениях. Мне не интересно, например, рассматривать здесь движение “Идущие вместе”, потому что его появление есть не объективный процесс, а успешно реализованный проект, из которого будут следствия. Они и уже ощущаются. Скажем, в нашей работе на одной площадке: нам сложнее стало разговаривать со многими молодыми людьми во многих учебных заведениях, куда приходили “Идущие вместе”.

Просто потому, что они четко распространили представление о том, что участие в общественной жизни равно мгновенному получению материальных благ. А что вы предложите? — спрашивают нас, ссылаясь на “Идущих”. Вот они, мол, дают то-то, а сколько вы дадите нам денег или каких-то там благ, если мы вступим в вашу организацию... Вот такой подход — плохое следствие. Никаких еще опасных настроений, никакого “криминала”. Но как тут работать вместе? Что касается молодежных группировок типа коммуно-нацистских — мы, в общем, не пересекаемся. Были ситуации прямых соприкосновений, когда баркашевцы пытались приходить на наши акции. В какой-то момент даже попытались угрожать, звонили. Но все это не очень серьезно, не стали связываться, затянуть нас в какие-то конфликты не удалось. Вот на уровне людей мы пересекаемся, когда видим, что их можно в чем-то убедить, привлечь. Очень важным, например, считаем показать, как рождается фашистская идеология. Я писал такую статью еще в 98-м году, когда никто про тех же скинхедов особенно не говорил и не думал. Мы-то все это наблюдаем — это же наши ровесники, знакомые. Реальная общественная опасность шовинизма бесспорна. Это не мифы из газет и телевидения и не только надуваемый администрацией президента искусственный проект. Назревает такая проблема, и во многом она вытекает из другой, существенной для молодежи проблемы — самореализации, скажем так. Можно было бы занять позицию: нет сейчас возможностей для реализации естественных амбиций, желаний и т.д., потому люди идут в фашистские организации. Но они, такие возможности, есть. Во всяком случае, их в десятки раз больше, чем было прежде. Да, часто сталкиваешься с непреодолимой, казалось бы, стеной непонимания, недоверия, недружелюбия. На самом же деле стену можно либо пробить, либо обойти. Если действительно хотеть. А у очень многих людей отсутствует видение того, чего они хотят. Вот в этом, скорее, проблема, а не в невозможности реализоваться в связи с ситуацией в государстве и обществе.

И потом — опять же мода, думаю, есть и это. Ее влияние серьезнее, чем может показаться, потому что за каж-

дой идеей, брошенным лозунгом — широкая рекламная кампания, мнение авторитетных лиц, каких-то значимых фигур. И сами лозунги ведь не просто вбрасываются — они улавливаются в настроениях молодежи. Кстати, и мы считаем важным такой метод работы. Вот сейчас говорят: “модно жить в своей стране”. Это стало модным, но не без усилий, и я за такую моду. Мне хотелось бы, чтобы было модным “участвовать в местной жизни”, и, думаю, мы в том числе можем немало для этого сделать. Здесь, конечно, очень важна ставка на личность, что у нас пока плохо получается. Хотим, чтобы на нашей стороне было больше узнаваемых лиц, чтобы они активнее ретранслировали наши идеи. К сожалению, это не просто — некоммерческий подход сейчас не очень популярен.

— Скажите, Владимир, а на какую референтную группу вы ориентируетесь в своей деятельности? Менялась ли она с течением времени или ее как таковой вообще не существует?

— Мы специально никогда не декларируем наличие такой группы. Есть организации, где говорят: мы ориентируемся на всех. В каком-то смысле — в виде декларации — мы тоже ориентируемся на всех. Но если не лукавить, то реально наши идеи, наши ценности оказываются близкими в основном людям, либо получающим высшее образование, либо уже его получившим. Скажем так: скорее студентам (и гуманитариям, и технарям), чем молодым людям, работающим на заводе. Впрочем, можно говорить и о референтной группе: мы всегда ориентируемся на успешных людей и даже формулируем для себя, кого мы называем “успешными”. Это не те, кто уже многого добился и у кого много денег (об этом лучше судить в другом возрасте и исходя из других критериев). Нас же прежде всего интересуют те, кто, во-первых, стремится достичь успеха и, во-вторых, не стесняется этого своего устремления, для кого это как бы часть его мироощущения.

Как мы понимаем сам успех и что значит его достичь? Успешный человек — это не иждивенец. Это тот, кто мыслит. Это самостоятельный человек. Человек, который

свою материальную и/или духовную жизнь, ее качество связывает с собственной активностью, деятельностью. Он на что-то нацелен, но достичь этой цели стремится своими усилиями.

*— Но вы, видимо, реально сознаете и то, что таких деятельных, самостоятельных, целенаправленных людей потенциально не так уж много. Даже крайне мало — 3–5 процентов населения, как утверждает один из авторов этой книги. Просто в силу природы человека: остальным дано быть лишь исполнителями.*

— Ну, самостоятельных и успешных людей, думаю, больше. Скорее, даже предприимчивых. Но, конечно, это небольшая прослойка — в чем и проблема, признаваемая многими странами. В обществе должно быть больше предпринимателей во всех смыслах этого слова (не только применительно к коммерции). В Европе существует множество программ, институтов, “бизнес-инкубаторов”, способствующих развитию предпринимательства. И все равно проблема решается сложно, деятельных людей не хватает. Что говорить о России, где они сейчас столь нужны и где их столь очевидно мало. Мне кажется, важно все-таки стимулировать людей к предпринимательству (я не считаю, что это совсем уж богоданная вещь), такая жилка может развиваться, желание — возрасти, стоит порой лишь подтолкнуть человека. А если он (как случилось и с нами), пройдя много раз по пути реализации своих идей, наткнется на бетонную стену, то в итоге он вряд ли воспрянет от равнодушия. У человека опускаются руки, а иные спиваются. Кто-то следующий, возможно, и проломит ту стену. Но все-таки нужно понимать, что для общества, для государства вот эти предприимчивые люди — основная ценность, основная движущая сила. У нас же все еще принято воспринимать их как тех, кто “высовывается”, кто “считает себя умнее других” и кого нужно поэтому “душить”.

*— В этом вашем намерении утверждать в людях — и прежде всего молодых — деятельное начало, стремление к успеху вы можете опираться на молодежную политику,*

*разрабатываемую на официальном уровне? Не так давно, например, ее рассматривал Государственный совет. Характерно, что в преамбуле к предложенным документам говорилось: молодежь не понимает, в каком мире она живет, поэтому мы выработали доктрину, дабы разъяснить... Характерно и то, что большинство собравшихся раньше были активными деятелями ВЛКСМ...*

— ...и считают, что нужно возродить положительные стороны советского опыта. Все так. Это типично. Я всегда задаю вопрос: а что такое “молодежная политика”? Про нее можно говорить очень долго. А если кратко, то скажу только, что любое обращение органов власти к проблемам молодежной политики мы воспринимаем обычно с ужасом. То есть лучшее для нас, чтобы вообще не было таких обращений и обсуждений. Каждое обсуждение грозит десятками, сотнями совершенно, с нашей точки зрения, бесполезных инициатив, проектов и, естественно, безумной растратой бюджетных средств. Не важно, что здесь причина, что следствие — тем не менее.

— *Вас не привлекают к таким обсуждениям?*

— Нет. Но когда Государственный совет решил озаботиться проблемой молодежной политики, мы тоже, конечно, сформулировали свои предложения, передали их в рабочую группу. Я не хочу никого обидеть, там много людей, к которым я хорошо отношусь, считаю своими коллегами, некоторых даже друзьями, тем не менее сам по себе их подход к проблеме... Ну, прежде всего — что же такое “молодежная политика”? Никто не отвечает на этот вопрос. Скорее всего и главным образом она должна быть связана с тем, что в какой-то момент, в таком-то возрасте происходит процесс социализации — вхождения человека в общественную, гражданскую и политическую жизнь. То есть государство определенным образом, в рамках своей политики в том числе, озабочено тем, чтобы облегчить молодежи подобное вхождение. Если это так, то давайте попробуем сформулировать, чем именно оно готово помочь и какого именно гражданина ожидает получить. И если мы



просто начнем подходить к этой проблеме более-менее последовательно, то увидим, в принципе, молодежную политику как некую систему координации работы разных министерств и ведомств именно в аспекте социализации людей. Нужно ли для такой координации создавать отдельный государственный комитет и целые толпы чиновников во всех регионах, как предложил Госсовет, полномочного представителя президента по вопросам молодежной политики в каждом федеральном округе, советника президента и т. д.? Честно говоря, мне кажется это нерациональным. Ну, если все они будут работать на общественных началах — пусть каждый занимается чем хочет. Но за счет налогоплательщиков? Сейчас молодежная политика представляет собой попытку сформировать некие рамки: если ты молодой, ты должен — я это и по себе чувствую — заниматься проблемами наркомании, спорта, ну, в какой-то мере образования... Что еще у нас есть такое сугубо “молодежное”? А вот что по большому счету гораздо важнее, чтобы молодые люди начинали формировать свой взгляд на решение проблем страны, из которых в том числе проистекают проблемы наркомании и все прочее, чтобы принимали участие в их решении — вот об этом как бы никто не думает. Нельзя отдельно рассматривать экономические проблемы и отдельно — молодежную политику. Они действительно взаимосвязаны — такая горизонтальная вертикаль. Возможно, молодежная политика будет в большей степени посвящена участию молодых людей в общественно-политической жизни за счет, скажем, каких-то специальных кадровых программ, которые стимулировали бы их активную деятельность в местных органах власти. Ну, я условно говорю, идея понятна. Давайте ее обсуждать. Но что самое удивительное (просто небольшая ремарка): любые преамбулы к любым такого рода документам постоянно отсылают к советскому опыту. Ну, это как бы хороший тон. Непременно нужно сказать, что вместе с комсомолом, пионерией мы потеряли много хорошего, надо бы возродить их положительные стороны. Совершенно ведь бессмысленный разговор. Люди явно не понимают, что живут в условиях абсолютно другого государства, и даже просто формы работы ВЛКСМ и пионе-

рии для него уже неприемлемы. И молодежь другая, и действуют другие законодательные нормы.

Надо заметить, что в большинстве стран молодежная политика существует и формулируется на государственном уровне. Но примерно в той логической цепочке, о которой я говорю. То есть ее задача состоит главным образом в координации действий разных ведомств, в том, чтобы молодежный аспект был отражен в каждой вертикали государственной политики. А не в том, чтобы выделить еще одну вертикаль.

*— Нередко можно слышать, что реформы нарушили естественную ротацию поколений, что происходит некий разрыв, нарушается традиционная преемственность поколений. Вы ощущаете это — тем или иным образом — на себе?*

— Нет, конечно, это не так. Дело не в том, что смена общественного строя — такое малозначительное событие, чтобы действительно не повлиять в том числе на преемственность поколений. Конечно, отмечается некоторая революционность по отношению к ряду стереотипов. И она позитивна. Мне кажется, у нас как раз есть шанс олицетворять разумное сочетание, с одной стороны, бесконфликтного, доброго, преемственного отношения к предыдущим поколениям, а с другой — отказа от многих стереотипов и стремления предложить какие-то новые взгляды на существующие проблемы. Но есть и естественные различия во взаимоотношениях поколений.

Ну, вот собственное наблюдение. Когда я выдвигался в Московскую городскую думу, за меня голосовали в основном либо молодые люди, мои ровесники и чуть старше, либо пожилые, и как-то очень скептически ко мне относились представители среднего поколения, которое сейчас у власти. Может, более ревностно воспринимают таких, как я? Не знаю, но как ни странно, в чем-то у нас больше взаимопонимания с людьми старшего поколения, чем с этим средним. На мой взгляд, оно безумно цинично (возможно, я ошибаюсь, но есть такое внутреннее ощущение). Мы в большей мере верим не только в возможности рынка, но и

в некие вечные ценности, делая акцент, скорее, именно на них. В своем стремлении возвращать и утверждать эти ценности мы, возможно, выглядим, на их взгляд, смешно. Как, наверное, воспринимаются ими и люди старшего возраста. Но это опять же связано с нашим менее прагматичным подходом.

*— А нынешние 16-летние для вас — уже другое поколение?*

— Я вижу школьников старших классов, и мне кажется, что они живут совершенно в другой стране. То есть, наверное, все-таки в нашей, потому что столь же сильное, острое ощущение часто возникает и по отношению к предыдущим поколениям. Среднее точно живет в некоем демократизированном капиталистическом Советском Союзе, скажем так. Новые формы как бы приняли, по сути же — все равно там. А младшие... Может, они и не в другой стране, но во всяком случае их и не назовешь свободным поколением, вернее, поколением свободы. Для нас это все же в каком-то смысле выстраданная вещь, мы ее ценим. Для них — нечто естественное, в одном ряду со всем другим. Скорее, ощущение абсолютной внутренней раскованности. Почему-то представляется, что с точки зрения политической это поколение будет гораздо более левым. Пока между нами нет четкой границы, позже, возможно, начнут проявляться возрастные различия. Но разрыва как такового не будет, потому что нет столь значимого события, которое бы нас разорвало.

*— А как вы отнеслись к такому событию, как теракт 11 сентября 2001 года в США? Это произошло как раз в период вашего гражданского становления, “социализации”, как вы сами говорите. Не повлекло ли это за собой каких-либо перемен в вашей настроенности, программных положениях?*

— Мы это восприняли так, что обозначилась в каком-то смысле финальная точка становления нашего поколения, продолжавшегося как раз десять лет — с 1991 по 2001 год.

В эти годы многие поверили в фукуямовскую теорию “конца истории” — мол, демократия победила по всему миру, войн больше не будет и т. д и т. п. После 11 сентября стало окончательно ясно, что это миф. Теперь взбудораженные умы многих людей захватила хантингтоновская концепция “столкновения цивилизаций”. Она красиво все объясняет, но, на мой взгляд, и провоцирует обострение противоречий. Вот и у нас все чаще появляются публикации из серии, условно говоря, “начинают с белых платочков (я имею в виду борьбу некоторых мусульман за право фотографироваться на паспорт в хиджабе), а потом взрывают здания Всемирного торгового центра”. Так нельзя. Это ведет к стремительному ущемлению прав человека. Мне, конечно, ближе видение мира как находящегося на трех разных стадиях своего развития. Современный мир, постсовременный и досовременный. Конфликты происходят именно там, где эти миры сталкиваются. И представляется крайне важным сохранять баланс между борьбой с терроризмом, с одной стороны, и неущемлением прав граждан, отсутствием дискриминации людей по национальному, религиозному и иным признакам — с другой. В принципе все инструменты, институты демократии, позволяющие сохранять такой баланс, существуют. Просто мы уже сейчас видим, насколько это сложно. Но наверняка возможно. А значит, реально то, что как раз мы, в России, сможем предложить лучшие — в рамках демократической системы — формы сохранения баланса. Давайте пробовать это делать.

*— Вы пытались представить будущее нашей страны и мира? Как вообще вы относитесь к проблеме социальных идеалов?*

— С опаской. Я вообще всегда затрудняюсь рисовать некий образ будущего. Опасно заболеть этим. Строить настоящее, глядя на абстрактную картинку будущего, — утопия. Я хочу его строить, исходя из реальности. При этом, конечно, я могу сказать, на что мне хотелось бы надеяться, какой выбор России считал бы предпочтительным. Но все это, естественно, в русле нашего общего направления и публично обсуждаемого на более компетентном уровне.

— Нет ощущения, что в последнее время теряется интерес к самим понятиям “свобода”, “демократия”, которые для вас являются ключевыми? Даже некоторой их дискредитации в общественном мнении. Во всяком случае очевидно, что демократическим партиям все труднее работать в меняющихся условиях, приобретать новых сторонников. Ниша, которую они занимали, как бы полузакрывается. Ваше движение, идущее в том же русле, не испытывает подобных проблем, не несет потерь?

— Наоборот. Проблема, скажем, Союза правых сил — это именно проблема Союза правых сил, то есть того, как устроена, как действует данная организация. Но не проблема социальной базы. В чем изначально было наше принципиальнейшее расхождение с СПС и почему мы не стали его частью, не посчитали возможным реализовывать себя главным образом внутри партии? Потому что Союз правых сил ограничился 7–8 процентами населения, он работает только с той группой, которая за него голосует, хотя, бесспорно, идеи, выдвигаемые правыми, вообще правоцентристским движением, с моей точки зрения, разделяют как минимум 40–60 процентов населения. Очень большую роль тут играют и лидеры, и имидж, и то, как идеи доносятся до людей, как ими воспринимаются. Иногда хорошие инициативы превращаются едва ли не в фарс. Обидно. Мы хотим, чтобы в нашем поколении правые идеи разделяли не 7–8, а 78 процентов. Именно потому намерены работать, как я уже говорил, в несколько параллельном пространстве. Даже если заявить: “Мы — СПС”, то дети родителей, голосующих за СПС, будут наши, а дети, которые на самом деле тоже наши, но родители которых голосуют за КПРФ, к нам вряд ли пойдут, потому что имидж партии здесь уже связывают с определенными лицами, событиями и т. д. Один мой друг предложил делить наши политические силы еще и на “реставраторов”, “охранителей” и “прогрессистов”. Не хочу здесь много говорить о такой классификации (тем более, что она не моя и не в русле моих мыслей), но вот я вижу, что и СПС, и “Яблоко” больше живут тем, кто кого в девяносто таком-то году не позвал в правительство, прав ли

был Чубайс со своим вариантом приватизации, какие конфликты побудили Явлинского обидеться на СПС и т. п. Это ведь не только личное. Речь не о том, что необходимо нарисовать ту самую идеальную картинку будущего. Но прогрессивные партии, как мне кажется, должна объединять некая прогрессивная, направленная в будущее концепция развития государства и общества, которая может быть предложена и которую — очень вероятно — будет поддерживать большая часть населения. О таких вещах пока, к сожалению, серьезно не говорят, во всяком случае не делают на этом акцент. А чаще продолжают отвечать на старые вопросы. Да, важные, ключевые. Частная собственность — будет, не будет? Понятно, что в каком-то смысле страна уже ответила на этот вопрос, по крайней мере с нашей точки зрения. Основные права, политические и гражданские свободы — в общем, страна ответила и на этот вопрос. Либеральная экономика — в основном есть ответ. Но так называемые демократические партии продолжают за это бороться. Зачем? Предложите уже ответы на вызовы, которые существуют сейчас.

— *Многие проблемы молодежи — наркомания, алкоголизм, уход в “виртуальное пространство” часто расцениваются как “бегство от общества”. Вы, напротив, нацелены на конструктивное решение его проблем. Как вы сами рассматриваете свою общественную “миссию”? Кто вы в собственных ваших глазах, по собственным оценкам? Политики, общественные деятели, практики или некие любители на столь широком сейчас “политтехнологическом” поле?*

— Мы — “социальные фантазеры”. К сожалению или к счастью, но просто в какой-то момент я понял, что надо четко себе в этом признаться. И мне это нравится. Мы попытались провести самоанализ и пришли к выводу: мы действительно “социальные фантазеры”, потому что иных, рациональных причин участия в общественно-политической жизни в таком возрасте не существует. Куда прагматичнее пойти в бизнес, если же “тянет в политику” — начать заниматься ею лет через десять и сделать карьеру. А “со-

циальные фантазеры” живут все же идеей реализации ценностей. “Фантазеры” — основная сила нашего объединения. Настоящая удача, когда вдруг среди новых активистов обнаруживается такой “фантазер”. От них исходят наши инициативы, практические проекты (например, мы долго бьемся над введением полноценного местного самоуправления в Москве, что считаем основой любого демократического общества). Вокруг них выстраивается структура организации — не классическая партийная, а по содержательным направлениям. Группы, движимые несколькими “фантазерами”, включают и тех, кто готов стать реализатором, менеджером их проектов, и более широкий круг просто активистов.

Конечно, было бы лукавством называть себя профессионалами. Скорее — любители. Но есть множество людей, к которым мы прислушиваемся, которых читаем. Очень важна экспертная помощь — все-таки способ не просто быть дилетантами, а посмотреть, как в экспертном сообществе (я не говорю “науке”, потому что не стану все же называть это наукой) принято объяснять те или иные процессы. Если представить себе основной костяк наших “социальных фантазеров”, то среди них далеко не все хотят быть публичными политиками. Есть люди именно с амбициями экспертов — это же стало профессией, воспринимается как профессия. И они постоянно участвуют в экспертной жизни (работе всяческих семинаров, конференций, интернет-дискуссий), следят за публикациями других и сами пишут. Целый такой пласт жизни и очень конкурентный рынок.

*— Когда вы обращаетесь к помощи экспертов, вам при этом важно, как объяснить тенденции и явления либо каким образом можно скорректировать общественные процессы и возможно ли это вообще?*

— Или просто все расставить по полочкам? По-разному бывает. Ребята с амбициями экспертов более предрасположены к тому, чтобы все объяснить. Потенциал же влияния на процессы главным образом кроется в возможностях публичной политики. Вероятно, поэтому я вижу

себя скорее политиком и в общем уже ощущаю себя политиком. Хотелось бы, правда, быть более профессиональным и компетентным. А знаний, образования постоянно не хватает. Надо глубже уходить в обществоведческую тематику, знать ее сегодняшнее состояние, и это на всю жизнь, потому что в политике нельзя не быть современным.

До чего реально доведут нынешние мои “социальные фантазии” — сложно загадывать. Но, конечно, у меня есть амбиции, которые позволяют и в сложных ситуациях не опускать руки.



М.Ф. Черныш  
“Прогнозировать будущее  
невозможно”

— Михаил Федорович, вам как социологу близок сегодняшний дискурс о взаимосвязи глобальных процессов и особенностей включения в них России, о кризисе цивилизации, переходе человечества в качественно новое состояние? Вы озабочены этим?

— Если честно, то, находясь здесь, в России, в Москве, можно сказать, на мировой периферии, я этого качественно нового состояния человечества не отмечаю. Да, проявляются важные тенденции, идет развитие информационных технологий, письма теперь можно друг другу слать по электронной почте, в Интернете газеты читать. Но вот качественно нового состояния я не наблюдаю. Пытались продавать товары по Интернету, но ничего не вышло. Все равно люди любят пощупать вещь руками. Читать книги, получая их из электронных библиотек, невозможно, потому что книгу тоже нужно держать в руках, переворачивать страницы. Видимо, существует некий предел, до которого человеческую жизнь можно менять, по крайней мере в короткой перспективе. Идет, конечно, процесс глобализации, а значит, все, что происходит в современном мире, влияет на нашу жизнь. Но в самой этой жизни за последнее время произошло столько всякого рода катаклизмов, что вычленишь момент глобализации, определить, в чем он, собственно, состоит, довольно сложно.

Я озабочен, скорее, проблемами нашего российского общества. Мы, мои сверстники, действительно за недолгое время пережили четыре эпохи — могу судить по собственной жизни. Первая — 60-е годы, такое золотое детство, пионерлагеря, спокойствие, которое царило во всем

обществе на фоне явно невысокого уровня жизни, но некоторой устойчивости бытия большинства людей. В какой-то момент я, наверное, как и многие молодые, был уверен в преимуществах социализма. Так получилось, что в студенческие годы, будучи на четвертом курсе института иностранных языков, поехал по обмену в Америку и проучился там год. Это был период окончания молодежной турбуленции конца 60-х, все еще бурлило, полная свобода нравов — прямо скажем, нетипичный опыт для советского человека. Нам читали курс *social sciences* — наверное, у приглашающей стороны был свой умысел в том, чтобы учить нас социологии. Думаю, они хотели немножко расшатать наше мировоззрение, по крайней мере лишить его однозначности. Плюс к тому в нашем собственном институте сложилось довольно развитое студенческое сообщество, где циркулировали запрещенные “Доктор Живаго”, “Котлован”, зарубежные журналы; “Архипелаг ГУЛАГ” я прочитал в 20-летнем возрасте. Так что, наверное, я перестроился несколько раньше, был весьма критически настроен по отношению к советскому строю и принципиально в тех условиях не делал быстрой карьеры. А потом началась (по моему исчислению) вторая эпоха, к которой я оказался уже подготовленным: перестройка. Было славно, что наконец подудли свежие ветры, что-то меняется в обществе. Вместе с тем у меня возникало ощущение, что надежды, связанные с перестройкой, не могут оправдаться. Не знаю почему, какой-то инстинкт. Будто выбили некую планку из-под устоявшейся системы, и мы несемся в бездну... В 1991–1992 годах началась следующая эпоха — я бы сказал, такого общества-казино, в котором каждый выживает как может и где все играют в свои игры. Ну а сейчас — четвертая эпоха.

— *Как вы ее характеризуете?*

— Наверное, эпоха относительной стабилизации и консолидации, “собирания камней”. Рано или поздно она должна была наступить. Я не знаю, как на фоне таких катаклизмов вычленишь ту же глобализацию, — если вернуться к вашему вопросу. Мне приходилось работать с до-

статочно продвинутым слоем нашего общества — менеджерами, и я обратил внимание на то, что если они говорят о глобализации, то в основном с точки зрения некоторых перспектив. На сегодняшний день в большинстве своем — я именно о большинстве, потому что существует и меньшинство, — они не включены в этот процесс. Да, у них есть Интернет, еще какие-то атрибуты современного информационного общества. Но это все. Сказать, что они едут сегодня в США договариваться о поставках стали, а завтра связываются с “Фольксвагеном”, закупая там двигатели для машин или что-то еще, — нельзя. Они все равно живут в мире, где оборудование устарело, где изготавливают устаревшую продукцию. А если говорить о других областях, например о торговле, то здесь они вообще побаиваются глобализации.

— *Но вовлеченность в процесс глобализации все-таки объективна.*

— Ну да, безусловно. Хотя я не стал бы рассматривать это как некое абсолютно новое явление. Все началось, наверное, с “оттепели”, с того времени, когда на советских экранах появились иностранные художественные фильмы, а на полках магазинов — западные книги, когда имена зарубежных писателей, актеров стали обиходными, популярными в нашем обществе. Вот тогда, по мере постепенного включения в мировую культуру, обретения населением новых ценностей, уже можно было бы говорить о нашем вовлечении в процесс глобализации. А под новыми ценностями я подразумеваю прежде всего ценности потребления — консюмеризм. Наше общество становилось консюмеристским, ориентированным на потребление.

— *Уже в 60-е годы?*

— Да, эволюция началась в 60-е годы. Безусловно. Именно тогда на съезде партии было сказано, что главная цель КПСС заключается в постоянном и неуклонном подъеме жизненного уровня трудящихся. Поменялись приоритеты.

Если раньше речь шла о мировой революции, коммунизме, достижении социальной гармонии, то теперь — о подъеме жизненного уровня как главном законе социализма. По сути, было объявлено, что да, коммунизм существует только как горизонт, а достижимой, реальной, отвечающей интересам и потребностям большинства населения целью является рост жизненного уровня. Началась переориентация общества на консюмеристские ценности.

— *То есть вы считаете, Михаил Федорович, что у нас шло (и идет?) эволюционное развитие? Никакого качественного скачка, никаких “свежих ветров” перестройки — просто новый этап эволюции общества?*

— Я считаю, что да. Перестройка явилась не столько началом чего-то, сколько завершающей фазой того процесса, который обозначился значительно раньше.

— *И был инспирирован КПСС? Вы не восприняли ту же перестройку как резкий поворот, как событие, определяющее судьбу вашего поколения?*

— Нет. Я воспринял ее как пролог к какому-то будущему катаклизму. Стало очевидно, что реактор разгоняется и рано или поздно рванет. А что касается моего поколения, то у меня нет этого “ощущения поколения”. Я понимаю, что имеется в виду, когда говорят о “шестидесятниках”. Речь идет о Евтушенко, Окуджаве, других известных личностях. А вот масса населения? Она не имела к этому никакого отношения.

Некоторый жизненный опыт и социологические штудии — даже не знаю, что больше, — подвигли меня к тому, чтобы воспринимать широкие обобщения скептически. Я вижу: человек обыкновенный, рядовой живет, как Акакий Акакиевич, совершенно другими интересами. Есть у него шинель — и хорошо. У него нет того верхнего этажа, в котором можно жить интересами поколения. И он не принадлежит к поколению.

— *А как у вас насчет верхнего этажа?*

— У меня какой-то верхний этаж есть, но в нем концепция поколения является предметом, как я сказал, скептического рассмотрения. Возможно, эта категория относится только к интеллектуальным слоям, которые артикулируют и вырабатывают определенную систему ценностей. Ведь люди если и говорят в быту о поколениях, то в сугубо демографическом плане. Но поколение в том смысле, в котором вы употребляете это понятие, не является категорией демографической, вы подразумеваете все-таки некоторый ценностный план. Но большинство людей не живут идеями. В свое время я довольно плотно занимался этой проблемой. Когда только начинал работать в институте, меня специально отрядили в библиотеку для изучения соответствующей литературы. Я прочитал почти все западные работы, от Фойера до Айзенштадта, месяцами собирал информацию о поколениях. И понял в итоге, что их нет. Есть, конечно, в рефлексующем классе попытка идентифицировать себя через поколение, причем с совершенно явной идеологической подоплекой. Люди говорят: “Мы отличаемся вот от этих саблезубых тигров, от зловредных партийных чиновников прошлого, потому что мы более вольные, более свободные и хотим — в отличие от них — гуманизировать общество”. Но это именно идеологическая подоплека, идеологический посыл, который используется для вполне конкретных целей. Рефлексующему классу свойственно стремление объять мир посредством общих понятий, осмыслить его в категориях (а “поколение” — прекрасная категория, через которую можно понять мир). Но, используя понятия, раскрывающие ценностный план, рефлексующий класс глядится в зеркало. Не более того. Словом, я против деления общества по каким-то поколенческим вертикалям.

— *Обратимся к вашей основной теме. В среде социологов вы известны как исследователь социальной структуры общества, процессов его дифференциации. Вы занимаетесь этим сейчас в силу инерции, необходимости, или тут вами действительно движет научный интерес, личная заинтересованность в углублении анализа этой темы, которая за последнее время, несомненно, видоизменилась?*

— Структурные проблемы меня серьезно интересуют, и прежде всего потому, что в этом я вижу некую ячейку анализа нашего общества, его нынешнего состояния. Уровень социальной дифференциации, который мы сейчас наблюдаем, — это ключевая проблема, обрастающая массой других проблем. Например, проблема среднего класса. Почему в России нет среднего класса? Ведь нельзя же говорить о том, что у нас недостаточно ресурсов — это неправда, у нас довольно богатое общество. Между тем именно средний класс может обеспечить в обществе некий уровень стабильности и быть референтной группой по отношению к низшим классам. Человек всегда мечтает о чем-то достижимом. Скажем, стать миллиардером — мечта ведь совершенно пустая. А вот получить образование, войти в средний класс, если он будет равен 30 процентам населения, — это уже вполне реальная цель для тех, кто действительно хочет чего-то добиться, имеет талант, склонность к предпринимательству, желание учиться, стать образованной личностью. Почему нет? Но это вряд ли реально, когда общество поляризовано. Получается, что, когда мы говорим об уровне социальной дифференциации, мы говорим о среднем классе; если мы говорим о среднем классе, то просто обязаны сразу говорить о государстве и системе распределения, которая в нем существует, о ценностях общества в целом, о различных формах мобилизации ресурсов, об институтах. Проблема социальной дифференциации — это еще и проблема формирования определенной системы ценностей, целевых ориентаций. От проблемы социальной дифференциации, от идеи социального равенства — к другим идеям и проблемам. Вот это меня интересует.

— *Что, на ваш взгляд, устарело, а что действительно перспективно в таком анализе?*

— Скажем так: в нашей науке сложился определенный набор парадигм и инструментов анализа; надо задействовать его полностью, а не привязываться только к какому-то одному методу или одной парадигме — вот главная идея. Если общество по сути своей является классовым, то таковым его и надо называть. Мы сейчас классовое обще-

ство, уровень социального неравенства предопределяет наличие в нем замкнутых социальных групп, каждая из которых имеет свой способ жизни и свою систему ценностей. Различны формы представительства их интересов в институтах государства. Если взглянуть на Государственную думу и задуматься: чьи интересы воплощают те партии, которые сейчас в ней представлены, скажем “Единая Россия”? Среднего класса? Нет, интересы бюрократии. А Коммунистическая партия? Опять-таки интересы бюрократии, никак не рабочих. Она почти всегда подписывалась под бюджетами, в которых интересы рабочих не фигурировали, и поддерживала документы, которые шли вразрез с этими интересами. Тоже партия бюрократии, но другой — бюрократии среднего уровня, скорее провинции, нежели федеральной, московской.

— *Служащих, чиновников, которых обычно как раз называют средним классом и вместе с тем (во всяком случае в быту) — бюрократами?*

— Нет, я бы развел эти понятия. Средний класс — это, скажем так, класс специалистов, занятых в рыночных отраслях экономики, в то время как служащий, с моей точки зрения, выполняет какие-то рутинные операции. Специалист — это человек, способный генерировать идеи, управлять производственными процессами, находить решения сложных проблем. И это именно та категория людей, которая составляет большинство среднего класса; плюс менеджеры достаточно высокого уровня, управленцы — вот его ядро. Бюрократия же в России, на мой взгляд, — совершенно отдельный класс. По целому ряду причин, и прежде всего потому, что бюрократия, выражаясь языком Маркса, — класс для себя. Осознав собственные интересы, она демонстрирует высокий уровень социальной активности, продавливая нужные решения через государственные органы, используя для этого систему общественных организаций.

— *Вы говорили, что для общества хороший знак, если средний класс составляет минимум 30 процентов. Каково положение сейчас?*

— Средний класс — это примерно 10 процентов, и если смотреть именно с точки зрения социального состава, пропорций, то бюрократии в нашем обществе тоже около 10–15 процентов.

— *Вы выделяете буржуазию как класс?*

— Конечно. Крупная буржуазия составляет в российском обществе сейчас, думаю, 1–2 процента. Если говорить о сложившейся в последнее время структуре, то надо упомянуть и так называемый старый средний класс — мелкая буржуазия, по Марксу. Сейчас она занимается, скажем, тем, чем занималась всегда, — мелкой торговлей и услугами. На сегодняшний день она составляет 2–3 процента населения. Безусловно, есть класс наемных рабочих (процентов 30) и крестьянство (15–20 процентов).

— *Наемный рабочий или просто рабочий — какое различие?*

— Один трудится, скажем, на промышленном предприятии, другой — индивидуально, причем имеет достаточно низкий уровень квалификации. Такой класс существует, но в российском обществе это то, что называют “слабым классом”, — он раздроблен, не имеет своих общественных организаций, вожаков, лидеров. Класс в себе, как и крестьянство, которое, на мой взгляд, находится в самом тяжелом положении. Если в прошлом у крестьян были какие-то каналы социальной мобильности, возвышения, была система социальной протекции со стороны государства, то сейчас они всего этого лишились. И вообще о них, об их проблемах почти не говорят. Они не есть часть структурного дискурса, даже в социологической литературе. Исчезли.

— *А наша бывшая интеллигенция — учителя, врачи, ученые, так называемый промежуточный слой?*

— Социальные слои — это совершенно другой подход. Существует концепция стратификации, и вот в рамках



этой концепции вполне допустимо использовать понятие “слой”. Раньше пытались выявить слои внутри классов, но, на мой взгляд, это была очень натянутая схема. Здесь мы все-таки должны использовать понятия “класс” и “группа внутри класса”. А наша бывшая интеллигенция разложилась, распалась на разные составляющие. Небольшая часть откочевала в средний класс. Большинство осталось на положении социальных маргиналов и сейчас не представляет собой какого-то отдельного класса. Вот, собственно, все, что можно о ней сказать. Распавшиеся пока находятся в некоем подвешенном состоянии, не очень понятно, что с ними будет. На Западе, например, их принято называть потенциальным средним классом: либо им удастся сохранить свою квалификацию и квалификационный ресурс и, каким-то образом применив его, войти в средний класс, либо они откочуют в другие социальные группы.

— *А маргиналы как таковые входят в нынешнюю структуру?*

— Маргиналы — да. Они, может быть, не являются классом в подлинном смысле слова, но существует еще такое понятие, которое почти непереводаемо на русский язык, — *underclass*. Это люди, которые вообще находятся за рамками классовой системы, причем снизу этой системы. Крайне атомизированная группа.

— *В нашем разговоре не присутствует еще одна социальная группа — элита. Каково и где ее место?*

— Тоже очень туманный термин. Кто-то пытается представить элиту как некую единую группу. Кто-то изучает высшие слои бюрократии и буржуазии, считая их элитой. Существуют и другие достаточно высоко позиционированные слои, которые можно было бы рассматривать как элиту, скажем творческая элита, военная элита. Но я этот термин не употребляю, и в классовую структуру такая категория не входит.

Процесс структурирования российского общества только развивается, начиная примерно с 1992 года. Ведь совет-

ское общество было в большей степени статусным, нежели классовым, то есть состояло из групп, определяемых тем или иным статусом. Рынок труда не выполнял дифференцирующей роли, государство присваивало различные статусы разным социальным слоям общества. Собственно, так и существовала советская система, если кратко. А вот сейчас, с появлением реального рынка труда, с началом дифференциации по степени владения собственностью на средства производства, и начали зарождаться классы. Как в итоге сложится новая структура — сказать трудно. Дело в том, что временной аспект отмечаемых изменений не позволяет нам с определенностью говорить о том, что общество движется в каком-то определенном направлении. Пока уровень социальной дифференциации — математически — крайне незначительно изменился по сравнению с серединой 90-х.

— *Государство как-то пытается влиять на этот процесс?*

— В какой-то момент оно было вовлечено в него самым активным образом. Собственно говоря, большая часть наших капиталистов — это назначенцы государства. Оно совсем было слилось, почти по Марксу, с буржуазным классом, только, наверное, наоборот: по Марксу, буржуазия подчиняет себе государство, а здесь государство создало буржуазию и практически слилось с ней. Стоит посмотреть на мобильность между позициями государственных чиновников и управляющих высокого уровня в частных компаниях. Или на родственные связи, влияющие на назначения. Но с некоторых пор государство пытается дистанцироваться от буржуазии и стать относительно независимым игроком. Время покажет, насколько это возможно.

— *И все же, Михаил Федорович: ваши исследования, наблюдения, научный багаж позволяют уже сейчас говорить о явно наметившихся тенденциях?*

— О долгосрочных тенденциях — нет. Могу сказать только о том, что было бы желательно. Конечно, было бы

желательно, чтобы средний класс укрупнялся и вырос хотя бы до размеров среднего класса в Малайзии, то есть до 30 процентов. Желательно, чтобы средний уровень заработной платы составил хотя бы 500 долларов. Да, мы при этом не будем Европой, но станем хорошей европейской периферией, типа Греции или Турции (что не так плохо на самом деле по сравнению с тем, что мы имеем сейчас). Желательно, чтобы не было окончательно демонтировано социальное государство в России, а чтобы, наоборот, оно наполнилось некоторым реальным содержанием.

— *Насколько возможна, по вашему мнению, сознательная коррекция социальных процессов и как вы это себе представляете?*

— Здесь, скажем так, я согласен с Поппером: корректировать социальные процессы можно в частности, но в общем — взять и все общество перевести на другие рельсы, вырулить его в целом к позитивному развитию — невозможно. Все это оборачивается большими трагедиями, чему история нас неоднократно учила, но, по-моему, так и не научила. Можно сознательно влиять на процесс, но для этого нужно улучшать положение дел в отдельных отраслях экономики, отдельных сферах жизни. Вот есть, например, северные территории, где много сложных проблем. Решая их, мы постепенно улучшаем положение дел во всей стране.

— *Но согласитесь, проблемы Севера, как и многие другие, это некие ответвления от общего ствола. Должно быть, видимо, ясное представление, что это за ствол, какого именно дерева, какая почва его питает, куда уходят его корни. Существует, скажем, генеральная идея — открытое общество, и все делается в развитие этой идеи. Та же перестройка начиналась во имя создания демократического общества. Что определяет движение сейчас?*

— Все, что происходит в нашем обществе, вся та модернизация, которая затевалась, — попытка очередного

приближения к западному стандарту. Мне кажется, что это постоянное видение Запада как стандарта связано с тем, что другие образцы очень сложно найти. А тут конкретный пример очень прагматического, со своими недостатками, конечно, но в целом вполне благополучного общества. И мы начинаем параметрически к нему приближаться по разным направлениям. Очень линейный способ модернизации российского общества, но цель понятна — западное общество.

— *Довольно распространено утверждение, что новых социальных идей сейчас вообще нет...*

— Думаю, новые идеи есть, но они не относятся к сфере целеполагания. Не социальный идеал. Есть конкретные очень неплохие идеи, связанные с уровнем анализа, с пониманием того, что происходит. Новые концепции постмодерна с попыткой осмыслить мир в терминах информационного общества, тех условностей, которые создают потоки информации. Эта постмодернистская теория интересна — почему нет? Но сказать, что она рисует идеал, цель развития, было бы большим преувеличением. Социального целостного идеала нет, и, наверное, он уже не возникнет. Просто потому, что все прежние себя исчерпали.

— *А демократия?*

— И она, наверное, достигла пределов своего развития и показала всем свои ограничения. Кроме того, идеалом не может считаться то, что и так достигнуто.

— *Россия периодически пытается выработать собственный, так называемый третий путь развития.*

— И ничего не выходит. Она явно идет к тому, чтобы быть периферийной частью Европы.

— *Вместе с тем научная и общественная жизнь в последние 10–15 лет, казалось бы, кипит. Во времена перестройки вышла книга “Иного не дано” — практичес-*

*ки программа-мечта “шестидесятников”. Несколько лет спустя появляется четырехтомник “Иное”, где уже новое поколение (наверное, здесь позволительно употребить все-таки этот термин) пытается сформулировать какие-то свои идеи в противовес прежним. В Интерцентре на протяжении десятилетия проходят симпозиумы “Куда идет Россия?” с ежегодным выпуском соответствующих сборников. РГГУ проводит историко-софские чтения. Невозможно упомянуть всех институтов, фондов и т. п. (в основном недавно созданных), где обсуждаются наши проблемы и перспективы. Это знак свободы общественной мысли? Но и только?*

— Это способ существования элитных групп. Что такое интеллектуалы без дискуссий? В том числе по поводу того, куда мы идем. Собственно, этот класс и называется телеологическим, чтобы формулировать общие идеи относительно происходящего. Но эти идеи имеют опосредованное отношение к реальным событиям.

Периодически возникает всплеск интереса к поиску так называемой национальной идеи. А, на мой взгляд, это отчасти происки власть имущих, которые хотели бы консолидировать общество таким образом, чтобы на фоне этой консолидации было незаметно резкое усиление социального неравенства, что, собственно, их усилиями и создано. Если Потанин — наш, и какой-нибудь безработный — наш, то все мы из одного племени. Еще и зарплату по Москве посчитать “в среднем”. Как хорошо! И в этом смысле Маркс прав: правящий класс всегда ищет способы консолидации собственной позиции при помощи подходящей идеологии. Это первое. Второе: национальная идея нужна тогда, когда существует проблема униженного национального достоинства. Можно сказать: “Да, мы, конечно, очень отсталые, у нас все станки заржавели. Зато мы — носители высокой духовности, а вы там погрязли в потребительстве”. Вот для чего нужна национальная идея. А в чем высокая духовность заключается, никто сказать не может. В свое время Ельцин собрал энное количество специалистов, отправил их за город, они там в поте лица своего старались решить проблему и потерпели полное фиаско. Есть

национальное бытие, но национальная идея из него никак не проистекает. Так что вряд ли здесь таится некая идеологическая альтернатива тому, что происходит.

Вообще печальный опыт обществоведения учит нас, что прогнозировать будущее невозможно. По крайней мере, в обозримой перспективе. Не думаю, что совсем уж глупы были те люди, которые писали программу партии, скажем, к XXII съезду. Вполне разумные люди — взяли какие-то большие тренды, спроецировали их на будущее, привязали к этим трендам показатели развития советского общества и получили некоторую совокупность целей, к которым нужно стремиться. Но они не учли (и могли ли учесть?) то, что произошло позже: переориентация на информационные технологии, энергосбережение, экологизм. Догоняющая модернизация, опирающаяся на параметрическое сближение с идеалом, всегда терпит крах потому, что модель, взятая за образец, тоже претерпевает изменения и нужно, идя в ее фарватере, повторять ее маневры. Однако цель, положенная в качестве идеала, не может быть такой подвижной. В этом случае она теряет важнейшее качество — способность к национальной интеграции и мобилизации.

*— Но тогда эти тенденции уже проявлялись, шло обсуждение глобальных проблем, экологии, сбережения энергии.*

— Но это были все-таки маргинальные проблемы по отношению к проблеме экономического развития. Экономический рост, темпы, больше стали, больше электроэнергии! Вот когда по уровню добычи угля, выплавки стали, производства электроэнергии мы догоним Америку, то будем совсем как она. И наращивали, наращивали... А Америка вдруг взяла и повернула в совершенно другую сторону, просто перестала с нами соревноваться по этим показателям (если вообще когда-нибудь соревновалась). Некоторое время назад у нас развернулась было дискуссия — догнать ли нам по темпам экономического роста Португалию. Очень даже российская идея: хоть кого-нибудь да догонять. Так, видимо, легче, когда видишь бегущего впереди. Ну, что в этих условиях сказать о будущем?

Возможно, люди обретут когда-то новые свойства, будут задействованы некие потенции человеческого мозга.

— *Вы считаете, не хватает мозгов?*

— Нет, думаю, с мозгами у нас все в порядке. Просто в России в процессе постмодернистской индивидуализации все мозги уплыли в другие сферы. Никому не интересно заниматься разработкой общих концепций развития российского общества. Каждый хочет, если у него есть мозги, реализовать их в конкретной сфере, себе на благо. Что угодно, только бы это приносило прибыль и каким-то образом помогало жить. А прекраснодушно мечтать о будущем... Сейчас все очень прагматично.

— *Сильное влияние прагматизма на нашу общественную мысль констатируется многими. Оно оборачивается тем, что эта мысль постепенно угасает?*

— Ну, я не могу сказать, что наша общественная мысль угасает. Она приходит к консенсусу. Она избавилась от идеалов — любых. Представьте ученого, который начнет сейчас говорить о коммунизме. Его просто осмеют. Вместе с тем в век постмодернистской индивидуализации каждый человек — классик. Он себя так позиционирует. Самое удивительное — вот в этом, наверное, весь постмодерн — каждый классик, но только для самого себя. Для меня он не классик. Мне он не интересен.

— *Потому что вы себя тоже считаете классиком?*

— Ну, в какой-то степени, в каких-то отношениях. Но это вовсе не означает, что меня кто-то будет считать классиком. Действительно, интересное, на мой взгляд, направление современных исследований — процесс осмысления культурных ограничений развития. Культурных ограничений эволюции, даже скажем так. Если раньше почти все наши социологи жили с просвещенческим убеждением о том, что развитие не имеет пределов (захотим — сделаем общество демократическим, захотим — построим капитализм), то теперь приходит осознание того, что есть некото-

рая константа, крайне инертная компонента существования людей, каковой является вековая культура, передающаяся на уровне почти подсознательном, которая, в свою очередь, налагает определенные ограничения на темпы эволюции общества. Все неудачи последнего времени и констатации этих неудач привели обществоведение к тому, чтобы глубже исследовать эту компоненту — повседневную культуру, ее ограничения, бытовые идеологии и т. д.

Существуют, естественно, и некоторые попытки оригинальничать — это всегда есть в общественных науках. Если ты хочешь быть классиком (по крайней мере, для самого себя), ты должен не совпадать с самим собой в некоторой временной перспективе, то есть периодически являться себе в каком-то новом виде. Но я считаю, что реальные достижения нашего обществоведения заключаются именно в том, что оно становится более приземленным, прагматичным, постепенно осознает границы, в рамках которых возможно изменять общество, подвергать его разным манипуляциям. Это нормально.

*— И нет необходимости в общесоциологической теории?*

— Думаю, что общая социология — это история социологии. Я не могу назвать ни одного российского социолога, который пытался бы сейчас объять общество в целом, создать новую социальную парадигму. Да и зачем? Мы и так будем знать свое общество в результате исследований, которые проводятся. Оно описывается в частности, в каких-то отдельных аспектах. А в целом? Такая задача не ставится, и, видимо, никому это сейчас не интересно. Не ставится цель создать новую теорию общества. Оно изучается в рамках тех парадигм, которые уже созданы в мировой социологии. Иначе говоря, берется готовый инструментарий и прилагается к российской почве.

*— Соответствует — не соответствует?*

— Да. А дальше разрыхляется почва с помощью этого инструмента, и какие-то плоды вырастают.



*— В таком случае, Михаил Федорович: смысл и роль вашей научно-исследовательской деятельности? Как вы их сами себе представляете?*

— Ну, смысл и роль исследовательской деятельности могут рассматриваться в двух аспектах. В личном — мне просто интересно. Проросло, видимо, — еще с юности — зерно любопытства, тяги к анализу социальных процессов. Постоянно узнавать какие-то новые вещи о нашем социуме — мне интересно этим заниматься. Существует и некий общественный аспект — вклад в науку, что называется. Я обычно об этом стараюсь не говорить. Но, безусловно, считаю, что своей работой вношу, может быть, не очень значительный, тем не менее вклад в процесс социальной рефлексии, рефлексии общества по поводу самого себя. Вот мы говорим о социальном неравенстве. Кто-то должен эту структурную тему позиционировать, она должна встать на повестку дня? Об этом заговорил один человек, второй, третий, четвертый. Это означает, что тема будет проникать в научный дискурс, средства массовой информации, начнет растекаться по обществу, заденет умы людей. И наступит период, когда об этом начнут задумываться все. А значит, в обществе будет делаться что-то по устранению проблемы. Вот так я представляю свою роль.

*— У вас многое впереди. В каком обществе вы хотели бы еще достаточно долго пожить?*

— Идеалом все-таки является гуманное общество. Я не назову его капиталистическим или социалистическим. Я назову его гуманным. Общество, в котором будут господствовать несколько иные нравы, чем те, которые мы наблюдаем сегодня. В свое время на меня довольно сильное впечатление произвела книга председателя Римского клуба Аурелио Печчеи “Человеческие качества”. Я считаю, что совершенствование человеческих качеств в том или ином социуме и есть его цель. Люди, которые становятся более цивилизованными, мыслят гуманно, отдаляются от насилия, которые более продуктивно, добросовестно работают. Я — за комфортность нахождения в человеческом сообществе. Этого можно

достичь только через улучшение нравов. А нравы, по Пушкину, — вполне конкретное поведение одного человека по отношению к другому. Всего лишь.

— *Многих тревожит духовный кризис, который переживает человечество, предельное обесценивание жизни человека и вместе с тем тщетность поисков ее высокого смысла. Вы разделяете эту тревогу?*

— Да, разделяю и считаю, что к обесцениванию жизни приводит крайняя степень индивидуализации людей — процесс, который мы сейчас наблюдаем. Когда не остается никого вокруг, кроме тебя самого, и ты реализуешь свои устремления, ни о ком не задумываясь, — это очень опасно для общества XXI века. Не знаю, каков может быть выход из существующего положения. Попытка людей создать для себя конюмеристский рай (на языке социологии — потребительское счастье) в некоторых странах практически удалась. Вместе с тем нескончаемый процесс потребления, постоянное потребительское счастье можно было бы назвать “забвением Бога”. Человек решил, что он должен реализовать себя на земле, добившись максимальных материальных благ, сенсорного удовольствия. При этом игнорируются другие формы его реализации, которые могут быть более перспективными и для человека, и для человечества.

В эпоху Просвещения освобождение людей от материальных забот и трудностей полагалось именно как способ некоего возвышения человека, способ, который сделал бы жизнь более гуманной и создал бы предпосылки для новых форм взаимодействия людей. Но оказалось, что удовлетворение материальных потребностей как постоянно развивающийся процесс сам становится целью — и отдельной личности, и общества в целом. Конюмеристская ориентация начинает преобладать над всеми другими формами самоактуализации. Однако и конюмеризм, наверное, подходит к своим пределам — ресурсы-то общества исчерпаны. Это какой-то духовный тупик, который через кризис приведет общества к осознанию необходимости новых направлений эволюции.

А.Ю. Согомонов

“Мы — слепок глобального мира”

*— Как вы рассматриваете наше время, Александр Юрьевич? Оно подталкивает к определенным размышлениям о природе сегодняшних социальных процессов, либо, напротив, убеждает в непрактичности такого рода занятий и, как многие говорят, не способствует рождению новых социальных идей? Может, в самом деле, правы те, кто считает, что идеи, идеалы — в прошлом; и куда двигаться дальше — это вопрос политической воли.*

— То, что говорится по поводу отсутствия идей, мне представляется глубоким заблуждением. Даже самые отсталые, медвежьи уголки современной цивилизации и те демонстрируют набор очень интересных социальных новаций. Летом 2002 года мне приходилось много ездить по России, и я был потрясен не только различием в понимании жизни, так сказать, “в центре и на местах”, но и полнейшим непониманием российскими политиками тех новых социальных идей, которые рождаются в обществе. Мы на самом деле живем в эпоху абсолютного несоприкосновения между тем, что можно было бы назвать “интеллектуальной инициативой, идущей снизу”, и желанием, а может, и умением (точнее — неумением) эту инициативу заметить, распознать и что-то предложить в ответ. Иными словами, рынок политических услуг, который мы могли бы рассматривать как некую политическую силу, встречающую заинтересованность снизу, отсутствует напрочь.

Мне кажется, в начале 90-х годов теперь уже минувшего века нерв политики и дух времени совпадали. Потом политика стала все меньше и меньше отвечать духу времени, переставая таким образом быть легитимной. Появи-

лись двусмысленные, порой туманные, непрозрачные фигуры и силы, которые принимались “на ура” и становились популярными просто из-за надежды и веры, что, может быть, в этой непрозрачности рано или поздно проявится некая желанная суть — если говорить об ожиданиях обычных людей. Пока непрозрачность сохраняется, не исчезает и политическая невнятность. У нас нет предложенной государством концепции развития, которая была бы понятна людям. Нет осознания того, какая стратегия необходима России в меняющемся мире и, соответственно, что мы должны делать внутри страны. Однако отсутствие такой концепции не является препятствием для того, чтобы существующий политический режим воспринимался как стабильный. И в этом смысле — по-прежнему легитимный. Хотя очевидно, что те системы, те силы, я бы даже сказал, и те партии, которые были рождены в ельцинское время, обречены на вымирание.

На мой взгляд, мы переживаем сейчас очень интересный момент, когда каждый человек должен понять, как вообще поступить по отношению к самому себе. Если ты болен, нуждаешься в серьезном лечении, однако пока прибегаешь лишь к временным мерам, зная, что через месяц болезнь опять даст о себе знать, — то правильно ли ты поступаешь? Чисто по-человечески нет ответа на этот вопрос, потому что иногда страшит серьезное хирургическое вмешательство с малопредсказуемыми последствиями. Иногда хочется что-то оттянуть, отодвинуть. И так тянется от месяца к месяцу. Перед таким же выбором, думается, мы стоим сегодня в политике. В чем его смысл? Либо поддержать то, что есть сейчас, и тем самым обречь себя на следующие четыре-пять-десять лет, в общем, еще более застойных, чем были последние два-три года, когда отсутствовали представления, как Россия должна модернизироваться. Либо “отрезать” уже сейчас, не дать возможности старым силам повторить себя заново на политической арене, а принудить создавать что-то новое, именно потому, что только постоянно обновляющаяся политическая форма имеет право на существование.

— *Некая перманентная революция?*

— Да, перманентная, но модернизация. Это то, что характеризует, на мой взгляд, всю современную политическую ситуацию. Мы, скажем, часто апеллируем к тезису о вымирании партий во всем мире. Классическая политическая структуризация, характерная для демократического мира (я говорю не про тоталитарные страны), уходит в прошлое. Постклассическая политика не предполагает наличия жесткой партийной структуры. И что тогда такое “конец партий”? Невозможность их существования вообще? Или же партия обязана постоянно перестраиваться, как перестраивается и современный бизнес, который должен каждые три-четыре года (а то и чаще) кардинально меняться? Настолько быстро сегодня меняется время, так оно быстро течет. Иными словами, поколенческого бизнеса, когда инвестиции закладывались на “когортный” хозяйственный цикл, оборачивавшийся прибылью через 20–30 лет, уже быть не может (во всяком случае, в массовом масштабе). Почему же мы не вправе тот же самый критерий, тот же взгляд распространить и на политику, на рынок политических услуг и предложений, на деятельность и облик партий, если мы считаем, что время имеет иной темп, — и это главное отличие начала XXI века.

Наше время — крайне сжатое, дигитализированное, как сейчас говорят, переведенное в цифру, которое заставляет принципиально перестраиваться классические социальные формы. И это время, которое в прежней своей сбалансированности с социальным пространством вынуждено чуть-чуть отступить. На самом деле, в сегодняшней нашей социальности пространственные измерения становятся как будто бы более приоритетными, чем временные, поскольку все свыклись, что не успевают за временем, и пытаются закрепить то, чему уже научились. Обратите внимание: когда мы говорим о том, какие социальные и политические идеи сейчас можно вернуть в жизнь, то чаще всего речь идет об идеях, характеризующих пространственное оформление взаимоотношений общества и личности. Пространственная реконструкция, пространственное возрождение как идея играет сейчас очень большую роль. Почему? Мне кажется, что ближний, физический, пространственный контакт между людьми — это все, что между нами осталось. За 90-е

годы некий монолит, какой представляли собой российское общество и вообще современная культура, в некоторых местах треснул (если позволительна такая метафора), раскололся, пока еще на куски и еще стягиваясь, потому что сила притяжения этих кусков достаточно велика. Но они стали двигаться самостоятельно — вперед, назад и т. д. Это новые пласты культуры, которые свидетельствуют о том, что мы становимся мультикультурным обществом, в первую очередь — во временном отношении. Российское общество — как, впрочем, и европейское, любой тип продвинутого общества — живет внутри себя в разных временных рамках по тому набору культурных ценностей и норм, которые остаются для людей базовыми.

— *Разве этого не было и раньше, в том же советском обществе?*

— Мне все-таки кажется, что в советское время (даже в сталинское, при всей одновременности сталинского периода) общество было стилистически достаточно однообразным, с моностилистическим типом культуры (как сказал бы Л. Ионин), с довольно ясным, по крайней мере насильственно-ясным, если можно употребить такое выражение, представлением о человеческой биографии, человеческой жизни, ее значимости, ее смыслах. Да, люди сильно различались, но, поскольку существовала жесткая культурно-репрезентативная система, готовая внушить, навязать, заставить принять это представление, даже если человек не жил в данной системе координат, даже если его понимание жизненного пути категорически не совпадало с автобиографией, которую он писал чуть ли не ежедневно в той или иной ситуации, по тому или иному поводу, — все-таки этот репрезентативный стиль был единым. Такой стиль существовал, кстати, не только в условиях этакратического социализма, но и в капиталистических странах, в частности в США, правда исторически постоянно меняясь. Скажем, представления о жизненном успехе в американской культуре — абсолютно не статичная вещь, как это иногда кажется. Старые модели, привнесенные из Европы, потом как-то доморощено выпестованные в Америке,

сформулированные Франклином в начале XVIII века, и представления середины XIX века настолько различны, что в известном смысле совершенно не совпадают. Потом — кризис этих моделей и рождение новых. Но всякий раз американское общество, как и российское, если мы говорим о более или менее сходных вещах, предлагало (по крайней мере, для себя самого) некоторый репрезентативный канон. В первую очередь — ясное видение биографии, биографических смыслов.

Сегодня мы имеем дело с категориями населения, которые по воле истории оказались носителями известных философско-жизненных идей, отличающихся друг от друга не просто своей конфигурацией, а тем “временем” — разным историческим временем, в котором люди себя мыслят. В России сейчас, по моим представлениям, три таких категории. Во-первых, существует очень большая группа людей, для которых жизнь — это судьба, потому рисковать ею нельзя. Жить самим по себе, общинное существование практически исключается, причем речь идет отнюдь не о той общине, которая формируется в городах современной России. Это община как некоторое социальное тождество между определенными группами людей, желающих не собственности как таковой, а равного участия в продукте, произведенном на базе этой собственности. Идея-судьба не зависит от того, в каком месте ты находишься. Не давая возможности рисковать, она отталкивает тебя от авантюризма, рисков и все время движет назад. Для тебя вроде бы и нет истории в том смысле, в каком она существует для людей, получивших современное образование. Даже если кто-либо из приверженцев этой идеи и имеет образование, все равно на деле он не является носителем идеи современной культуры. Это люди, которые вообще воспринимают друг друга, скорее, во временной категории “количества”. Как можно оценить своего соседа? Я работал сегодня шесть часов и он шесть часов — значит, мы одинаково сегодня трудились, имеем одинаковые права на одинаковые социальные условия и уровень жизни. Если я работал больше, то и получить должен больше. Для меня понятие “работа” — исключительно временная характеристика, а не тот набор идей, специального профес-

сионального знания и еще чего-то, который я вкладываю в свою работу. Люди, вырванные из исконного — по сути деревенского — контекста судьбы, перенесенные в города, особенно в малые и средние российские города, утрачивают социальный контекст, но продолжают, даже через поколения, жить в субкультуре судьбы. Это, кстати, свидетельствует об одной серьезной ошибке отечественной количественной социологии: полагая, что мы опрашиваем горожан, на самом деле мы опрашиваем посткрестьянскую массу (что надо отчетливо понимать). В этом смысле данная версия доказывает, что граница между городом и деревней стерта — о чем в свое время так много говорилось и к чему было такое стремление.

Другая категория, другой пласт — люди, включенные в систему советского понимания о функциональности общественного разделения труда. Для них это — сердцевина, костяк их представлений о социальной структуре. Оттуда их социальные идеи, отношение к жизни. Конечно, они очень фрустрированы тем, что происходит сейчас, и, безусловно, не адаптированы, хотя и имеют “современное образование”. Здесь уже речь идет об историческом времени, исторической памяти, исторической культуре, повернутой, возможно, назад. Люди ничего хорошего от нынешней жизни не ждут, они становятся агрессивными, маргинализированными в культурном смысле. Через эту часть общества в основном идет подпитка ксенофобских, националистических идеологий.

Предложу такую гипотезу: молодежь, поступающая в вузы и ориентированная на получение образования западного типа, то есть вузовское студенчество, предпочтительно голосует за “Яблоко” и СПС, а молодежь, поступающая в техникумы, — за ЛДПР. Это не примитив. Доказать что-либо тут сложно, но это эвристичная гипотеза. В ней важно понять, в какой степени не состыковываются сейчас культура вузовского образования и культура профтехобразования, в которой действительно еще очень много от наследия прошлого. При советской власти это были как бы звенья одной цепи, существовавшие в одной функциональной, профессиональной логике. Теперь же университетское образование дает совершенно иное представление о



том, что есть мир и что есть общество, в котором ты должен найти свое место, в то время как профтехобразование все еще работает в модели, как мне кажется, функционального понимания того, что именно ты не должен делать (ты не должен быть личностью, грубо говоря).

— *Возможно, это, скорее, разница между гуманитарным и техническим образованием?*

— А есть ли сейчас техническое образование как такое? Инженерные факультеты или вузы, которые готовят нефтяников, газовиков, имеют интересную специфику: во-первых, там очень много гуманитарного знания, и, во-вторых, на самом деле там параллельно техническим специальностям очень много внимания уделяют менеджменту. Не знаю, мне кажется, что жесткого разграничения, какое было при советской власти между технарями и гуманитариями, сегодня уже нет. Вузы (хоть их иногда и именуют “большими техникумами”) становятся все более и более гуманитаризированными — в отличие от техникумов, которые оказываются как бы посередине (школы ведь тоже ориентируются на изменения в сторону вузовской модели). А в середине — миллионы людей; их родители жили в этой культуре, и дети опять уходят туда, воспроизводят культурную матрицу, которая соответствует 20–30–40-м годам прошлого века, не более. Таким образом, не выходят за пределы давнего, достаточно узкого представления о жизни.

Наконец, третья категория людей, которая, я думаю, становится все более и более многочисленной. Это те, кто вообще как бы не хочет вырываться за пределы исторического времени, считая себя мерой всех вещей. Вспомним греческих философов: “Человек — мера всех вещей”. Человек как некое средоточие гармонии, которое может существовать в природе. Идеи блага, равновесия, вообще бытия не существуют вне человеческого измерения. Вот смысл греческого антропоцентризма, в отличие от последующих эпох, где человек крайне редко становился универсальной социальной мерой. Социальный мир, скорее, человеку навязывался. Не случайно в советской социоло-

гии мы пользовались таким понятием, как надындивидуальность, имея в виду, что за пределами личности расположено некое средоточие социальности, которое человек не вправе выбрать. Хочет не хочет, а он должен соответствовать неким общим эталонам. А вот сейчас оказывается, что он может выбрать все — национальность, конфессию, даже пол. Скажите, какая форма социальности осталась для него предзаданной? Окончательное крушение “железного занавеса” в 80-х годах подтолкнуло это движение: смысл жизни в том, что ты постоянно что-то выбираешь. Я бы назвал это постсовременным авантюризмом. Он заложен в идее сегодняшнего просвещенческого проекта как небоязнь двигаться вперед, развиваться, искать и не сдаваться. Представление о культурном герое как о вечно ищущем, для которого движение — все (“как будто в буре есть покой”) и который в простой современности всегда оставался лишним. Красивая сказка для живущих людей, но не та, чтобы ее превращать в быль.

— *Идея полной свободы?*

— Это идея свободы, которая существовала только в культурной мысли, но не в биографии, не в человеческой жизни. Если она и была, то представляла собой, скорее, абсолютное исключение и не касалась массы живущих повседневной жизнью, не вырывающихся за ее пределы, за эти “карцерные” основы, как сказал бы, наверное, Фуко. Сегодняшний опыт показывает, что сложился колоссальный пласт людей (оформившийся с конца 70-х годов), не принимающих те формы социальности, которые предопределяли жизнь их родителей. Это не бунтовщики. Я сейчас говорю не про хиппи, не про революционеров конца 60-х годов или сегодняшних социальных нонконформистов. Я говорю о поколениях, живущих в таком сжатом, быстро меняющемся времени, что в этот маленький промежуток невозможно уложить какую-либо метаидею, способную придать времени осмысленное заверщенное звучание (“период того-то и того-то”). Таких вещей нет, и люди ищут их для себя самостоятельно. Например, многократно меняя место работы, что нельзя объяснить их неусидчивостью,

непоследовательностью, неспособностью работать систематически. Это просто норма их жизни. Есть интересная гипотеза о том, что некоторым прототипом профессиональной культуры будущего станет субкультура хакеров (мысль Кастельса). Это люди, которыми невозможно управлять, они живут как хотят, но при том смысл их жизни — то, чем они занимаются.

— *То есть профессия?*

— А вот является ли это профессией? Конечно, я склонен сказать, что это профессия. Но при строгом социологическом подходе это уже, скорее, — стиль жизни. Гипертрофированная профессиональная этика, поглотившая все остальное.

Возьмем другой пример — скажем, наше социологическое сообщество. Ведь, по сути, сегодня нет такого понятия. Научное сообщество в рамках одной профессии — социолога — раскололось, потому что социология сама по себе перестраивается. Для одних она становится бизнесом, значит, должна изнутри профессионально и этически обустроиваться как бизнес. Естественно поэтому, что нормы и ценности той части сообщества, которая живет в категориях социологии как бизнеса, совсем не будут совпадать с нормами и ценностями тех, для кого социология была, есть и будет исключительно академической наукой (формой социальной критики), ничем больше (и кто, к сожалению, вынужден жить, как говорил Остап Бендер, протягивая руку “за кислым исполкомовским рублем”). И это не единственный критерий внутреннего деления. На самом деле перед нами предстает довольно сложный “пирог”, где не горизонтальные или вертикальные слои, а некие конфигурации, раскидывающие людей по разным точкам и углам. Наверное, самое интересное, что характеризует наше время, — возможность быть одновременно в различных социальных сообществах, что раньше было нереально. Я назвал бы это “гиперкорпоративностью” постсовременного человека. Вот здесь он с одними, там — с другими, и каждый раз ситуативно разделяет культуру, этику, идеалы, нормы, ценности тех или других, хочет, чтобы мир менял-

ся в соответствии с этим образцом — здесь, а в соответствии с тем — там. Человек, участвуя в разных социальных мирах одновременно, прекрасно понимает: не то чтобы он живет в разном времени, а это миры делают близкими только возможность их пространственной регуляции, саморегуляции. Государство такой процесс регулировать не способно. Никакое государство. Значит, об этом надо забыть.

— *Вы характеризуете эту третью категорию как людей асоциальных или считаете, что они строят новую социальность?*

— Безусловно, это социальная группа. Другое дело, что здесь новое представление о социальности. Часть нашего общества вполне может обратиться к ним с вопросом: “Мы “пашем”, а вы что делаете? Прыгаете с места на место. Вы — маргиналы”. Но это несправедливо. Есть среди них и те, кто, как представители богемы, нарочито эпатажно выстраивает свою жизнь, ломает привычные стереотипы, чтобы выделиться в общей массе. Но прежде всего это — те, кто работает в массовом малом бизнесе, где занято два-три-четыре человека; если что-то не получилось — готовы переключиться на новое дело. Это и “производители культуры” — художники, музыканты, писатели (но не крупный музыкальный или художественный бизнес, шоу-бизнес, где живут в другой культуре, по иным представлениям), — и журналисты, компьютерщики, программисты, ученые, между прочим, получившие хорошее образование и не способные найти себя в этой жизни, но не сдающиеся, не идущие работать по найму не по профилю в какую-нибудь фирму. Все они отвечают за себя, не боятся этой ответственности, очень рискуют, потому что прекрасно понимают: никто не дает и не даст им никаких гарантий. Те, кто был склонен придерживаться идеи-судьбы, знали, что общее гарантирует частное, и потому, приезжая в город, неизбежно воспроизводили патерналистскую модель. Те, кто жил в условиях функционального представления о разделении труда (человек как функция, как специальность), существовали, зная, что их альтруизм,

их жертва по отношению к идее, к государству принимается и обернется их социальным выживанием: в случае чего у тебя есть некие гарантии. Эти же люди — представители третьей из названных мною категорий — никому никаких, так сказать, вкладов в жизнь не совершают. И современный человек в возрасте 20–25 лет, будучи таким “фрименом”, думает, как ему поступить: то ли заиметь детей и вкладывать заработанные деньги в их образование, чтобы те потом ему помогали; то ли вообще не заводить семью и откладывать деньги, чтобы как-то себя обеспечить в старости. Это проблема культурного выбора. (Получается, кстати, что образовательная и пенсионная реформы неотрывны друг от друга, отношение же к реформам у нас по-прежнему техническое, а не социально-философское).

Есть идеологи этой новой социальности. Скажем, поздний Фуко придумал такую, как мне кажется, замечательную формулу: люди считают, что в самой их биографии достаточно материала, чтобы сделать из жизни произведение искусства. Так вот это перформанс через собственную жизнь, через свой биографический путь. Меня не убедишь, как поступать; в основании моих поступков нет утилитарных, прагматических, рациональных, с вашей точки зрения, мотивов и никогда их не будет, ибо я делаю из своей жизни произведение искусства. Это некоторый социальный эксгибиционизм, но он характерен больше для лидеров, в массе своей этот пласт людей, конечно, живет незаметно.

*— Скажите, Александр Юрьевич, такая социально-философская градация населения каким-то образом соотносится с традиционной социальной структурой общества, с поколенческими различиями?*

— Я пытался даже эмпирически выяснить, как это связано с поколениями. Конечно же, любые новые формы “работают” с поколениями — тут никуда не денешься. Однако хочу сказать: по крайней мере, в больших городах, мегаполисах (не обязательно это Москва и Санкт-Петербург, но и Нижний Новгород, Екатеринбург, Иркутск и много других российских городов) проблема новой соци-

альной конфигурации не воспринимается как строго поколенческая. При всем при том, что новый русский, владелец фирмы, никогда не возьмет в офис людей пожилых, и даже людей среднего возраста, а всегда предпочтет молодежь (что, с моей точки зрения, не совсем верно), тем не менее выбор возраста в деле, которое ты делаешь, в условиях асинхронности общества, разновременности культур, вынужденно сосуществующих, не приобретает столь острый характер, когда одно поколение сметает другое. К сожалению, мы должны констатировать, что в малых и средних российских городах именно молодежь, пытаясь как-то реализовать себя в этой жизни, является носителем консервативных, радикальных, маргинальных, националистических идей и в этом смысле даже в большей степени асоциальна, чем группы “свободного социального полета”, о которых мы только что говорили. Здесь скреп — прямо противоположный. В данной связи, мне кажется, понятие “молодежь” становится одним из важнейших, от которых социология вынуждена отказаться: оно не имеет резона. Молодежь не является некоей группой, способной что-то решить. Она в такой же степени разбита, как и все остальные, то есть корпоративно расщеплена. И в этом смысле молодежи как социокультурного явления, как некоего пласта в обществе — нет. Это надо признать, и тогда мы поймем, что не должны ставить перед собой задачу “социализации” молодежи. Ни социологи, ни философы, ни педагоги, ни государственные деятели, ни политики. Это тоже термин старого аппарата мышления.

Если мы отказываемся от понятий “социализация”, “молодежь”, то нам легко ответить на вопросы о социальной структуре. Сегодня в известном смысле она воспроизводит ту схему, которая существовала пять-десять лет назад, мало изменившись с точки зрения наличия определенных социальных этажей (если под социальной структурой мы понимаем в первую очередь такую вертикальную метафору общества). Она крайне диспропорциональна даже для столь гигантского общества, как Россия. Это, конечно, дикость. Но принципиально другое: мы должны понимать, что сейчас существует некоторое поле с определенным набором пирамид, которые воспроизводят разные идеи социальной

стратификации (я называю такой тип социального пространства “полем пирамид”). Это важно и для аналитика, пытающегося понять, по какому основанию можно вообразить сегодняшнее российское общество, и важно для людей, переходящих с одной пирамиды на другую. Иными словами, точка зрения того, кто представляет одну из вышеупомянутых категорий, принципиально различается от других, каждый смотрит на общество с той пирамиды, где сейчас стоит, и не видит то, что хочет увидеть. Поэтому все вокруг него искажено, в социальной диспропорции и т. д. Всякий раз мы вообразаем общество по-разному, если пытаемся встать на одну из этих пирамид. Единого социального воображения не может быть. А социальное воображение — синоним слова “общество”. Если мы предполагаем в мультикультурном, мультитременном, в асинхронном, но едином территориальном пространстве (физически оно едино!) существование разных социальных пирамид — то есть разных точек зрения, разных взглядов на существование и развитие общества, — появляется отчетливое понимание, в чем основная тенденция, каким образом Россия вписывается в глобальное общество. Потому что глобальный мир и есть “поле пирамид”, только там их гораздо больше. Российское общество воспроизводит внутри себя (думаю, это естественный процесс) то, что представляет собой глобальный мир, со всеми плюсами и минусами, с наличием разных этажей социальности, с дверьми, открытыми для капиталов, технологий, информации, и с закрытыми социальными дверьми, с реархаизацией в регионах (прямым порождением этой абсолютной закрытости) и культурной тусовкой, которую я люблю называть “тусобществом” — такой красивой формулой для людей, плачущих о том, что развалилась страна именно потому, что утрачена профессиональная этика, никто не хочет трудиться и т. п. Все это и многое другое дает нам основания видеть Россию не просто частью глобального мира, а редкой его разновидностью, с весьма продвинутыми демократическими зонами и безумно отсталыми, байскими, феодальными, коммунистическими участками. С тем же самым культурным кодом — что самое важное. В этом смысле мы — слепок глобального мира.

— *Российские реалии, таким образом, отвечают, на ваш взгляд, тенденциям мирового развития. И все же: какова ваша точка зрения в сегодняшнем дискурсе о взаимосвязи глобальных процессов и особенностей включения в них России?*

— Думаю, многие совершенно забытые для цивилизации явления будут сейчас возвращены к жизни, дабы нарочито показать, от чего они возникают: от отсутствия национального государства. В России, с одной стороны, мощный спрос на построение национального государства, на возрождение этой идеи, а с другой — абсолютное непонимание на государственно-политическом уровне “как это делать?”. Потому что механизм, инструмент, с помощью которого всегда создавалось национальное государство — через насилие, искусственное решение вопросов языка, границ, культуры, через этническую чистку, — сегодня просто неприемлем.

Что такое мультикультурность, о которой мы говорили в самом начале? Это общегосударственная концепция: как людей разного этнического происхождения попытаться удержать вместе или же дать им возможность найти общий язык. Мультикультурность и есть новая социальность. Одним из ее измерений является мультиэтничность. Вторым — мультиморальность, возможность сохранения единого пространства при отсутствии универсальных моральных представлений. Чем отличается мультиэтничность от политэтничности? Я пользуюсь таким сравнением (подтвержденным в разговорах с фармацевтами): чем отличаются мультивитамины от поливитаминов? Набор витаминов один и тот же, это не принципиально, но в первом случае они “чистые”, а во втором к ним добавляют что-нибудь еще, например железо, калий, марганец. Причем на усмотрение фармацевта, который думает, что же важнее для людей — железо или калий? Нет, пожалуй, кальций... И т. д. Так вот, полиэтничность — это когда есть такой творец; мультиэтничность — когда его нет, когда существует абсолютно горизонтальное взаимодействие разных субкультур. Самый удивительный пример сочетания этих двух подходов — Америка: продвинутое мультиэтническое общество



внутри себя, а по отношению к глобальному миру — творец этого полиэтнического пространства, регулирующая сила, жесткий распорядитель.

Америка изнутри, в отличие от России, не является слепком глобального мира. И это самая большая проблема США во взаимоотношениях с другими странами. Я думаю, сложность и особенности нашего сосуществования в современном социальном пространстве и в культурологическом и в социологическом плане до сих пор не осмыслены. Если говорить о близкой нам социологии, то надо признать, что не существует средней теории для вещей, которыми мы раньше никогда не занимались. А как у нас воспринимается та же глобалистика? *Global society*, теория глобального общества в современной европейской и американской социологии — это “песнь” в первую очередь про себя, а не про остальной мир, который живет по ту сторону от тебя. В нашем же восприятии это некое понимание как раз того, что там, и как можно там найти место себе. Нет осознания, что глобальное общество, глобализация — это как обустроена твоя местная жизнь. Такого осознания нет ни в социологии, ни в политике. И такое непонимание на самом деле манипулятивно, потому что при отсутствии “железного занавеса” оно создает, так сказать, “интеллектуальный занавес”, принуждая и население мыслить в категориях “мы—они”, “свой—чужие” и т. п. Это нежелание допустить людей до глобального мышления, хотя политическая и научная элита, возможно, сама того не сознает, потому что продолжает мыслить очень традиционно. Или, по Гегелю, продолжает “мыслить абстрактно”. Это первое.

Второе. Я не вижу серьезных традиционных проблем в России, таких как социальные взрывы, революции, классовые войны и все прочее. Мне кажется, этого уже никогда и не будет. Формируется новая социальная реальность. Она, если хотите, может быть понята только в сравнении с тем, что переживала Европа накануне возникновения, так сказать, модернистских проектов. Это гиперсоциальное пространство; включенность человека по необходимости в разные корпорации; неизбежность его участия в разных “моральных общинах”.

— *Что вы имеете в виду под “моральной общиной”?*

— Возьмем, скажем, проблему Чечни. Тут две известные крайности: “отпустить” или “бомбить до конца”. Между этими крайностями не существует политического пространства, в котором могло бы быть найдено компромиссное решение, и общество могло бы его одобрить. Не потому, что это абсолютная дилеммность, а потому, что сама проблема воспринимается, скорее, как моральная. Человек занимает ту или иную позицию в соответствии со своим моральным выбором. То же в отношении судьбы нашей армии, сохранения либо отмены смертной казни и т. д. Ни в одной стране мира, которая приняла мораторий на смертную казнь, никто не проводил референдумы. Но ведь это проблема, которая там постоянно находится в центре публичного дискурса. Для нас же она до сих пор не стала темой широкого обсуждения. Сегодня неизбежно распадение общества на некоторые “моральные общины”. Мы можем сидеть с вами за одним офисным столом, разделять одни и те же профессиональные ценности, иметь одно и то же воспитание, образование — то есть вообще не понятно, почему возникает различие позиций. И тем не менее именно потому, что существует то самое культурное пространство “поле пирамид”, между ними и формируются разные “моральные общины”. Человек иногда выскакивает за пределы своей пирамидки и принимает самостоятельное решение. Он никогда не объяснит, почему именно такое решение он принял. Моральный выбор, ригористический, бездоказательный, жесткий — “только так и не иначе!”. Через год он может принципиально его поменять, и опять-таки никакой рационализации подобной смены не будет. Это свидетельствует о кризисе публичного дискурса в стране, о неучастии людей в обсуждении того, что происходит, и известной интеллектуальной отсталости России.

Третий тезис. Возьмите любую нашу проблему: коммуникации, информации, образования, имущественной дифференциации, обустроенности хозяйства, отношения регионов-доноров к реципиентам и т. д. — все они есть и в других странах. Но уровень различий между людьми, территориями, масштабностью задач и прочее не столь рази-

тельный. В России во многих вещах он фантастический. Все, что происходит с вами в этой жизни сейчас, — действительно культурная революция, и скорость ее настолько велика, что по процессам, идущим в России, можно судить, что будет происходить в мире (после первых взорванных у нас домов можно было ожидать и взрывов в Америке).

Если этот тезис кажется внятным, то понятен и вопрос: что в этой связи делать нашей науке об обществе — социологии? Боюсь, что сегодня она находится в когнитивном тупике, связанном с тем, что мы по-прежнему пытаемся привязать наши реалии к европейской социологической теории, исходящей будто бы из других социальных реалий и размышляющей будто бы о других социальных феноменах. А мы — другие? Пытаемся найти состыковки между этими вещами (хотя, мне кажется, многие уже перестали это делать). Испытываем колоссальный дефицит в новых направлениях социологической мысли. Если она будет исходить только из соображений аутентичности и особенностей российского пути — это, конечно, тревожно, и я разделяю такую тревогу. Если же, наоборот, мы будем назло всем гипертрофированно считать себя как раз-таки нормальной, типичной страной мира — открывается хорошая перспектива, потому что в этой ситуации можно отчетливо понять, куда, собственно говоря, движется мир. Да, мы отстаем, но наша отсталость и неразвитость, неравномерность права и демократии, существующая в стране, разность культур, разбегание территорий, сочетание гиперлиберальных идей с гиперфеодальными — все это уживается в одном состоянии, потому что...

— *Это и есть глобальное общество?*

— Это и есть глобальное общество. Оно никогда другим не будет, это надо признать. И тут я склонен вернуться к нашему разговору о социальной стратификации, потому что, мне кажется, нужно говорить не о социальной дифференциации, а о социально-культурном различии, которое не образует социальных кластеров. Мы можем их искусственно конструировать, но у самого общества нет в

этом необходимости. Теория социальной стратификации сложилась тогда, когда общество захотело мыслить себя как классовое, социально структурированное, без потребности среднего класса видеть общество, где он есть середина. Я хочу сказать, что социальные теории в этом отношении всегда являются способом познания свободного общества и ответом на его потребность понимания себя таким, каким оно себя хочет мыслить. На мой взгляд, сегодняшнее российское общество, понятое как слепок глобального общества, не мыслит себя кластерным, в группах. Оно хочет себя воспринимать как некий архипелаг, находящийся в море. Острова, между которыми не существует никакой связи, но можно плавать. И море — не та граница, которая не преодолима. Социально-культурные различия становятся проблемой центрально-идеологической, центрально-политической и центральной проблемой в науке. Не решая ее в комплексе, мы не будем иметь ни аналитического, ни политического, ни внятного идеологического ответа на вопрос: как разные люди способны уживаться и в том глобальном мире, и в этом глобальном обществе, каким является Россия? Вот это большая опасность для нашей страны.

Наконец, четвертое, о чем хотелось бы сказать в данной связи: у нас нет никаких конструкций, которые можно было бы назвать “народными конструкциями”. В результате каждый раз возникают все более и более радикальные, экстремистские, нетерпимые, все более и более сложные позиции, которые рано или поздно могут опять привести Россию к тому образцу поведения, которое существовало в классическом национальном государстве — то есть ко все более жесткому контролю, регулированию и т.п. Россия может преподнести миру один-единственный урок: способна ли она обустроиться по горизонтали или нет. Если она провалит этот исторический эксперимент, не сможет показать, как это делается, тогда грош нам цена и тогда будет несколько Россий.

— Мы упоминаем здесь социологию как науку, так сказать, в общем плане. Вы конкретный ее представитель, и если персонифицировать — как вы сами, Алек-

*сандр Юрьевич, рассматриваете смысл и роль своей научной работы, что в ней выделяете, считаете востребованным?*

— Понимаете, для меня это немного праздный вопрос, потому что я вижу судьбу социолога в современном мире как человека, который отказывается от двух вещей: от микро- и макросоциологического восприятия реальности. Это слишком большая роскошь, которая ему уже не дана временем. Он определяет свое, интересное ему предметное поле и удивительным образом в рамках этого предметного поля обнаруживает для себя универсальные ответы, возможность объяснить простому человеку, то есть дискурсивно, чем, собственно, его социологическое знание отличается от обыденного. Он не говорит так, как иногда в старые времена: “А что такое социология? Просто улавливаемый ученым здравый смысл”. Ничего подобного. Здравый смысл — это, так сказать, рудиментарная, полупатентная-полуявная конструкция, которая будто бы отражает народную мудрость. Надо забыть о народной мудрости — сталкиваешься-то, как правило, с народной зашоренностью. Коррелировать социальные процессы можно только через себя. Кстати сказать, одним из самых интересных объектов для социологов, по-моему, становится его собственная личность. Наверное, и старшее поколение социологов это чувствовало, но не признавалось...

Как выделить, определить “свою тему”? Мне, к примеру, интересно все. И не потому, что хочется заниматься всем, а просто жизнь заставляет. Трудно быть научным руководителем по теме “образования” или “философии успеха”, если сам за этим не следишь. Но есть одно условие, которое я ставлю для себя и для работающих со мной людей: не институциональный взгляд на те процессы, которыми занимаешься. Есть у меня, конечно, и любимая тема. Если понятна метафора с “полем пирамид”, то, наверное, это главный мой интерес сейчас. Интерес очень простой: как социальные различия могут быть нивелированы в культурные. Мне не хочется, чтобы различия превращались в тормозы, барьеры, тупики, конфликты и т. д. В латинском языке есть два обозначения для слова “другой” —

alter (один из двух; отсюда — alter ego) и alius (другой из числа многих). Вот, собственно, мне хотелось бы, чтобы эпоха alter ego сменилась на новую эпоху alius ego; и социологически я пытаюсь это сказать, внести свою контрибуцию, способствуя смене таких эпох. Много других, а не только один другой. Альтернатива, единственная допустимая для меня. Я хочу жить среди большого количества зеркал, радоваться этим изображениям, причем иногда, может, эти зеркала и бить, иногда смотреть, что за ними (кстати, интересно — а что за зеркалом?). Все это можно сформулировать так: одна цивилизация, одна социальная природа, но мультикультурные общества.

— *В одной из своих публикаций вы делаете акцент на таком вопросе: “Какой должна и может стать позиция России начала XXI столетия по отношению к своим советским корням?” С ответом на этот вопрос вы связываете нашу политическую судьбу, культурное выживание и даже сохранность на картах мира. Что вы имеете в виду?*

— Несколько лет я следил за тем, как предпринимались попытки интересных творческих коллективов, людей более-менее молодых (35–40 лет) провести вторичный анализ того, что же все-таки такое сегодня советское наследие. Я был потрясен фиаско этих попыток и помочь им не смог — уж слишком сложной оказалась проблема. Историческое объяснение нашего прошлого, на мой взгляд, односторонне. А социологической теории советского режима вообще нет. Хотя Ханна Арендт по горячим следам написала книгу о тоталитаризме, но сейчас, боюсь, мы много чего потеряли из своего аутентичного опыта тоталитаризма. Речь не о том, чтобы понять, что негативного и что позитивного в этом опыте; в первую очередь важно увидеть весь исторический путь, проделанный СССР за 70–80 лет XX века, который является нормальным путем в социологическом смысле слова. Он, скорее, антропологически протivoестествен, но модернизационно — нормален. Мы говорили вначале, что от советского времени остался некий культурный пласт в современном российском обществе.

Если это утверждение вырвать из контекста, то тогда получится, что было такое вполне гармоничное советское общество, которое раскололось, как айсберг, перейдя в более или менее теплые воды, — и вот куски льдин все еще плавают повсюду. Как будто бы это и есть советское наследие. Не совсем так, потому что постсоветское время, с моей точки зрения, началось еще в 1950-е годы, а не после перестройки. Это очень сложный и очень длительный процесс, который не имеет своего теоретического понимания по простой причине: мы пытаемся объяснить общество как тоталитарное и потому обращаемся к философской или же к политической проблематизации, противопоставляя демократию тоталитаризму и уже тем самым исключая какую-либо возможность позитивного социального сравнения; либо вообще уходим в сторону, придумываем всякие неблуды о том, что это была отдельная цивилизация (по А. Зиновьеву).

Все это сейчас очень важно. Почему? Возврата к Советскому Союзу уже быть не может (какие бы *déjà-vu* у нас по этому поводу регулярно не возникали), но мы должны отчетливо понимать, что половина страны будет жить в нормах и ценностях советского времени. Долго будет жить. И чем больше она натурализируется, не вырываясь за пределы своего физического локуса, тем больше эта “советскость” будет костенеть и воспроизводиться вне зависимости от того, хотят того люди или не хотят, желает того власть или нет. Само будет получаться. И это самое страшное. Это означает, что Пайпс, может быть, был прав, говоря о том, что ничего нового при советской власти придумано не было, что все это переокрашенная система управления страной, взятая из царского времени. Если действительно так, мы должны попытаться эти вещи увязать по-новому.

У нас нет очень важной, на мой взгляд, отрасли социологического знания, посвященной тому, как отжившие культурные формы продолжают существовать в условиях их социальной неподпитуемости.

— *А крупнейшее исследование и одноименная книга — “Простой советский человек”?*

— Да, Левада этим занимался, но опять-таки авторам это уже не интересно, они движутся вперед. И, понимаете, если найти способ уйти от прилагательного “советский”, то в книге все рушится, да и у всех рушится. А это значит, что мы не можем теоретически ответить на вопрос...

— *Что “советского” было в советском человеке?*

— В современных социологических исследованиях — американских, английских, французских — убери слово “английский”, и ничего не изменится. Конечно, все имеют свои различия. Знаменитая книга “Дезорганизованный капитализм” как раз показывает, насколько разными путями идет дезорганизация капитализма в Германии, Франции, Англии. Все эти страны реализовали модель национального государства, и эпитет “национальный” как будто бы должен быть к нему крепко привязан. Тем не менее они не нуждаются в этой социологической гипотезе. А мы наоборот: не пройдя путь национального государства, не можем никуда деться от эпитета “советский”, “постсоветский”. Как домоклов меч это висит над всей нашей культурой.

— *Возможно, последний вопрос не совсем по теме, и все же: если сегодня кого-то назвать “человеком идеи” — это хвала или хула?*

— Я вообще боюсь таких слов. “Человек идеи”, на мой взгляд, — это тот, кто навязывает некий свой идеал всем остальным. И этот идеал — экспансионистский. Сейчас, по-моему, человек должен реализовывать идею равенства идеалов. А его нельзя уже назвать “человеком идеи”, потому что это, скорее, задача политическая. Культурная, политическая, религиозная, но никак не социальная.



## *Часть вторая*

Е.Е. Гавриленков  
“Учиться, учиться  
и быть мобильным”

*— Вы, Евгений Евгеньевич, известный экономист-аналитик, ваша центральная тема, насколько можно судить по выступлениям и публикациям, — стратегия и проблемы развития России в XXI веке, ее интеграция в мировое сообщество. В этом ключе и хотелось бы построить беседу. Как вы оцениваете перспективы нашего экономического развития на фоне стремительного, глобального, качественного движения мировой экономики? Каковы наши реальные шансы войти в этот мир, если мы действительно ставим такую задачу?*

— Когда мы рассуждаем о том, где Россия находится и куда должна идти, важно постараться объективно оценить наше прошлое. У ряда экспертов проявляется некоторая идеологическая зашоренность по поводу этой точки отсчета, а именно о роли Советского Союза, прежней России в мировой экономической системе. Точка зрения на наше прошлое зависит от политических вкусов: многие склонны идеализировать предыдущие десятилетия, много и тех, кто находит в них гораздо больше абсурда, чем здравого смысла. Поэтому и важно понять, почему все-таки то рациональное, что у нас было, не могло развиваться.

Сейчас, конечно, по прошествии почти 12 лет рыночных реформ, страна существенно изменилась — не только в результате нашей внутренней трансформации, но и в силу существенных изменений, которые произошли и продолжают происходить в мире. Я согласен с теми, кто считает, что сейчас переживается критический момент в истории цивилизации, когда происходит переход в некое качественно новое состояние. Действительно, резко ускоряются все экономические процессы, меняется рынок, по-

являются совершенно новые технологии и продукты. Цикл возникновения целых индустрий заметно сократился. И, к сожалению, в этих условиях наши внутренние общественно-политические дискуссии все еще заиклены либо на том, что надо забрать деньги у нефтяников и справедливо поделить, либо на том, что надо снова сосредоточить в руках государства контроль над всеми сырьевыми компаниями; все более активно звучат слова по поводу необходимости государственной промышленной политики, однако пока никто не смог четко сформулировать, какого рода должна быть эта промышленная политика, что именно мы хотим развивать, на что хотим направить средства, получаемые от экспорта энергоресурсов. Думаю, что в наших нынешних условиях, в принципе, эта задача (формулирования промышленной политики) вряд ли может быть решена.

Какие-то элементы промышленной политики можно было осуществлять в 50–60-е годы теперь уже прошлого века. Так поступали Япония, Южная Корея, ряд других стран, где государство оказывало значительную поддержку конкретным бизнес-группам или секторам экономики. Сейчас, в условиях, когда не совсем понятно, куда идет мир, когда очень быстро меняется структура спроса, когда у нас нет полной уверенности, что бюджетные средства или другие формы государственной поддержки могут быть использованы по назначению (о чем нам регулярно напоминают отчеты Счетной палаты), правильнее было бы, на мой взгляд, вкладывать средства преимущественно в образование. Именно высокое качество человеческого капитала способно обеспечивать реальное развитие в условиях динамично меняющейся внешней среды, устойчивый рост экономики, эффективную борьбу с бедностью и решение всех остальных задач, озвученных в последнее время.

Так что если будут появляться какие-то свободные ресурсы у государства, то их лучше направлять именно на образование, причем не обязательно высшее. Имеется в виду как начальное образование, так и система переподготовки, необходимо, чтобы человек постоянно учился. Опыт многих стран, в том числе и наш прошлый опыт, говорит в пользу этого. Не будем брать в качестве примера США, это, конечно, отдельный случай, там образование

всегда являлось своего рода “коньком”, туда приезжает учиться масса иностранцев. Оказание услуг в области образования, если мне не изменяет память, это пятая по объемам статья доходов от экспорта в Америке. Но вот если взять некоторые другие страны, которые смогли качественным образом трансформировать свои экономики и в последние лет десять показали темпы роста выше европейских (например, Дания, Швеция, Финляндия), то нельзя не отметить: лет 15–20 назад они качественно поменяли объемы, структуру финансирования именно в образовании, в науке, создали условия для того, чтобы средства на эти цели шли не только из бюджета и чтобы не только государство, но и компании были заинтересованы в постоянной переподготовке кадров на всех уровнях. В результате и в условиях неопределенности, трудной предсказуемости того, куда движется мир, эти страны смогли найти свои “ниши” в мировом разделении труда и развиваться высокими темпами, причем без использования всяких “природных рент”.

В нашем же случае, конечно, можно сказать, что вот энергетика, например, всегда была и будет, и мы должны оставаться здесь среди лидеров, но тут возникает вопрос: а какая энергетика? Какой она должна быть и будет через 10–20 лет? Где гарантии, что на экспорте нефти можно существовать вечно? Скорее всего, рано или поздно появятся альтернативные источники. То же самое можно сказать в отношении других отраслей. Мировой рынок очень и очень динамичен, и если мы хотим найти какие-то ниши кроме нефти, газа и металлов, то нужны как можно более подготовленные, квалифицированные кадры, которые могли бы их найти. То же касается и внутреннего рынка. Пока наша экономика переживает весьма интенсивную трансформацию, причем в относительно короткий исторический период, пока мы находимся в поиске, нам нужны как можно более мобильные трудовые ресурсы, способные перемещаться от сектора к сектору.

Но самое важное — то, что чем более образованно население, тем больше ему нужно экономической свободы. Именно этого нам не хватало в прошлом. Только сочетание этих двух факторов (знания и свобода их применять)

обеспечивает стабильный экономический рост. В самом деле, если есть в наличии высокообразованные трудовые ресурсы, но нет экономических свобод, если некуда приложить знания и опыт, то наиболее мотивированные кадры начинают уезжать в другие места.

Когда мы говорим об образовании, я имею в виду не только подготовку кадров для конкретных отраслей промышленности, но и в целом сферу управления, менеджмент. Нужны люди, готовые что-то создавать в совершенно разных областях экономики, доводить идеи до создания вполне конкретных компаний, по сути, нужны работодатели. А таких людей в любом обществе от силы 3, 5, ну 10 процентов. Это означает, что лишь 3–5 процентов в принципе готовы пойти на риск, реализуя какие-то идеи.

Вспомним того же Билла Гейтса, компанию “Microsoft”, возникшую из ничего, без всякой промышленной политики. Появилась удачная идея, и в условиях экономической свободы, когда человек может себя реализовать, — за 20 лет создается не просто одна из крупнейших в мире компаний, но целая отрасль, создаются сотни тысяч рабочих мест. Вот, собственно, что в идеале требуется и нам.

Конечно, можно говорить об элементах промышленной политики там, где у нас были серьезные достижения, например в авиационной отрасли. Но в таких случаях дискуссии все время сводились в основном к тому, что надо увеличить финансирование, защититься от конкуренции и т. п. И только в последнее время начали говорить о необходимости коренной реорганизации отрасли. Ведь прежде чем финансировать, нужно четко определиться: а что мы финансируем? В мире существуют два крупных авиационных производителя — “Боинг” и “Эйрбас”. В последние десять лет появились еще производители региональных самолетов в Бразилии и Канаде. У нас же в одной стране — так исторически сложилось — их было пять или шесть (имена у всех на слуху — Ту-154, Илюшин, Антонов, Сухой, Яковлев, Микоян...). В советское время каждый занимал свою нишу, конкуренции между ними особой не было. Не было конкуренции и с зарубежными производителями. Каждый из них получал требуемые ресурсы. Однако сейчас ситуация естественным образом изменилась, в первую очередь из-за открытия экономи-

ки. Оказалось, что, как и в случае с автомобильной отраслью, мы испытываем конкуренцию уже со стороны более сильных западных производителей техники. И качество нашей продукции не столь очевидно, поскольку даже высокие импортные пошлины не способны поменять предпочтения отечественных авиаперевозчиков, которые все больше и больше предпочитают зарубежную технику, в том числе поддержанную. Ресурсы же наши расплывены по нескольким компаниям. Более разумным представлялось бы создание действительно мощного холдинга, который сосредоточил бы в себе все интеллектуальные ресурсы отрасли. Производство самолетов эффективно, если в год компания может производить и продавать их около сотни. У нас в лучшем случае — два-три на каждую фирму, и прибыльными они быть не могут, однако их продолжают субсидировать. Продолжается расплывление и финансовых, и интеллектуальных ресурсов, что ничего хорошего не приносит и не сулит. Все попытки создать, например, региональный самолет оказались безрезультатными; сначала поддерживали один проект, Ту-334, который разрабатывали около 20 лет, и он успел уже устареть морально; потом переключились на другой, “Сухого” с “боингом”. Нужные решения по созданию холдинга появятся только года через два. Но это лишь один, весьма конкретный и специфический сегмент современного рынка.

*— Сколько, на ваш взгляд, еще должно пройти лет, чтобы прийти до таких вещей? Ведь разговоры (и научные дебаты) о той же структурной перестройке шли еще в 80-е годы.*

— Но ничего не происходит. Вернее, что-то произошло, но в очень малой мере. У президента и нынешней администрации, я думаю, есть примерно два года, за которые что-то нужно сделать.

*— У нас имеются необходимые и уже готовые для этого интеллектуальные ресурсы?*

— Думаю, если мы говорим об открытой экономике, то интеллектуальные ресурсы есть. Не обязательно у нас, но и

где-то еще. Интеллект, как и любой ресурс, можно купить. Что-то имеется у нас самих, что-то, скажем, на пространствах бывшего СССР, в других странах. Частные компании, например, нанимают западных менеджеров, ключевых людей на некоторые ключевые позиции — но, конечно, не всю команду. В фирме, где я работаю, тоже так. Это нормальный процесс, частный сектор давно понял: чтобы изготовить, разработать то, что продается, нужно купить какие-то ресурсы, в том числе и интеллектуальные. Возьмите любые более-менее успешно конкурирующие на нашем рынке компании — везде работает много иностранных специалистов (в пищевой промышленности, в нефтяной отрасли, в финансовой сфере, например). Государственный сектор в этом смысле закрыт, и, до тех пор пока не придет такое вот осознание, ничего там не будет происходить, потому что, конечно, мы развивались замкнуто, у нас “своя школа”. Кстати, уже сейчас на приватизированных предприятиях того же авиационного сегмента начали создавать новые двигатели совместно с французами. Но опять-таки на приватизированных. То есть процесс идет, но вот там, где присутствует государство, пока не перешагнули эту черту. На самом деле вся наша история свидетельствует о том, что значительные шаги вперед Россия делала только тогда, когда она открывалась, когда сюда приезжал зарубежный народ — голландцы, французы, немцы. Кто-то становился российскими гражданами. Они не деньги привозили, а в общем-то другую культуру, в том числе и деловую. Подобным образом развивается и Америка, где гораздо проще и дешевле начать бизнес по сравнению с той же Европой. Потому туда со всего мира едет народ наиболее предприимчивый, готовый пойти на риск. Потому число компаний, которые каждый год там появляются (в расчете, скажем, на тысячу человек), в пять-шесть раз выше, чем, скажем, в Германии. Но столько же компаний и умирает в Америке, то есть более интенсивно идет процесс селекции наиболее эффективного бизнеса. Вот почему мы видим, что принципиальные новшества, которые меняют мир, тот же “Microsoft”, например, те же биотехнологии — оттуда. Можно обратиться и к совершенно другим примерам, с других континентов. Та же Япония, которая была закрыта

до середины позапрошлого века, — это был один мир; как только открылась — стала совершенно другой. И я полагаю, что в грядущем, если мы думаем о будущем России, должен быть вновь освоен такой именно путь.

— Ну, пока получается наоборот.

— И это, мне кажется, принципиальная ошибка. Наше новое миграционное законодательство — очень неправильное направление.

— Но если, скажем, мы начнем принимать все больше иностранных специалистов, а свои будут интенсивно осваивать Силиконовую долину (если уже не освоили полностью) — несколько странная складывается ситуация, согласитесь...

— Думаю, в этом нет ничего ни странного, ни страшного. Они же придут обратно, эти люди. Просто так сложилось, что в определенный период мы произвели огромное количество физиков, математиков, программистов, которые были ориентированы на работу (еще в советское время) в комплексах ВПК. В 1990-е годы все поменялось, спрос сократился. Куда им идти — газеты продавать? Лучше пусть они едут туда, где могут продолжать работать по специальности. По крайней мере, сохраняется интеллектуальный потенциал, приобретается опыт. Если создаются нормальные условия здесь или, например, ухудшается положение в Калифорнии — кто-то возвращается. Главное — обеспечить вот эту свободу выбора.

— У вас есть какой-то оптимизм при том, что на мировом рынке высокотехнологичной продукции доля России, как признали недавно и наши академики, “оскорбительно мала” — менее одного процента. Именно за счет развития наукоемких технологий, как известно, в других странах достигается до 70–80 процентов прироста ВВП. Мы сейчас постоянно слышим о необходимости удвоить наш ВВП, притом быстро. Как это может получиться?



— Оптимизм некий есть, потому что мы начали расти (правда, только в последние лет пять). Причем темпы роста были высокими, можно, конечно, спорить о качестве статистических данных, но не в том суть. Мы, в принципе, можем расти гораздо более быстрыми темпами. И на данном этапе нашего развития этот рост, конечно, исключительно важен. Мы уже почувствовали его вкус.

— *Рост чего?*

— Пока качество роста экономики невысокое, безусловно, но это тоже вполне объяснимо. Это вполне естественно после длительного периода спада. Когда произошла девальвация и повысился спрос именно на российские товары, то в первую очередь откликнулись предприятия, которые были готовы удовлетворить спрос обедневшего населения. То есть начали быстро производиться дешевые продукты, которые мы всегда в общем-то умели производить. Если в качестве примера взять пищевую отрасль, то сразу после кризиса стало быстро расти производство хлеба, сахара, растительного масла. В этих отраслях еще оставались свободные, незадействованные мощности. Ну а дальше мы наблюдали тоже достаточно интересную картину. На фоне высоких цен на нефть в последние годы, в результате того, что доходы от внешней торговли так или иначе перераспределялись по экономике в целом, доходы населения также росли довольно быстро. И структура спроса начала меняться. Скажем, уже в 2001 году население стало предъявлять повышенный спрос на более дорогие белковые продукты, при одновременном сокращении спроса на углеводы. Но вот уже 2003 год нам показал, что пищевая промышленность тормозится, и значительно повысился спрос на товары длительного пользования, на услуги. Кроме того, стало понятно: тот механизм роста, который во многом был основан на загрузке мощностей, готовых производить дешевую продукцию, как бы исчерпан. Население уже хочет чего-то другого. Те, кто может купить, скажем, “фольксваген”, ни при каких условиях не будут покупать несколько “жигулей”. Для того чтобы другое, конкурентоспособное производство появилось, нуж-

ны инвестиции. И вот здесь действительно тех десятых долей процента, о которых вы говорите, мало.

Сейчас ситуация начала меняться — медленно, вопреки многим обстоятельствам и мнениям. Однако на новую структуру спроса уже откликаются потребительские отрасли. Крупные компании, ориентированные на экспорт продукции обрабатывающей промышленности, также стремятся выпускать более качественную продукцию, поскольку обостряется конкуренция в мире. Но они сталкиваются с растущими издержками в виде повышающегося реального курса рубля, в виде растущих транспортных и энергетических тарифов, тоже удорожающих продукцию. Встает задача повышения эффективности производства. Чтобы снизить издержки в традиционных отраслях, все более активно заговорили о качестве корпоративного управления, о том, что нужно реструктурировать предприятия. Мы видим, что в прошлом году в промышленности, где производство выросло на 7 процентов, на 6 процентов сократилась занятость. Это означает, что пошли интенсивные процессы внутренней реструктуризации, которые раньше и не начинались, поскольку просто не было такой необходимости (можно было, повторю, загрузить существовавшие мощности). В течение года-двух это произошло везде. Просто приходит понимание, что обостряется конкуренция на всех рынках, и чтобы быть конкурентоспособным, нужно смотреть, а правильно ли организован процесс. Когда и эти элементы будут исчерпаны, вот тогда наступит следующий этап — возникнет спрос на более эффективные новые технологии. Тогда уже это станет единственной возможностью повышения конкурентоспособности.

*— Нам, следовательно, ясно, что именно делать, или это все-таки происходит спонтанно?*

— Думаю, большей частью спонтанно, но это вполне естественная реакция частного сектора на меняющиеся условия. Рост, который мы имели, пока не слишком диверсифицированный, в какой-то мере традиционный, во многом финансировался благодаря выросшим доходам тради-

ционных отраслей-экспортеров (нефть, металлы и т. п.), но это естественная реакция экономики на благоприятные изменения на мировых рынках. В результате весьма эффективно перестроился за этот исторически короткий срок частный сектор. Interactive Research Group провела интересное исследование рынка потребительских товаров и услуг. Анализировались различные компании, и обнаружилось, что фактически в каждом сегменте потребительского рынка (текстиль, одежда, обувь, напитки, продукты, услуги) есть как минимум 8–10 компаний, которые успешно конкурируют с крупнейшими зарубежными производителями по всем параметрам. Они настроены на рост. Бизнес в каждом своем сегменте не отвечает за всю экономику, но он по крайней мере делает более осмысленные шаги в своей области. Растет спрос на информационные бизнес-технологии, что тоже позволяет снизить издержки. Сократить внутренний документооборот, например. Частный сектор по определению более адаптивен, и это касается также кадровой политики. Я работал в разных структурах, государственных и частных, и могу судить о качестве персонала. Даже обычные водители в частных компаниях более профессиональны, чем в госсекторе.

— *За счет зарплаты?*

— За счет зарплаты идет естественный отбор. Я просто говорю, что частный сектор оказался гораздо более мобильным, чего и следовало ожидать.

— *Тем не менее не скажешь о благосклонном отношении к нему и населения, и власти. Особенно в последнее время.*

— Эти разговоры я бы пока не рассматривал как долгосрочные тенденции. На данном этапе нашего развития многое непонятно, с точки зрения рационального мышления порой трудно найти внятное объяснение происходящему. В частности, это касается событий второй половины прошлого года. Во многом надо делать поправку на предвыборную атмосферу. В тех условиях определенные

силы получили возможность громко заявить о своих представлениях о жизни и предпринять соответствующие шаги. Сейчас же мы наблюдаем весьма интересный период, своего рода тест для власти, когда есть все возможности способствовать развитию экономики в том или ином направлении: будет ли это курс на усиление присутствия государства в экономике или это будет курс на продолжение структурных реформ и либерализацию. Именно в этом смысле для президента станут весьма показательны первые два года, а от государства мы вообще-то получили достаточно смешанные сигналы — как позитивные, так и негативные. Сам факт, что в течение ряда лет поддерживался профицитный бюджет (хотя это легко было сделать на фоне высоких цен на нефть), свидетельствует о том, что правительство не поддалось соблазну увеличения госрасходов, бессмысленного в таком нереструктурированном хозяйстве. В совокупности с разумной денежно-кредитной политикой это способствовало поддержанию макроэкономической стабильности. В то же время явное замедление структурных реформ создавало весьма негативный фон для инвесторов.

Теоретически можно рассматривать такой вариант развития, который предполагает увеличение доли ресурсов, перераспределяемых государством. Однако не в России и тем более не сейчас. Прежде чем увеличивать расходы, всегда нужны сначала организационные решения. Важно понять, повторю, куда мы собираемся вкладывать государственные средства. Пока, я думаю, конкретных решений не принято, хотя количество чиновников-экономистов у нас сейчас увеличивается завидными темпами, несмотря на все разговоры об административной реформе.

Вот мы опять вынужденно возвращаемся к проблеме образования. С началом реформ резко увеличилось количество молодых людей, которых потянуло в экономику и юриспруденцию. Появилось множество новых вузов (не исключено, что в недалеком будущем окажется, что мы производим слишком много экономистов и юристов). Но старые-то у нас не закрылись. И, наверное, хорошо, что не закрылись, поскольку теперь, в условиях растущей экономики, должен снова повыситься спрос на специалистов

инженерно-технического профиля. Например, есть даже признаки того, что магазины в качестве продавцов-консультантов стремятся привлечь людей с высшим образованием, которые хоть как-то разбираются в технике (хотя, возможно, это и не лучший способ использования кадрового потенциала). Я говорю это к тому, что серьезно системой образования, особенно в сфере естественно-научных дисциплин, никто толком не занимался. Пока не было такой потребности. Думаю, что сейчас эта проблема начнет возникать, поскольку меняется структура экономики, структура спроса на тех или иных специалистов.

— *На тех, кто определяет экономическую политику, или, скорее, на тех, кто занимается разработкой новых технологий, их внедрением? Эти два русла у нас как-то разделяются или их просто нет?*

— Пока нет. Еще ничего не произошло. Более того, скорее происходят какие-то негативные изменения. Например, из статистики видно, что занятость в сфере образования в предыдущие годы росла. Я не уверен, что это хорошо, поскольку нет свидетельств в пользу того, что аналогичным образом повышалось и качество образования. И здесь мне видится тесная связь с нашей армейской реформой, точнее, с ее отсутствием. Именно то, что долгое время она практически не осуществляется, порождает спрос на низкокачественное образование, вообще на любое. Возникает огромное количество странных вузов, негосударственных академий, университетов, что-то там преподается. Увеличивается количество аспирантур и аспирантов... Но вряд ли во все вузы могли прийти высококачественные преподавательские кадры. Просто учеба становится неким способом дотянуть до 27–28 лет, до уже непризывного возраста, как-то перекантоваться — и это явно неэффективное использование человеческих ресурсов. Однако для многих это лучше, чем потеря двух лет жизни в армии. Это в общем-то лучше и для экономики, поскольку, формально числясь в студентах или аспирантах, люди продолжают работать, создавать и “удваивать ВВП”, чего армия делать не может. Потому, я думаю, помимо экономических свобод, реформ в самом образова-

нии в широком смысле, необходима еще и реальная военная реформа. До тех пор пока у нас армия будет существовать в том виде, в каком существует сейчас, она будет постоянно стимулировать спрос на низкокачественное образование либо отток наиболее активной, скажем так, интеллектуально активной части населения куда-то за рубеж во избежание нынешнего армейского кошмара. Нужна нормальная и эффективная профессиональная армия.

— Скажите, Евгений Евгеньевич, а кто-то у нас сейчас занимается экономической теорией, перспективными разработками?

— Комплексно, серьезно, с расчетом на долгий срок, думаю, нет. Есть, конечно, исследования в области долгосрочной энергетической стратегии, стратегии развития транспорта, но это размышления на тему отдельных секторов экономики. Единственная программа, заглянувшая на десять лет вперед, была разработана в свое время коллективом под руководством Грефа.

— Ее называли “стратегической” программой. Она как стратегическая и работает?

— Да, она реализуется, но надо понимать, что все же она была рассчитана на десять лет. Большое достижение этой программы заключается хотя бы в том, что все программы предыдущих правительств ориентировались, как правило, на трехлетние периоды, а тут впервые задумались о десятилетнем горизонте. Однако в стратегическом, перспективном плане и это не так много. Если мы хотим получить отдачу от реформ в образовании, то нужно начинать с детского сада, с начальных классов школы, и при этом надо понимать, что отдача будет видна по крайней мере лет через 20–25. Насколько я знаю, над очередной перспективной программой трудилась группа Шувалова при Центре стратегических разработок, но опять-таки там, по моему пониманию, речь шла об относительно коротких сроках и ограниченном спектре реформ.

— Недавно по новостным каналам довели до нас из сфер власти такие слова (возможно, не в лучшей интерпретации): не нужны нам никакие идеи, нам нужно заниматься конкретными делами. Что бы это значило?

— Ну, конкретными делами, конечно, надо заниматься... Но я остаюсь при убеждении: надо давать возможность людям учиться тому, чему они хотят, и предоставлять экономическую свободу. В этом смысле, мне кажется, показателен литературный пример Робинзона Крузо: человек, имея накопленные знания, оказался в условиях полной экономической свободы; именно поэтому он мог “удваивать ВВП” своего острова. При помощи знаний он мог и обороняться от нашествия канибалов с соседних островов. Конечно, это грубое упрощение, но и некая модель. Если бы там, на одном острове оказались еще два три Робинзона, один из которых был бы начальником, собирающим налоги в натуральной форме как на свое пропитание, так и для другого Робинзона, олицетворяющего армию и полицию, то об экономическом росте острова можно было бы забыть. Я надеюсь, что рано или поздно мы все-таки всерьез задумаемся о таких вещах.

— А у нас есть время? Мы констатируем: мир убыстряется, конкуренция возрастает. И привычно повторяем: нас держит на плаву цена на нефть... Ну а не будь этой цены? Что у нас есть?

— На самом деле пока ничего особого нет, в том-то и беда. Я вначале заметил, что темпы роста экономики могли бы быть и более высокими, но для этого нужно было бы решить проблемы, связанные с экономической свободой. Вот мы говорим: пусть к нам приходит иностранный капитал. Он не приходит по известным причинам: отсутствие более-менее вменяемой бюрократии, постоянно меняющиеся правила игры, коррупция (и все это помимо технических проблем, связанных с неразвитой инфраструктурой). Конечно, какие-то регионы могут быть более продвинутыми в данном отношении. Но основная причина — совершенно другой деловой менталитет, не у отдельных

личностей, а у нации в целом. 1917 год и последовавший геноцид не прошли даром. Кроме того, на протяжении многих десятилетий мы были страной, которая вывозила капитал. Считается, что в 90-е годы началось бегство капитала, наступил такой нехороший для нас период. Но надо отдавать себе отчет, что это же явление существовало и раньше. В советское время было абсолютно то же самое, вывозили те же самые миллиарды, десятки миллиардов долларов, правда по другим каналам, по другим причинам (поддержка коммунистических режимов во всем мире, строительство военных объектов во Вьетнаме, в ГДР, в Венгрии, других странах). Так что с точки зрения макроэкономики покупка футбольного клуба Абрамовичем по сути то же самое, что и финансирование некоего военного режима в Африке в прошлые десятилетия. Кроме того, деньги Абрамовича или другого бизнесмена, в принципе, могут вернуться в страну, если им здесь может быть найдено лучшее по сравнению с Англией применение. Если задача от их вложений в российскую экономику будет выше, а риски ниже (я не обсуждаю здесь модный сейчас, но небесспорный тезис о социальной ответственности бизнеса). Долги же диктаторских режимов мы не получим никогда. Поэтому если Россия, наконец, станет реципиентом капитала, тогда и темпы роста могут быть совершенно другими даже и при более низких ценах на нефть. Появится другое качество роста.

*— Естественный вопрос: нам что, сидеть и ждать? Устроить интеллектуальный накопитель, размещать там всех, кто потихонечку образовывается, и просчитывать, когда же изменится менталитет? Или все-таки можно сделать некий рывок, хорошо бы по нескольким направлениям?*

— Должен отметить, что и наша экономика начинает развиваться в разных направлениях, причем это в первую очередь происходит в силу естественной эволюции бизнеса, а не по воле государства. Вот, скажем, есть некая компания, вполне реальная, работающая в сфере информационных технологий. Она ничего не приватизировала, начи-



налась с нуля, но сейчас спрос на программные продукты, информационные технологии, которые здесь производят, достиг такого уровня, что компания решила начать строить собственный город, или поселок. Компания работает на экспорт и на внутренний рынок, спрос на ее продукты явно превышает предложение. Можно запросто пригласить специалистов из СНГ, из той же Силиконовой долины, предложив им нормальные условия труда и жизни. Могут сказать, что у нас уже есть подобные научные города, и как правило, они сейчас бедствуют. Но то как бы государственные города, и государство не всегда ведет себя адекватно. С одной стороны, в бюджете вроде бы нет средств, а с другой — многие такие города были закрытыми, так что экономической свободы не дано. А в частном бизнесе люди все просчитали, в том числе сколько стоит содержать офис в Москве и сколько — в ее окрестностях. Разумное, сугубо бизнес-решение.

— *Это выход, по вашему мнению?*

— Это просто пример. Бизнес хочет развиваться. И если это сложно в данном конкретном регионе, он будет перемещаться в другие места. Но если здесь поставить искусственные ограничения, то он просто не будет расти. Главное — чтобы государство ему не мешало, а лучше — способствовало бы. Я вот говорил достаточно настойчиво о промышленной политике, но при том не исключая полностью, что государство могло бы взять под опеку определенные отрасли.

— *Оно и берет: военно-промышленный комплекс.*

— В этом-то и беда: государству ближе отрасли, где наиболее сильное лобби. И прежде чем взять их под опеку, начать финансировать, нужна та самая серьезная административная реформа, государство должно улучшиться, иначе все деньги по пути разворуются, разойдутся. Но главное — не это является нашим будущим. Это опять работа на сиюминутную выгоду. О каких-то более-менее долгосрочных проектах я впервые услышал на конферен-

ции нефтяников, которые года три-четыре назад стали говорить о перспективах до 2030 года, причем с количественными расчетами. От государственных структур чаще слышишь другое: экспорт вооружения на три года такой-то... Ну, не может страна, которая имеет 144 миллиона (довольно все-таки большое население), сосредоточиваться только на этом — на экспорте нефти и вооружений. Та же Швеция, где население примерно такое же, как, скажем, в Москве, производит и качественные автомобили, и те же самолеты, и высокого класса потребительские товары. Понятно, что страна с населением в 140 миллионов может гораздо больше. Ну, сколько у нас составляет экспорт военной техники? В лучшем случае сейчас 5, ну, будет 7 миллиардов. Емкость рынка вооружений ограничена. Нельзя завалить весь мир вооружением. И на этом рынке конкуренция сильна. Даже если мы гипотетически будем экспортировать вооружения не на 5, а на 10–15 миллиардов долларов, то это принципиально не изменит картину в нашей экономике. Нужно производить и гражданскую продукцию. То есть мировой рынок вооружения исчерпаем, сколько там — 20, 30, 40 миллиардов... А общий объем нашего экспорта в этом году ожидается в размере свыше 160 миллиардов долларов. Потому, естественно, экспорт должен диверсифицироваться, надо стараться экспортировать все что можно, в любых объемах. Те же программные продукты. Я не так много, но все же езжу по стране. Недавно был на Алтае, в других регионах, и видно, как что-то прорастает. Есть масса некрупных предприятий, готовых предложить вполне конкурентоспособные товары. И государство могло бы помочь им выйти на внешний рынок, хотя бы помочь установить контакты с зарубежными партнерами. Взять ту же пищевую промышленность, которая раньше и более других отраслей испытала на себе, что такое конкуренция, в том числе и с импортом. Сейчас она гораздо более конкурентоспособна, чем лет пять-шесть назад. В этой отрасли проблемы с ответственностью урегулированы в гораздо большей степени, чем, скажем, в нефтяной, структура собственности как-то устоялась. И в условиях сокращения населения, долгосрочного снижения спроса на продукты питания единст-

венный способ развития для пищевой промышленности — это начать экспортировать, повышая качество своих товаров, эффективность производства, что, собственно говоря, и происходит.

— *А какой бизнес сейчас для России важнее — малый, средний, крупный?*

— Думаю, не очень корректно ставить вопрос именно так. Просто говорят сейчас о малом бизнесе больше, потому что доля его крайне мала. Пока нет надежных данных о доле малого бизнеса в ВВП (по крайней мере, Госкомстат официально их не публикует), но, по нашим оценкам, она составляет порядка 7–8 процентов, в то время как в Соединенных Штатах малый бизнес производит около 60 процентов ВВП, во многих европейских странах эта цифра даже выше. Развитие малого бизнеса важно не только потому, что это способ трудоустройства для существенной части населения, но и потому, что это площадка, позволяющая проявиться наиболее эффективному бизнесу, который затем из малого может вырасти в более крупный.

— *Вот мы все время говорим: государство и... То есть мы предполагаем прочную, долгую связь государства и экономики или все-таки ожидаем, что оно понемногу начнет из экономики уходить?*

— Государство, на мой взгляд, должно уходить из экономики. Но сейчас я говорю о другом: государство — некий слуга, а наиболее профессионален тот слуга, которого не замечают. Когда вы, например, сидите в кафе и официант слишком навязчив — это плохой официант; а вот если на вашем столе все появляется незаметно и именно в той очередности, как хотелось бы, — это то, что нужно. Собственно говоря, таким и должно быть государство. В этом смысле к нашему государству пока большие претензии. Оно слишком назойливо, на разных уровнях его слишком много. Оно не может не только создать комфортные условия, но и обеспечить элементарную безопасность людей и бизнеса. Такие структуры, как ми-

лиция, на мой взгляд, вообще не реформируемы, их, по сути, надо создавать заново. Думаю, то же самое можно сказать и об армии: это в принципе не реформируемая структура. И вообще, все наши силовые структуры создавались совершенно в другой стране, другой системе, для решения совершенно других задач.

*— А кто сегодня выдвигает перспективную цель, ту же задачу удвоения ВВП? И кто ее реализует? Не происходит ли здесь обмен ролями?*

— Наличие ясной и понятной цели — это очень важно. Если взять, например, восточноевропейские страны, их переходный период, то перед ними была четкая стратегическая цель — вступить в Евросоюз. Эта цель, поставленная правительствами, была широко поддержана населением. Для них было важно убежать от зависимости от России и вступить в цивилизованное сообщество, стать частью большого, хорошо структурированного мира. И вот на протяжении 14 лет они кропотливо выстраивали соответствующие системы институтов, рыночные и государственные, принимали законы, подобные тем, которые есть в Европе и будут у них. Прошло 14 лет, и они вступили в Евросоюз. У нас все совершенно по-другому. С начала реформ никакой долгосрочной цели не было сформулировано, речь в лучшем случае шла о пресловутой макроэкономической стабилизации и о переходе к экономическому росту. Четких политико-экономических ориентиров, равно как и внешнеполитических, тоже не было. Да и сейчас пока нет. Потому задача удвоения ВВП на этом фоне выглядит весьма разумной целью — это хоть что-то. Кроме того, у нас еще есть и другая проблема: политика, в том числе и экономическая, слишком персонифицирована. Политика, проводимая одним нашим лидером, не обязательно будет продолжена другим. И это коренное отличие от той же Восточной Европы, той же Польши, например: в 1990-е годы там, по сути, произошла смена власти; но Квасьневский, бывший коммунист, став социалистом, начал играть абсолютно по тем же правилам, что и его предшественник, следовать тому же самому курсу на интеграцию с Евросоюзом, который был принят в

90-м году. Мы же по-прежнему не можем сделать фундаментальный выбор: либо по-прежнему у нас доминирует пресловутая вертикаль власти, все персонифицировано и зависит от одного человека; либо строится гражданское общество, возникают независимые саморегулирующиеся институты. В принципе возможны и тот и другой варианты развития и достаточно высоких темпов роста. Многие страны Азии развивались именно по первому варианту, там тоже властители ставили похожие задачи достижения высоких темпов роста на 20–30–50 лет вперед. Есть плюсы и минусы в такой стратегии: с одной стороны, высокие темпы роста достижимы, но чего-то не хватает, свободы выбора, например, поскольку ключевые решения не только в политике, но и в экономической сфере принимаются очень ограниченным кругом людей. В таких условиях наиболее активная часть населения может покидать страну, тем самым ограничивая ее потенциал развития в более долгосрочном плане. Есть и другая модель, действительно свободные институты, свобода выбора, гражданское общество — такая система более устойчива. Мы пока не пришли к пониманию того, что без нормального гражданского общества, куда входят и независимые средства массовой информации (зеркало такого общества, что позволяет контролировать бюрократию), риски возникновения нестабильности, подавления творческих инициатив гораздо выше.

Китай, скажем, еще один пример развития без гражданского общества. Это незыблемость власти, где компартия не собирается уходить со сцены, по крайней мере в ближайшее время. Однако это не означает, что так там будет всегда. В Китае поставили задачу перегнать Америку по объему ВВП и скоро реализуют ее, в том числе с помощью иностранных инвесторов. Это тоже вполне реальная цель, но вопрос — сможет ли богатеющее китайское население всегда обходиться без свободы в политической сфере. Централизованное управление — явление, характерное для стран с невысоким доходом на душу населения. Мы тоже столкнемся с этим противоречием. Много противоречий в политике можно видеть и сейчас: в общем-то власть ратует за либеральную экономику (на словах по крайней мере); вместе с тем все больше говорится об уси-

лении роли государства, в том числе и в экономической сфере. В целом же я не очень понимаю, как либеральная экономика может развиваться в условиях достаточно авторитарной власти в долгосрочной перспективе.

Можно посмотреть на проблему и с другой стороны. Территория у нас самая большая в мире, однако численность населения явно не самая большая, к тому же она сокращается. Особенно это видно на примере отдельных регионов, откуда народ уезжает по разным причинам. Если здесь не создать комфортные условия для бизнеса, то в долгосрочной перспективе наше государство может исчезнуть как таковое. В условиях авторитарного режима страна могла существовать, когда росла демографически, даже несмотря на геноцид собственного народа. При сокращающемся населении это будет уже гораздо сложнее. Проблема усугубляется тем, что мы на протяжении десятилетий не прекращали воевать — достаточно вспомнить Афганистан, Чечню... А это десятки тысяч человеческих жизней. Так что контроль над всеми своими территориями будет осуществлять все сложнее и сложнее... Эта проблема, понятно, не на сегодня-завтра, но заглянем вперед на те же самые 20–25 лет. В первую очередь для нас важно интегрироваться с цивилизованным миром, то есть перестать строить из себя что-то особенное. Надо на деле открыться, стать страной более свободной, чем соседние страны, создав достаточно простые, привлекательные условия для того, чтобы сюда приезжали люди и учиться, и работать. Тогда и новые технологии придут, и идеи появятся. Я думаю, для России это наиболее разумный способ развития.

— *А могут сейчас появляться новые идеи?*

— Думаю, что пока нет. Очень разные силы доминируют в верхах власти. Есть достаточно консервативные, скажем так, которые стремятся огородить нашу страну от внешнего мира и таможенными тарифами, и усложненными визовыми процедурами, и миграционным законодательством. А есть мыслящие по-другому. Но главная-то беда в том, что и общество в целом не хочет никакой открытости и интеграции. Если посмотреть результаты различных оп-

росов, то лишь 7–8 процентов готовы расширять контакты с Западом, а где-то порядка 60 с лишним процентов за то, чтобы президент вернул России статус сверхдержавы.

*— Два процента за то, чтобы развивать гражданское общество, демократические институты. Два процента — 18-е, предпоследнее место во всем списке вопросов одного из недавних исследований.*

— Понятно, что за год-два до выборов политики будут отвечать на вот эти потребности населения. Если у Путина хватит решимости за два года (пока политики могут не столь прямо реагировать на подобные настроения) повести страну в другом направлении, тогда ему надо ставить памятник. Если нет...

*— Вот видите, вы осознаете, Евгений Евгеньевич, что ближайшие два-три года практически страну не изменят. Чем вы сами считаете полезным заниматься в это время?*

— Я считаю и всегда считал, что нужно продолжать, несмотря на возраст, постоянно что-то узнавать, учиться, учиться и быть наиболее мобильным, не столько географически, сколько в интеллектуальном плане.

*— Зачем?*

— Чтобы, когда изменятся условия, быть готовым принять это как данность. Если я не могу изменить среду, значит я должен измениться сам; если я не могу остановить дождь, я должен раскрыть зонтик.

*— И в каком качестве вы себя видите прежде всего?*

— Ну, думаю, прежде всего в качестве аналитика. Если на мои услуги будет спрос. Мне это интересно. Я довольно долгое время работал в Бюро экономического анализа, участвовал в работе различных групп по формулированию экономической политики. И сегодня меня просят иногда

что-то написать, высказать свои соображения по конкретным вопросам. В общем, постараюсь оставаться активным.

— *А вы что окончили?*

— Базовое образование — авиационный институт, факультет прикладной математики. После чего занялся экономикой, математическим моделированием всяческих экономических процессов. А сейчас работаю во вполне конкретном секторе, финансовом. Клиенты нашей компании, отечественные и зарубежные, — это те люди, которые принимают решения об инвестициях в Россию, о покупке или продаже предприятий, вложении средств в ценные бумаги...

— *Но вы еще и преподаете в Высшей школе экономики, авторитетном вузе, построенном на иных, чем другие институты, началах, куда охотно идет интеллектуальная элита. Кого вы готовите, на чем концентрируете внимание, оправдывают ли ваши надежды выпускники?*

— У меня, надо сказать, смешанное впечатление о Высшей школе экономики. С одной стороны, мы готовим достаточно хорошие кадры, но Школа настолько разрослась и продолжает разрастаться, что возникает вопрос об общей эффективности системы. Таким организмом управлять все сложнее и сложнее, и где пределы такого развития, я пока не понимаю. Требуется все больше и больше квалифицированных преподавателей, причем единомышленников. Возможно, я просто перестал понимать, как Школа функционирует. Характерны длительные совещания, чего нет в частном секторе, где время дороже. Но это и не удивительно, поскольку людей много и все они разные, согласование и выработка принципиальных решений занимает гораздо больше времени. Тем не менее считаю Школу одним из лучших наших вузов, если не лучшим, поэтому и позволяю себе высказываться критически. Когда Школа только замышлялась (это 92–93-е годы), было намерение на государственные деньги создать государст-



венный университет, который готовил бы квалифицированные кадры на уровне мировых стандартов, почему с самого начала и было очень тесное сотрудничество с Голландией, Францией. Были программы сотрудничества с Евросоюзом и правительством Франции. Специальные деньги выделялись на оплату тех профессоров, которые приезжали сюда и просто ставили курс. И мой опыт показывает, что наиболее квалифицированные специалисты выходили из Школы на ранних этапах. Сейчас они тоже, конечно, есть, но, скажем так, их удельный вес снизился, поскольку прием существенно увеличился. Еще важно то, что раньше на старших курсах было много тех, кто просто учился, сегодня же очень много тех, кто где-то уже работает. Меньше ходят на лекции. Я не хочу сказать, что это однозначно плохо. Работая, люди тоже получают какие-то знания и набираются трудового опыта. Но это уже другое знание. Я как раз больше работал с ранними выпусками. Тогда, на начальном этапе, всегда приходило больше людей именно в магистратуру, с хорошим, как правило, математическим и физическим образованием, окончивших физтех, мехмат МГУ. Сейчас в магистратуре — выпускники бакалавриата Школы; их базовая математическая подготовка не всегда выше, но они, естественно, гораздо лучше образованы экономически.

— *А вы не замечаете и каких-то поколенческих различий?*

— Среди студентов? Они меняются, да. Первые были более целеустремленными не с точки зрения зарабатывания денег в текущий момент, а с точки зрения более долгосрочных академических интересов. Я и сейчас чаще общаюсь с выпускниками середины 90-х годов, с некоторыми даже работал и продолжаю работать. Совсем недавно у меня был очень талантливый студент, один из лучших, легко поступил в аспирантуру, но одновременно нашел работу в каком-то рекламном агентстве или журнале и талантливо пишет о путешествиях. Его посылают в командировки, он описывает свои впечатления. И одновременно он аспирант. Это другой стиль жизни, не менее интересный и до-

стойный, но понятно, что тут уже не до серьезных занятий. Возможно, это связано с тем, что прежде экономика падала, а сейчас растет, легче заработать в каких-то совершенно других структурах. Ну и остается причина, к которой не могу не вернуться еще раз. Думаю, для многих выпускников аспирантура важна, чтобы решить проблемы с военкоматом. Еще одно доказательство того, что армейская реформа нужна не только с точки зрения повышения эффективности армии и повышения обороноспособности. Она необходима в первую очередь с сугубо экономической точки зрения.

— *Новое поколение, как правило, уходит в бизнес. А кто-то остается непосредственно в науке?*

— Очень мало. Практически не остаются. В академической науке совсем мало молодых кадров.

— *Впечатление такое, что есть один экономист-теоретик — Глазьев, который “требует ренту”... Но ведь возникла масса всяких исследовательских центров и фондов, работает ваша Школа. Существуют и тот же экономический факультет МГУ, академический Институт экономики, те же бесконечные отраслевые институты — они ведь никуда не исчезли. Что-то там делается?*

— Там те же самые люди, которые были 10–15–20 лет назад. Кто-то более продвинулся, кто-то просто “досиживает”. Но новое, молодое поколение туда не идет.

— *А что вообще происходит с экономической наукой?*

— Думаю, что она интернационализируется. Многие из тех людей, которые имеют хорошее образование и готовы производить что-то интересное с академической точки зрения или давать интересную аналитику, заняты либо в крупных западных компаниях, как раз аналитических, либо работают в международных организациях (во Всемир-

ном банке, МВФ), либо едут работать в какие-то западные университеты. А у нас такой академической науки пока нет. Состояние Академии наук — это очень сложный вопрос. Она как была неким дополнительным министерством с неким финансированием, так и остается. Не перестроилась, к сожалению. Возможно ли это? Не уверен. Дело в том, что молодое поколение пока не видит здесь перспектив. Скажем, для многих наличие своих публикаций в ведущих мировых журналах значит сегодня гораздо больше, чем звание профессора или доцента.

Создатели Высшей школы экономики рассчитывали на то, что удастся соединить воедино науку и образование. Мне кажется, что пока эту идею реализовать не удалось. Академическая наука — занятие весьма индивидуальное, не все могут заниматься ею. Кроме того, в наше время наука, экономическая в частности, в реальности ориентирована на зарабатывание денег, на решение весьма и весьма прикладных задач, которые, как правило, далеки от фундаментальных проблем. Нынешняя экономическая наука — скорее, консалтинг каких-то госструктур, которые выделяют деньги на эти цели. На фундаментальные исследования денег, как правило, выделяется меньше. Надо признать: если у кого-то и получается заниматься у нас действительно наукой, то только если удастся получить независимые источники финансирования. Как правило, с Запада, так как система финансирования фундаментальных исследований из отечественных источников, по сути, отсутствует. По крайней мере выделяемых средств явно недостаточно. И это в еще большей мере касается естественно-научных дисциплин.

Но все-таки я бы сказал, что есть некий пул серьезных экономистов, которые так или иначе общаются, собираясь на всякие совещания, конференции. Он, правда, очень небольшой. И это не есть какая-то система. Это, скажем так, некое неформальное сообщество. Многие люди, имеющие склонность к научной работе, ушли во власть, в бизнес и, стало быть, ею уже не занимаются. Для академических исследований, повторю, нужна другая система финансирования.

— Это в далеком-далеком будущем?

— Думаю, что да. Если мы говорим о системе, то она сложится в далеком будущем. В индивидуальном плане что-то уже происходит, как происходило и раньше. Иногда люди сами находят источники, гранты, например. Но надо понимать, что если “мозги” не будут востребованы здесь, значит, они окажутся в других точках земного шара. Я уверен, что деньги у нашего государства есть, только оно направляет их на другие цели. В последнее время отчетливо прослеживалась тенденция роста расходов на различные силовые структуры, практически никак не реформированные, в то время как расходы на развитие науки по-прежнему на крайне низком уровне. Надо быть неизлечимым, хроническим оптимистом, чтобы при этом с уверенностью смотреть в будущее.

Т.М. Малева

“Вся история человечества —  
поиск социального баланса”

— Татьяна Михайловна, вы возглавляете Независимый институт социальной политики. Такое привычное словосочетание — “социальная политика”, мы при нем родились, слышим едва ли не ежедневно. Но что это по сути своей сегодня и в будущем? Насколько она нужна, важна, как в ней участвуют — и в какой мере должны участвовать — государство, гражданское общество, частный сектор? Мы много говорим о социальном государстве (например, о шведской модели) и хотели бы провозгласить себя таковым. Но известны и трудности, переживаемые сегодня той же Швецией или Германией, которые намерены сократить, свернуть непосильную в современных условиях социальную нагрузку. А что мы? Ориентируемся все же на этот опыт или полагаем его несостоявшимся, рассчитывая построить свою “сильную социальную политику”? Тогда какую? Вот такой для начала разветвленный вопрос, вызванный, в общем, серьезным сомнением: не прибегаем ли мы к старым подходам для решения новых вопросов нового мира?

— Давайте начнем с базового вопроса. Мне как директору Независимого института социальной политики, видимо, было бы рискованно заявить — и тем не менее я пойду на этот риск, — что само понятие “социальная политика” по-прежнему не определено, не имеет четких границ, четкого описания и остро дискуссионно. По этому поводу есть совершенно противоположные точки зрения, и потому у различных участников этого процесса возникают повышенные ожидания от социальной политики. Хотят либо все (население), либо ничего (государство). В одной интерпретации социальная политика лишь сопровождает

экономическое развитие и должна только корректировать какие-то деформации; в другой социальная политика — главный просpekt, по которому идет социально-экономическое развитие. По моему мнению, на самом деле вся история человечества — это поиск социального баланса. Не столько баланса экономического и политического, сколько социального. Люди учатся жить друг с другом, учатся развивать общество, в котором живут. Иногда через кризисы, иногда через относительное равновесие. И социальная политика приобретает черты именно политики, когда люди осознают, что это не стихийный процесс, а осознанное строительство. Тем не менее все страны на разных этапах шли разным путем. Это называется и социальной политикой, и “государством благосостояния”, и “социальным государством”. Но в основе лежит одна и та же идея: попытаться найти баланс между различными социальными группами и различными политическими субъектами. С философской, мировоззренческой точки зрения мы понимаем, что абсолютного баланса быть не может, а если может, то это кратковременный баланс. По мере дальнейшего развития разбалансирование неизбежно и начинается новая спираль поисков. Все время появляются новые вызовы. И потому абстрактные рассуждения о сути социальной политики всегда имеют конкретное значение, в том числе и для современной России.

Вот почему и я как аналитик, и Независимый институт социальной политики ориентированы в первую очередь не на теоретические научные труды, а на эмпирические исследования.

Конкретный пример. За последние десять лет в России удвоилась численность инвалидов. В связи с чем? Что случилось? Конечно, ничего хорошего с точки зрения здоровья нации в это время не происходило, но и ничего катастрофического тоже. Более того: несмотря на то что, с одной стороны, действовали явно выраженные негативные факторы (социальный стресс, ухудшение психологического, эмоционального климата, безработица, падение уровня жизни), с другой стороны, проявлялись факторы иного рода. Когда ВВП сократился вдвое, да еще в наукоемких отраслях и в реальном экономическом секторе (там же остано-

вились самые “грязные” производства), экологическая ситуация в стране улучшилась. Сократилось производство, сократился и производственный травматизм. Тем не менее численность инвалидов приближается к 10 миллионам — это 7 процентов экономически активного населения. Тако-го всплеска не было нигде в мире. Удвоение требовало объяснения. Теоретически объяснить этот феномен невозможно. Обращаемся к эмпирическим исследованиям и выясняем: в 1995 году появилось новое законодательство об инвалидах с новым пакетом льгот для них, а это привело к тому, что люди предпенсионного и пенсионного возраста, которые раньше не фиксировали бы свою инвалидность, теперь, ради получения социальных льгот, предпочли зарегистрироваться. Например, неострые, но хронические заболевания позволяют им претендовать на этот статус. Что в итоге? Ресурсов, финансовых и материальных, конечно, не хватило. Реально от подобной “инновации” выиграли не то чтобы “псевдо”, но и не вполне инвалиды, “хроники”, которые находятся в многократно более выгодном положении, чем “колясочники”, инвалиды с детства, те, кто действительно не может существовать без специальных программ поддержки. Самые слабые реально проиграли, для них не построили пандусы, не создали мощную инфраструктурную систему, в которой они чувствовали бы себя полноценными членами общества. Поддержали инвалидов-пенсионеров пособиями и льготами по жилищно-коммунальной системе, чуть-чуть им помогли. Но в конечном счете не решили проблем ни одних, ни других.

Давайте посмотрим на этот пример с точки зрения социальной политики как глобальной идеи. Может ли быть и считаться эффективной социальная политика, если она стимулирует общество к движению по пути “инвалидизации” — из инструментальных соображений? На этом примере, я считаю, видна очень опасная тенденция: социальное развитие может идти в тупик, не только с точки зрения соотношения ресурсов и целей, но и с точки зрения подмены социальной идеи. А виновато социальное законодательство. Виноват законодатель. Понятно, по каким причинам у него возникает такой соблазн. Он хотел “как лучше” по отношению к ослабленной социальной группе

на этапе драматического падения уровня жизни, доходов и т. д., а получил “как всегда”, не то, что хотел. Он не видел конечную цель, очень плоско понял идею социального государства. Он пошел по пути социальной защиты. Россия назвалась в Конституции социальным государством, но, кажется, по-прежнему не понимает, что это такое.

*— Идея социального государства не включает социальную защиту? Что вообще здесь на первом плане? И что означает процесс поиска социального баланса, о котором вы говорите, для вас как ученого, исследователя и, говоря возвышенно, стратега этого процесса?*

— Что касается стратега и стратегии, в частности стратегии нашего института. С одной стороны, он занимается исследованиями масштабных социальных проблем, от динамики и состояния которых зависит экономическая политика и состояние общества в целом: политика на рынке труда, бедность и дифференциация доходов, социальная защита населения, средние классы и стратификация российского общества, образование и здравоохранение. Эти проблемы касаются массовых социальных групп. С другой стороны, есть более частные “узкие” проекты, скажем “альтернативная гражданская служба” — вопрос, который затрагивает всего 4 тысячи человек. Но мы считаем, что в социальной политике нет больших и малых групп. Есть проблемы, и их нужно решать вне зависимости от численности самой группы. И тем не менее ни одна институция не может охватить всю палитру социальных проблем. Россия же относится к “многопалитровому” обществу. Мы не только сами исследуем социальные проблемы, но и поддерживаем исследования в российских регионах. И в рамках этой программы преобладают проекты, связанные именно с небольшими по численности социальными группами. Например, мы вдруг узнаем о таких феноменах, как “малолетние матери”. По каким причинам, более того, мотивам 14-летние девочки становятся матерями, что потом происходит с ними, с их родителями, их детьми? Другой неожиданный пример — торговцы на “блошиных рынках”. Кто эти люди, что их привлекает в экономической



деятельности такого рода? И вообще является ли “блошинный рынок” методом реализации экономических интересов? Ведь вокруг него формируется некий социум, объединенный не только экономическими моделями поведения, но и социально однородными чертами. Есть исследователи, которые даже склонны трактовать это сообщество как элемент гражданского общества. Лично я не разделяю такой точки зрения, но не могу не признать, что вокруг “блошиного рынка” складывается определенная субкультура, здесь действуют свои социальные технологии.

Вернемся к аксиомам, которые по крайней мере кажутся таковыми. Весьма устойчив миф, что проблема российской бедности — прежде всего проблема российского села. Это самая бедная поселенческая структура. Но все, чем я занималась в последние годы, что слышу от своих коллег, приводит уже к другому выводу. Российское село стагнирует, в этом смысле и сельская бедность стагнирует, она сложилась, она стабильна и почти неизменчива. Но у современной бедности появился другой “адрес”. Объект, где проблема бедности просто кровоточит и где социальная политика должна была бы появиться в качестве “скорой помощи”, — это малые города и поселки городского типа. Да, мы никак не можем признать успешным социальное развитие села, тем не менее там сложилась своя система экономических ресурсов, компенсаторных механизмов. Жители российской деревни депривированы с точки зрения доступа к качественному образованию, здравоохранению, плохо обеспечены имущественно и т. д. Но от голода здесь никто не умирает, земля кормит. В крупном городе тоже складывается своя система ресурсов. Это более мощные рынки труда, финансовые рынки, диверсифицированное экономическое пространство, а малые города зависят “между молотом и наковальней”. Там уже нет ресурсов села, но еще не сложились экономические и социальные ресурсы крупных или хотя бы средних городов. Социум малого города или поселка городского типа часто привязан к двум, а иногда и вообще к одному, градообразующему предприятию, от экономического состояния которого зависит все, в том числе и реальное экономическое положение населения.

— *И как тут идти к социальному балансу?*

— В середине 90-х годов у меня был большой проект во Владимирской области. Я хорошо помню интервью с директором крупного стекольного предприятия. Тогда, в 1993 году, завод практически стоял. Кризис страшный. Меня интересовало, почему этот работодатель, у которого было почти 7 тысяч занятых, по-прежнему придерживает рабочую силу, не идет на ее высвобождение, не увольняет своих сотрудников. Как он выкручивается, за счет чего выходит из положения? И зачем? Его логика показалась, с одной стороны, странной, а с другой — объяснимой: это можно было бы назвать “социальной ответственностью крупного работодателя в условиях кризиса”. Он сформулировал свою позицию следующим образом: “Пусть они лучше ходят на работу и будут трезвыми по эту сторону забора, чем пьяными за его пределами. Я все равно плачу за все, потому что весь поселок на мне. Если я по-прежнему рассматриваю их как своих работников, я как-то могу контролировать процесс; если я их отпускаю, многие инструменты этого контроля я теряю”.

— *Но это патерналистская логика в чистом виде.*

— Да, патерналистская. Конечно, заподозрить всех российских работодателей в патернализме было бы наивно. Помимо этой причины, существовало много других экономических причин, по которым российский работодатель не пошел по жесткому пути в политике занятости и предпочел политику придерживания излишней рабочей силы в период резкого сокращения объемов производства. По этому поводу есть очень серьезные исследования. Российские предприятия не могли сориентироваться в ситуации, придерживали рабочую силу в надежде на последующий рост и прочее. Выиграли они или проиграли — зависит от угла зрения. Выиграли или проиграли работники — тоже зависит от угла зрения. Да, российский рынок труда избежал мощного выброса рабочей силы в безработицу, но именно этот факт очень деформировал рынок труда. У рынка труда как минимум три агента: работодатель, работник

и государство. Но ни один из этих агентов, из этих акторов, не захотел избрать альтернативный путь, ведущий к масштабной безработице. То, что произошло на рынке труда в России, — минимум минимум по сравнению с тем, что могло произойти, если бы реализовался жесткий сценарий, — это был бы обвал рынка труда. По этому поводу тогда много спорили. Например, либерально настроенные рыночные экономисты (типа Андрея Илларионова, с которым мы работали) настаивали: “Не может быть, чтобы Россия была не похожа на другие трансформационные экономики, никакой уникальности здесь нет. Ищите закономерности, вы просто плохо ищите”. Спустя несколько лет стало очевидно, что виноваты в отклонении российского пути не исследователи, утверждавшие, что у рынка труда в России есть ярко выраженные уникальные черты. Оказалось, что это реальность, которую сейчас уже никто не оспаривает. Россия в поисках социального баланса, во избежание социального взрыва выбрала другой тип поведения на рынке труда. Она пошла по мягкому пути, за счет нетрадиционных форм занятости. Неполная занятость, например, в мировой практике вполне привычная вещь, но масштабы, в которых работодатель применил ее в России, — это оригинальный феномен, как и неоплачиваемые административные отпуска. И уж совсем экзотика, которую невозможно объяснить всему цивилизованному миру, — задолженность по заработной плате. Причем экзотически выглядит поведение не российского работодателя, а самого наемного работника, его долготерпение. Бартер, все теневые каналы — Россия оказалась богата на нетрадиционные формы адаптации. Все экономические субъекты оказались весьма креативными.

Моя коллега-американка провела в России пять лет и очень страдала от того, что здесь нет законов, нет регламентов, все время приходится на простые вопросы получать сложные ответы. Она с легким сердцем покидала Россию. Вернулась в Америку, где, наоборот, как известно, очень регламентирована вся жизнь — экономическая, общественная, юридическая. Спустя два года при встрече она призналась, что в Америке ей невыносимо скучно. В Штатах на все есть ответ — закон, нормативный акт, инструк-

ция. Но! Если, паче чаяния, их нет, то проблема становится поистине неразрешимой. Никто не рискнет применить ненормативный метод решения, каким-то образом восполнить лауну. В России, мы знаем, совершенно обратная ситуация. Во-первых, законы охотно нарушаются, во-вторых, уж если нет законов, то точно можно что-то придумать.

— *Потому что (или: вот почему) страна криминальная.*

— Не совсем так. Если рассуждать о России в терминах черно-белых — да, мы скажем, что очень много небелых схем. Но вот какого цвета зебра — черного, белого? Я не считаю это даже зеброй. Скорее, это серый пони. Есть явления и процессы, которые невозможно квалифицировать как нарушение закона или как криминальное поведение, скажем, скрытая занятость и неформальные доходы. Можно привести массу примеров, когда никто ничего прямо не нарушает, а в итоге формируется нетрадиционный тип экономического поведения. Например, никто ничего не нарушает, если по этому поводу Трудовой кодекс молчит, а законодатель не выработал другого закона для того или иного специфического сектора. Это все не криминальные, а теньевые схемы.

Недавно мы закончили монографию, которая называется “Средний класс в России: экономические и социальные практики”. Мы нашли очень много подтверждений этой гипотезы. Есть масса мифов про средний класс в России. Среди них два основных. Первый: средний класс — это полностью выходцы из теневого сектора; им удалось удержаться на плаву, потому что теневой сектор их поддерживал, они там сделали свой бизнес, деньги, заимели статус и т. д. Второй, противоположный: у нас такой идеальный и законопослушный средний класс, что его угнетает существование в условиях неформальных экономических отношений, и он мечтает выйти из тени в свет. В реальности — не то и не другое. Средний класс такой же, как и все общество, он не может не быть его отражением. Как все население существует в комбинации открытой и неформаль-

ной экономики, так и средний класс использует возможности и первой, и второй. Надо сказать еще об одной существовавшей иллюзии: российские малые предприниматели составят основу будущего российского среднего класса. Но ничего подобного не произошло. В подавляющем большинстве это люди наемного труда, а не собственники и малые предприниматели. С малым бизнесом, несмотря на многократные декларации о его развитии, воз и ныне там. Это очень незначительная прослойка, не более трех процентов экономически активного населения. Исходя из того, что 97 процентов представителей среднего класса — это лица наемного труда, мы задавали нашим респондентам вопрос: как они строят свои отношения с работодателем? Две трети признались, что есть неформальные отношения. Мы задали еще один вопрос: а кто выступает их инициатором, кто заинтересован в их сохранении — работник или работодатель? Удивительная получилась картина, я считаю, уже из-за этого стоило проводить такой опрос. Более 60 процентов всех работников, в том числе и тех, кто входит в средний класс, признали, что это удобно всем — и работодателю, и работнику. Взаимно. Эмпирическим путем достигнут некоторый экономический и социальный баланс.

Что в итоге? В начале реформ России предрекали социальный взрыв. Очень многие факторы говорили о том, что нам его не избежать. Вспомним, конечно, шок 1992 года. Затем последовала целая серия микрошоков. Микрошок — своеобразный путь, все-таки это не реформа Бальцеровича в Польше и не реформы чилийского типа. Для населения социальную ситуацию можно сравнить с медицинским анамнезом — сначала обширный инфаркт, затем серия микроинфарктов, которые иногда не замечаются. Дальше население действовало ситуационно. К нему пришло понимание, что государство не поможет и не защитит. Адаптационные схемы все уже выработали сами: кто какие. Последнее десятилетие — это поиск нестандартных решений в нестандартных ситуациях.

События 1993 года? Российское население скорее было их свидетелем, нежели участником. Массово это не разделило общество. Движение шахтеров? Бастовали одни и те

же ребята, которые перемещались из Воркуты в Кемерово. Это было оформленное политическое движение, а не стихийная реакция масс на рост социального напряжения, — в любом случае решительно не похоже на то, что понимается под социальным взрывом. Хорошо это или плохо — история ответит. Потому что, с одной стороны, с точки зрения социального развития кризисы никогда не приводят к добру, и мы можем быть счастливы, что взрыва не было. С другой стороны, некризисное развитие привело к формированию некоего социального баланса, где все нашли свои ниши, действуя нетрадиционными способами. Но баланс тоже может быть хорошим и плохим. И выясняется, что этот сложившийся баланс, сложившееся равновесие — плохое, поскольку в нем нет механизма развития. Так какого цвета зебра?

*— Не обязательно ведь идти на баррикады, а вот то, что население ушло в глухое пьянство, безразличие, депрессию...*

— Да, я тоже считаю, что самое негативное последствие, самая существенная цена за избежание острого кризиса — социальная апатия и дистанцирование населения. Оно уже не реагирует ни на институциональные, ни на экономические реформы. Живет в своем мире, без стимулов и механизмов развития. Есть еще один ярко выраженный пример в социальной сфере. Хорошо известна ситуация, сложившаяся в области здравоохранения. Здесь тоже много мифов, в основном связанных с тем, что российские врачи бедны и нищи. Сегодня наш институт уже может доказать, что это не так. Вокруг системы здравоохранения сложилась огромная сеть неформальных платежей. У нас была вполне конструктивная идея: попытаться понять, как можно вывести эту систему из тени на свет. Что нужно сделать, какие реформы осуществить, какую политику в области здравоохранения проводить, чтобы все агенты нашли свое место? Государственная система имела бы такие-то четкие обязательства, финансирование строилось бы по такому-то принципу, медицинские страховые компании так-то себя вели и люди были бы полностью информированы о своих

возможностях. Вопрос более чем серьезный — здоровье нации. Нет ничего более ценного с точки зрения социального развития. Но должна сказать, что закончили мы свой проект с совершенно другими выводами и заключениями, довольно пессимистичными. Во всей системе здравоохранения мы не нашли экономического субъекта, заинтересованного в разрушении статус-кво, включая потребителя, то есть само население. Сложилась неформальная технология. Люди боятся, что система, которая придет на смену нынешней, будет хуже. Работают “стажевые” факторы. Система плоха, но работает. Новая — никаких гарантий. В томто и драматизм ситуации, что система не нравится никому. Но она сбалансировалась, приобрела устойчивость. И это устойчивое равновесие расшатать еще труднее, чем действовать в условиях кризиса.

— *Если брать тематику ваших исследований, какая, на ваш взгляд, проблема становится проблемой номер один в современных условиях?*

— Инвестиции в человеческий капитал. Но куда они должны направляться: в детей или пожилых? В условиях старения населения кажется, что обеспечить старость — проблема номер один. Пожилое население надо поддерживать. Делаются попытки реформировать пенсионную сферу, как и во всем мире. Но в итоге инвестиции идут пожилому поколению.

— *Проблема: продление жизни или продление трудоспособного возраста?*

— Совершенно верно. Все, что происходит у нас сейчас, — это инвестиции в старость. Как следствие — межпоколенческие отношения приобретают асимметрию.

Сейчас много говорят о проблемах демографии. Чаще всего делается невитиеватый вывод: давайте повысим пособия на детей. Это элемент социальной политики. Я разделяю мнение тех демографов, которые считают, что такая мера, с точки зрения повышения рождаемости, бесполезна. Более того, на мой взгляд, это даже опасно и вредно.

Давайте посмотрим, что такое сейчас повысить пособие на детей. Для каких социальных групп это решение станет стимулом? Для тех, в бюджете домохозяйства которых 100 рублей пособия становятся весомыми. Но что произойдет дальше? Дети рождаются в бедных семьях, которые не смогут их самостоятельно вырастить. Эти семьи будут претендовать на получение пособия по нуждаемости. И государство им, видимо, его даст — в той или иной форме. Скорее всего, эти дети не получают должного образования, это будет ослабленная, неконкурентоспособная рабочая сила, а вполне вероятно — клиенты для пополнения будущей армии безработных. Значит, в дальнейшем государство станет платить им пособие по безработице. Затем многие воспроизведут маргинальный тип поведения, который чаще всего становится (возвращаемся опять к демографии) причиной сверхсмертности в России. Это просто холостой оборот. С точки зрения здоровья — это деградация, с точки зрения социального развития — тупик. Ну а с точки зрения экономической политики — давайте подсчитаем: пособие матерям (стимулирование рождаемости), пособие семьям с детьми, потом пособие по нуждаемости, пособие по безработице, потом, скорее всего, пособие по инвалидности или же на ранние похороны. Бесконечная череда пособий с летальным исходом в 40 лет. Я утрирую, конечно. Но вот, пожалуйста, тип социального развития, если его понимать примитивно.

*— Но ведь нужна поддержка слабых слоев, вы же сами об этом говорите. Каков тогда должен быть ее механизм?*

— Глобальный подход — инвестиции в человеческий капитал как таковой. Думаю, я далеко не первая об этом говорю. Но что конкретно мы имеем в виду? Что здесь самое главное? Образование. Ведь даже с точки зрения рождаемости, продолжительности жизни, с точки зрения поведения на рынке труда, социального, экономического поведения мы всегда приходим к одному и тому же: успешность или неуспешность социального развития определяет образование населения. Конечно, можно просто давать деньги,



те же пособия. У образования же мультипликативный эффект. Это и повышение качества рабочей силы, и формирование новых рынков, и в конечном счете даже рост продолжительности жизни, ведь известно же, что люди с высшим образованием живут на несколько лет дольше.

Мы действительно должны решать текущие задачи. Мы признаем существование в России бедных, безработных, инвалидов и т. д., и, конечно, надо думать, как на сегодняшнем этапе решать их проблемы. Но социальная политика в широком смысле должна прокладывать проспекты будущего развития, преследуя цели инвестиций в человеческий капитал, после чего не потребуется социальной защиты.

*— В связи с этим вопрос: куда вкладывать — в институции или в конкретного индивида?*

— В этом смысле — в человека через институции. Чтобы человек, будучи в них включенным, перестал быть клиентом системы социальной защиты. И об образовании я говорю в качестве примера. Да, инвестиции в образование, разумеется, не дадут эффекта к концу финансового года. Возможно, мы не ощутим его и через пять лет. Однако это единственный путь, позволяющий заложить какие-то долгосрочные результаты, хотя он тернист и далеко не все процессы будут выглядеть однозначно. Мы знаем, что образование очень деформирует демографическое поведение людей (отложенные рождения, сокращение рождаемости и т. д.). Происходит изменение в функциональном поведении мужчин и женщин, и точно никто не может сказать, к чему это приведет. Тем не менее другого выхода нет.

А дальше от идеи опять возвращаемся к дню сегодняшнему. Во-первых, какое образование: профессиональное, высшее? Во-вторых, казалось бы, у нас в России все в этом отношении в порядке; несмотря на то что многие говорят о кризисе и полном развале системы образования, российская система продолжает оставаться одной из самых сильных в мире. Но что сейчас происходит? Мы сталкиваемся с еще одним мифом: высшее образование недоступно. Судя же по цифрам, которыми мы располагаем, в стране про-

сто бум высшего образования. Все, кто хочет поступить в вуз, поступает. Ориентированные на это семьи всегда дадут ребенку высшее образование. Вопрос в другом: барьеры действительно существуют, но не на пути к высшему образованию как таковому, а на пути к качественному высшему образованию. И здесь действительно существуют огромная социальная дифференциация, огромный разрыв, определяющие степень преодолемости этих барьеров. У разных социальных групп ресурсы, которые определяют доступность качественного высшего образования, принципиально разные. Нет, наверное, большого смысла сравнивать образование, полученное в стенах Высшей школы экономики в Москве и на экономическом факультете областного строительного вуза. И в том и в другом случае есть диплом о высшем экономическом образовании, но с принципиально разными возможностями на рынке труда, с принципиально разными социальным статусом, доходами и перспективами. С этой точки зрения процессы, которые происходят в России в сфере образования, неблагоприятны. И когда мы говорим об образовании как инвестиции в человеческий капитал, мы должны избегать примитивной интерпретации замысленной реформы как просто доступа к институтам высшего образования. Снимут ли предлагаемые меры существующие барьеры на пути к качественному образованию? И что такое качественное образование? Ведь, по сути дела, снятие барьеров неизбежно ведет к девальвации системы: когда расширяется доступ к образованию вообще, происходит девальвация самого образования.

Вновь давайте обратимся к конкретному примеру. По-прежнему существует большая сеть педагогических вузов. Эта сеть часто ориентирована на выпускников сельских школ. Требования к поступлению постоянно снижаются. Образно говоря, если пару лет назад от абитуриентов ждали, что они смогут извлечь квадратный корень, то сейчас просят лишь возвести в квадрат. Никто не заставляет педагогические вузы ориентироваться на сельскую молодежь, но в этом они сами видят свою социальную миссию. А в итоге интеллектуальная и профессиональная подготовка студентов, увы, находится на очень низком уровне, часто за время обучения они не в состоянии освоить программу,

соответствующую образовательным стандартам, и сама эта программа тоже девальвируется. Получается замкнутый круг. Вуз выполняет не только функцию образовательного института, но и функцию института вертикальной мобильности. Сами ребята при поступлении в областной вуз ищут не столько образование, сколько возможность перебраться в город. “Успешные” находят работу, как-то адаптируются. Но есть и “неуспешные”, которые так и не смогли “зацепиться” в крупном городе — ни за работу, ни за второе образование, ни за “семейное счастье”. Именно они и возвращаются в качестве учителей обратно в село. Порочный круг: выпускник, еще менее образованный, чем его учитель, едет учить следующее поколение сельских детей, которые, вероятно, скоро уже не смогут и в квадрат возвести число. Эти дифференциалы возрастают и возрастают.

Образование, повторю, — долгосрочный ресурс. Это не доход, который может сегодня быть, а завтра исчезнуть, не предметы длительного пользования, которые служат определенный срок, не сбережения, которые имеют обыкновение кончатся, если их нечем пополнять. Образование поможет человеку выстроить свою трудовую жизнь, а если он в течение трудовой жизни будет успешен, то сможет обеспечить хорошую пенсию. Поэтому, с одной стороны, главный просpekt — качественное образование, но, с другой стороны, его качество зависит от конкретной социальной политики. Чтобы социальное развитие России было успешным, надо многое сделать уже сейчас. Способный человек должен иметь шанс поступить в любой вуз страны, а не быть территориально привязан к областному педагогическому вузу, где его судьба уже predetermined: конвейер работает бесперебойно.

Я уверена, что “адресная” политика тут не поможет. Нельзя “назначить” уязвимые в этом плане социальные группы и для каждой из них придумать систему социальной защиты. Это абсолютно бесперспективный путь. На сегодняшний день у нас таких групп, согласно законодательству, 256. И охватывают они 70 процентов населения России. Звучит как нонсенс: адресная поддержка 70 процентов населения. Как, впрочем, нонсенс и 20–30 процентов бедных. Какой же богатой страной надо быть, чтобы

поддерживать 20–30 процентов бедных? Таких стран не бывает. Мы просто сами не замечаем, сколько несуразностей часто звучит в одном сложноподчиненном или сложносочиненном предложении: говорится, что Россия — бедная страна, потому давайте осуществлять адресную поддержку населения. Просто через запятую, хотя это почти взаимоисключающие вещи. “Адресная” политика эффективна там и тогда, когда удается локализовать бедность. Связь как раз прямо противоположная. Конечную цель социальной политики я вижу именно в том, чтобы было как можно меньше социально уязвимых групп, нуждающихся в социальной защите и адресной помощи. Задача социальной политики — чтобы абсолютное большинство населения могло существовать и действовать само, без вспомогательных программ и мероприятий. А это вопрос эффективности социальных институтов.

*— Мы всю жизнь повторяем лозунги: все в человеке, все для человека, здоровье нации — это главный экономический показатель... Вы верите, что так будет когда-нибудь?*

— Верю. Но для этого нужен общественно-социальный договор между всеми участниками социального процесса. Люди сами, например, должны хотеть быть здоровыми. В сверхсмертности в первую очередь по привычке обвиняют систему здравоохранения. Да, мы можем предъявлять претензии к службам реанимации, реабилитации. Но вопрос: почему у мужчин в 40 лет случается инфаркт? Это противоречит логике, между тем к инфаркту человек пришел сам. Нельзя заставить людей вести здоровый образ жизни вопреки стилю жизни, характерной для его микросреды. И возникают вопросы уже другого плана: как изменить эту среду? И это тоже социальная политика, тоже социальные процессы, поскольку люди воспроизводят образ жизни определенного сообщества, некой субкультуры.

*— На этом фоне можно сказать, что мы действительно идем тем путем, который уже прошла Европа, или у нас он другой?*

— На этом фоне у нас есть уникальная возможность учиться, ведь Европа тоже сделала много ошибок, нам не обязательно их повторять. Так называемый шведский эксперимент, например, дал очень много уроков. Часто повторяется аксиома, что доходная дифференциация и социальное расслоение — это плохо. На самом деле это тонкий вопрос. До какого-то момента доходная и имущественная дифференциация может служить стимулом для экономического развития. В конце концов верхние слои, так называемый высший класс — носитель инновационных идей и прогрессивных технологий. Они создают рабочие места для остальных, потому на определенном этапе нужно дать им возможность развиваться. Но далее в какой-то момент, когда бедные социальные группы не видят своего места в общественной и экономической структуре, высокая дифференциация становится тормозом развития. Торжествует логика: “Что бы я ни делал, все равно это не работает на мое экономическое и социальное положение”. Действительно, часто так. Если посмотреть на российских бедных (настоящих бедных), им прежде всего присуща апатия — экономическая, социальная, трудовая. Россия подошла к этому порогу, значит, надо сжимать дифференциацию. Шведский эксперимент — попытка именно такого типа. Сначала — внешне успешная. Были выработаны условия, при которых различия в уровне доходов и потребления работающего менеджера, учащегося студента и безработного не были кратными. Была сформирована относительная социальная однородность. Но и такой баланс не может существовать вечно. В итоге это же состояние стало работать против экономического развития страны и в конечном счете против социального развития. Опять апатия: “Не имеет смысла наращивать свою трудовую активность, если большую часть дохода отдаешь в виде налогов государству на социальные программы”. Вот урок политики патерналистского типа, которая, с одной стороны, сняла социальные противоречия, но с другой — лишила систему стимула к экономическому росту. Еще одно подтверждение: успешна та социальная политика, что умеет трансформироваться, причем концептуально, стратегически в зависимости от глобальных целей развития.

— *А как уловить момент перехода?*

— Это и есть искусство политики и искусство управления. Если бы нам удалось довести до минимума число уязвимых социальных групп, зачем бы системе социальной защиты кому-то навязывать свои услуги? Внешне такая политика может казаться социально пассивной. Но это и есть идеал. В реальности, разумеется, такой идеальный тип никто никогда не сможет сформировать. Это процесс поиска некоего баланса “здесь и сейчас” плюс некий долгосрочный ориентир. Существует интегральный критерий эффективности социальной политики — умение реагировать на вызовы времени. В этом отношении я не слишком пессимистична. Да, социальная политика в России слаба, она зачастую дает противоречивые результаты. Мы знаем очень много ошибок, которые сделаны и делаются. Но можно же назвать, так сказать, и “неошибки”.

— *Например?*

— Боюсь, я буду выглядеть экзотически в глазах читателей, но “неошибка”, на мой взгляд, — это то, что не стали существенно (кратно!) повышать зарплату бюджетникам. Последствия принятия этой, казалось бы, логичной меры были бы просто катастрофические по всем основаниям — социальным, экономическим, трудовым. Такое предлагали и предлагают с завидной регулярностью — увеличение в два, три, пять раз. Разумеется, невозможно отрицать, что заработная плата в бюджетном секторе экономики прискорбно низка. Но выход не в реформе (произвольном повышении) оплаты труда в этом секторе. Выход в другом — в реформе самого бюджетного сектора. Не может быть эффективной зарплата в неэффективном экономическом секторе.

— *Нельзя не согласиться, что бюджетный сектор в этом смысле — непаханая целина. Но ведь это эксперимент на реальных людях, и пока он будет длиться, огромная масса народа...*

— Вопрос: а нужна ли здесь такая огромная масса? Сочувствую всем, кто вынужден оставаться в бюджетном секторе экономики. Хотя напомним, что в первой половине 90-х наиболее экономически активная часть из него ушла. В какой-то степени это добровольный выбор. Не всегда, конечно, особенно когда речь идет о российских регионах. Малый город — куда там пойдет бюджетник? Можно лишь переехать в другой регион, но механизм межрегиональной миграции тоже не развит. И тем не менее будет огромной ошибкой, если искусственным путем мы попытаемся сохранить бюджетный сектор и с его огромной численностью, и с высокими зарплатами.

Согласитесь, что и в этом секторе есть эффективные и неэффективные, успешные и неуспешные организации. Одни, помимо бюджетного финансирования, умеют зарабатывать, другие — нет. Есть хорошие школы и есть плохие. Этим сегодня никто не занимается. Но зарплата у большинства работников бюджетной сферы приблизительно одинакова, причем, увы, одинаково мала. Есть бюджетная часть зарплаты, есть внебюджетная, она может быть очень маленькая или довольно большая. Какая доля из этих источников идет конкретному работнику? У одного 95 процентов его зарплаты идет из бюджета, у другого — лишь 5 процентов. Когда мы говорим — “повысить заработную плату”, то это повышение должно происходить одинаково? А каков будет результат? Первый работник, безусловно, будет счастлив, а второй просто не заметит, что ему зарплату повысили. Реального же положения и реального механизма формирования оплаты труда на бюджетных предприятиях мы не знаем, а не зная, нельзя реформировать.

— *В качестве резюме можно сказать, что ваше предназначение как исследователя — все время держать руку на пульсе социальной политики, предвидеть ее повороты или что-то такое в развитии общества, что должно ее развернуть...*

— ...и ни в коей мере не подменить идею социальной политики идеей социальной защиты, как в подавляющем большинстве случаев сегодня это понимается и общест-

вом, и политиками. Весь мировой опыт как раз говорит о том, что дисбаланс в социальной защите приводит не только к высоким экономическим издержкам, но и к тому, что реально проигрывают те, которых вы пытаетесь защитить. Выработали чрезмерно щедрое законодательство в отношении инвалидов, в результате — удручающий рост численности инвалидов. Чрезмерные гарантии женщинам и молодежи в трудовом законодательстве приводят к тому, что именно эти группы нежеланны на рынке труда. Действительно, кого предпочтет работодатель — трудоспособного мужчину, от которого можно ждать нормативного рабочего времени, или учащегося юношу, по отношению к которому нужно выполнять все законодательные нормы, означающие сокращенное рабочее время?

Здесь важны стратегическое мышление и координация тактических действий. Мои ассоциации в отношении социальной политики именно такие.

*— Насколько быстро мы будем развиваться, Татьяна Михайловна?*

— Смотря в каком направлении. Россия находится на таком этапе, что будет развиваться быстрее, чем в предыдущие десятилетия. Большинство аналитиков и политиков были склонны ругать реформы за их непоследовательность, противоречивость и высокую социальную цену, которую пришлось заплатить. Но в реальности происходило некое накопление необходимого числа преобразований, которые спустя определенный временной лаг начали давать эффект. И сейчас, если вести грамотную экономическую и социальную политику, есть возможность использовать этот ресурс.

*— А вам не кажется, что в чем-то мы возвращаемся назад?*

— В чем-то, наверное, да. Если поставить перед собой цель назвать десять векторов позитивного движения, легко назвать и десять векторов негативных. Но совершенно ясно, что Россия стала уже совсем другой страной, поэтому



даже ретроспективное сравнение во многом потеряло смысл. Накопленный потенциал уже никуда не денется. Наша задача, коль скоро мы говорим о политике, экономической и социальной, совершать осмысленные действия. Креативность в политике, я надеюсь, будет возрастать. Пока не могу сказать, что уже вызрела четкая социальная идея и концепция социального развития. Но в тот момент, когда мы увидим четкий диагноз, появится и ответ на вопрос, как лечить болезнь. Как только мы поймем, в чем заключается вызов, найдутся и механизмы.

— *Вопрос несколько иного, скорее, личного плана: вы чувствуете себя востребованной этим временем, удовлетворены тем, что делаете, ощущаете некий реальный итог своей деятельности? Ведь некоторые ваши ровесники, даже из числа наших авторов, называют ваше поколение “потерянным”. В смысле соответствия духу времени, скажем так.*

— Я совершенно осознанно отношу себя к переходному поколению. Я успела захватить временной период с прежней системой понятий, ценностей, правил игры, которые мы вынуждены были принимать вне зависимости от того, нравились они нам или нет. В большей и принципиальной своей части они мне не нравились, поэтому, наверное, я довольно активно повела себя в новой жизни. Наше поколение не могло действовать инерционно, у нас не было времени долго размышлять и выбирать стратегию, мы часто действовали интуитивно, а не после детального анализа. Мы вынуждены были принимать решения довольно радикальные. В каком смысле? Или я то-то делаю, или я этого не делаю. Но “отсидеться” было нельзя. Если жизненные амбиции кого-то из моего поколения не состоялись, разбились, в значительной степени это все-таки результат внутреннего решения.

МГУ обладает такой магией: он создает своему выпускнику мощный плацдарм, с которого можно, как в прыжках с трамплина, прыгать куда угодно. Не могу утверждать, что он обогатил меня особыми специальными знаниями или профессиональными навыками. Но он создал большой за-

пас теоретических и методологических знаний. Образно говоря — научил учиться. Долгое время я в активной позиции видела двух-трех человек со своего курса. Казалось, что мы — курс неудачников или же, по меньшей мере, не очень успешных экономистов. Но в последние пять лет все нашлись. Оказывается, среди нас много вполне состоявшихся людей, с интересной работой, с успешной карьерой, есть просто звезды...

Нашему поколению пришлось проходить непростую проверку реинкарнацией. У кого-то она произошла, у кого-то — нет. Вот перед следующим (через 10-летие) поколением такая цель уже не стояла, и подобную проверку они не проходили. Парадоксально, но мне следующее поколение кажется менее успешным. Характерно: в нашем институте работают люди в возрасте около 40 и чуть выше, с одной стороны, и вторая группа — в возрасте до 30; 32–36-летних нет, а их очень не хватает. Говорят, они все в бизнесе и занимают там высокие позиции. Может быть. Но интеллектуальное их влияние на развитие социальных процессов ослаблено. Возможно, они делают деньги, но не определяют лицо политики. У тех же, кто идет следом, им от 20 до 30 лет, на мой взгляд, все более благополучно. Они, конечно, отличаются большей прагматичностью, большей технологичностью, но одновременно и большей целеустремленностью. Насколько они креативны, насколько продуктивны, мы пока судить не можем. Это вопрос будущего.

Но мое поколение — первое, которое почувствовало себя необязанным хвататься за старые ориентиры, образцы, модели поведения.

— *Вас можно отнести к оптимистам?*

— Если посмотреть на сферу моих научных интересов и публикации, то какой уж тут оптимизм: безработица, инвалидность, бедность, смертность... Таков сам предмет моей деятельности. Но последняя крупная работа, о которой я уже упоминала, — исследование по проблемам формирования и развития российского среднего класса. Как эксперт я считаю, что факт существования среднего класса и

его относительной устойчивости для нашей страны, которая пережила столь тяжелые социально-экономические потрясения, — очень весом. Как частное лицо я уверенно отношу себя к среднему классу и постараюсь способствовать развитию такого сценария, который приведет к его росту. Это и будет интегральным критерием успеха социально-экономического развития России. И в этом отношении я оптимист.

С.В. Захаров

“Одно поколение

может проживать много жизней”

— *“Человечество стремительно стареет — приведет ли это к катастрофе?”* Таков недавний вопрос-заголовок одной из центральных газет. Если сопоставить это с утверждением ряда ученых о “сжатии” исторического времени, то не улавливается ли здесь некое противоречие? Что скажете, Сергей Владимирович, как ученый-демограф?

— Под “сжатием” времени часто понимается изменение преимущественно вещественной среды — идет ускорение информационных потоков, транспортных связей и т. д. Но многие измерения, наоборот, увеличиваются, и в нашей сфере — это в первую очередь возрастание средней продолжительности жизни человека. Фундаментальная вещь: одно поколение может проживать несколько жизней. В прошлом, сто лет назад и более, скорость смены поколений была очень высокой. Множество представителей каждого поколения умирало, не дожив до возраста вступления в брак, реализации своего потенциала. В то же время передача накопленного опыта могла происходить только при непосредственном контакте людей. От родителей к детям — единственный путь трансляции в такой системе. Человек едва успевал родить ребенка и передать ему дело. Расширение знания, приобретение опыта, особенно глобального опыта, было очень ограниченным и происходило медленно. Коротче говоря, инновации пробивались с трудом в силу именно краткости жизни человека.

Сегодняшние реалии — это ведь не только то, что человек может менять профессию гораздо чаще (потому что ему времени отпущено больше), но и обретение новых опытов, которые приносят исторические события. Это и

одновременное сосуществование нескольких поколений. Никогда прежде в истории не было, чтобы сосуществовали четыре поколения сразу. Сейчас это становится нормой в странах с достаточно высокой продолжительностью жизни, когда на фоне снижения рождаемости быстрее всего увеличивается удельный вес людей старше 80 лет. Можно, наверное, говорить, что время сжимается в силу интенсификации взаимодействия людей, но в то же время нужно понимать и то, что индивидуальное время, измерение человеческой жизни, опыта — расширяется. Мало того что удлинился период образования, на протяжении своей жизни человек также вынужден постоянно подстраиваться, адаптироваться к меняющейся реальности. Можно представить, допустим, сколько событий, к которым пришлось адаптироваться, пережил мой 85-летний отец: от явления аэроплана, который прилетел в его периферию в 1925 году, до пришествия компьютера, который он освоил, — это шаг совершенно невероятный. А там было все: и коллективизация, и голод, и войны, в которых он участвовал. В будущем, я надеюсь, станет меньше таких социальных кризисов. Но главное — человек будет вынужден все время работать над тем, чтобы учиться жить в новом состоянии меняющегося мира. Я готов согласиться с тем, что мы переживаем критический момент в истории цивилизации, когда происходит переход человечества в качественно новое состояние. Но не надо думать, что это новое состояние — апокалипсис, крах всего и вся. Нет, просто мы медленно эволюционируем в другую экономическую и социальную систему. И это опять же во многом связано с демографическими процессами, потому что население стареет.

В свое время, когда я только появился в Институте социологии (в начале 1980-х в ИСИ я писал дипломную работу, а позднее работал там больше пяти лет), писалась трактаты: “Утопии стареющих обществ”. В таком неопубликованном виде эти эссе были очень забавны. Тогда уже у некоторых интеллектуалов было понимание, что общество идет к совершенно другому состоянию. И хотя многие и тогда, и теперь в этом смысле смотрят на будущее апокалиптически, тем не менее общество, к которому мы движемся, действительно совершенно иное. Здесь

иные отношения между людьми, другая экономика. И к тому движется практически весь мир — уже половина населения земного шара имеет рождаемость ниже двух детей в расчете на одну женщину, а средняя продолжительность жизни стариков повсеместно, кроме России, растет, пока не обозначая каких-либо пределов.

— *Экономика иная, потому что надо справляться с проблемами удлинения жизни или наоборот: жизнь удлиняется, так как создаются для этого экономические возможности?*

— В принципе и то и другое — верно, здесь нет логического противоречия. Экономика другая, потому что в стареющих обществах не будет промышленных производств в традиционном представлении. Посмотрите недавно опубликованную “Новую социальную парадигму Японии”. Там это действительно обсуждается, и экономическая ситуация достаточно серьезна. Учитывая низкий уровень рождаемости, перспектива стать первым в мире старым обществом у них вполне реальна. Но в чем парадигма? Абсолютно не тривиально. Она заключается в том, что все фирмы в Японии будут производить только интеллектуальные продукты. А само производство будет размещаться вне страны. Иначе говоря, сохраняется марка “Сделано Японией”, но не Made in Japan. Это действительно прорыв в сознании общества, которое видит себя в будущем преуспевающим, лидером мировой постиндустриальной экономики (хотя новая парадигма может кем-то оспариваться). В то же время едва ли станет откровением, что новая эффективная экономика даст дополнительный толчок к росту продолжительности жизни.

— *А инновации — разве не удел молодых? В состоянии ли стареющее общество создавать интеллектуальный продукт?*

— Традиционный вопрос: кто будет привносить инновации? Так и будут молодые. Но дело в том, что после этого нужно решать массу практических задач, рутинных

загадок, для чего, зачастую, опыт важнее всего. Например, как широко использовать эффект сверхпроводимости. Организационно-технические, экономические, политические, наконец, проблемы решаются совсем не юными людьми. Старееющее общество, мне кажется, — один из главных вызовов современной цивилизации; на острие, конечно, находятся наиболее развитые страны. Россия тоже погружена в проблему, которая будет развиваться, расширяться; в ближнем будущем (10–20 лет) это станет главным. Динамика — движение к состоянию, когда пожилые люди численно преобладают над детьми. Сейчас каждый четвертый житель страны — пенсионер. Примерно за 15 лет эта цифра возрастет до 30 и более процентов. Чисто экономические последствия — пока воспринимаются только утилитарно, примитивно — колоссальный рост налогового бремени на работающих. Наши люди до конца еще не осознают, насколько это серьезно в более широком контексте. Я участвую во многих международных проектах, связанных в том числе и со старением, на которых ведутся дискуссии на профессиональном уровне. Речь идет о том, что человек работающий вынужден будет сокращать текущее потребление, причем существенным образом, чтобы содержать самого себя на пенсии. Помимо того, что надо отчислять высокий процент для поддержки уже существующих пенсионеров, нынешний работающий должен будет отчислять еще больший процент, чтобы потом, на пенсии, содержать самого себя. Платит налоги не только наемный рабочий или служащий, но и работодатель, безусловно. Существуют еще и системы страхования для инвалидов и никогда не работавших по тем или иным причинам. Обязанности между агентами распределяются в соответствии с контрактом между государством, работодателем и работником. Прежняя система неплохо действовала до эпохи быстрого увеличения пропорции пожилых и старых. И когда такой момент наступает, тройственный контракт модифицируется в том смысле, что большая часть нагрузки начинает нести индивид. Потому в развитых и быстро развивающихся странах происходит переход к накопительным системам.

— *Это единственная модель решения проблемы или существуют другие?*

— Могу сказать даже такую вещь: пока это все равно паллиатив. Единственный разумный паллиатив, потому что, говоря строго математически, при существующем уровне рождаемости в разных странах эта система не балансируется. До тех пор пока поколение детей будет меньше по численности поколения своих родителей, сбалансировать ее невозможно. Потому что, если, допустим, в каждой семье будет по одному ребенку на протяжении жизни нескольких поколений, это значит, что на него ложится “двойное бремя” — он все равно должен будет обеспечивать проживание двоим взрослым-пенсионерам. При сохранении прежней распределительной системы пенсионного обеспечения падение уровня жизни среднего пенсионера неизбежно. Да и накопительная система способна лишь ослабить надвигающийся “экономический конфликт” между поколениями.

Я принадлежу к поколению достаточно многочисленному, дальше еще будут “бэбибумеры” 80-х годов (их, правда, уже меньше). Так что у нас такая извилистая кривая соотношения между трудоспособными и нетрудоспособными. И глубоко прав Анатолий Григорьевич Вишнеvский, постоянно повторяя, что эта нагрузка, социальная или демографическая, на трудоспособных не сильно увеличивается в стареющих обществах в целом, в общем объеме. Но в то же время идет изменение ее структуры, все больший удельный вес занимает поддержка пожилого населения и уменьшается нагрузка, которая обеспечивается детьми и молодым поколением. Это бы и неплохо, если бы можно было выйти на какой-то баланс. Однако баланс не достигается, пока снижается рождаемость. Чисто экономическая сторона данной ситуации будет становиться все более проблематичной — налоги будут расти. Неизбежно и повышение пенсионного возраста.

— *Можно сказать, у нас сейчас существуют две программы: продления жизни трудоспособных возрастов и стимулирования рождаемости. Они реализуются параллельно? И не противоречат друг другу?*



— Противоречат, конечно, в смысле статей бюджета... Ну а что такое стимулирование рождаемости? Нигде и никогда никакое стимулирование рождаемости не приводило к ее повышению. Такая политика проводилась или проводится в ряде стран, например во Франции, в Швеции, в прежних Чехословакии, Венгрии, хоннекеровской ГДР. Но это не означает, что рождаемость там существенно выше (или была выше) по сравнению со странами, где политика активного пронатализма не проводилась. Она могла в результате неких мер скакнуть на несколько лет (как у нас — “бэбибум” 80-х), однако тут же за этим следует провал, и очень большой. Человечество пока не выработало способы решения проблемы низкой рождаемости и действует, исходя из представлений обыденного сознания: детей не имеют, потому что жить плохо. Зарплата низкая, не покрываются расходы на детей из каких-то там фондов, доходов не хватает, чтобы обеспечить им достойную жизнь. Это парадигма, построенная на материально-экономическом представлении об устройстве общества, устоявшемся с довоенных времен. Впервые об этом заговорили на Западе в эпоху экономического кризиса, когда действительно упало число браков, рождений, они подошли к порогу (а многие преодолели порог) простого воспроизводства населения. Посмотрите работы социологов, которые проводили интервью в Англии. Все те же аргументы. Англичанки в 30-е годы ссылались на то, что нет денег на достойное жилье. На самом деле даже в те годы жилищные условия там были существенно лучше, чем в XIX веке. Наш, российский пример: совершенно невозможно сопоставить уровень жизни, достигнутый в 80-е годы, с уровнем в первое послевоенное десятилетие, но рождаемость существенно ниже — почти в 2 раза. Здесь гораздо более важна оценка того, что хорошо, а что плохо, какие у людей притязания, стандарты потребления, что вкладывается в тот континуум, при котором сам человек ощущает себя комфортно. Почему в этом комфорте не находится место третьему или второму ребенку — вопрос.

— Мы посмотрели отклики на одну из ваших публикаций. Кто-то пишет: Захаров не прав, когда говорит,

*что главное — это бороться со смертностью, а не за повышение рождаемости. Другой возмущается: мы ведь не кролики, зачем нам так размножаться; никогда в России не было столько народа, сколько нас есть сейчас, — так и давайте жить. Какая из точек зрения вам представляется, что ли, нормальнее, перспективнее?*

— Так вообще сказать нельзя: что нужно в первую очередь в данном случае. Необходимо и то и то. Просто с нашим уровнем смертности мы не вписываемся ни в какие представления о развитой стране, и в то же время имеется международный опыт ее снижения. Когда же мы говорим, что надо осторожно подходить к манипулированию уровнем рождаемости, имеется в виду: а) никто не знает, как этот уровень повысить; тот, кто говорит, что знает, просто недостаточно профессионален; б) никто не знает последствий этого. Речь ведь идет о массовом выборе миллионов людей, которые таким именно образом определяют себя в данном мире. Но садятся пять-шесть человек и решают, что эти многие миллионы ошибаются, имея столько-то детей, их надо поправить. С помощью чего? С помощью воздействия в виде какой-то политики. Я неоднократно писал, что такой индикатор, как ожидаемое число детей, оцениваемое на основе мнений опрошенных или с использованием конъюнктурной статистики, абсолютно не работает в эпоху переломов, с приходом новых поколений. Тут действительно можно четко провести границу, скажем, между моим поколением и предыдущим или последующим.

— *А к какому поколению вы относите себя?*

— Примерно от 1955 до 1965 года рождения. Это те когорты, что прошли полную школу советской системы, приобрели весь заряд мысли и знаний, которые тогда можно было получить. Они успели поработать еще при социализме и добились все-таки неплохих успехов уже в изменившейся системе, имея возможность сопоставить то, каким образом они были социализированы и сколь образованны, с тем, какова реальность. Думаю, это первое поколение, которое смогло перестроиться, адаптироваться

и найти себя. Конечно, в основном антикоммунисты. Безусловно, прагматики, в большей степени, чем адепты неких социальных идей и теорий. Это первое поколение, я думаю, которое реально приступило к организации жизненного пространства под себя (чем и отличается от предыдущих), стараясь своими силами, знаниями и т. д. сделать его комфортным. Другие поколения (рожденные до революции) вынуждены были в большей степени либо менять что-то из-за действия извне, либо принимать новую парадигму, связанную с революцией и идеями построения нового общества, либо просто “рассыпаться”, эмигрировать и т. д. Значительная часть этих людей никогда хорошо не питалась, они с трудом вступали в браки (были постоянные кризисы), с трудом жили, в условиях вдовства и сиротства. В поколениях 30-х годов рождения ситуация была чуть лучше, потому что они начали вступать в бракоспособные возраста уже в период постсталинизма. Родившиеся же после нас, в середине — конце 60-х, ведут себя совершенно иным образом даже в демографическом плане. Фундаментально иным.

Последние два года я много занимаюсь демографической историей России XX века. К сожалению, специалисты, даже очень хорошие, прожившие достаточно долго в демографии, так и не написали ее историю — были проблемы идеологические, статистические, технические. Но такая история не написана даже на том отрезке, на котором можно было бы это сделать. Сейчас мы в нее углубляемся, и вот могу сказать, что в течение 100–150 лет (нет возможности заглянуть дальше) брачная модель россиян абсолютно не менялась. То есть поддерживалась социальная норма раннего брака, всеобщего брака; средний возраст вступления в брак или возраст, когда половина вступает в брак, или возраст, когда чаще всего вступают в брак, для женщины оставался неизменным. Это означало слитность трех видов поведения — начала сексуальной жизни, вступления в брак и рождения первого ребенка. Монолит. Он, конечно, подтачивался историческими событиями, так, скажем, женщины 1920-х годов рождения позже выходили замуж, им просто не за кого было выходить. Но как только нормализовались половые пропорции, все вернулось к

традиционной модели, существовавшей в XIX веке. Если мы посмотрим на интенсивность вступления в брак, возраст вступления в первый брак в начале 90-х годов XX века, показатели ничем не будут отличаться от конца XIX века. А вот середина 90-х — точка перелома. Положение начинает меняться. И это одно из фундаментальных знамений нашего времени.

— *Начинает меняться потому, что резко изменилась ситуация в стране, или потому, что в брачный возраст вступило поколение сексуальной революции?*

— Это одна из дискутируемых тем не только у нас, в нашей литературе, но и на Западе, где брачно-семейное поведение действительно начало меняться именно в поколениях сексуальной революции. Сегодня очень похоже идут процессы и в России, и во всех странах Восточной Европы. В Венгрии, Чехии брачные модели стали меняться на несколько лет раньше, в точном соответствии с началом здесь экономических и политических преобразований. Что за этим реально стоит, о том и дискутируют. Есть точка зрения, самая простая и опять же связанная с обыденным сознанием: просто живется плохо. Люди не имеют достаточных доходов, чтобы формировать новые семьи, поэтому браки откладываются до лучших времен (как это делали бабушки и прабабушки, естественным образом реагируя на те или иные события). Надо проводить правильные экономические реформы, сделать правильные политические выводы и изменить путь движения общества, чтобы повысить уровень жизни. Тогда люди тут же начнут заключать браки, рожать детей и т. д. Другая точка зрения, к которой тяготею я, не столь однозначна: события, вызвавшие экономические и политические реформы, безусловно, дали импульс повороту и в отношении к брачным моделям (даже чисто по датам, по поколениям это видно); вместе с тем и сами прежние модели брачного и репродуктивного поведения были в тупике. Почему? Когда в одном возрасте происходило завершение образования, приобретение первой профессии, миграция в поисках лучшего места для проживания, рождение ребенка — ясно, что все

это одновременно плохо совмещалось. И могло осуществляться только при сильном патернализме как на уровне семьи, так и на уровне государства. Система, при которой не может быть ни хорошего образования, ни здоровых детей, если хотите (мать все время от них оторвана либо не растет профессионально). И вот эта неотрадиционная система, абсолютно неустойчивая, рухнула, как только изменились экономические потоки между поколениями.

— *Но сейчас, когда к власти пришло как раз ваше поколение, молодые прогрессисты, мы, кажется, возвращаемся к той же модели, к тому же патернализму. Дума рассматривает соответствующие проекты, принимаются удивительные законы...*

— Меня продолжают приглашать в “профильные” думские комитеты и комиссии, но я уже несколько лет туда не хожу. Создается впечатление, что и сами политики, и то, что они предлагают, их, так сказать, инструментарий не имеют никакого отношения к реальности. Чистой воды популизм, который в лучшем случае будет нейтрален по отношению к процессам. Вот когда пытаются принимать какие-то решения, которые, я вижу, будут иметь отрицательные последствия, я нахожу способ выступить против. Разъяснял, например, в печати, чем плоха “концепция демографической политики”, почему она не может устраивать. У них такой модус — запретить, ограничить, ввести обязательность, перераспределить. Однако лучшая политика в области семьи и демографии — расширить возможности для людей самим решать эти проблемы. Я вообще считаю: если постановление или закон ограничивают свободу выбора, их можно выбросить в корзину, потому что рано или поздно они приведут к непредсказуемым последствиям либо будут просто никому не нужны. А появляется, скажем, возможность получить кредит (для молодых или старых), и тебе легче решить проблему жилья (что в молодости, что в старости). Если улучшить ситуацию со страхованием (образования, здоровья), это расширит возможности человека распорядиться своим временем, реализовать семейные планы, в том числе и в отношении количества детей.

Если вернуться к разговору о поколениях, то мои, например, ровесники прежде всего стремятся решить проблему жилья. Все демографические исследования показывают, что единственная экономическая материальная переменная, которая оказывает влияние на число детей, — “прокрустово ложе” нашего жилища (все остальное имеет малое отношение). И именно этот момент ограничивает возможности переустраивать пространство под себя, что так важно для нас, как я уже говорил. В поколениях, родившихся после середины 60-х, четко ощущается “революция притязаний” (по словам Владимира Магуна). У них не только повышаются стандарты материально-вещественные, но и изменяется, повторю, демографическое поведение. Они сейчас интенсивно откладывают брак, притом сексуальная жизнь начинается раньше. В этом смысле — первые поколения за всю историю российского общества. Такого не было никогда. Почему это стало возможно? Конечно, меняются инструментально-технологические основы, контрацептивное поведение. Мы, мое поколение, еще реально страдали от этой проблемы. Регулирование размеров семьи, времени рождения ребенка было неэффективным. И неудовлетворенность в сексуальной сфере, и аборты, и ранние вынужденные браки (до половины от всех первых браков), и несчастные браки, и разводы, и больные, и брошенные дети — вот неполный перечень последствий. Так вот, новые поколения выбирают другой модус поведения, и, единожды почувствовав возможность управления этой сферой жизни, уже не вернутся к прежнему состоянию, воспроизводящему печальный опыт их родителей (потому я так скептически отношусь к концепции, связанной с плохими экономическими условиями). Одним из очень важных моторов, которые здесь работают, является образование. Люди все-таки изменили отношение к ценности образования. Мы первое поколение, которое почувствовало, что образование действительно дает доход, и инвестиции в собственных детей в этой сфере перевешивают все остальные текущие материальные затраты. Так же было и в западном мире, только 30–40 лет назад. В данном случае мы повторяем этот путь, как и в отношении того, что у нас называется “вторым демографическим переходом”, а по сути —

это изменения тайминговой модели, календаря демографических событий и их последовательности. Следовательно, теперь можно жить с кем-то вместе, в законном или не законном браке, можно рожать ребенка до заключения брака или после, иметь детей вне брака, можно сменить партнера и т. д. Нарушились традиционная последовательность событий и их временное распределение. И если говорить о нашем будущем, то, конечно, Россия пройдет все этапы, которые были характерны для западных стран, начиная с середины 60-х годов, а фактически — с молодежных революций, прогремевших тогда по Европе и Америке и фактически означавших освобождение молодежи от патернализма (традиционного семейно-родительского и отчасти государственного). Эти нигилисты потом превратились в трудоголиков. Они действительно добились освобождения от пут традиционного общества.

— *Россия такая большая и разная. Вы думаете, в ней утвердится только одна, и именно западная, модель брачно-семейных отношений?*

— В России демографический монолит очень крепок. Это весьма однородная в демографическом смысле страна: 80 процентов населения придерживается одних и тех же норм, и меняется все очень синхронно. В принципе, если смотреть не в микроскоп, вы найдете очень немного отличий. Что действительно есть в России — конечно, бурно растущий и слабо модернизированный Северный Кавказ. Кроме того, неизбежно Россия должна стать открытой страной для иммиграции. Мое отношение к этому однозначно. Миграционное давление и привнесение элементов другого поведения в брачно-репродуктивной сфере, естественно, будут иметь место. Так же как с этим сталкивается Франция, к примеру, Германия, отчасти Великобритания. Если посмотреть, высокий уровень рождаемости, ранние браки и прочее сохраняются в среде, так скажем, выходцев из южных стран, не только мусульманских. И западные специалисты тоже отмечают: при длительном проживании в стране следующие поколения ведут себя более похожим на своих ровесников образом, чем на своих ро-

дителей. Да и демографическое поведение мигрантов в первом поколении уже не то, что в стране выхода. Стремление к интеграции в стране въезда существенно корректирует исходные установки, если они уже не были скорректированы к моменту принятия решения о смене страны проживания.

Кто-то, конечно, идет в авангарде демографических процессов. У нас авангардность Москвы, например, измеряется какими-то дюймами, но она есть. В чем она проявляется? Возрасты брачности и деторождения отодвигаются более интенсивно. Но одновременно интенсивнее вступают в браки люди старше 25 лет, уровень рождаемости здесь выше, чем в среднем по стране, потому что стали рожать те, кто был затронут переходными процессами начала 90-х годов и откладывал рождение детей (в среднем на 5–7 лет). В действительности люди не хотят сейчас иметь только одного ребенка. Как хотели двоих, так и хотят. Ни одна страна не зафиксировала отказ от идеальной модели семьи: родители плюс мальчик и девочка. Все очень просто. Есть такие, кто говорит о крахе семьи, о крахе данной нормы детности, но еще ни разу не подкрепили это данными эмпирических исследований. Когда выдаются результаты опросов типа “Сколько вы хотели бы иметь детей?”, получают те же двое, и потом уже доли желающих иметь одного или не иметь детей вообще, таких совсем мало. И повторю, что здесь мы ничем не отличаемся от развитых, с высокими доходами стран. Модель абсолютно такая же.

*— Вы говорите: освободившееся поколение. Прежде, в те же 60-е годы, имел большое значение моральный климат — осуждение внебрачных связей, побочных детей. Даже сам ребенок, рожденный вне брака и выросший в атмосфере осуждения, испытавший все это, не хотел идти по тому же пути, предпочитая порой одиночество. Это был крайне сдерживающий фактор. Нынешнее поколение освободилось и от такого давления? Сейчас есть увязка морали и новой модели поведения?*

— Многие и многие представители поколений наших бабушек и прабабушек значительную часть своей жизни



прожили в состоянии вдовства или в ожидании возвращения мужей — с фронта, или уехавших на многолетние заработки, или попавших “в места не столь отдаленные”. В то время очень осуждалось, если кто-то имел сожителя, даже если это вдова; как это называлось, “мы сошлись”, не организовали домохозяйство, а “сошлись” и вот живем. Но они же, эти поколения, вырастили детей, которые стали с легкостью разводиться. Опыт проживания в одиночестве в неполных семьях закрепился. Пример собственной матери говорил: да, это возможно. “Я тебя подняла одна, ну и черт с ним, с тем парнем, сама вырастишь ребенка”. Опыт, кстати, социально-негативный, но он воспроизвелся уже не как вынужденный, под давлением внешних обстоятельств (война и т. п.), а как конструктивный сценарий для собственной дочери, и потому мораль в данном случае менялась однозначно — толерантность к расширению спектра возможных моделей семейного и репродуктивного поведения человека.

И вот что сейчас происходит революционного: рождение ребенка вне брака или в незарегистрированном браке становится социальной нормой. Это следующий этап освобождения от традиционных представлений, как должна быть организована жизнь, в том числе семейная. И что интересно: нет ни одного серьезного, репрезентативного социологического исследования, которое специально хотело бы это прояснить. Сейчас каждый третий ребенок рождается в незарегистрированном браке. Каждый третий! А о нем до сих пор рассуждают как о маргинальном явлении, в терминах девиантного поведения девочек-подростков, не замечая, как быстро в этот процесс вовлеклись все возрастные группы и социальные страты.

— *Они чувствуют себя нормально?*

— Вот в том-то и штука: мы не знаем. Этот феномен уже дозрел до того, чтобы стать объектом пристального внимания. Не только демографов, которые даже не могут (так устроена статистика) выделить “в чистом виде” одиноких матерей. За последние 15–20 лет удельный вес тех детей, которых отцы признают (пишутся совместные заявления о

регистрации новорожденных), резко увеличивается и уже достигает 50 процентов и выше. Короче говоря, каждый второй внебрачный ребенок признается отцами на добровольной основе. Но и остальные 50 процентов появились благодаря неким отношениям, про которые мы почти ничего сказать не можем. Традиционный внебрачный ребенок образца 70–80-х годов рожден на полюсах: юные мамы, которые вступили в половые отношения, секс был не защищен контрацептивами; и второй полюс — женщины “бальзаковского возраста”, которые рожают детей “для себя” (социальная норма была и продолжает быть очень жесткой — “женщина реализовать себя без детей не может”). Эта модель меняется в 90-х годах кардинальным образом, когда наблюдается интенсивный рост внебрачной рождаемости в самых бракоспособных возрастах, чего никогда не было. Речь уже не о полюсах возрастной шкалы матерей-одиночек, но о ее середине, она становится довольно ровной. Это результат решений, осознанно принимаемых партнерами, отношения которых нам неизвестны. А что с теми детьми? В каких условиях они растут? Испытывают ли ущербность, дискомфорт, недостаток в доходах, в образовании? Снижает ли это равенство возможностей при социализации? Мы ничего про это не знаем. Для западных социологов эта тема давно вышла из темы девиантного поведения и является одной из ведущих в социологии семьи. Есть когортная стадика, отслеживается, какие успехи делают эти дети (вплоть до поступления в вуз), как устраиваются в жизни. Это действительно новый феномен, новое явление. Абсолютно новая семья, если хотите. Я не могу оценивать, хорошо это или плохо. Но, безусловно, и в развитии самого процесса, и в степени его осознания мы идем с отставанием от западных стран примерно на 20–30 лет.

*— Вот вы говорите: само собой так отрегулировалось, такая-то складывается модель семьи и прочее. Стихийно? Или возможна коррекция социальных процессов? Тогда как и кто корректирует?*

— Гражданское общество — вот как раз способ воздействовать на социальную среду, отталкиваясь от персо-

нальных представлений о том, как должен быть устроен мир. И если набирается критическая масса считающих, что надо так-то, в конечном счете и происходит коррекция. Изначально достаточно стихийная, постепенно она обретает организованные формы. Я приведу конкретный пример. Изменение удельного веса пожилого населения в западных странах через какое-то время отразилось на направлении всех бюджетных и прочих трансфертных социальных потоков. Вы сейчас не найдете в Германии ни одного бедного пожилого человека, но увидите, что число бедных детей (даже в Германии) за последние 20 лет не изменилось. Процент прежний — при росте валового продукта, росте доходов и т. д. Просто потоки, распределяемые в обществе, пошли в ту сторону, которая была определена через электорат, институты гражданского общества, через то, каких политиков они поднимают и поддерживают. Это и есть коррекция социальной политики, хотя и в далеко не однозначном направлении. И берем конкретный пример из нашей российской практики. Когда предлагается увеличить пособия на третьего ребенка, сделать их весомыми в семейном бюджете, я всегда выступаю против. Почему? Объясню. Во-первых, это означает, что люди, имеющие меньшее число детей, будут платить тем, у кого их больше. Фактически — иная форма налога на бездетность. Ограничение элементарных прав и свобод. Кроме того, никакая социальная система не сможет определить, кому этот налог нужно платить, кому не нужно, кто не может иметь детей по объективным причинам, а кто не хочет. Значит, здесь уже есть неоднозначность. Во-вторых, предлагаемая мера показала свою неэффективность везде, где применялась, в странах гораздо более богатых, имеющих свободные ресурсы. У нас свободных ресурсов нет, и куда эффективнее направить средства на образование и здравоохранение, чем размазывать их по стране в виде крохотных пособий (сейчас это 70 рублей на ребенка). Это будет именно адресная помощь, ведь образование и здравоохранение в значительной степени служат тем семьям, которые имеют детей. В-третьих. Я не приемлю предлагаемый способ воздействия на людей и потому, что в нем есть что-то от купли-продажи. Вот го-

сударству по каким-то причинам нужно “пушечное мясо”. Принимается в 1936 году закон о запрете аборт в Советском Союзе, но точно так же поступили Гитлер в Германии (в 1932 году запретил аборт), Муссолини в Италии чуть раньше. Одного поля ягоды. Способ увеличения рождаемости, кстати, совершенно неэффективный, но здесь важна сама идея — “семья для государства”. Сейчас это экономический способ — через искусственное стимулирование (читай: “покупку” детей), но все время крутится та же идея, что дети нужны государству для решения таких-то его проблем (очень модно — в решении геополитических проблем). Россия вон как протянулась с севера на юг и с запада на восток, территорию надо осваивать, границы должен кто-то охранять. У нас тысяча километров вдоль Китая, а там живет миллиард с лишним, нужно оберегаться от китайцев. Я постоянно принимаю участие в обсуждении этой проблемы (действительно на серьезном уровне принятия решений, а не в Думе — многие считают, что социальная политика определяется в Думе), и вот только сейчас постепенно приходит осознание, что демографическим способом ее, по крайней мере в ближайшие 20–30 лет, не решить. Так, в частности, и армия обязательного призыва в перспективе абсолютно невозможна. Максимальный размер армии в мирное время, который Россия может себе позволить и демографически, и экономически, не больше 400–500 тысяч человек, хотя военные и некоторые официальные лица продолжают настаивать чуть ли не на миллионной армии. Так что “покупка” детей неприемлема с морально-этической и бесполезна с геополитической точки зрения, если речь идет о решении насущных проблем в обозримой перспективе. Рожденные завтра дети еще вырасти должны!

Самое главное, что “купля-продажа” детей ненадежна как стратегическая система. Меняются политические интересы, экономические условия. С чем столкнулись и Советский Союз, и другие страны (в том числе Чехия, Венгрия), когда вводили мероприятия по стимулированию рождаемости? Вначале это оборачивается переполненностью детских дошкольных заведений, школ, поликлиник, высокими конкурсами в высшие учебные заведе-

ния, конкуренцией, безработицей и т. п. Такие вещи, к сожалению, не учитываются при принятии политических решений. В конечном счете советская система рухнула, и в не последнюю очередь по причине непосильного бремени взятых государством социальных обязательств. Чем менее эффективна экономика, тем, как ни странно, больше раздастся обещаний, процветает безответственный популизм. По одной простой причине: жизнь политика и принимаемых решений измеряется в годах, а для демографа протяженность изменений между реалиями — поколениями.

В рамках жизни одного поколения социальная, экономическая ситуация в стране действительно может меняться несколько раз, но брачное, репродуктивное поведение чаще всего задается во время социализации (до 15–17 лет) и потом воспроизводится на протяжении всей жизни. На переломных моментах истории — да, есть ощущение разрыва между поколениями, оно существенно. Но такого рода переломы происходят не так уж часто, и в общем-то мы дети своих родителей (“яблоко от яблони...”). Совершенно бессмысленно человеку в 18–20 лет вдалбливать какие-то ценности, которые он не приобрел к этому возрасту. Дальше уже работает приобретенный социальный опыт, который корректирует ожидания и намерения, но, как правило, не принципиальным образом. Можно, к примеру, взять поколения родившихся в первой половине 1970-х годов. Их надо изучать, потому что представления этих людей о браке, семье, детях, уровне образования, сфере деятельности уже присутствуют, структурированы, взвешены на шкале ценностей и уже реализуются. А через три и еще раз через три года вернуться к этим поколениям, когда они шишек набьют, когда станет ясно, как они эту свою матрицу ценностей и ожиданий смогли применить в реальной жизни. У нас, кстати, проводится очень мало когортных, перспективных, панельных обследований, а в странах с развитой демографией это один из ведущих инструментов изучения демографического поведения, эволюции семьи и рождаемости. Мы сейчас делаем все возможное, чтобы Россия была участницей большого международного проекта

(участвуют два десятка стран) по изучению взаимодействия поколений в семье и в обществе. Если все сложится удачно, то это будет беспрецедентное для нашей страны обследование, и по объему выборки, и по величине вопроса, и по методике (главный вопрос, который труднее всего решается, естественно, финансовый — обследование очень дорогое).

— *Сергей Владимирович, а у нас действительно катастрофа с народонаселением? Намного больше надо народа, чем есть сейчас?*

— Если мы с такой легкостью губим жизни в Чечне, это говорит о том, что общество не знает, сколько нам нужно людей. Молодых, здоровых. А когда говорят, что нужно осваивать какие-то просторы, можно подумать, что их интенсивно осваивали раньше, когда демографический ресурс был совсем иной — в 60-е или, допустим, в 70-е годы. Да, тогда была последняя возможность заселять, даже и не заселять, а вахтовым методом осваивать, наращивать добычу природных ископаемых чисто экстенсивным путем. Сейчас, конечно, такой возможности нет. Лужков сегодня вновь обращается к идее переброски северных рек, и это подтверждает: у людей нет представления, что мы живем в другом демографическом измерении, с другим потенциалом людских ресурсов. Кто будет рыть те самые котлованы (не упоминая уже обо всех других вещах)? Говорят: там (надо думать, в Азии) излишки рабочей силы, и вместо того, чтобы направлять мигрантов в Москву, надо дать им дело на месте — рыть тот великий канал. Но это уже было реализовано во времена Сталина: оградить котлован еще и колючей проволокой. На фронте этого освоения (Дальнего Востока, Сибири, Севера), вы прекрасно знаете, были зеки, зеки и зеки, по разным причинам оказавшиеся там. Освоение шло в результате насильственной миграции (я уж не говорю о депортации целых народов). Не будем же мы этот подход сохранять на будущее.

Нам нужно увеличение численности населения, безусловно. Россия во все времена страдала от несоответствия

территории и демографического потенциала. Эта проблема тесно увязана с проблемой конфликта Севера и Юга, которая присутствует и на глобальном уровне. И пропуская ее через себя, Россия должна идти в фарватере того, как данную проблему пытаются осмыслить и решать развитые страны и на международном уровне. Доморощенных вещей здесь быть не должно, это очень серьезно в свете интеграции России в международное пространство. Без общих рынков труда, без рынка капитала, без переливания из одной страны в другую свободного капитала, людей, денег и вещей — невозможно. Современный мир идет к этому, уже давно задыхаясь в национальных рамках. Кризис государств, построенных на этническом принципе, в определенных границах, обозначился четко. Более эффективна система построения общества не на национальном признаке, а на идее гражданства. Во всех смыслах — и вертикальной мобильности, и горизонтальной. К сожалению, нам в наследство от СССР досталась федерация национальных образований. Есть иные федеральные системы, скажем, германская федерация, где каждая земля обладает куда большим суверенитетом, чем наши национальные республики. В США реальная жизнь людей в гораздо большей степени зависит от мэра города, от того, кого они избрали в управление штатом, направили в сенат, чем от федерального законодательства. Жизнь локализуется в данном случае, и это правильно. России придется в ближайшие десятилетия перенимать такой опыт, иначе мы просто не выберемся из существующего противоречия. Но в принципе, теоретически, национальные рамки мешают дальнейшему развитию, и все это будет обрушаться, чем дальше, тем больше. Конечно, в этой связи и конфликт — как отражение противостояния Севера и Юга. Частично и как конфликт цивилизаций. Исходное, конечно, — колониальное прошлое и медленная модернизация южных стран. И базовый момент, безусловно, — демографический фактор, демографический взрыв, как принято его называть. Север пережил демографический переход на 100–200 лет раньше Юга. Все революции, конфликты возникают на гребне демографических волн, когда есть масса молодых людей,

уже не имеющих достаточно жестко структурированных представлений о ценностях. Они легко могут изменяться под воздействием идеологии, политики, обстоятельств. В связи с этим, конечно, никаких революций в мире Севера, в том числе и в нашей стране, ждать не приходится (просто нет достаточного числа носителей революционного начала). Но, скажем, близкий нам среднеазиатский регион бурлит именно от избытка демографических ресурсов, от проблем, связанных с самоидентификацией, национальным самосознанием, обретением традиционных ценностей, чего он был лишен в советское время. Не знаю, сколько десятилетий потребуется для решения такого рода проблем, и форма разрешения конфликта может быть разной...

Очень серьезная проблема XXI века. И если в данном контексте говорить о месте, роли России, то мы пока — как экономическая, демографическая единица этого мира — не можем играть столь серьезную роль, какая представлялась бы возможной. Думаю, мы и интеллектуально к тому не готовы, и, честно говоря, пока не вижу политиков, способных предложить достойные идеи, решения...

— *А ученые?*

— Ученые никогда не занимаются политикой, а политики никогда не берут идеи из ученой среды. На удивление это так. Потому что любая идея, которая противоречит обыденным представлениям, — а очень часто в науке именно такие идеи наиболее ценны и потом оправдываются прогностически, — не воспринимается политиком. Он опирается на обыденное сознание и сам есть это обыденное сознание. Я не верю, что хороший ученый может быть хорошим политиком, и наоборот.

— *А можно ли оставаться вне политики, будучи ученым, изучающим социальную сферу? Вы чувствуете себя востребованным, Сергей Владимирович? И как вы сами рассматриваете вашу исследовательскую деятельность с точки зрения ее креативности?*



— Мне повезло, что я не испытываю никаких проблем с работой. Не испытываю проблем и в материальном смысле. В принципе тех, кто работает в нашей области, кто остался здесь, пережив особенно трудные 91–92-е годы, не так много — максимум два десятка, способных понять суть дела. Мы востребованы именно в силу дефицита профессионалов, фундаментальная демография — очень узкая специальность. Повезло и в том, что в нашем поколении весьма весома доля узнавших не понаслышке, как устроен мир. Мое, например, представление о самом существовании советской науки, российской науки очень изменилось. Сейчас я считаю, что если советская еще и существовала (в форме весьма специфической схоластики), то вот российской не существует, — не потому, что все ученые уехали, что ей не хватает молодежи для воспроизводства, не хватает средств и умений (все это имеет место), а потому, что она может существовать только глубоко интегрированной в мировую науку. По крайней мере, что касается демографии. Вот с физиками не знаю (хотя язык формул, математический язык вообще универсален). Но демография, конечно, глубоко интегрирована, и когда я работаю за письменным столом, то одновременно вижу перед глазами не только своих российских, но и зарубежных коллег и читателей (мы имеем контакты практически во всех европейских странах и в Америке). Интеграция в это пространство дает возможность реально почувствовать, что и для чего делается. Возможно, в сегодняшней России мы становимся более втянутыми в политику, потому что обострились демографические проблемы, став настолько политическими, что через эту тему оценивается деятельность правителей, правительств и т. д.

Ельцин попал под возможный импичмент по статье “за геноцид российского народа”. Если посмотреть, что понималось под “геноцидом”, то первым пунктом значится “депопуляция”. Я был поражен, когда в Думе за этот пункт голосовали люди, к которым я относился с большим уважением как к интеллектуалам. Ясно было, что идет политическая игра. Но одно то, что люди думают: пришел Ельцин и устроил депопуляцию, а вот при Путине

депопуляции не будет... Могу сказать, что придет после Путина Путин 2, а потом Иванов, Петров, Сидоров, но до 2050 года нам депопуляции, вероятнее всего, не избежать при любом, самом высоком экономическом росте... Почему до 2050-го? Потому что это длина двух поколений и демографическая инерция на таком отрезке времени едва ли преодолима.

— *Есть темы (или проблемы), над которыми вы постоянно размышляете, и все же они остаются загадкой?*

— Действительно, есть уникальная составляющая, выделяющая Россию не просто среди развитых стран, а в мире. В истории не было прецедентов, чтобы на протяжении трех-четырёх десятилетий уменьшалась ожидаемая продолжительность жизни. Справедливо говорят, что сейчас у нас крайне высока смертность населения. Но ключ к раскрытию этой проблемы лежит не в последних годах, а в 60–70-х. Именно тогда пошел процесс. Почему? Уже не было репрессий, голода, больших войн, казалось бы, было только улучшение условий жизни — количество метров жилья на душу, воды, которую можно пить, потребляемого мяса, теплых туалетов... Особенно после того, как стали швырять на этот рынок, затыкая дыры, нефтедоллары. Тем не менее смертность увеличивалась.

Если говорить о том, над чем мы бьемся, но так пока и не знаем ответа, то я назвал бы этот вопрос. Есть загадки, которые специалист, если он профессионально работает, должен разгадывать. Не только те, которые он сам придумывает для себя (бывают и такие темы), но и те, которые идут от реальности. Одна из них — рост смертности в СССР в 60–70-е годы.

Вторая проблема, над которой я лично много работаю. Россия сейчас в стадии второго демографического перехода. Будет ли она идти по пути, который в свое время избрали Соединенные Штаты или Франция? Встала она уже на этот путь и процесс продолжается или нет? Вот ребусы, над которыми приходится ломать голову, как всегда в условиях недостатка информации, финансовых ресурсов и

всего остального. Цифры часто обманчивы, потому что ростки нового всегда очень плохо видны. Если я замечаю какой-то росток нового явления, то беру его на заметку, отслеживаю его жизнь. Стараюсь не затоптать невзвешенными, чисто эмоциональными оценками...

Что вообще положительного, с моей точки зрения, произошло в демографической реальности с 91-го года? Это очень важно. Что-то ведь есть положительное. Да, есть: снижение численности абортотворцев в 2 раза. Причем с опережением такого снижения у молодых. Что за этим? Значит, происходит контрацептивная революция в России, в которую иногда плохо верится (недостаток данных). Следовательно, полезна работа ассоциации планирования семьи (которую в чем только ни обвиняют). Наконец, это говорит о том, что люди сами решают свои проблемы. Рожать, не рожать, делать аборт — проблема индивидуального выбора. То, что мы сейчас наблюдаем, — росток, превратившийся в достаточно серьезный тростник, бамбук, который уже не поломать.

Появились данные мониторинга: у молодого поколения меняется структура потребления алкоголя, и, в принципе, оно чуть снижается. Росток маленький, едва заметный. Хотелось бы понаблюдать за ним два-три года, чтобы понять, насколько устойчивой окажется тенденция. И если это действительно так, что молодежь меняет свое поведение по отношению к потреблению алкоголя, то можно будет ожидать изменения положения со смертностью в стране. Снижения алкоголизации среди молодых поколений, кстати, можно ожидать, принимая во внимание резкое повышение тяги к высшему образованию, отмечаемое социологами и фиксируемое статистикой. Пока новые времена здесь не наступили и эффекта в виде снижения смертности мы не видим. Но если бы смертность населения в России в целом была такая же, как у россиян с высшим образованием, мы бы не отличались по этому показателю, скажем, от Франции. Дело в отношении к своему здоровью, в осознании причин, его подрывающих, в том числе вредных привычек. Можно считать, что проблема сверхвысокой смертности в нашей стране — это в первую очередь проблема людей с невы-

соким, со средним общим образованием. В том, как они используют время рабочее и свободное, думаю, главный ключ к ее пониманию.

Поскольку последние два года особенно интенсивно я занимаюсь переводом всей демографической истории со шкалы календарного времени в шкалу поколений (и возрастных изменений в каждом поколении), то могу высказать предположение: ситуацию в российской смертности, и именно с 60-х годов, в значительной степени определяют наиболее ущербные поколения. Те, кто пережил социальные катаклизмы и голод в детстве, прошел социализацию в состоянии сиротства и бедности. Если вы отнимете от 2003 года 60 лет (ожидаемая продолжительность жизни), то попадете в военное время. Когорты, которые появлялись на свет в тяжелейшие 30-е, 40-е, 50-е годы, сейчас и определяют повышенную смертность в зрелых, предпенсионных и пенсионных возрастах. Это пока гипотеза, но она имеет под собой основания.

*— А что касается смертности в других, молодых возрастах?*

*— У нас во всех возрастах смертность слишком высока, чтобы Россию считать развитой страной, особенно это касается мужчин. Правда, смертность 12–15-летних сейчас ниже, чем десять лет назад. У 20-летних она выше за счет Чечни, а у 30-летних уже начинаются те самые специфические российские проблемы. Если человеческую жизнь разбить на возрастные этапы, то первый, ранний ее этап зависит скорее от родителей и отчасти от эффективности системы здравоохранения. Срабатывают генетические и прочие факторы, связанные с внутриутробным развитием. Потом смертность выходит на минимум, потому что самые слабые отсеялись в результате естественного отбора, еще минимально отрицательное социальное воздействие и нет еще опыта саморазрушительного поведения как такового (до наступления подросткового возраста). Затем начинается выход из строя “социально” слабых, неудачно вошедших во взрослую жизнь, которые не смогли найти себя в этом*

мире (смертность от травм, среди алкоголиков, наркоманов и т. д.). Средняя продолжительность жизни алкоголика — 45–47 лет. Они выбывают. Вот это выбытие у нас очень высокое. Потом поколения переходят в следующую фазу, когда уже люди погибают от хронических болезней, накопленных в течение жизни, — сердечно-сосудистых заболеваний в первую очередь, отчасти онкологических и прочих дегенеративных. В самых старших возрастах влияние генетического фактора вновь становится сильнее. Другое дело, что современная цивилизация может ослаблять это влияние, броня цивилизации наращивается. Но в нашей стране эта броня остается очень слабой. Это еще одно объяснение повышенной смертности: не смогли нейтрализовать отрицательные последствия социальных катаклизмов, исторических событий, техногенного воздействия среды. Оказались не эффективны ни здравоохранение, ни политика в области здоровья, ни общественный контроль. А выход один: наращивание инвестиций, в том числе личных, и в здравоохранение, и в сферу досуга, здорового образа жизни, образования. Нужны ведь не только аппарат гемодиализа, который продлевает жизнь почечным больным, не только томограф для ранней диагностики раковых заболеваний, но и диета, витаминизация, рационально организованный досуг.

— *Известный экономист, директор одного из наших солидных институтов десятилетиями доказывал, что “здоровье нации” должно быть главным экономическим показателем.*

— Да, безусловно, хотя и не совсем ясно, какими показателями измерять “здоровье нации”. В любом случае показатели долголетия — очень важный критерий оценки общества как безопасного для жизни. Дискуссии по безопасности чаще ведутся в терминах оборонных, военно-экономических, криминогенности. Но при этом забывают об элементарных вещах: безопасность жизни человека еще и в самой обычной жизни. В какой мере комфортна среда его обитания. У нас гибель людей на автодорогах —

40 тысяч в год. Смертность от транспортного травматизма в сельской (!) местности выше, чем в городах (сказываются и пьянство, и практическая недоступность современной медицинской помощи). Мы еще не достигли западного уровня автомобилизации, а по уровню смертности намного превышаем все мыслимые стандарты.

— *Есть какая-то центральная проблема, ухватившись за которую, как нас учили, можно...*

— Конечно. Это проблема ценности человеческой жизни. Центральная проблема.

— *Сбережение народа, как говорил в свое время граф Шувалов.*

— “Сбережение народа” — значит уже родившихся людей. Но это еще и ценность будущих жизней, о чем нельзя не думать. Основная масса преступлений в нашей стране — это не заказные убийства, о которых больше всего говорят: 70 процентов — на бытовой почве (сосед зарезал соседа, жена мужа, сын отца). Считается, что сейчас вообще снижается ценность человеческой жизни. Это не совсем так. Люди все больше средств вкладывают в собственное здоровье, перераспределяют социальные средства в пользу жизни. Я отмечаю для себя, как ведут боевые действия американцы (ни в коем случае их не оправдываю, мне кажется, это совершенно тупиковый путь решения мировых проблем). Но миллион долларов, вложенных в “Томагавк”, расценивают ниже цены жизни солдата. У нас, к сожалению, все пока не так. Не случайно матери не отпускают своих детей в армию. Если российский человек будет задумываться над тем, что от него зависит его собственное благополучие и благополучие семьи, возможность добиться того, чего он хочет, — это даст толчок к росту ценности собственной и чужой жизни. И общество рано или поздно будет тоже модифицироваться. Законодательные органы, Дума станут отсекают экстремальные инициативы (это в каком-то смысле уже происходит), которые противоречат главной идее.

— Мы с вами пришли к тому, чем обычно и завершаются такого рода дискуссии: пока человек не будет в центре... И когда, по вашему мнению, это может произойти? И произойдет ли?

— Это уже происходит. Но только не по велению сверху человека надо поставить в центр и вокруг него создать этот мир. Он сам должен его создавать. Наше поколение и то, что сейчас на подходе, уже работают на себя. С полным осознанием: у меня есть родители, есть дети, я должен оплачивать их достойную жизнь, их образование. Это мое. Я езжу на машине, покупаю квартиру, никто, кроме меня, этим не обеспечит. В том-то вся и штука. То, что раньше осмеивалось как “потребительство”. Вот вам смена парадигм.

— И все же остается вопрос: а жизнь вокруг, а общественные условия, при которых и можно обеспечить “квартиру–машину–дачу”? Трудно поверить, что для вашего поколения — это звук пустой.

— Чем более отдалается “светлое будущее” — уже какое поколение его ждет, — тем больше оно теряет четкие очертания. Мне кажется, что гораздо важнее конкретные очертания собственной жизни, чтобы понять, ради какого “светлого будущего” ты работаешь. Когда-то из одной молодежной газеты (я тогда был молодым младшим научным сотрудником) мне притащили мешок с письмами: “Посмотри, почитай и сделай обзор”. Газета опубликовала два письма на тему, которой я занимался (о числе детей в семье), и вдруг последовала бурная реакция. Писали люди разных возрастов, в том числе и об этом “светлом будущем”. Хорошо помню одно письмо: мы вот все что-то строим, строим, но я не могу понять, почему в нашем городе никогда не продавали мяса в магазине. Это город Оренбург, я его немного знаю по рассказам родственников. Там действительно карточная система была вплоть до 80-х годов. При их огромных мясокомбинатах и стадах (и, соответственно, “несуны” пополняли запасы мяса у людей в холодильниках)...

Я не о том, хорошо это или плохо — иметь совершенно абстрактный идеал. Но в конечном-то счете мессианство, столь характерное для Советского Союза как идея, приносило гораздо больше вреда, чем пользы. Самый обычный человек, обыватель, живет ради самого себя. Всегда так было. Другое дело, что он клал свою жизнь на алтарь разных исторических событий, имея в голове разные мысли. Одного толкали, другой сам амбразуру закрывал... Есть, конечно, и сейчас такого же рода идеи, но они, на мой взгляд, для России уже не очень актуальны. Идея мессианства, которой сегодня озабочены Соединенные Штаты, мне глубоко не близка, как была не близка и идея мессианства Советского Союза. Так же, кстати, как мне чуждо суждение, что люди у нас станут сугубо эгоистичными, способными думать только о своем благополучии — и никакого общественного блага не будет. Я видел общество, где, по нашим понятиям, живут эгоисты, но, извините, там подъезды чистые (мне пришлось достаточно долго прожить во Франции и бывать во многих других странах). И не потому, что там убирают (хотя и это делается), а потому, что там не сорят в доме, где живут, и не оставляют мусор на лужайке, где устраивали пикник. Кто-то правильно заметил, что по чистоте туалетов можно судить о прогрессе.

Я согласен, что здоровье нации (популяционное здоровье) — ценность. Но это не может быть той социальной идеей, о которой мы говорим, потому что оно должно достигаться через материально-вещественный мир, осязаемый для каждого человека. Важно, чтобы там были положительные сдвиги, совершенные собственными руками “маленького” человека.

— *Но вы что-то для этого можете сделать?*

— Конечно. В том-то и штука, что сейчас люди в большей степени организуют свое собственное пространство. Это не означает, что все получается так, как мне, допустим, представляется правильным. У каждого человека есть свои представления на этот счет, и из миллионов тех микроидей главная идея — жить нормально. Она



для России сейчас гораздо более актуальна, чем некая абстрактная идея. Под нормальной жизнью понимаются просто стандарты, которые уже сегодня можно измерять конкретно. Вот молодой исследователь уезжает на Запад работать, он уже более реально оценивает стоимость своей рабочей силы, а значит, и ценность своей жизни, между прочим. Возможно, вы знакомы с данными опросов общественного мнения о том, какой доход люди считали бы для себя достаточным (для нормальной жизни). Уровень притязаний в России низкий до невероятности. Из исследования в исследование он ровно в 2 раза выше собственного дохода. Человек имеет две тысячи рублей дохода, значит, пишет четыре, имеет четыре, пишет восемь и т. д. Цифры могут быть разными, но соотношения те же (при обследовании среднего класса это соотношение составило 1: 2,5). В рамках таких притязаний организовать то самое пространство еще нельзя. Люди продолжают низко, по-советски, оценивать свои способности и возможности, поэтому у нас такие неэластичные рынки труда. Многие согласны трудиться за малую зарплату. Миграция рабочей силы между регионами очень низка. Мы пишем в своих докладах, что если в советское время сильная межрегиональная миграция стимулировалась в основном теми, кто ехал получать образование, то теперь этот механизм несколько подрубился. Не исходит импульс от самого человека: если у него таков уровень притязаний, то он и не поедет искать лучшую долю в другом месте. А это должно быть. У нас, с одной стороны, безработицы как бы и нет, а с другой — очень высокая. И не то, и не се. Что это за рынок труда, где человек числится на рабочем месте, а зарплату не получает либо получает очень низкую и при этом подрабатывает (получая в несколько раз больше, чем на “основном” месте), а может, еще где-то числится как безработный и получает пособие. Это означает, что общество не предоставило ему какие-то возможности. Действительно так. Но главное зарыто в нем самом. Политика занятости, создания новых рабочих мест должна быть безусловно, особенно по отношению к выпускникам высших учебных заведений. Но по отношению к здоровому 30-летнему му-

жику?.. Этого я не понимаю. Есть группы (и их немало), которыми государство на самом деле должно серьезно заниматься. Инвалиды, например, обитатели интернатных учреждений, детских домов. Так сконцентрируйте внимание и средства на этих участках. Обеспечьте достойную жизнь этим людям, чтобы хотя бы как-то выравнять их стартовые возможности. А когда человек только родился и его бросили? Несколько тысяч ежегодно. Другое дело, что это было и в советское время: чем больше лишены родительских прав отказники говорили о детях — “цветах жизни”, тем больше увеличивалось число дошкольных учреждений интернатного типа. Вот та самая ценность человеческой жизни. Эти дети только и зависят от государства, больше ни от кого (ну, еще от спонсорской помощи). Это не та проблема, которая стоит очень больших денег, но нужна политическая воля. И еще один грустный момент: у нас не находится людей, чтобы взять таких детей на воспитание, особенно не очень здоровых. Социализм, невзирая на все лозунги и “самые лучшие в мире конституции”, совершенно вытер из души гуманизм и сострадание.

— *Последний вопрос: откуда тогда у вас оптимизм?*

— Я вижу изменения и не ощущаю в себе комплекса неполноценности. Есть у меня проблемы с “идеологическими противниками”, но ведь это нормально. Я делаю то, что кому-то нужно. Потом и решение собственно научных задач, худо-бедно, удается. Если бы это не удавалось, то, может быть, не было бы и другого рода востребованности и всего остального. Думаю, что у нас в стране все-таки наступает эпоха профессионалов. По крайней мере, в моем поколении в большей степени востребованы именно профессионалы. Оказывается, их очень мало. В любой сфере. У нас вакуум с воспроизводством профессионалов — это одна из серьезных проблем вообще в российском научном мире, не только в демографии. Все отмечают, что хороший молодой человек, окончивший хорошее учебное заведение, сделавший хорошую магистерскую работу, идет в бизнес или еще куда-то по понятным причи-

нам: время ожидания, чтобы проявить себя и выйти на достойный уровень доходов от науки, он должен как-то прожить. Наука это обеспечить не может. Это потом окупится. Он докажет своими работами. Он кусок того пирога все больше будет нарезать в свою пользу. Тем более, что такой интенсивности труда, как сейчас, раньше не наблюдалось. Историческое время “сжимается” и в этом смысле тоже. Но общий объем времени расширяется. Человек более интенсивно живет все большее время. И он уже не должен останавливаться ни в 60, ни в 70 лет. Люди, забудьте о пенсиях! Я все время говорю: мы должны теперь сами думать о собственных пенсиях. Каждый. Мы первое поколение, которое будет об этом думать. О пенсиях как о деньгах. Но не о пенсиях как некоем расслаблении. Сам выход на пенсию — это сразу падение в бездну.

— *Сил не хватает.*

— *Хватит.*

Н.В. Мкртчян

“Нужны стране мигранты или нет?”

*— Одна из масштабных проблем современного мира — проблема миграции. Вы, Никита Владимирович, занимаетесь ею профессионально. Какие ее характеристики вы выделяете для России? Какие решения вам представляются перспективными с учетом явно выраженной настроенности населения против “чужих”?*

— Несомненно, миграционные процессы в мире приобретают все более массовый характер. Говорят уже о формировании нации мигрантов (это появилось и в нашей научной литературе). Выделяют ряд центров притяжения — США, страны Западной Европы, Персидского залива, Японию, Австралию. И, в принципе, одним из таких центров (и на достаточно долгий срок) сейчас становится Россия, однако для вполне определенной группы стран. Это прежде всего бывшие советские республики, а также такие страны, как Вьетнам, Корея, Афганистан, Китай. Хотя нельзя сказать, что Россия для Китая — единственный центр притяжения. Но если даже очень небольшой поток китайцев направится к нам, уже будет много. Это как, например, наша торговля с Китаем: для России он — один из основных внешнеторговых партнеров, главным образом для Дальнего Востока, ну а мы для Китая — партнер весьма незначительный, масштабы разные.

Отмечаемая тенденция, однако, неоднозначна, она как бы разнонаправленна. С одной стороны, глобализация, все больше людей живут за пределами стран, где они родились. Евросоюз, допустим, фактически снял барьеры для свободного передвижения населения соседних стран. Но одновременно усиливается охрана внешних границ

Евросоюза. Уже появилась и такая идея (“план Бланкета”): зачем, говорят, беженцам или каким-либо лицам, ищущим убежище, ехать сразу в Западную Европу, когда существуют другие безопасные страны — Россия, Украина, — где содержать мигрантов гораздо проще. И пытаются этот план внедрить, начинают строить лагеря для приема беженцев из третьих стран (Ирака, Индии, Пакистана). Некий такой “отстойник” за пределами Евросоюза, а сама его территория — как бы для избранных. Создавая подобную зону и зону свободного перемещения людей, приняв в Евросоюз еще ряд стран, западноевропейцы меняют ориентацию и в удовлетворении собственных потребностей в рабочей силе. Допустим, Франция всегда брала ее из Алжира, Германия — из Турции. Теперь появляется новый источник — Восточная Европа, имеющий свои преимущества: понятное дело, у немцев с поляками меньшая культурная дистанция, чем с теми же турками, им легче ужиться, как и с литовцами и даже с нами. В каком-нибудь эшелоне будут Россия, Украина, Белоруссия. Проще “разбавлять себя” ближними народами. А делать это придется, без трудовой миграции и миграции на постоянное место жительства странам Евросоюза не обойтись. Боюсь, стало банальностью повторять, что население Европы (как и России) будет сокращаться, оно будет стареть; потребуется каким-то образом заполнять образующиеся демографические пробелы. Естественно, за счет миграции, потому что никакого подъема рождаемости хотя бы до уровня простого воспроизводства населения ни в одной из европейских стран не предвидится (по крайней мере, в обозримой перспективе). Это объективная характеристика современной ситуации. Но в последнее время, повторю, все более очевидно стремление закрыться от мигрантов. Принимаются сугубо полицейские ограничительные меры. В США появляется список стран (в основном исламских, арабских), в отношении которых действует особый визовый режим. Кому-то визы вообще не дают. То же самое происходит в Европе — естественно, в целях безопасности, как ее понимают. Боятся терактов, боятся этнически далекой миграции. Но мне кажется, это все-таки тенденция преходящая.

— *Вы не склонны оценивать события 11 сентября 2001 года в США и их последствия (в частности, и отмечаемую вами тенденцию) как проявления столкновения цивилизаций? Именно долговременного процесса, когда идет размежевание народов, религий, культур и копятся силы...*

— Для одновременного броска? Если, скажем, арабский мир будет развиваться автономно, вне Европы, и потом вдруг лет через сто бросится и поглотит ее? Нет, думаю, мир все-таки станет развиваться более мягко. И Европа через сто лет не будет той же, что сейчас. Равно как сейчас она не такая, как в начале XX века. Наверное, все-таки это процесс постепенный. По моему убеждению, в тех же арабских странах внутренних противоречий несколько не меньше, чем у каждой из них со странами Запада. Я с трудом представляю себе, например, всемирный халифат от Марокко и примерно до Ирака — если брать арабские страны, и до Индонезии — если брать исламские страны. Такой вот исламский пояс, где совершенно разные интересы, разное развитие. И им объединиться, представить из себя нечто целостное, мне кажется, гораздо сложнее, чем Европе. И, кстати, я вовсе не уверен, что сама Европа будет единой и неделимой в политическом смысле. Уже события в Ираке показали различие позиций Германии и Франции, с одной стороны, и новых кандидатов в члены Евросоюза — с другой. Великобритания четко проявила себя как сторонник США. Кто-то всегда остается нейтральным. Поэтому скорее всего, я думаю, будут выстраиваться некие двусторонние отношения. Ведь практически каждая страна западного мира, потенциально нуждаясь в мигрантах, уже имеет такие особые отношения, чаще всего, с бывшими колониями. Те же, у кого не было колоний, — с приграничными странами, скажем “третьего мира”, миграционными донорами. Испания, например, и сейчас проводит политику на упрощение иммиграции из стран Латинской Америки (ведь это все испаноязычные страны). Естественно, Португалия вполне может обойтись ресурсами Бразилии, здесь тоже нет языковых барьеров. США имеют свое, что называется, “миграционное подбрюшье” в лице Мекси-

ки, островных стран Центральной Америки. И здесь в принципе уже сложились устойчивые каналы. Западная Европа сольется с Восточной, появится, как я уже говорил, движение с Востока на Запад — еще один новый миграционный поток.

— *А сами страны Восточной Европы? А Россия? У них те же “демографические пробелы”. Откуда к ним придет миграционный поток? Или действительно можно рассчитывать лишь на тот самый “отстойник” в преддверии Евросоюза?*

— Возможно, часть нашего населения отправится в страны Европы. Посмотрите, сколько людей уже сейчас ездят работать в Чехию, Германию или живут там. А что касается притока населения к нам, в Россию, то на страны Прибалтики, естественно, не приходится рассчитывать (уже в силу их масштабов). Украина? Она в принципе скоро сама будет нуждаться в мигрантах, демографическая ситуация у нее еще хуже. Во времена бывшего Советского Союза привлекательно было поселиться на Украине: хорошие природные условия, достаточно обустроенная территория. Когда-то, возможно, она будет иметь с Россией положительный баланс — все зависит от развития экономики. Но стабильным миграционным донором Украина для России не станет. Эту роль могут играть либо страны Закавказья, либо страны Центральной Азии. Те многомиллионные масштабы китайского присутствия, о которых говорят, пока не предвидятся. Может, их и не будет, потому что самим китайцам более интересны для иммиграции США, Канада, страны Юго-Восточной Азии — вот туда и направлен основной поток мигрантов. Можно говорить о двух-трех миллионах китайцев, которые переселятся в нашу страну. Это небольшая доля в населении, в мигрантах, явно не преобладающая. И хотя это все же чревато для нас существенным нарушением демографического баланса, привлечь их откуда-то еще, например, из того же Закавказья, мы не сможем: там просто их не осталось.

Россия в принципе в самом ближайшем будущем должна определиться, откуда она станет брать мигрантов. Все, по

сути, уже определились. Но мы проводим какую-то странную политику. Россия является правопреемницей бывшего СССР. Объявили об этом в свое время, стали принимать население. Но сейчас закрываемся. И закрываемся как раз прежде всего от тех, кого нам не нужно обучать языку, культуре хотя бы ассимилировать (скажем, казахов или армян). Сейчас очень много разговоров, например, о том, что на российско-казахстанской границе казахов больше, чем русских, а это, мол, чревато отторжением какой-то части нашей территории. Я слышал, как Кондратенко в пору его губернаторства на Кубани говорил: “Вот мы сейчас благодушествуем, благодушествуем, потом сунемся к побережью, а там пулеметы стоят, там уже Великая Армения”...

Такова сегодняшняя ситуация у нас. И если ее не переломить, как бы нам не оказаться тридцатой, а то и ниже, страной в мире по численности населения. Мы привыкли, что Россия — большая страна. Но надо, как говорится, и обеспечивать населением свою территорию.

*— Как? В чем здесь может быть прорыв? Один из ваших коллег утверждает, что “Сибирь станет крупной ставкой в игре XXI века”. Вы придерживаетесь того же мнения?*

— Такого массового заселения Сибири, которое происходило в конце XIX — начале XX века быть не может, потому что у России для этого нет ресурсов. Раньше ведь оно обуславливалось чем? Малоземельем в центральных российских губерниях, которое с каждым годом нарастало, потому что население увеличивалось на 2–2,5 процента в год. Тогда, еще в конце XIX века, заселение шло добровольно, оно в значительной степени стимулировалось строительством Транссибирской магистрали. Помимо борьбы с малоземельем, правительство еще решало и геополитические задачи — просто заселение территорий, потому что Китай там и тогда был рядом, как и Япония, с которой потом воевали. Эту территорию надо было как-то колонизовать. Не случайно кто-то сказал, что колонизация успешна тогда, когда за воином идет пахарь. Не только военные поселения или казачьи остроги, но и мирный



сельский быт. Так складывалось реальное “освоение” Сибири. Сейчас подобной возможности нет. Российская деревня практически не имеет ресурсов, она даже не сможет поддерживать свою численность, тем более численность населения европейских городов (города России всегда росли главным образом за счет притока мигрантов). А все-таки рабочие руки и в городах европейской России всегда будут нужны. Откуда их брать?

Сейчас высказывается такое мнение: а давайте направим в Сибирь и на Дальний Восток тех, кто хочет вернуться в Россию из бывших союзных республик. Так и их на это не хватит! Если иммиграция не будет, как сейчас, “зажиматься”, этих ресурсов хватит только на то, чтобы поддержать численность населения в европейской части страны, и то лишь какое-то время, примерно на ближайшие 10 лет. Потому что потенциал русской и, как иногда говорят, “русскоязычной” миграции оттуда — максимум 4 миллиона. Самая большая русская диаспора — на Украине. Даже после прошедшей там переписи населения, согласно которой численность русских существенно сократилась, хотя никакого массового их отъезда не наблюдалось. А сокращение произошло за счет смены идентичности: в смешанных семьях раньше многие “записывались” русскими, теперь — украинцами. Но так или иначе Украина, как уже отмечалось, потока мигрантов нам не даст. Есть русская диаспора в Казахстане — но это сколько? Оттуда могут приехать максимум 1,5 миллиона человек. Остальные страны Средней Азии — бывшие советские республики — дадут, может быть, немного больше миллиона. В Закавказье уже практически нет русских. Так что наши потребности в мигрантах русские люди, живущие на постсоветском пространстве, в стратегической перспективе не обеспечат. Эти потребности значительно выше, потому мы должны смиряться с тем, что к нам поедут нерусские (те же казахи, скажем, хотя им, конечно, еще свою территорию осваивать и осваивать, узбеки, таджики, азербайджанцы).

— *Как все же вы объясняете тот факт, что при всей необходимости привлечь мигрантов у нас принимаются законы, ограничивающие миграцию?*

— Потому что они исходят не из какой-то экономической целесообразности, а из некоего, как мне кажется, субъективного видения людей, которые эти законы проталкивают. Кто подсчитал, каковы наши перспективные потребности в трудовых ресурсах? Нет таких расчетов. Вы думаете, когда принимали Закон о правовом положении иностранных граждан — Концепцию миграционной политики, это имело серьезные обоснования? Я как-то был на семинаре, посвященном незаконной миграции, и там с большой радостью говорилось, что наши законы теперь соответствуют международным нормам. У нас прекрасный закон о гражданстве. И закон о положении иностранцев тоже прекрасный. Для того чтобы получить российское гражданство, надо пять лет. Да, это соответствует международным нормам, но сама Россия как страна не соответствует международным нормам, потому что это распавшаяся империя, случай достаточно уникальный в наше время. Мы не можем приравнять граждан бывшего Советского Союза к тем самым мексиканцам для США. Да и США постоянно проводят “миграционные амнистии”, последняя затронет примерно 8 миллионов человек. Ситуация у нас совершенно другая. Давайте преобразуем сейчас систему здравоохранения в полном соответствии со стандартами западных стран. Например, вызываете врача, и ваша страховая компания платит 500 долларов. Мы готовы это сделать? Не готовы. Мы готовы перевести наше жилищно-коммунальное хозяйство на те нормы обслуживания, на те стандарты оплаты, которые существуют там? Не готовы. И это всем ясно. А вот почему-то считается, что с гражданством, с миграцией можно поступать иначе: ввести универсальные прекрасные законы, и они будут у нас работать. Но ведь сейчас даже те люди, которые уже переехали в нашу страну, как-то устроились, где-то трудятся, не могут подать документы для получения гражданства. Многие и не знают, как это сделать. А если и пытаются, это превращается в какое-то постоянное просительство: сначала о том, чтобы иметь регистрацию, затем оформиться на 3 месяца, потом на 2 года, наконец, получить вид на жительство до 5 лет и т. д. И даже последние поправки к закону “О гражданстве”, столь часто упоминаемые в прессе, упрощают положение очень ограниченных категорий.

И это не просто бюрократические проволочки. У нас миграцией, как и всей данной проблематикой, занимаются специалисты правоохранительных органов, для которых в общем-то все население является потенциальными нарушителями правопорядка. И если милиция отвечает за концепцию миграционной политики, то она выше этого своего видения не прыгнет, и на первом плане в такой концепции — интерес ведомства, а не потребности людей и экономики страны. Пусть бы даже концепцию миграционной политики принимало другое ведомство (министерство труда), но ее все равно нельзя назвать полноценной. Разрабатывать такую политику, отвечать за нее должен, наверное, орган типа Совета безопасности, который способен оценить ситуацию со всех сторон, а не только с узковедомственной точки зрения. В нынешней Концепции миграционной политики хорошо прописаны меры борьбы с незаконной миграцией. Все по ступенечкам разложено. Может быть, это и действительно по отношению к злостным нарушителям, но не по отношению к людям, которые вынужденно являются незаконными мигрантами, потому что просто не имеют у нас возможности легализоваться.

Борьба с незаконной, злостной миграцией, конечно, нужна, но она не должна быть основной составляющей концепции миграционной политики. Главная же составляющая — стратегия, в первую очередь отвечающая на вопрос: нужны стране мигранты или нет? Сейчас такого на государственном уровне видения — нет. Есть две точки зрения: охранительная и либеральная. Охранители считают, что никого нам не нужно. Впрямь не говорится о “России для русских”, но суть та же: в России много народов, они здесь живут долгое время, чужих нам не надо, в общем-то обойдемся своими силами. Другая точка зрения — либеральная — предполагает примерно то, о чем я пытаюсь, быть может, не очень связно сказать. Эти две точки зрения — в постоянном противостоянии. Сейчас взяла верх охранительная стратегия. И люди, которые ее придерживаются, имеют возможность выражать свое видение в определенных законах, в тех или иных документах, принимаемых на государственном уровне. Возможно, потом начнет преобладать другая точка зрения, и мы опять будем

колебаться и колыхаться. Единой стратегии, продуманной хотя бы на два десятилетия вперед, у нас нет.

Что характерно: дискутировать вроде не о чем да и не с кем — все “за” увеличение численности населения. Президент как-то высказался в том плане, что было бы хорошо, если бы население России составляло 500 миллионов человек. Недавно подвели итоги последней переписи — нас 145,2 миллиона. Все-таки 145, а не 143, как предполагалось, и всеми признается, что это хорошо. Никто еще не сказал: ах, черт возьми! 145 миллионов, мы-то думали — 143, а если бы 140 — было бы еще лучше. Любого губернатора спросите: “Вы хотели бы, чтобы население вашего региона составляло не 5 миллионов, как сейчас, а, скажем, 2 миллиона человек?” — “Да нет, да что вы?!” У нас все меньше становится городов-миллионеров, уже Пермь потеряла такой статус, Ростов из этого “клуба миллионеров” выходит. Но только поинтересуйтесь — “нет, нет, мы сейчас посчитаем, всех мигрантов учтем, в том числе незаконных, будет у нас миллион”. И насчитывают в итоге. То есть цепляются за большое население. А Лужков как обрадовался, когда в Москве оказалось не 8 миллионов, а 10 с лишним...

*— Но само население, как известно, в основном против пополнения за счет мигрантов. Конфликт интересов везде, куда они приезжают. Мы можем не учитывать этого, идти вопреки общественным настроениям?*

— Даже когда заселялась Сибирь, для местных старожилов, которые привыкли, что справа и слева на пять километров нет никого, было неприемлемо, если кто-то вдруг поселится в километре от них. Ведь очень большие были столкновения между переселенцами и старожильческим населением Сибири. Никогда мигрантов не любили: как это, вторгаются в мой мир! Даже если это такой же русский, а если, паче чаяния, какой-нибудь “инородец” приедет, и еще говорит с акцентом...

*— Мы сознательно идем на конфликт? Или считаем, что со временем ситуация переломится и все будет прекрасно? Та самая концепция миграционной политики*

*должна, видимо, предполагать, кто именно нам нужен, какой культуры, какой специальности люди, где они могут жить, работать и т. д.*

— Конечно, нужно продумывать такие вещи и искать, с чего я и начал, своих миграционных доноров — страны, которые в перспективе смогут давать нам миграционную подпитку. Станет ли, например, для нас такой страной Афганистан? Думаю, нет, в силу своих культурных традиций. Но речь ведь не только о массовых переселениях. В свое время, когда еще был Советский Союз, в Россию привезли афганских детей, родители которых погибли. К нам приехало афганское офицерство, воевавшее на нашей стороне, в основном люди образованные, которые учились у нас и хорошо относятся к России. Почему мы не принимаем их? Почему до сих пор им не дали гражданство, не смогли легализоваться? Вот это непонятно.

Американцы в свое время, воюя во Вьетнаме, имели поддержку группы местного населения — монгов. Так по окончании войны они всех их с семьями забрали с собой. То же самое сделали французы в отношении тех, кто поддерживал их в Алжире. Мы же нет, даже в отношении своих чеченцев, — ведь когда в конце 1994 года федеральные войска вошли в Чечню, то создали там свои структуры. Я раньше работал в миграционной службе России, и мы тоже организовали миграционную службу, где работали чеченцы. Как только были заключены Хасавюртские соглашения — ушли. А их оставили. Никто не озаботился, а что с ними будет, когда выведут войска? У руководителя нашей миграционной службы в Чечне (а я ведь дома у него был!) сына украли сразу же, как только туда вернулась дудаевская камарилья. Он вынужден был, собрав со всех родственников деньги, выкупать сына, потом уехал в Тульскую область, где-то там, в каком-то маленьком доме, в райцентре, обустроился. Это руководитель миграционной службы Чеченской республики, влиятельный человек, через него такие деньги шли в свое время... И мы просто так вот его бросили. То же самое произошло с афганцами. Приходишь к выводу, что Россия не способна ценить тех, кто является проводниками ее идей, ее культуры, просто ее союзника-

ми. Те же афганцы никогда не составят большой массы на территории России, но они могут составить небольшой компонент ее населения. Почему бы и нет? Если это люди, не согласные, скажем, с господством исламской идеологии, ведь и среди мусульманских народов есть прослойка неверующих, чисто светских людей.

Конечно, какой-то массовой миграции, когда движутся кишлаками, аулами, заселяют деревни, нам не нужно, и такого не будет. Пускай это будет небольшой ручеек, но постоянный. Допустим, почему мы не можем тех же афганцев, китайцев, индусов, пакистанцев брать себе на обучение? Канал учебной миграции используют все развитые страны. Может быть, обучать даже за их личный счет, а не за счет их стран. За время учебы они воспринимают наш язык, нашу культуру. Домой к себе возвращаются далеко не все, по крайней мере не больше половины. Очень много азиатов, африканцев и остаются у нас, и хотят остаться, но им не всегда это разрешают. А я не знаю, что лучше: если в городе живут 90 процентов русских и, к примеру, 10 процентов кавказцев или если это не 10 процентов кавказцев, а, допустим, 80 процентов русских и по проценту других двадцати народов, представляющих этническое разнообразие. Может, это будет более устойчивая структура?

*— Кто-нибудь интересовался, в какой момент у населения начинается фобия, отторжение мигрантов? Каков тут предельный порог?*

— Нет такого порога. Мы проводили специальное исследование по Приволжскому федеральному округу, выбрав три региона. Это Нижегородская область — этнически очень однородная, там более 85 процентов русских, много татар, других народов Поволжья, веками там живущих, то есть этнических россиян, и там нет и не было масштабной миграции (область находилась несколько на периферии миграционных потоков 90-х годов). Это Удмуртия — тоже закрытая в прошлом территория (Ижевск — город с крупной оборонкой). И наконец Оренбургская область — по ситуации 90-х годов “проходной двор”. Область, через которую поезда идут из Самары в Оренбург и

далее в Центральную Азию. В свое время я отслеживал все миграционные связи, у меня была диссертация по межрайонной миграции, и я выявлял зоны тяготения для каждой территории. Так вот у Оренбургской области практически не было интенсивных миграционных связей с другими российскими территориями, но был огромный миграционный приток из центрального и западного Казахстана, Узбекистана, вплоть до Таджикистана. Это была ее зона тяготения. Мигранты приезжали в Оренбург, далее они шли на Самару, которая имела схожие зоны миграционного тяготения. Это были “ворота” в Россию из Средней Азии. И всегда в Оренбурге, как бы ни складывалась ситуация в государствах Азии, определенная доля мигрантов оседала, потому что это первая остановка на их пути, а для кого-то — “самая ближняя Россия”. И всегда их здесь будет больше, чем на других территориях. Мы провели опрос об отношении населения к иммигрантам. И оказалось, что в Оренбургской области, где как раз инокультурных, “чужих” мигрантов больше, чем в Нижегородской области и Удмуртии, отношение к ним лучше. Здешнее население привыкло жить в таком “котле”, причем к казахам, к некоторым народам Центральной Азии отношение вообще как к своим. Кавказцы же, если приедут — это уже нечто другое. К ним отношение хуже. А вот если в Нижегородской области, допустим, появится даже небольшая прослойка казахов — да что вы, это просто какой-то наплыв “чужих”. Больше трех процентов — и уже начинаются фобии, страхи, погромы и т. д. Здесь все не так однозначно.

— *А миграционные потоки внутри страны за последнее время сильно изменились?*

— Достаточно кардинально.

— *У нас есть сейчас самодостаточные территории, какой, скажем, была Республика Чувашия, где прежде вербовали рабочую силу для других регионов?*

— Я бы не сказал, что она самодостаточная. Все-таки половина чувашей живет за пределами Чувашии, как и

большая часть татар живет за пределами Татарстана. Вспомним 90-е годы, подъем национализма в этих республиках и т. д. Но сейчас нет масштабного притока туда лиц коренной национальности. Идет очень небольшой приток татар, но, если таким образом они будут стягиваться в Татарстан, это будет происходить на протяжении нескольких веков. За счет чего растет в республике число татар? За счет того, что из Средней Азии они едут в основном в Татарстан, как едут оттуда же и в тот же Татарстан русские — и в составе семей, и самостоятельно. Если жили здесь раньше в деревне или в городе, сюда и направляются. Идет возвратная миграция. А чтобы, допустим, татары вдруг в массовом порядке поехали из Саратовской области или Башкирии в Татарстан — такого нет. Подобного “собирания нации” в пределах Приволжского округа нами не отмечено. А мордва, например, до сих пор еще выезжает, по Мордовии сейчас отрицательный миграционный прирост, то есть больше людей отсюда выезжает, чем сюда приезжает. Мы специально это отслеживали. Удмурты тоже совершенно никак не концентрируются.

*— Раньше коренного москвича, например, во многом сдерживали в его порывах уехать, поработать, пожить где-то еще — прописка, квартира и т. д. Страшновато обрывать все концы и вместе с тем удастся ли обустроиться на новом месте? Как с этим сейчас?*

— У нас нет рынка дешевого жилья. Пожалуйста, можно снять квартиру, но ты должен найти себе высокооплачиваемую работу. Скажем, человек приехал на Ижевский машиностроительный завод, у него зарплата там будет 4–5 тысяч рублей (по местным рамкам нормально), но он не сможет на эти деньги снимать жилье, потому что должен будет отдавать за него больше половины. А 10 тысяч ему не в состоянии заплатить предприятие. Построить дом заводу сейчас не по силам. Раньше при каждом крупном предприятии было общежитие, они их “сбросили” в начале 90-х годов, как практически всю “социалку”. Может быть, кто-то на этом нажился, может, просто по безалаберности избавились. Так или иначе, но общежитий уже



нет. И нет возможности привлекать людей извне, то есть с расстояния более часа-двух езды от завода. Вот это сильно сдерживает сейчас движение рабочей силы в пределах России, из региона в регион.

— *Если человек сам решил переехать, его ведь никто не ждет.*

— Даже если кого-то ждут, то не готовы дать ему квартиру. Ты хороший специалист, мы тебя возьмем. Но квартиру уж как-нибудь найди сам. И зарплату тебе не можем дать такую, чтобы ты купил жилье или хотя бы снял его. А так ради бога. На многих предприятиях сейчас дефицит рабочей силы. Как только завод поднимается — оглядываются, а этого уже в цехе нет, того нечем заменить. И т. д. Сейчас даже пенсионеров активно привлекают. Человек оставил производство, а его обратно зовут: ну, давай еще поработай, у нас заказ. А пенсионеры тоже не вечные. Целые отрасли, в том числе здравоохранение, образование, ищут необходимых работников. Может быть, кто-нибудь и поехал бы учительствовать в Москву, допустим, из Костромы, но... В целом это, конечно, большая проблема.

— *Никита Владимирович, почему вы стали заниматься именно этой тематикой?*

— Ну, только не из-за фамилии, которая является в данном случае как бы знаковой: “чужой”! Я окончил географический факультет педагогического института (ленинского, в Москве) и сразу пошел в аспирантуру. Я отношусь к поколению (мне 32 года), для которого главными событиями собственной жизни стали события, происходившие в стране и оставившие самый большой отпечаток, — это крах СССР и развитие рыночных отношений. Думаю, я здесь не оригинален. Развал Союза не задел меня в каком-то личном, бытовом, что ли, плане. Я жил в Москве и даже практически не выезжал за ее пределы. И мама у меня родилась здесь. Отец, правда, родился в Костроме, и то во время эвакуации из Москвы. Родственников — таких близких, которые ездили бы ко мне, — за пределами Рос-

сии не осталось. Может, кто-то и есть, но я о них не знаю. Так что разрыва родственных связей я не ощутил, но просто было очень жалко, что распалась такая великая и, на мой взгляд, хорошая и перспективная страна. И мы допустили это, при безответственности лиц, принимающих решения.

Научная тема, которую я выбрал еще в аспирантуре, вышла на какой-то новый уровень остроты, креативности, как теперь говорят, в плане будущего страны. Заниматься ею интересно и, думаю, важно. Опыт моих старших коллег (А.Г. Вишневого, Ж.А. Зайончковской) это подтверждает. Возможно, и я скажу здесь свое слово.

— *Каким вы представляете наше будущее?*

— То, что сейчас пытается строить Европа, у нас уже было. И мы все равно когда-то придем к тому же. Так или иначе. Основной костяк стран бывшего Союза останется в тесном взаимодействии. Например, у Казахстана южная граница тоже не спокойная. Он тоже будет тяготеть к России. И страны Центральной Азии.

— *Почему все должны непременно к кому-то тяготеть?*

— Потому что действительно в современном, глобальном мире страна не может жить сама по себе. А почему к России? — есть немалые основания, чтобы все постсоветское пространство тяготело именно к нам. Мы более ста лет, а с кем-то двести и триста лет жили вместе. Переплетались исторические судьбы, смешивались семьи (сколько их на этом “пространстве”!). Получил распространение русский язык, и, несмотря на то что он кое-где вытесняется, значительная часть населения бывших советских республик его знает. Трудно представить, что Таджикистан, например, будет тяготеть к США или к Великобритании, или Германии. Им-то он зачем?

Тенденции глобализации, на мой взгляд, весьма долговременны. Скажем так: есть процессы, которые будут длиться столетиями. События 11 сентября, как принято

теперь говорить, раскололи мир, и я воспринимаю их как некий всплеск, какую-то шероховатость на пути к глобализации. Но отнюдь не как “начало чего-то”, третьей мировой войны, допустим, что некоторыми всерьез обсуждается. А еще лет двадцать назад “империей зла” считали СССР, полагая, что война между ним и западным миром неизбежна. Очень хорошо помню, как на экране телевизора появились некие часы (пропагандистская акция), как бы символ того, что миру до катастрофы осталось пять минут, вот уже три... — и какие-то люди сопровождали ход последних минут устрашающими комментариями. Впечатляло. Я очень волновался. А помните, как Рейган шутил: “Я тут отдал приказ”... Все меняется, как видите. То же, думаю, произойдет и с “исламской угрозой”.

Если Россия останется целостной и будет развиваться поступательно, то она способна сформировать какой-то собственный центр, собственный мир. Влиться в западный мир или присоединиться к ЕС Россия не сможет, потому что тогда ЕС перестанет существовать. Равно как не будет существовать НАТО, если мы присоединимся к нему.

— *Нам следует, стало быть, развивать свою самобытность, оригинальность?*

— Нам не нужно развивать некую оригинальность. Нам нужно, скажем так, поднимать свою страну, развивать экономику, может быть, догонять не Португалию, а более амбициозную или более сильную страну, не чураться своих ближних соседей, без которых в принципе очень трудно прожить. Возможно, мы будем расширять свои границы, а не ограничивать их, потому что Россия не станет вдруг очень богатой страной с населением 75–80 миллионов человек, из которых половина — пенсионеры. Я во всяком случае такой вариант не вижу.

— *Тяготение все же к имперскому варианту?*

— Не к имперскому, а скажем — что характерно и для других стран, — к большим кускам мира. Канада, США, Мексика, возможно, образуют единое государство, Евро-

па — свое государство, а Россия — свое. Китаю никого не надо, он самодостаточен, ему объединяться не нужно и не с кем.

*— Согласитесь, у российского населения все же большие опасения относительно наших восточных территорий. И связаны они прежде всего с Китаем. Есть для этого реальные основания?*

— Китай, на мой взгляд, — единственная страна, которая в состоянии тем или иным образом поглотить отдельные наши территории. Это так. И что из того следует, как с этим бороться? А не обязательно бороться методом “хватать и не пущать”. На одной из научных конференций я, например, услышал, что с проникновением в теневой бизнес дальневосточных регионов азербайджанцев оттуда вытесняются китайцы. Я заинтересовался: действительно ли так? Да, вытесняют, в частности, из Улан-Удэ, из Хабаровского края. Китайцы — замкнутая диаспора. Свои структуры, даже своя негласная полиция — и не суйтесь к нам, не трогайте наше дело. А у азербайджанцев все гораздо проще, им легче “дружить” с нашими правоохранительными органами. Я говорю в данном случае не о методах и не о подверженности коррупции. Просто население на том же Дальнем Востоке может стать мультикультурным, мультинациональным. Если там среди мигрантов не будет полного превалирования китайцев, а будет их, допустим, 25 процентов, 10 — вьетнамцев, 4 — филиппинцев, сколько-то приехавших из Центральной Азии, или, может, из Закавказья, — это, мне кажется, гораздо лучше, важнее в целях сохранения наших территорий. Проще держать в поле зрения 20 диаспор, чем одну, которая еще под боком имеет могучую страну. Китай сейчас ставит своей задачей обогнать США по объему экономики. Возможно, в XXI веке это и будет ведущая мировая держава. Ну, как с ней конкурировать? В России даже не высказывается подобных прогнозов. Один китаист сказал по этому поводу: мы привыкли быть большой страной, таким медведем; прибалты по отношению к нам чувствовали себя маленькими, уязвимыми; а сейчас может наступить ситуация, когда мы

станем маленькими по отношению к Китаю и будем зависеть от всех телодвижений этого нашего великого соседа.

Выход тот же, я думаю: быть страной, которая не стагнирует, а развивается. Это единственная возможность сохранить Россию как некое единое целое и еще сформировать вокруг себя блок дружественных нам государств, свой союз.

*— Вам как исследователю, у которого впереди немалый путь, какая тема или проблема, связанная с миграцией, представляется наиболее перспективной и интересной?*

— Очень было бы интересно разработать такую тему: что нужно сделать, чтобы у нас сформировалось мультинациональное общество без формирования зон сегрегации, без, может быть, даже мультикультурализма. Чтобы это было многонациональное общество, но на основе славянской культуры, русского языка. У нас был и сейчас остается, как я уже говорил, очень высокий процент смешанных семей. Любого русского копни (за исключением, пожалуй, жителей сельской глубинки) — там такое намешано! Россия, мне кажется имеет огромный опыт ассимиляции. Ведь Русь XV века коренным образом отличалась от Киевской Руси. Именно за счет того, что она смешалась с Великой степью. Православная вера как была, допустим, в XI веке, так и осталась в XV. Но, может быть, народ и уклад его жизни стали другими, потому что произошло, я уверен, не чистое поглощение, а взаимообогащение народов.

Если в этой связи вернуться к Китаю и мигрантам-китайцам, то я лично не против, чтобы они жили у нас, даже в большом количестве. Но только чтобы они владели русским языком и были бы похожи, допустим, на китайцев, живущих в Канаде (в Ванкувере их много). Я даже потерплю, если на территории Москвы будет китайский квартал.

*— Если вы согласны с тем, что в современном мире все предельно убыстряется, то сколько примерно у нас остается времени, чтобы как-то отрегулировать на-*

*званные вами потоки и мы имели бы нечто желанное в области миграции?*

— Времени у нас осталось немного. Но не потому, что оно течет так быстро, а потому, что у нас очень скоро демографическая ситуация станет одним из основных тормозов развития экономики. Скоро начнется сокращение трудовых ресурсов. Сейчас трудоспособное население все еще растет, и оно будет расти, по расчетам, до 2006–2007 годов. Пока идет эта волна. А как только оно начнет сокращаться, и достаточно быстрыми темпами, — вот тогда уже будет гораздо сложнее. Мы ограничены во времени и тем, что если сейчас еще можем привлечь те 3–4 миллиона русских и русскокультурных из бывшего СССР, то лет через десять у нас не будет такой возможности. Многие уже уехали, но опять же в той ситуации, когда не было практически никакой поддержки со стороны Российского государства. Я, поработав в ФМС, знаю, что это такое: реальная помощь доставалась только тем, кто брал горлом. Сейчас еще можно как-то развернуть или, точнее, “простимулировать” этот миграционный поток, пока русские не укоренились на землях иных теперь государств...

*— А нет опасения, что пока развернутся эти потоки, к нам приедут в итоге уже пенсионеры, и мы получим в их лице дополнительную нагрузку, а вовсе не помощь, не дополнительную рабочую силу?*

— С точки зрения возрастных пропорций населения — да, миграционный поток из бывших республик будет мало отличаться от российского населения, которое, как известно, стареет. Чтобы сохранить нынешние пропорции между трудоспособными и нетрудоспособными, нужно многократно больше, чем сейчас, привлекать мигрантов. Они тоже, конечно, будут стареть, проблему старения замещающая миграция не решает. Но России, как мы говорили вначале, вообще нужно население. Трудоспособных все-таки будет больше. Приедут с детьми. Какую-то роль сыграет и временная трудовая миграция. А потом если к нам начнут приезжать нерусские, то они будут более моло-

дыми уже в силу своих демографических установок. Так что, если хотим молодую иммиграцию, надо привлекать не русских, а представителей “южных” народов.

Ну а если будем возводить крепость под названием “Россия”, как некоторые предлагают, то нам только на одну российско-казахстанскую границу нужно отдельную армию ставить. И никакая профессиональная армия эту проблему не решит. Нам еще надо будет раздуть армию.

— *Никита Владимирович, как вы сами могли бы определить смысл, цель вашей исследовательской работы?*

— Мне кажется, что глобальная цель моей работы — это все-таки попытка убедить власть и народ в необходимости либерализации миграционной политики анализом и популяризацией каких-то идей. Сейчас должна взять верх не охранительная, не консервативная, не почвенническая, а либеральная идея. Либеральная же идея в миграции — это необходимость для России стать страной иммиграции. Не этнически ограниченной, а мультинациональной. Мы все-таки должны привлекать к себе людей разной национальности. Однако привлечь — полдела, а вот как добиться, чтобы это происходило без ущерба для безопасности страны, без возможных общественных конфликтов и других негативных последствий. Это сложная задача. Но на самом деле ее пока никто и не брался решать. Нужно еще лет десять убеждать людей. И, может, к этому когда-то придут, но не в ближайшее время.

— *Вы работаете со старшими коллегами, людьми пожилыми. Не ощущаете, что называется, разрыва поколений?*

— Сейчас ведь нет в науке такого, чтобы молодые думали принципиально по-иному, чем ученые средних лет или более пожилые (средних лет, кстати, мало, есть молодежь и люди 60 лет и старше). Я бы не сказал, что между ними какой-то конфликт: отцов и детей, мэтров и учеников. Здесь конфликт между мэтрами: либо исповедуешь эту

идеологию, либо ту. Разные школы... А вообще я не дружу с людьми по принципу возраста.

— *Вы видите отличия предыдущего поколения от вашего?*

— Те, кто относится к предыдущему поколению, сформировались во время застоя и при более спокойной жизни. Они состоялись, нашли работу, занимают властные позиции, а мое поколение (я себя не сильно позиционирую) — это поколение какого-то рубежа. Поступаешь в один институт — заканчиваешь другой, потому что он по-иному уже называется. Хочешь получить одну профессию, а по окончании получаешь другую и совершенно иначе относишься к тому, с чего начинал, потому что за это время происходит переоценка всех ценностей.

Мама мне твердила: “Ты должен пойти в армию, там вступить в партию, потом...” То, что я в институте или после него пойду в армию, даже не оспаривалось — тогда не было отсрочки и т. д. “После института ты должен поработать на кафедре, остаться в аспирантуре, стать кандидатом наук и доцентом”. Вот это предел того, что хотела моя мама. Верх карьеры. В армию я не пошел (мы были первые из студентов, кому дали отсрочку). В партию не вступил (не хотел, да и партия к тому времени развалилась). Со второй частью все получилось так, как и задумывалось, только на кафедре не работал, меня сразу взяли в аспирантуру. Я даже стал и. о. доцента (когда-то преподавал). Все как бы реализовал, но есть некая неудовлетворенность. Моя сегодняшняя программа — просто заниматься делом, которое интересно, быть в нем успешным, публиковаться. Не могут же все быть бизнесменами. Я не представляю, как я был бы бизнесменом.

— *Мама довольна?*

— Мама утратила всяческие стратегические идеалы.



М.И. Алхазуров  
“Будем выбираться из тупика”

— Магомед Исаевич, вы живете в Грозном, занимаетесь молодежной политикой (если можно столь буднично обозначить это в сегодняшней Чечне). И вместе с тем вы учитесь в аспирантуре Российской академии государственной службы, собираетесь защищать диссертацию. Как сочетаются в вас политик и будущий ученый, исследователь? Та и другая ваша деятельность служат одной цели?

— Безусловно, одной. Я и учиться пошел, чтобы мог принести больше пользы как политик. Собственно, по первой специальности я горный инженер-нефтяник, в 96-м году окончил Грозненский нефтяной институт, и тогда же меня избрали в наш парламент — Народное собрание. Мне было всего 23 года, я, по сути, был самый молодой депутат. Проработали мы, к сожалению, недолго, полтора месяца. Вы знаете, что 6 августа боевики опять вошли в Грозный, потом — Хасавюртские соглашения, вывод российских войск... В общем-то наша власть закончилась, толком и не начавшись. И в последующие три года я лично был в стрессовом состоянии: в России нас преследовали, потому что мы чеченцы, а дома тоже преследовали, потому что мы пытались после первой войны как-то войти в российское правовое пространство. Сепаратисты, естественно, нас считали врагами народа, и в буквальном смысле за нами шла охота. Я как бывший депутат тоже числился у них в списках. Должен был на какое-то время перебраться в другое место, потом опять вернулся...

— Вы и тогда жили в самом Грозном?

— Да, всю жизнь. Я родился и вырос в Грозном. Еще до избрания в парламент меня включили в состав Комитета национального согласия — был такой предпарламентский орган, представлявший интересы народов, районов, партий, движений. Вот фактически с 95-го года я пытаюсь заниматься политикой. В общем-то никогда не думал, что так сложится судьба. Вернее, судьба Чечни, которая предопределила мою судьбу.

*— А сейчас каково отношение к тем, кто был внесен в подобные списки, в том числе и к вам?*

— Ситуация изменилась. В корне. Нас преследовали, когда была ичкерийская власть, именно ичкерийская. Собственно говоря, я не был для них некой фигурой, “сработал” сам факт моего избрания в депутаты именно во времена действия российских законов. Но в общем-то, по большому счету, я — один из сторонников независимости самой первой волны, пришедшей в республику. Да, и мы, будучи студентами, бегали на митинги, приветствуя ту революцию, если ее можно назвать революцией. Только мы имели в виду нечто иное, чем Басаев, Дудаев и прочие. Мы требовали максимум независимости, самостоятельности, экономической в первую очередь, — в пределах Российской Федерации. Нам была чужда коммунистическая идеология, “застойная”. Но когда вокруг Джохара Дудаева, первого президента, как его называют (отнюдь не все в республике считают выборы 91-го года действительно законными), начали группироваться люди, которые почему-то готовились к войне, — мы не могли разделять их взгляды, методы, их подходы. Мы говорили, что идти таким путем — значит спровоцировать Россию, центральное руководство, естественно, будут жертвы, а мы не хотим независимости любой ценой. Они же считали, что это нормально, все равно война неизбежна. В итоге произошло то, что произошло, чеченский народ стал заложником этих обстоятельств. После первой войны с ее ужасающими последствиями мы, молодые, естественно, хотели активно участвовать в жизни своей республики, внести наш вклад в ее возрождение. Не имея ни опыта политической деятельности, ни опыта уп-

равленческого, мы все-таки самоорганизовались и создали в 95-м году партию, которая так и называлась — партия национального возрождения Чеченской республики. Ядром ее были молодые люди, студенты. Когда мы проводили какие-то акции, нас собиралось до 700 человек, а наиболее активных, которые, скажем так, этим жили, — не больше 50. И, естественно, у нас было желание учиться, развиваться, приобретать знания и опыт. Вот откуда и у меня такая потребность. Я просто где-то услышал, что существует Академия госслужбы. Мне хотелось получить знания именно в сфере управления. То есть я уже настроился на то, что у себя дома буду все силы прилагать к тому, чтобы не допускать больше таких вещей, когда какие-то безнравственные люди позволяют себе вот так бесцеремонно в общем-то подставлять свой народ, бросать его в огонь войны. Чтобы они никогда не приходили к власти и не могли пользоваться этой властью.

— *Но вас же мало.*

— Нас мало, безусловно. И пока, по сути, используют те же методы, подходы и даже люди, призывавшие к войне. Сегодня такая ситуация. Мы ее проанализировали, какое-то время находились в оппозиции, но потом пришли к выводу, что противостоять сепаратистам, по-прежнему выступающим с оружием в руках, сейчас, видимо, лучше смогут действительно те, кто понимает их логику, их психологию. На данном этапе это, возможно, правильный шаг. Но в дальнейшем...

Я узнал, какие документы нужны для поступления в российскую академию, подготовил их, сдал экзамены, написал реферат — все по правилам. Это был 2000-й год. Учился заочно и получил второе высшее образование, став менеджером государственного и муниципального управления. А потом поступил в аспирантуру на свою же кафедру “Национальные и федеративные отношения”. Пишу диссертацию: “Зарождение и развитие государственности Чеченской республики”.

— *Вы один такой исключительный?*

— Что значит “исключительный”? В Чечне много молодых людей, у которых должно быть будущее. Как раз в 2000 году мы поднимали эту тему очень громко — обращались к президенту, в Южный федеральный округ, к нашему руководству: нужна целевая республиканская программа, где отдельным блоком ставились бы задачи именно учебы, формирования молодых кадров. Мы такую программу разработали. Для начала нужны какой-то объем знаний и, конечно, желание.

— *Тоже получить второе образование? И желающие есть?*

— Конечно. К счастью. Я сейчас как раз помогаю нашим ребятам поступать в Академию госслужбы. Большой конкурс, 50 человек хотят приехать, академия, естественно, всех принять не сможет. Но уже то, что столько претендентов, меня просто радует. Люди сознают (не говоря уже о личных планах), что современные знания нужны будут нашей республике именно в сфере управления, что она сможет существовать как любое нормальное государство, имея свои подготовленные кадры.

— *Появляется уверенность, что война все-таки кончится? При том, что кажется: этому нет конца...*

— Просто вот эта вторая война и все, с ней связанное, изуродовали людей. У нас ведь немало ученых, много людей образованных, есть хорошая интеллигенция. Но они на обочине, не востребованы.

— *Такое ощущение, что они все в Москве.*

— Да, они разъехались, и в Москву, и в другие регионы. Некоторые остались в Чечне, но их не слышно, их “задвинули”. А они должны участвовать в восстановлении. Сейчас официальная политика в общем-то состоит в том (возможно, я повторяюсь), чтобы активных участников вооруженного противостояния привлечь на сторону феде-

ральных властей. Они и в правительстве, и в силовых структурах. Это их время, к сожалению.

— *Ваша ставка — на силу интеллектуальную? Подоспелет новая, молодая волна, вернутся уехавшие. Вы думаете, они вернутся?*

— Думаю, что да. Главное — создать условия для безопасности людей...

— *Вас интересует и опыт Запада, судя по тому, что вы уже побывали в Германии, во Франции, в частности в Страсбурге? Как это получилось?*

— Мне повезло, в силу той же тяги к учебе. Я — по сути, тоже случайно — узнал о существовании Московской школы политических исследований. Заинтересовался. Это семинары — двухнедельные или недельные. Прошел через такие семинары — один, второй. И был просто поражен уровнем экспертов, которых школа приглашает. Перед нами, представителями регионов, выступали эксперты международного уровня — российские политологи, советники президента страны, действующие политики, специалисты различных областей знания. Эксперты выступают на определенную тему с докладом — и разворачиваются дискуссии, где оппонентами уже выступают слушатели. Очень удачное, на мой взгляд, сочетание: во-первых, я получаю знания, а во-вторых, общаюсь с людьми, которые реально у себя в регионах “делают политику”.

— *Они вам оказались близки?*

— Ну конечно! Мы хотим приобщиться к интеграционным процессам, узнать, как и чем живут в других субъектах Федерации. Нам интересен их опыт — какие законы они принимают, как решают социальные проблемы, выстраивают свои взаимоотношения с федеральным центром. Все это, безусловно, важно. Как и реальные знакомства. Кстати говоря, когда у нас в доме правительства был взрыв (а я как раз оказался там), многие звонили, писали — хо-

тели узнать о моей судьбе. Когда я об этом узнал, было приятно. Есть уверенность, что у меня по стране немало друзей.

Школа и возила нас в Германию, в Страсбург; мы были там по неделе.

— *Вам кажется, опыт Запада можно преломить к нашим российским и, в частности, чеченским реалиям?*

— Конечно. Почему нельзя принимать положительный опыт других стран? Иногда говорят: зачем нам этот Запад, мы должны идти своим путем. Я считаю, что это неправильно. Думаю, такие разговоры ведутся потому, что у нас социально-экономическая ситуация плохая. Реально люди живут униженно-бедно, кого-то надо за это винить — вроде бы так и легче. А вот и виновник — Запад, США... У меня было всего две поездки, две возможности как-то присмотреться, поучаствовать в обсуждениях. Естественно, я читаю литературу, она очень помогает, как и аналитические материалы... Мы же, Россия, часть мира, мы же не можем жить в отрыве от каких-то общих процессов.

— *Так думает и ваше окружение — новое поколение, подросшее уже в войну? Ваша партия еще существует?*

— Мы вынуждены были ее перерегистрировать (по новому федеральному закону). Теперь это не партия, а Национальный совет молодежных объединений Кавказа, куда входит 26 молодежных и детских неправительственных организаций Чечни, Осетии и Дагестана. Думаем расширять свои связи. Задача одна — содействовать решению социально-экономических, организационно-правовых проблем молодежи.

— *Но они, эти проблемы, видимо, различны в разных регионах?*

— Конечно, немного отличаются, но по большому счету исходная причина одна: социально-экономическая. А в

Чечне это просто крайне обострено, близко к катастрофе. То есть если молодым чеченцам и вообще гражданам Чечни не предоставить сейчас возможность быть занятыми, зарабатывать, иметь хотя бы временные заработки, я уж не говорю о возможности учиться, — их легко рекрутируют те самые незаконные формирования. Очень легко. Должна быть в этом отношении какая-то государственная политика, мы об этом уже четвертый год буквально кричим. Недавно провели в Грозном гражданский молодежный форум, пригласив представителей молодежных организаций России, правительственных структур, депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации. Все приехали. Услышали ли нас? В наших условиях, когда миллионы и миллионы тратятся на войну, как-то изменить положение, чего-то реально добиться можно только через государственные структуры. Общественные организации у нас едва встают на ноги.

Чечня, конечно, особый случай. Вот решили прибегнуть к одной из демократических процедур — провести референдум. Мы в этом тоже участвовали — предварительно проводили дискуссии, круглые столы, встречались с молодежью. Многие озлоблены, оскорблены. Война не может восприниматься как справедливая — столько было всего ужасного с обеих сторон. А народ как буфер — пострадали-то мирные жители. И у них — недоверие, у них — страх, у них — ненависть к федералам. Мы говорили: надо провести референдум, принять свою конституцию, избрать свои органы власти. Нам отвечали: “Да вы под диктовку федералов действуете. Тут идет война — какой референдум? И если мы, допустим, примем конституцию — где гарантия, что изберем в президенты того, кого хотим?” Мы говорим: “А какой выбор? Нас убивают и некому защитить, не с кого спросить. Так, может, лучше сохранить сейчас свои жизни? Мы должны иметь органы власти, которые могли бы взаимодействовать с федералами. Потом уже займемся, если потребуются, доработкой конституции путем того же референдума”. Не верили. Людей можно понять — и нельзя понять. Камнем преткновения мог стать, например, такой вопрос: “Почему делопроизводство не ведется на чечен-

ском языке?” Что, спрашиваю, сейчас это столь актуально? Нам надо войну закончить. Нас убивают, каждый день гибнет по 50–60 человек. Неужели вы не хотите остановить это? К тому же наш язык надо еще культивировать, развивать, чтобы можно было его использовать на официальном уровне. Послушайте ученых, этнографов. Вот когда мы настолько его разработаем, тогда и будем претендовать на такие вещи. Но это будет не раньше, чем через 10–20 лет...

Референдум прошел, я искренне считаю, что это было нужно. Мы тем самым дали действовать на территории Чеченской республики закону. Получили возможность на его основе формировать парламент, полноценные органы власти. Я вас уверяю: с депутатов уже можно требовать решения насущных проблем. Ведь не может быть такого, что существует законодательный, представительный орган — и ничего нельзя сделать. Надо двигаться поступательно, не обольщая себя и других: сегодня идет война, а завтра все будет хорошо.

*— Магомед Исаевич, вот нам регулярно показывают по телевидению кадры (если они правдивы), как боевики складывают оружие перед представителями власти, рассчитывая на амнистию... К вам молодые добровольно идут, раскаявшись и приняв вашу позицию?*

— Идут, и есть конкретные примеры: 16 человек в последнее время вытянули. Мы знаем своих потенциальных сторонников. Это молодые люди, у которых погибли родственники. Бомбежки, город фактически сравнивали с землей, там было немало безвинных жертв. И люди пошли за них мстить — чистая психология, тем более у нас на Кавказе чувство кровной мести еще сильно. Они не были идейными сепаратистами, не проповедовали идеи имамата, шариата, вот эти молодые люди. Мы ходили в их дома, разговаривали с семьями (ну, Чечня же маленькая, знаем, кто там ходит, кто бегаёт), просили содействовать их возвращению, повторяя, что это несправедная война. Будем откровенны, говорили мы: вот эта вторая война спровоцирована ваххабитами, Басаевым. Их лозунг — создать ис-



ламское шариатское государство, отобрав у России весь Северокавказский регион, вплоть до Ростова, а потом “освободить” и весь мир, сделав его исламским — в их понимании; нас, чеченское общество, чеченский народ, загоняют в какое-то дикое средневековье...

Вы знаете, в те три года, когда я вынужден был отсиживаться, скрываясь от сепаратистов, я пробовал вникнуть в их идеи, выступления. Это бред какой-то, неистовый экстремизм! После Хасавюртских соглашений, после мирного договора с Россией (хотя я и мои сторонники были против этого, но раз Россия подписала, ну, ради бога) мы действительно верили Масхадову, что можем построить независимое светское государство, цивилизованное, как представляет это обычный гражданин. Но когда поняли, что общество начало маргинализироваться, начали рекрутироваться бандформирования, стало ясно, что чеченское общество не готово создавать свое независимое государство. Просто не готово.

— *Когда вы, проводя те же круглые столы и дискуссии, говорите такую фразу, вас понимают или сразу считают врагом общества?*

— Не скажу, что меня зачисляют во враги общества, но непонимание определенное есть. И не только среди молодежи. Бывает, и среди ученых, интеллигенции, которые действительно верят в идею независимого государства. Ну а кто против независимости? Это у нас в генах. Чеченский народ всегда стремился быть свободным. Но тут важно различие подходов. Мир изменился. Ведь если мы хотим быть независимым бандитским государством, которое было при Масхадове, — это одно. Я знаю, что многие чеченцы не хотели такого государства. А что значит быть независимым? Посмотрите: у нас ведь соблюдается международная конвенция, подтверждающая возможность самоопределения народа. Россия говорит: давайте формируйте свои органы власти, у вас своя конституция, вы общаетесь на своем родном языке, учите ему детей, развивайте его. Кто против? Кто нам запрещает молиться, соблюдать исламскую веру? Никто. А у них, сепаратистов, какая идеоло-

гия? Фактически идеология смерти. Они призывают к какому-то вечному газавату. Если послушать их лидеров — Басаева, Удугова — с неверными надо воевать, русских — убивать. А за что? Когда идет дискуссия с нашими молодыми чеченцами, я спрашиваю: “А почему мы должны их убивать? Кто дал нам такое право? Вы Коран читали? Почитайте Коран”. В Коране сказано: “людей Писания уважайте”. Это слова Всевышнего. А кто такие “люди Писания”? Христиане и иудеи. Всех людей создал Бог. Почему один имеет право убить другого? Если человек убивает невинного, говорится в Коране, на нем кровь всего человечества. Раз “иноверцы” существуют, раз существуют другие культуры, — откуда взялось, что их надо уничтожать? Я сам изучаю Коран, и когда вникаешь в эти вещи, становится совершенно невыносимой та лживая политика, от которой веет только смертью. И я и мои друзья поняли, что мы не можем сидеть просто так, мы должны активно формировать у себя дома новых политиков, которые исповедовали бы традиционный ислам с его миролюбием, толерантностью, которые выдвигали бы новые, демократические, общечеловеческие идеи. В Чеченской республике они должны восторжествовать — вот главная наша задача. Экономике и тактическим вещам мы будем учиться по ходу того, как начнем постепенно возрождать республику. Меня не оставляет мысль: ведь раз лидеры сепаратистов, подписав с Россией мирный договор, нарушили его, развязав новую войну, они же фактически подставили свой народ. Результат этой войны все мы знаем: погибли тысячи и тысячи, инфраструктура республики уничтожена. И что? Как этих людей уважать, идти за ними, как их вообще понимать?

— *Возможно, их просто боятся?*

— Безусловно. Единственный фактор — страх. С одной стороны — убийцы, вооруженные до зубов, а с другой стороны — простое мирное население. Ну, конечно, боятся. Естественно, какой-то страх есть и у нас, но мы все равно идем против них, против их идеологии, сознательно, зная, что можем и погибнуть... Но опять же: выбора

нет. Они нас тянут в средневековье, в хаос. Мы же не можем смотреть спокойно, как это все происходит. Хотим и миру всему доказать — почему нет? — что есть нормальные чеченцы.

— *Для вас важно, чтобы мир услышал и такую точку зрения?*

— Ну, конечно! Когда я был в Страсбурге, я спрашивал людей из ПАСЕ: “Почему вы поддерживаете крайние, ультраэкстремистские течения?” Я действительно этого не понимаю. Ведь никто не против мирных переговоров. Есть много чеченцев, которые сейчас говорят: да, мы действительно хотели независимости, но какой разговор о ней в нынешней ситуации? Какая независимость, если столько жертв, экономика разрушена? Сейчас можно говорить о максимальной автономии. В рамках российского государства реально иметь свою государственность. Если человек может спокойно жить, заниматься своим делом, зарабатывать, учиться, ездить в другие страны — это разве не независимость? Разве не это является целью любого государства? Сепаратисты же стремятся утвердить лишь идеи радикального ислама.

— *А что это им дает?*

— Они в одночасье стали эмирами, повелителями других. То есть получили власть, деньги. Они тешат себя иллюзиями, что являются личностями — плюс еще и тщеславие... А иногда мне кажется, что на каком-то этапе у них просто “крыша поехала” — по-другому не могу объяснить.

— *В свое время нам часто “транслировали” Удугова. Он казался совершенно нормальным образованным человеком, довольно логичным. И ведь действительно выиграл тогда у наших военных пропагандистскую кампанию, это признавали многие. Когда слушаешь такого молодого, убежденного, хорошо говорящего человека, невольно думаешь: значит, он верит в то, что говорит, значит, видит перспективу. Так, может, такое впечатление и у других?*

— Возможно. Так, безусловно, многие и поверили им и пошли за ними в первую войну. А давайте послушаем теперь Басаева. Кто такой Удугов? Он в общем где-то на десятых позициях. Первые-то роли играли Басаев, Хаттаб. А их слова: “Убивайте русских. Вообще не давайте им покоя. Надо отобрать земли у России”. Если их слушать, мы вечно будем воевать.

— *Так и получается — уже 400 лет.*

— А разве интерес чеченского народа — воевать, создавать некие исламские государства? О каких перспективах речь, если Басаев намеревается свергнуть того же Масхадова, объявляя его горе-политиком и навязывая ему свои идеи...

— *Вы считаете, что началась уже игра амбиций и т. д.?*

— Ну, конечно! И эти амбиции должны реализовываться через кровь, через гибель людей. Мне просто обидно за тех чеченцев, которые слепо и глупо шли за такими “лидерами”. А они собирали толпы людей. Тысячные толпы. Меня это просто ужасает.

— *Вы же как молодежный политик понимаете, что, если человек способен собрать тысячную аудиторию, чем-то он ее, эту аудиторию, держит?*

— Но, извините, Гитлер тоже собирал тысячи людей. Такие же лозунги: мы — избранная нация, пуп земли, мы будем жить богаче всех, мы — авангард...

— *А какие основания для этого у ваших “лидеров”?*

— Ну, приводили какие-то абсурдные доводы, а люди в общем-то в большинстве малообразованные, они-то верят.

— *В этой связи хочется отметить отрадный факт: недавно на центральном телевидении появилась молодая ведущая — чеченка...*

— Асет Вацуева. Вот, пожалуйста, совершенно свободный человек.

— *Жаль, что все примеры — из телепередач; реальную, осязаемую картину практически видите лишь вы сами. Тем не менее кто-то мудро поступил, остановив выбор именно на ней; ведь складывается другое уже представление о тех же молодых чеченцах. В одной передаче — стоят забитые женщины, держат перед собой фотографии погибших и не могут сказать ни слова; жалко их до ужаса, потому что понимаешь, что они ничего сделать не в состоянии. Или лезут в кадр какие-то шустрые тетки, кричат, дерутся. И не понятно, кто истинный. А вот эта девушка показывает, что есть в республике и иное, что современное поколение может вот так себя держать и так говорить. Появляется надежда, что та забитость, та заганность, о которой вы говорили, может уйти... Но она, наверно, “московская” чеченка?*

— Да что вы, она только четвертый год в Москве. Кстати говоря, — дочь известного нашего журналиста Абдулы Вацуева. Он был главным редактором газеты “Грозненский рабочий”. Пошла по стопам отца... Есть надежда, безусловно. Не нужно забывать, что еще советские времена катком прошли по чеченскому народу. Сложился как бы целый поток негативных событий, переживаний, и он выплеснулся на определенном историческом этапе. Известные нам люди воспользовались этой скопившейся отрицательной энергией, выдвинули перед народом гору лозунгов, повели за собой и просто обманули. Вот сейчас посмотреть их путь — пришли к власти, а что сделали? Развязали войну. Народ в нищете. А они где? За границей, неплохо живут.

— *Вы готовите себя и к исследовательской деятельности. Наверняка приходилось задумываться, насколько общие, глобальные процессы, идущие в современном мире, влияют на социально-экономическое, политическое, духовное развитие России и Чеченской республики, в частности. Как это может быть взаимосвязано, на ваш взгляд?*

— Вопрос, конечно, сложный. Мы говорим, что мир изменился, убыстрился, сейчас технологии другие. И знаем, что европейские страны — на фоне энергетического кризиса, дефицита природных ресурсов — пошли по пути сближения, интеграции. Игнорировать эти общие тенденции было бы неправильно, я имею в виду в этом смысле и Россию, и Чечню. Сейчас, в XXI веке, Россия не может при всей ее кажущейся самодостаточности сказать (как иногда говорят) — “проживем и без вас”. Она тоже включилась в процессы глобализации, они побуждают ее интегрироваться в мировое пространство. А Чечня не проживет без России. Если и проживет, то как в Средние века или в начале индустриализации. В этом смысле интерес чеченского народа — быть в составе России. Я не думаю, например, что Грузия, которая сейчас с такой радостью приветствует сама себя, останется вне всяких объединений и союзов. Независимость будет относительная. А в нашем случае некая “самостийность” — совсем беда. Когда-то еще у нас сформируются хотя бы элементы гражданского общества, хотя бы немного укрепится уровень экономического, социального развития, появится стабильность. И в этой связи еще раз я хотел бы подчеркнуть: на данном этапе говорить о независимости и воевать с Россией “до конца” — абсурд. Просто чеченцы вымрут, погибнут в такой схватке.

— *Но сейчас как-то и не говорится об этом прямо, в лоб. Раньше было основным лозунгом — только отделиться... Но если люди продолжают так думать, то ведь и не потащишь их “к лучшей жизни” насильно?*

— Насильно нельзя. Но стоит послушать, что говорят сегодня обычные чеченцы: “Мы хотим просто мирной жизни”... Только это — хотим мирной жизни, кажется, ничего другого уже и нет на уме. Считайте, народ свое желание высказал. И мы, те, кто занимается политикой, имеет какое-то влияние на ее формирование, должны отвечать такому желанию — жить в мире и просто работать. Всё. Остальное сейчас не актуально.

— *То есть вы сторонник того, чтобы идти по ступенькам?*

— Конечно. Может быть, лет через сто-двести, когда наш народ будет готов, когда вырастет новое поколение интеллигенции, когда у нас сформируется хоть какое-то, близкое к гражданскому, общество, мы сформируем наконец и свою государственность. А пока... Людям есть нечего, нет крыши над головой — ну, как тут говорить о таких вещах. Россия один раз нас “отпустила”. Три года — и что мы сделали?

— *Скажите, Магомед Исаевич, — уйдем немного в сторону, — а лагеря беженцев и все, с этим связанное, не приучили людей к некому патернализму, от которого вроде мы и сами страдаем? То есть привозят все готовое, муку-крупы-сахар, так стало привычным жить. Конечно, это нищета, а в общем-то такое положение, кажется, людей устраивает. Понятно, они боятся возвращаться; может быть, им так проще — но это в какой-то мере не действует разлагающе?*

— Совершенно верно. Мы сами говорим, что как раз в последние два года уже развивается иждивенчество, действительно. Ну, когда было, чтобы чеченцы у кого-то там на иждивении жили в палатках? Мы исконные строители. Мы всегда могли за пару месяцев поставить хороший добротный дом. В советские времена по всему Союзу их строили. Конечно, в воюющем городе все может случиться. Но жить где-то в поле... Если не хотят возвращаться домой, то куда хотят? Ну, будут сидеть год, два, три. А строить-то надо, латать свои дыры надо, работу искать, учиться, детей в школу устраивать... Судьба наша такая.

Кстати, на гуманитарной помощи многие и бизнес делают: продадут продукты на 10–20 тысяч, приезжают домой, там занимаются еще каким-то бизнесом; то есть числятся в этих лагерях, реально там не живут, постоянно мигрируют, — была там довольно большая категория таких людей. Это объективно. А другие действительно прямо зависели от гуманитарной помощи, от этого не откристишься.

Но возвращаться надо. Жизнь на иждивении неких организаций, когда тебе всё приносят, конечно, разлагает. Человек всегда должен сопротивляться обстоятельствам, должен какие-то усилия прилагать, правильно? Надо возвращаться. Проблема в другом: власти говорят “приезжайте домой”, вроде и создают для этого “пункты временного содержания”, но там часто нет ни воды, ни туалетов, там холодно, окна не всегда застеклены...

— *Опустились руки? Вы же действительно умеете строить, помотришь на некоторые дома, просто как кирпич уложен — картинки.*

— Частные дома.

— *Ну, частные дома. А почему не строить-то? Люди есть, деньги выделены.*

— Вся проблема в том, что государство должно отдать людям деньги. Оно отдает 300 тысяч рублей. Во-первых, это небольшие деньги, если в семье, скажем, десять человек. Был раньше дом, хороший дом, и государство говорит: вот тебе 300 тысяч, строй новый. Это, на мой взгляд, неправильный подход, и эти деньги не доходят до человека. Сидят чиновники — и здесь, у нас, и федеральные — и требуют еще какие-то проценты. Вот в чем проблема — проблема властей. Власти должны устранять подобные беззакония.

— *Вот вы сможете...*

— Что значит “сможете”? Надо.

— *Представим, вы выучились, стали уже действующим управленцем, на вас все это обрушивается, при том что утвердилось известная традиция — как вы сможете ее переломить? Понятно, что “надо”. А как?*

— Должны быть выработаны прозрачные механизмы, чтобы деньги действительно доходили до людей, чтобы все было гласно.



— *Десять лет идет война, и десять лет слышишь: “А, Чечня — это черная дыра, туда сколько ни сыпь...”*

— Понятно, что дыра, и понятно, что будут воровать. Когда речь идет о каких-то программах развития, инвестиционных, строительных, там настолько сложна система, что каждый день надо ходить за каждым строителем, за каждым прорабом, чтобы отслеживать деньги. И все не отследим. Но вот те 300 тысяч, которые государство дает несчастным людям, — ну, это-то святое. Неужели нет сил отследить их? При желании, думаю, нашлись бы. Кстати, буквально на днях разогнали комитет, который занимался этими выплатами.

— *Вот вы говорите о выработке новых систем, механизмов. Вы могли бы предложить, скажем, такую “отслеживающую” систему?*

— Если бы занялся этой проблемой, думаю, сумел бы.

— *При такой ситуации не придется забросить науку?*

— В общем-то я считаю, что я политик в первую очередь. А политика переплетается с моей исследовательской темой непосредственно. Хочу понять, как формировалась государственность чеченского народа, что мешает чеченскому этносу сформироваться как гражданское общество. За 400 лет борьбы за независимость не сложилось представление о государственности, которое соответствовало бы менталитету Чечни. Решается ли эта проблема сейчас? Как она может быть решена? Думаю, моя исследовательская работа будет идти параллельно с практической.

Я считаю — и много по этому поводу дискутировал с учеными-чеченцами, — что наш народ не сформировался как нация-государство, хотя, безусловно, у нас есть для этого все предпосылки. Мы всегда почему-то разобщены, и перед лицом какого-либо исторического события у нас нет должного единения. Если бы оно было, на историческом изломе, когда рухнул Советский Союз, мы безболез-

ненно перешли бы на новый этап развития своей государственности, отрегулировав взаимоотношения с Россией. Но этого же не произошло. Чеченское общество оказалось неготовым, все были просто растеряны.

— *А хотелось взять суверенитета “сколько сможете”?*

— Ну, конечно! А кто был против? Ведь Дудаев появился позже того, как наша интеллигенция — писатели, историки — стала поднимать эту тему. Идею не удалось реализовать, я говорю это с сожалением. Есть тенденция к формированию нации как государства. Есть такое стремление у многих чеченцев. Понятно, что интересы личности и общества должны быть взаимосвязаны. Но этого не происходит.

— *Может быть, сказывается влияние тейпов?*

— Безусловно, влияние тейпов и других обстоятельств. Были шансы. В итоге произошел конфликт. Не секрет, что и внутри чеченского общества идет конфликт. Он назревал с 92–93-х годов. Общество расколото на три-четыре части. Единения опять-таки нет.

— *Так, может, и строить его надо, как вы говорите, идя по ступенькам, — сначала привлечь те же тейпы, их старейшин, потом идти дальше...*

— Как раз таки чеченцам надо преодолеть вот эту тейповую систему, когда все происходит в тейпе и все на нем замыкается. Это препятствует становлению нации как единой общности. Но просто отбрасывать эту систему, безусловно, нельзя. Она тоже играет свою роль. Правда, эта роль преувеличивается общественностью, политиками, средствами массовой информации. Я, например, из тейпа энгеной. У нас есть и противники независимости и ее сторонники. И на той стороне — в рядах сепаратистов — есть энгеноевцы, и есть мы, выступающие против их идеи решить наш вопрос военным путем. Мы не против своих

братьев, и все шло мирно, пока были дискуссии. А потом стали уже друг на друга оружие поднимать, вот в чем беда. Вот вам признак того, что мы не сформировались как нация-государство.

Собственно, такова наша жизнь и таков круг моих исследовательских интересов. Чеченцы делали попытки создать свою государственность еще во времена шейха Мансура. Это XVIII век. Потом были попытки имама Шамиля. Но государственность Чечни начала зарождаться только после решения советских властей возвратить чеченский народ (как и ингушей) на родину. После той ужасной депортации. Была создана, вы знаете, Чечено-Ингушская автономная республика. Вот с тех времен идет, казалось бы, процесс формирования нашей государственности, но и сейчас нельзя сказать, что она есть. Я хотел бы активно участвовать в этом процессе. Буду пытаться свои книжные изыскания как-то реализовать практически.

*— Вот вы говорите: страна маленькая, мы всех знаем; знаем и настроения людей; во многом они антирусские и во многом затрагивают именно молодых. А в Москве, скажем, поднимаются те же скинхеды, которые, как они говорят, борются “за чистоту” своей нации. И если бы только говорили, но ведь уже и действуют. А государство многонациональное, жить надо вместе. Не нарушается межнациональный баланс? Проблема, конечно, острая, щепетильная, спрашивать о ней не хочется, но как ее обойдешь?*

— Я уже говорил, что у нас немало сторонников того, чтобы “разобраться с этими русскими”. Понятно, из-за чего что произошло. Мы, когда спорим с такими людьми, утверждаем свою точку зрения: нельзя все переносить на народы; ведь мы знаем — и вы свидетели, — сколько русских у нас жили, они тоже пострадали; знаем, как нам помогают русские люди из других регионов. Обидно, что многое в таких настроениях — от безграмотности, от незнания, где тут правда, а где неправда, от невозможности это самому проверить и недоверия к тем же средствам ин-

формации. Плюс и минус, белое и черное — обычно все подается именно так. А в жизни всегда есть и какие-то полутона.

— *Другая же сторона, когда нет реальной информации, пытается составить свое представление о чеченцах: что за люди — либо бандит с бородой, либо миллионер на “мерседесе”; там воюют, погибают, голодают, а тут скупают что подороже. И уже обычный гражданин, отнюдь не экстремист или скинхед, интересуется: “Посмотрите, сколько у них денег, сколько у них недвижимости всякой и прочего. Почему они-то своим не помогают?” И не знаешь, что ответить... Рождается и такая, возможно, несколько утрированная точка зрения.*

— Так вот, понимая это, мы хотим, чтобы подобное мнение изменилось, то есть хотим о себе заявить. Мы делаем первые шаги. Хотим сказать, что есть большой процент людей, которые очень здраво мыслят, — у них такой же образ мышления, как у обычного россиянина. Почему мы хотим жить с Россией, в российской культуре? Да потому, что ощущаем себя именно россиянами, нам близка именно эта культура. Многие чеченцы едут в Россию, а почему не в арабские страны? Там, естественно, есть наши беженцы, но их мало, в основном-то они в России, а некоторые в Европе. Мы считаем себя европейцами — вот в чем суть. А этот конфликт — искусственно навязанный. Возьмите 90–91-е годы — да наш Грозный был самым интернациональным городом в мире! У нас жило около ста народностей. Я помню, было столкновение Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха. В 91-м году, в июне месяце я, студент, ехал домой и думал: “Как хорошо, боже мой, как хорошо, что я живу в Чечне, в Грозном!” У нас не было таких проблем. И как могло случиться, что через месяц, буквально в августе все начнет раскручиваться, а еще через месяц — толпы с оружием. Какие-то непонятные, вооруженные люди, никогда мы их не видели. Формируются президентские гвардии, Дудаев чуть ли не объявляет войну России, говорит, что мы должны готовиться... Буквально на

глазах все это происходило, и мне, например, стало совершенно ясно, что у конфликта были свои режиссеры. Ну, как может население республики, заслуги которой перед страной отмечали, кстати, высокими правительственными наградами, за пять-шесть лет превратиться в бандитский народ? Это же абсурд. Понятно, что все было запланировано какими-то силами.

— *Почему эти силы смогли так резко все поменять?*

— А потому что мы, чеченский народ, как нация-государство еще не сформировались. Подтверждается моя теория: если бы мы сформировались как нация-государство, невозможно было бы сыграть с нами такую злую шутку. А вот сыграли.

— *Вам не кажется, что сегодня меняется роль религии в общественной жизни, ее влияние на политику?*

— Ну, во-первых, я мусульманин, придерживаюсь всех канонов, которые предписывает ислам. Но должен сказать, что ислам, который я принимаю и руководствуясь которым действую практически, — это традиционный ислам. Я изучаю Коран, и там черным по белому написано, что ислам, повторю, — религия мира. Вооруженное противостояние на основе ислама — нонсенс. Люди вырывают из целостного контекста высказывания пророка, производят какой-то свой анализ, строят догадки, выдвигают некие измышления и на этой основе делают выводы, извращающие саму суть ислама. Формируют целые философские теории, приобщают к ним молодых, а в итоге возникают вот эти “бригады”.

— *У вас не создается впечатления, особенно после 11 сентября 2001 года, что ислам все-таки стал знаменем совершенного другого мира? Сегодня говорят о столкновении цивилизаций, что ведет к международному терроризму. Почему вдруг сейчас ислам становится неким знаменем, которым раньше не был? Он захотел играть в обществе, в мире роль более существенную, чем обычная конфессиональная роль?*

— Я убежден в одной вещи: для достижения неких политических целей нужна мощная идея, которая поднимала бы людей. А ислам — мощная социальная база. Те, кто берет на вооружение мусульманские термины, говорят, что хотят очистить веру, защитить ее от унижения. На самом деле, на мой взгляд, просто идет политическая борьба. Возможно, кто-то хочет поменять политический строй в регионе, скажем в арабских странах, где эти силы процветают. А идеологи называют это борьбой Запада с Востоком, борьбой цивилизаций. Конфликт подогревается еще и тем, что Запад, Америка несколько переставляют акценты: когда говорят, что борются с мировым терроризмом, — на первом месте у них все-таки экономика. Даже в основе войны в Ираке — в общем-то нефть.

— *Вы считаете, что это пришло с глобализацией?*

— В том числе. А что касается роли религии в общественной жизни, то она должна быть, на мой взгляд, опосредованной. Я за то, чтобы церковь была отделена от государства, но потенциал религий — востребован именно на государственном уровне. А потенциал большой — и у христианской религии, и у мусульманской, его полнее надо использовать. Конечно, в культурном, духовном, нравственном плане, а не в политическом.

— *Видится ли вам в концепции конфликта цивилизаций проблема конфессионального характера?*

— Конфессиональная тема — материя тонкая. Некоторые политики пытаются, так сказать, “перевести стрелки”, углубляясь как раз в эту тему. И есть опасность, что материя порвется и потом настолько разгорится конфликтами, что и представить сложно. Ислам — не знаю, к счастью или наоборот — такой мобилизационный потенциал имеет. Ученые считают, что конфликты, к сожалению, в будущем станут все интенсивнее нарастать, и именно на почве конфессиональной. Так вот мы сами пилим сук, на котором сидим. Люди, называющие себя по-

литиками и рассматривающие ислам именно в этой плоскости, во многом рискуют.

Я хочу сказать, что вполне реально какую-то проблему настолько закрутить, что она может вылиться в трагедию. Вот нашу проблему — ведь ее можно было как-то разрешить, безусловно. Она могла найти мирный, созидательный выход. Было столько возможностей! Но ее специально держали на таком уровне, загоня в угол. И что? Сколько матерей сейчас плачет — и чеченских, и русских? Наши граждане... Будем теперь выбираться из тупика. Все зависит от воли, усилий и общества в целом и конкретных людей.

— У вас есть эта воля?

— Воля есть.

С.А. Васильев  
“В поиске новой  
экономической теории государства”

— Для начала — традиционный наш вопрос, Сергей Александрович: согласны ли вы с теми, кто считает, что мы переживаем некий особый, переломный момент в истории цивилизации? Означает ли это, в частности, по вашему мнению как экономиста, что индустриальное общество изжило себя и переходит в какое-то качественно иное состояние? Как вы охарактеризовали бы важные, с вашей точки зрения, тенденции мирового развития?

— Не могу сказать, действительно ли это критический момент, переломный, но что совершенно ясно, так это то, что возникает информационное общество. Резко увеличиваются возможности коммуникации, и расстояния, которые раньше играли существенную роль в том, как развивалась цивилизация, сейчас эту роль в значительной мере утрачивают. Пространство и время, если рассматривать явления в более широком плане, смотрятся, по крайней мере с точки зрения экономических и культурных связей, иначе, чем прежде. Они уже не могут препятствовать общению людей во всех его формах — в той же степени, что прежде. Отсюда — глобализация.

О глобализации говорят, что она способствует унификации культуры. Но это с одной стороны, а с другой — она создает новые возможности для относительно мелких культур, для небольших наций: они становятся активными игроками в мировом информационном пространстве. Местные особенности вовсе не подавляются, напротив, мир быстрее узнает, как развивается каждая страна, и осваивает самое ценное из ее опыта, вовлекает в общий оборот. Ну, например, такой проект, как World music, был совершенно невозможен еще 30 лет назад. И кто бы узнал, ска-



жем, о Сезарии Эворе? Численно маленький народ, двести тысяч человек, а у него оказалась богатейшая музыкальная культура, о которой долго никто и не имел бы представления. Глобализация способствует ей в том именно смысле, что она становится элементом мировой культуры и успешно, уже не изолированно развивается. Другая сторона вопроса: а почему становится? Потому, что оказалась конкурентоспособной.

Конкурентоспособность сейчас — один из ключевых факторов успеха в глобальном масштабе. Это касается любой сферы деятельности. Об экономике и говорить не приходится. Вот в этом новизна момента — в новых информационных возможностях и коммуникационных тоже, а вместе с тем в возросшем значении готовности страны, любого предприятия, даже человека конкурировать на мировом поприще.

— *А Россия встраивается в процесс таких перемен?*

— Россия потенциально хорошо может быть встроена, потому что для нее фактор расстояний всегда был очень важен. Большая, малонаселенная страна... Культура ее сложилась под влиянием этого огромного пространства, в котором не было коммуникаций. В свое время строительство железных дорог оказалось для нас важным прорывом. Ведь пока их не было, “работали” только реки. Но реки текут в основном меридионально, а железные дороги прокладываются широтно. Они позволили совершенно изменить жизнь России. Теперь Интернет так же меняет способ существования нации, и меняет радикально.

Вместе с тем развитие международных контактов в процессе глобализации стимулировало рост культурного, образовательного уровня наших граждан и создало для этого новые возможности. Готовность образованного слоя страны вкладывать большие деньги в изучение детьми иностранных языков, то, например, что теперь считается нормальным изучение двух языков, — это, конечно, очень значимый момент адаптации России к новым условиям на глобальном уровне. Не сомневаюсь, что у нашей страны блестящие перспективы с точки зрения ее места в миро-

вом сообществе. Видел, кстати, прогнозы американцев: Россия не то что догонит, скажем, Португалию... Уровень ее развития через 50 лет будет сравним с западноевропейским. Помешать осуществлению такого прогноза можем только мы сами. Как всегда.

*— Готовы ли в самом деле наши люди к включенности в мировое информационное общество, к успешному участию в глобальной конкуренции, о которой вы говорите? Особенно те самые поколения, которые сейчас определяют социальное развитие, успех во всех сферах деятельности? К какому, кстати, поколению относите себя вы? Какие события склонны считать определяющими для себя?*

— Для нашего поколения, думаю, важны две даты, рубежные: это 1968 и 1979 годы. В 1968-м мне, правда, исполнилось только десять лет, но то, что наши давят чехов за “социализм с человеческим лицом”, было уже очень понятно. Может быть, потому, что семья у нас была достаточно “продвинутой”. Семья в общем-то обычная, но один дядя был ярый диссидент, который читал весь самиздат. А дед мой был ученый человек, но довольно правоверный коммунист, и они, когда встречались, всегда спорили. Ну, и понятно, что я присутствовал при этом. В 79-м, когда ввели войска в Афганистан, мы поняли, что наш разрыв с режимом окончательный, что уже нет возможностей для компромиссов. Тогда я как раз окончил финансово-экономический институт.

Конечно, наше поколение очень трудно определить, но мы в прямом смысле — дети XX съезда, не в идейном, как “шестидесятники”, а в том, что родились в конце 50-х годов и росли уже в иной атмосфере, чем люди предшествовавших поколений. Время моего детства — время хрущевской “оттепели”, когда страх сталинских времен уже отпустил страну. Нашему поколению этот страх передавался разве что генами, поэтому я считаю, что мы — очень свободное поколение.

В то же время — и это уже наше преимущество в сравнении со следующим поколением — мы таки хлебнули

“совка” в полной мере. Идущие за нами, даже те, кто окончил институт через пять лет после меня, пришли на работу, когда уже была перестройка. Почему, скажем, более молодое поколение довольно “розовое”? Потому, что они не пощупали той прежней, советской жизни, оттого у них и разные иллюзии... Думаю, наше поколение — последнее, которое эмоционально воспринимает различие прошлой и нынешней жизни. Наша сила как раз в том, что мы хорошо знаем, от какой системы отталкиваемся, уходим. Молодое поколение лучше образованно, многие хорошо знают западную теорию, современное состояние науки. Им повезло больше, у нас в России, скажем, просто не было нормальной экономической науки. Но в них, на мой взгляд, слишком много академизма, и они пока, даже лучшие специалисты, слабоваты в применении высокой теории к российской практике. Я считаю, что по-настоящему хорошие экономисты проявились только в нашем поколении.

Реально конфликт поколений состоял еще вот в чем: “шестидесятники” ждали, что их пригласят во власть, считали, что это естественно, поскольку они подготовили перестройку. А этого не произошло, власть досталась следующему поколению. Если говорить с точки зрения карьер, то должности, которые мы заняли в 30 лет, прежде доставались тем, кому было не меньше 50. То есть скачок произошел реально на одно поколение. Поэтому я считаю, что нам и в этом смысле повезло, а хорошо это или плохо — ну, жизнь покажет.

*— Но есть ли у вашего поколения и у вас лично представления о будущем страны, желаемом или даже, если хотите, идеальном? И возможно ли, по вашему мнению, содействовать реализации этих представлений, то есть как-то корректировать социальное развитие? Или вы согласны, скажем, с Фридрихом фон Хайеком, что все это “пагубная самонадеянность”?*

— Я начну с конца этого вопроса. Сознательная коррекция социальных процессов практически невозможна, на мой взгляд, потому что нет субъекта коррекции. Кто может быть субъектом? Общество само себя не может корректи-

ровать. Оно, конечно, развивается в результате взаимодействия разных общественных сил, но это стихийный процесс, а не сознательная коррекция. Можно сказать, что этим управляют элиты. Но ведь они — часть общества. Возможно, сознательная коррекция, с точки зрения элиты, заключается в том, что она своим поведением может задавать некоторые более высокие стандарты социального поведения (чего, к сожалению, у нас не делается). Как, например, элита в Британии, где она образовалась давно и у нее сложились традиции и нормы поведения. Джентльмен, скажем, согласно этим традициям и нормам, чего-то не должен делать (вспомните Мэри Поппинс: “джентльмены таких вопросов не задают”). Вот “низкий человек” может себе нечто позволить, а джентльмен не имеет права. Таким способом эта элита осуществляет коррекцию общественного развития. Довольно удачно, между прочим, как мы видим по Англии, трем последним сотням лет ее истории. Только собственным примером, ничем другим, потому что все остальное просто самообман. Или обман. В любом обществе это так. Как только некто начинает думать, что можно существенно корректировать экономическое и социальное развитие, тем более начинает действовать в соответствии с этим убеждением, случаются большие беды.

— *Вы считаете, что все идет самотеком?*

— А как иначе? Вот попытались большевики поломать естественный ход истории — национальная катастрофа получилась. Конечно, большевики сами результат развития России. Тут трудно определить, где эффект субъективных решений и где объективная закономерность, потому как ясно: сила большевиков была в том, что реформа 1861 года оказалась половинчатой, и, более того, в том, что в России сложилось крепостное право, и тоже по объективным причинам. Нигде в Западной Европе не было крепостного права в том виде, в каком оно существовало в России. Но это долгий разговор. Все равно речь должна идти об ответственности социальных групп, партий. Глубоко убежден: попытки насильно что-то менять кончатся большой бедой.

— *Реформа 1861 года стала большой бедой?*

— Понимаете, когда реформа проводилась, уже все осознали, что не делать этого нельзя. Назрело и перезрело. Абсолютно все понимали. Были варианты, как ее проводить, и то, что она была половинчатой, оказалось для России самым большим несчастьем, ошибкой, сказавшейся на всем будущем развитии. В чем недоделанность реформы? В том, что община не была разрушена, то есть не появилось мобильности в крестьянской среде, сохранились пережитки крепостничества. Реальный капитализм на селе начал развиваться только после столыпинских реформ.

— *И все-таки: хорошо ли, что страна не определила свои перспективы? Куда идем? Чего хотим? Сейчас многие говорят, что нет ясности на сей счет, нет долгосрочной стратегии развития. Под этим порой подразумевается отсутствие идеала, “национальной идеи”. Но пусть проще: какой станет страна так через полсотни лет?*

— Давайте разумею две вещи: идеал и стратегию. По поводу идеала — сложный вопрос. У каждого он свой. А у общества? Но об этом чуть позже. Вот если говорить о правящих структурах, то я так скажу: для успешного развития страны необходим некий консенсус элит относительно желаемых целей. И у нас он, может быть, не оформлен как стратегия, но он есть. Это касается, скорее, тактики, признанных необходимыми реформ. Проблема же в том, что горизонт расчетов очень близкий. Причина понятна: элита-то молодая в России, фактически новая. Все менялось очень быстро. Элита еще не успела построить долгосрочные приоритеты. А отсюда — и правительство их не имеет. То есть если бы у элит они возникли, то транслировались бы в правительство.

Если говорить об экономике, то, скажем, у Гайдара есть некоторые представления о том, как страну развивать, поднимать на мировой уровень, и у Глазьева есть. Они — люди действительно думающие, заглядывающие далеко,

хотя не однонаправленно. Но ни представления Гайдара, ни представления Глазьева в элите не прижились. Она не то чтобы не согласна, а не доросла, скажем так, до этого уровня мышления. Элита даже в таких временных категориях, как 50 или даже 20 лет, не мыслит. По времени своего существования она не могла определиться в долгосрочных проблемах. Это очень естественно в пору столь крутых перемен, которые мы пережили, в пору крушения идеалов, утраты основных ориентиров, точек отсчета, а вместе с тем пору острых дискуссий и достаточно жесткой политической борьбы. Такая обстановка не благоприятствовала спокойному осмыслению будущего.

Конечно, в академической среде некие идеи дальнего действия обсуждаются. Ну, например, проблема энергетической стратегии для России.

Все-таки энергетика — основа ее благосостояния, сейчас и надолго вперед, учитывая, что Россия имеет газовую монополию на европейском рынке. Она может и ей приходится определять реально внутреннюю цену газа. Внешняя определена мировым рынком, хотя и с нашим важным участием, а тут цена может колебаться от себестоимости до цены европейского рынка. Это выбор политический. Но если мы ее загоняем высоко, эту цену на газ, то получаем внутри страны большую природную ренту; если же цена низкая, значит, рента тоже существует, но она как бы распределена между потребителями газа. Когда газ дешевый, в стране развиваются энергоемкие производства. Она производит удобрения, много алюминия, который требует больших затрат электроэнергии. И как только мы повышаем цену, скажем, в 2 раза, мы разницу между себестоимостью и ценой, во-первых, направляем в бюджет, то есть можем решать социальные проблемы, а во-вторых, становится невыгодно производить удобрения, а выгодно, например, машиностроительную продукцию или что-то новое, умное, чипы скажем. Политика цен на газ — тот реальный рычаг, который есть у правительства, у общества для того, чтобы сделать выбор и определить, как будет развиваться страна.

А это еще и выбор знаете между чем и чем? Между доходами нынешнего поколения и будущего, потому что ес-

ли цена на газ низкая, мы его качаем очень много и продаем. Если цену поднимем, станет выгодно добывать уголь, допустим. А газ как более ценное сырье сэкономим для будущих поколений. Газ может как в хранилище лежать и ждать какого-то момента, когда ситуация станет сложнее. Это фундаментальный социальный факт.

Ну а про социальный идеал... Вообще хорошо, когда у человека он есть. Но я не совсем представляю, что такое сегодня идеал общества в целом. Думаю, реальное развитие определяется взаимодействием социальных идеалов разных людей. Меня очень забавляет, когда общество требует от ученых: скажите, куда мы идем? А от ученых-академиков странно слышать, что России не подходит демократия или рыночная экономика. Это вопрос опять же конкурентоспособности, ведь все страны, которые добиваются успеха, достигают этого с помощью демократии и рыночной конкуренции. Диктатура — путь в тупик. Это вопрос даже не политического выбора, а просто выживания страны, потому что современные страны — это сложные общества. В таком обществе должна быть обратная связь. Она может осуществляться только через демократические системы. Если общество лишается обратной связи, оно идет вразнос. С рынком — то же самое. Если нет рынка, то экономика не получает сигналов “снизу” (о потребностях, приоритетах потребителей) и в конечном счете стагнирует.

*— А мусульманские страны? Там напряженно с демократией.*

— В мусульманских странах все в полном застое находится. Нет ни одной мусульманской страны, может быть, кроме Малайзии, которая быстро развивалась бы. Даже Саудовская Аравия, где много нефти, в очень тяжелом экономическом положении. Иран? Он радикально отличается от арабских стран в силу иного этнического состава и традиций; это страна с огромным будущим, самая демократическая, кстати, из мусульманских стран, там есть реальные элементы свободы (выборы президента, независимая пресса). Иран — страна с огромным потенциалом. И

для России это очень важно, потому что это ее стратегический, геополитический партнер. В принципе, если Ирану удастся освободиться от чрезмерного религиозного влияния на общество, страна сможет стать действительно демократической.

— *Коль мы заговорили о демократии, то согласитесь ли вы с утверждением социологов, что в нашей стране реальная практика основательно дискредитировала саму идею этого общественного устройства?*

— Не думаю, что демократия так уж скомпрометирована. Может, конечно, она не такая, как нам хотелось бы. Но выборы, как минимум, главный институт демократии, у нас неплохо работают. Хотя есть некоторые сигналы неблагополучия, прежде всего снижение явки избирателей. На самом деле это неизбежно. Как только предпринимаются попытки сделать из обычной демократии управляемую демократию, надо быть готовым к таким вот неприятным вещам. А когда был реальный выбор, вы помните, сколько людей приходило на участки. Ругают демократов нехорошими словами? Понимаете, слова разные могут быть, а практика реально народом акцептована. Попробуйте отменить выборы, скажем, губернатора. То есть их можно отменить, но долгосрочные результаты будут очень болезненными. Прежде всего потому, что сейчас за отключение горячей воды отвечает избранный народом губернатор, а если его будет назначать президент, то и ответственность ляжет на президента.

— *У вас по должности круг интересов широкий, в чем мы убеждаемся и по ходу беседы. Но все же, не могли бы вы представить свою любимую исследовательскую тему? И почему она любимая?*

— Для меня такая тема — экономические теории государства. Сейчас экономическая теория, политэкономия переживает возрождение. Новая, настоящая политэкономия — не по Марксу, а теория институтов, социальных групп, их интересов. Еще в 60–70-е годы, когда Соединен-



ные Штаты переходили от кейнсианской к неоклассической модели государственного регулирования, возникла, вернее, начала формироваться теория общественного выбора, в разработке которой принимали участие такие экономисты, как М. Олсон, Дж. Бьюкенен, Д. Норт. Работы Джеймса Бьюкенена, лауреата Нобелевской премии по экономике 1986 года, позволили исследователям проблем общественного выбора систематизировать накопленные знания, а самого автора книги “Границы свободы. Между анархией и Левиафаном”, недавно опубликованной и на русском языке, считать основателем этой теории.

Фундаментальным понятием “новой политической экономики”, как ее часто называют, является “поиск ренты”. Это новый для нас термин, поэтому поясню его смысл, тем более что у нас в последнее время ломали копыя вокруг природной ренты, она у всех на слуху, но ведь рента бывает разная. Понимаете, тут нет подходящих русских терминов. Rent-seeking behavior — это поведение, ориентированное на поиск ренты, но как бы в противовес получению прибыли. Есть в экономической системе нормальная деятельность, ориентированная на получение прибыли; а деятельность на получение ренты — это, грубо говоря, попытка нечто урвать, даже уворовать; в широком смысле — у предприятия, у общества. Прибыль — значит что-то построить, произвести и с этого получить доход, заработать. А “рентоискательство” — понятие в ряду “коррупция”, “взятка”, “подкуп”.

Есть известный жаргонный термин — “откат”: ты, скажем, будучи мэром, для городского водопровода закупил негодные, бракованные трубы, а их продавец, жулик, вернул тебе за это часть их стоимости, выплаченной тобой из средств местного или государственного бюджета. Нечто подобное может сделать менеджер частного предприятия, используя деньги акционеров. Или извлечь выгоду из монопольного положения предприятия, которое искусственно создается кем-то за определенную мзду. И вот получается, что в развивающихся странах очень велика доля поведения, ориентированного не на то, чтобы приумножить общественное богатство, а на то, чтобы его перераспределить в свою пользу, “откусить” нечто от чужого “пирога”.

Это типично и для России. Но главное-то в том, что вся государственная система строится на принципах извлечения такой ренты. Понятие “откат” становится господствующим во всех отношениях — и в государственных структурах, и вне их. Высокий уровень коррупции, вообще высокие издержки организации экономической деятельности — то, от чего экономика задыхается. Как изменить эту ситуацию, когда государство, по существу, само себя реформирует? По какой логике необходимо бороться с таким поиском ренты, с “рентоориентированным” поведением? Если это система, то и найти надо системные способы ее преодоления. Вот это фундаментальная тема, которая мне кажется интересной в исследовательском смысле и очень важной.

Что можно сделать уже теперь? Первое: минимизировать вмешательство государства в экономические отношения. Если на любом государственном рычаге можно паразитировать, то если этого рычага нет, паразитировать уже не на чем. То есть надо перевести все на рыночные отношения. Второе: с точки зрения технологии работы это должны быть очень простые, легко администрируемые процедуры. Может быть, приведу не лучший пример, но представляется весьма эффективным переход к конкурсной процедуре государственных закупок. Десять лет назад все министерства покупали у кого хотели. И, естественно, присутствовал тот самый “откат”. Как только появляется конкурс — если он только открыто проводится, — воровать становится уже сложнее. Вообще прозрачность принятия решений на государственном уровне, с одной стороны, и прозрачность бизнеса, с другой, — тоже очень важный фактор в борьбе с рентой, с коррупцией. Необходимо создание таких процедур, когда было бы сложно принимать произвольные решения, влияющие на экономические пропорции.

Это не традиционное “усиление контроля”. Под маской контроля тоже может скрываться коррупция, на контроле тоже порой имеют хорошую ренту. Речь идет именно о прозрачности процедур, о том, что на Западе называют “стеклянными карманами”.

Государственное вмешательство, регулирование часто все же необходимо, вопрос — в каких формах и в какой

мере. Важно помнить, что это вещь опасная, требующая взвешенности и тонкого обращения с инструментами управления. Вот наглядный пример: ввели тарифные квоты на мясо. Кажется, для защиты собственных производителей. Но если хорошо разобраться... Что такое тарифная квота? До определенного уровня мясо ввозится с низкой пошлиной, а после определенного рубежа — с высокой. Все, что ввозится с низкой пошлиной, имеет сверхприбыль, потому что внутри страны мясо продается по единой цене — рыночной. Эта сверхприбыль всегда оказывается в карманах конкретных компаний-импортеров и чиновников, которые выделяют им квоты. Потом там происходит следующее: допустим, мы торгуемся с американцами и даем им большую квоту на их мясо, а бразильцам — низкую, между тем у американцев мясо генно-модифицированное, а у бразильцев — чистое, нормальное. Значит, мы действуем в ущерб интересам своих людей, а кто-то получает с этого ренту.

Защита отечественных производителей часто оборачивается своей противоположностью — угроблением защищаемой отрасли. Скажем, вводим высокие пошлины на подержанные машины. Кажется, какая благородная мера — сразу расширится рынок для нашего автопрома. Но мы защищаем его уже десять лет, и чем дальше, тем больше наше автомобильное производство отстает. Это правило международной торговли, если хотите — экономический закон: отрасль, которая больше всего защищается государством, быстрее всего загнивает. Потому что если отрасль защищена от внешнего рынка, то у нее нет стимула повышать качество. Если бы мы не защищали наш рынок машин, то уже производили бы хорошие автомобили, Тойотти выпускал бы какие-нибудь “опели” или “фиаты”. Стопроцентно. Вот пивной рынок не защищали, да? И пиво конкурентоспособно.

Скажете: развитые страны применяют такую защиту. Но они богатые, могут себе это позволить. А цель-то у них чаще всего не экономическая, а социальная и политическая. Буш, например, выступил за высокие ввозные пошлины на сталь ради того, чтобы не снизились доходы занятых в данной отрасли и чтобы они за него голосовали. Экономически же это

неоправданная мера, она консервирует дороговизну производства стали в США. А мы бедная страна, мы не можем себе позволить защищать, скажем, наше сельское хозяйство, что в принципе и не нужно, как выяснилось. Оно без всякой защиты развивается. Если бы еще раньше разобрались с земельными отношениями, имели бы уже огромный рост.

*— На внешнем рынке нам, однако, не очень дают разгуляться.*

— Это другой вопрос — вопрос дипломатии, роли государства. Но я вам скажу, опять же опыт подсказывает, что односторонняя либерализация торговли всегда приносит выгоды. Так, нашу сталь не пускают на европейский рынок, а мы завоевали Юго-Восточную Азию. Другое дело, что на мировом рынке жесткие отношения, и для этого нужна поддержка политического ведомства. С тех пор как американский экономист Эдвард Люттвак ввел в обращение понятие “геоэкономика”, стало ясно, что в международной конкуренции роль важнейших действующих лиц играют государства, национальные хозяйственные комплексы в целом. Но в принципе, с точки зрения максимизации темпов экономического роста, чем меньше государство вмешивается в хозяйственные дела и международную торговлю, тем лучше. Пример — Чили. Это была абсолютно зависимая от экспорта меди страна. Пиночет либерализовал экономику и внешнюю торговлю. И кто бы мог подумать: у них сейчас 70 процентов экспорта составляет сельское хозяйство. Никто не мог бы представить себе такое развитие событий, потому что к 1973 году сельское хозяйство было в глубочайшем кризисе. Провели аграрную реформу, дали землю крестьянам, и выяснилось, что страна может с выгодой производить фрукты и овощи. Сейчас Чили — крупнейший экспортер зимнего винограда, а еще вина, искусственно выращенной красной рыбы... И никто никакими льготами сельское хозяйство не поддерживал.

*— Скажите, а вот с нашим вообще уровнем, качеством и технологиями мы все-таки можем влиться в ми-*

*ровую экономику? Когда-то выдвигалась идея создания лучшего в мире автомобиля...*

— Недавно я с Алферовым общался: есть огромный проект по производству (совместно с немцами) микрочипов в Петербурге на основе собственных технологий. Вот это серьезно, а законодателями мод в автостроении мы едва ли станем, нет пока к тому никаких предпосылок. В принципе возможности прорыва существуют. Самое бессмысленное — гадать, что будет производить страна, скажем, через 20–30 лет. Я не верю в идею, что можно сейчас выбрать отрасли, которые нам кажутся самыми перспективными, и их развивать. Мы скорее всего ошибемся и потратим деньги на то, что потом не понадобится, зароем их в землю.

— *Но мы постоянно слышим о необходимости инвестиций...*

— Частное инвестирование — да. Когда в России кто-нибудь всерьез размышляет о государственных инвестициях, я просто поражаюсь, потому что разворачивается все, любые госинвестиции превращаются в чью-то кормушку.

— *В таком случае как вы определили бы роль государства в экономике? Об этом столько споров. И вот та дискуссия — догонять, не догонять...*

— Установление правил игры и контроль за их соблюдением — вот дело государства. Только это. Чтобы суды работали не так, как сейчас. Но мне кажется, наше государство исторически не привыкло к тому, чтобы существовало еще что-то, независимое от него. В стране последние 500 лет оно было всеобъемлющим. Левиафан. Попытка построить нормальное государство, сбалансированное, знающее свое место, пока не удалась. И проблема — не только в управленцах, не только в менталитете чиновников. Она сложнее: народ наш к этому привык. Он полагается главным образом на государство, во властные органы избирает прежде всего государственников, все еще верит,

что благо ему может принести только крутой вождь — то ли монарх, то ли диктатор, — который “железной рукой” наведет порядок. Нет, в самом деле “история ничему не учит народы”.

А догонять, не догонять... Об этом даже смешно говорить. Как можно не догонять, если уровень жизни в стране такой низкий. Мы должны расти быстрее, чем наши соседи, чем Европа. Правда, мы и сейчас быстрее растем.

Ну а если говорить о дискуссиях, то, на мой взгляд, среди экономистов нет сейчас серьезных теоретических расхождений. По большому счету. Они возникают главным образом в периоды политической борьбы — перед выборами. Никто уже не спорит, что экономика может быть только рыночной, сочетающей разные формы собственности с преобладанием частного сектора. Ясно, что и некоторые ее регуляторы должны действовать. Вот о пропорциях в этом сочетании — рынка и регулирования экономики, о способах воздействия на нее дискуссии возникают, однако чаще по конкретным поводам, и оптимальный вариант отыскивается. Мы все уже освоили теорию и опыт макроэкономики, знаем ее историю и уроки. Существует согласие и в том, что экономика и социальная политика неразрывно связаны, что определенное перераспределение средств в социальных целях необходимо и неизбежно, но вот баланс тут должен быть аккуратным, чтобы защита слабых не превратилась во всеобщее перераспределение и уравниловку. Благодаря тому что в правительстве оказалось много профессиональных экономистов, контакты между ним и академическими экономистами очень тесные.

Экономическая теория, как я уже говорил, переживает подъем. Но проблема в том, что новое направление политической экономии очень еще молодое. Не сформировалась даже единая терминология. Просто есть несколько очень сильных специалистов, работающих в данной сфере. Эта школа оказала сильное влияние на наших экономистов. Если говорить о 80-х годах, то работа Гайдара, допустим, по иерархическим структурам была в рамках этой школы. Для нас многое в новых экономических воззрениях интересно потому, что они возникли из сравнения раз-

ных систем. Старая классическая теория и неоклассическая воспринимают западную систему как единственно возможную. А все остальное, все, что не подходит (в смысле — практика под теорию не подходит), игнорируется по принципу “тем хуже для практики”. А вот эта теория, “новая политическая экономия”, как раз опирается на анализ истории разных систем. И капитализма, и восточных систем, скажем, феодальных, и переходных экономик в том числе.

У нас много говорят об “особом пути” России. Но ведь у любой страны в некотором смысле — особый путь, связанный с ее природными условиями, историческими традициями, тем же экономическим положением в данный момент. Что же касается основных принципов развития экономики, то тут ничего не найдешь особого, кроме того, что в общем-то универсальная рыночная модель накладывается на реальные условия. Американцы после Второй мировой войны привезли свою модель в Германию и Японию, и она там прививалась, реализовывалась в соответствии с конкретной национальной почвой. И неплохо получилось.

Однако если вести разговор в несколько ином ракурсе, то в принципе, по убеждениям, я националист. В том смысле, что считаю: современное гражданское общество может существовать только на национальном поле, ни в какой другой форме оно невозможно. Как, впрочем, и государство. В моем представлении гражданское общество и государство — просто две ипостаси существования нации. Никакого наднационального гражданского общества быть не может, как и наднационального государства.

Что это значит на практике? Если, скажем, создается Европейский союз и всем в нем заправляет Комиссия в Брюсселе, то эта структура, в принципе, никому не подотчетна и безответственна. Любое правительство имеет тенденцию выходить из-под общественного контроля, но на уровне национальных государств этой тенденции противостоят институты гражданского общества. Как только мы переходим к какому-то наднациональному образованию, механизма контроля нет. И бюрократы начинают диктовать свою волю сообществу наций. Потому я противник

такой интеграции, которая отрывает управление экономикой, а тем более всей жизнью общества от национальной почвы и национального контроля. Возможны где-то в будущем единое европейское государство, европейская нация, но в будущем очень отдаленном. Европейский союз, как он складывается сейчас, не имеет перспективы в качестве союза наций. Все проблемы пока должны решаться на уровне национального государства. Это моя точка зрения.

— Юрий Левада считает, что при всем развитии мировых наднациональных связей, при всех различиях внутри национальных сообществ, национальная общность остается доминирующей “осью координат” человеческого самоопределения. И объединенная Европа остается “Европой отечеств”, как ее еще Шарль де Голль называл. А Ральф Дарендорф пишет как об острой проблеме о том, что основные, важные для судеб народов решения принимаются на уровне наднациональном, их принимают чиновники, скажем, Брюссельской комиссии, никем не избранные. Национальные выборы становятся в результате во многом бессмысленными: парламенты уже не решают главных вопросов, национальные властные структуры становятся лишь исполнителями стратегических решений. То есть многие думают так же, как вы. Но почему же тогда Россия так рвется в европейские структуры, объединения, институты? Это, по вашему, не имеет смысла?

— Россия должна и будет сотрудничать с европейцами. Но обязательно ли для этого включаться во все их объединения, в тот же Европейский союз, тем более в НАТО, о чем у нас некоторые почему-то мечтают? Нам бы справиться для начала с сотрудничеством множества своих, российских народов, наладить нормальные отношения с народами бывших республик Советского Союза. Россия по-прежнему является в слабой степени, но империей. Асимметричность нашей федерации указывает на то, что мы сохраняем черты империи. Но это уже в небольшой степени; 80 процентов населения страны русские. Я думаю, что Россия в основном сохранится в нынешних рам-



ках (хотя остаются проблемы с Чечней), а вот Белоруссия в перспективе вольется в Россию. Белорусы, похоже, не ощущают себя отдельной от русских нацией.

— *Представляется, что вы отделяете экономическое пространство и политическое пространство.*

— Конечно. И если мы входим в мировое экономическое пространство, то есть пытаемся войти, то в политическое — нет. Более того, на мой взгляд, у нас будет конфликт с Европой. Объединяясь, она отгораживается от нас барьерами — и гуманитарными, и экономическими. Очевидно. Нам это, конечно, очень не выгодно. Нам нужны соглашения о свободной торговле и безвизовый въезд. Больше ничего пока не надо. Этого абсолютно достаточно. Мы можем принять какое-то европейское законодательство для облегчения отношений, не более того. Для нас глобализация — это прежде всего вхождение, вернее, теперь уже сохранение и упрочение своего места в мировых информационных, торговых, финансовых потоках.

— *Скажите, Сергей Александрович, как вы от науки пришли к политической практике, как оказались в Совете Федерации и чем вас привлекает работа здесь?*

— В правительство я пришел с Гайдаром в 91-м году. Время было такое, что невозможно было не участвовать в преобразовании нашей просто издыхавшей экономики, не попытаться реализовать свои или наши общие (ведь это была команда) представления о том, что можно реально сделать. И я трудился в “Рабочем центре” правительства, потом стал заместителем министра экономики; на несколько лет уехал в Петербург, а потом вернулся сюда два года назад. Характер работы в Совете Федерации сильно отличается от того, что в Думе, у нас любопытная система: закон рассматриваем только после третьего чтения, и может быть пять дней на то, чтобы его обработать, обсудить, — это очень напряженно. В целом больше политическая работа, чем профессиональная. Мы, по сути, вырабатываем политическое отношение к тем или иным документам, и

очень много времени уходит на общение с разными людьми, специалистами, политиками.

*— В Петербурге у вас остался научный центр, который вы создавали вместе с единомышленниками?*

— Да, и продолжает активную работу. Он изучает больше региональную экономику и власть. Там есть теоретический отдел. Мы издали интересную книжку — “Сравнительный анализ стабилизационных программ”, где концентрированно изложен и осмыслен, можно сказать, многообразный опыт попыток финансовой стабилизации, успешных и неудачных. Как вы, наверное, поняли из нашей беседы, это в русле моих научных интересов. Науку я не собираюсь оставлять. Это политику и бизнес надо разделить, а вот политику и науку — все же не стоит.

О.И. Маховская

“Живем в эпоху хаоса мыслей”

— В одной из своих публикаций вы, Ольга Ивановна, отметили, что психология выпадает из арсенала отечественных наук, занимающихся социальным анализом. Что привело вас к такому выводу? Какие потери несет при этом социальный анализ, а возможно, и лично вы, психолог-профессионал?

— Меня это задевает и профессионально, и лично. Психология, в моем понимании, — это единственная социальная наука в России, которая и в советские времена отличалась оригинальностью и была очень сильно погружена в практику. Ее проблемами были и реабилитация инвалидов войны, и развитие математических способностей у детей, и помощь слепоглухонемым детям. Это вообще аутичная наука, которая все время смотрит в глубокий колодец человеческих страхов, чаяний и надежд. И есть ключевые вопросы, требующие серьезного социального анализа и вытекающего из него ответа. А у меня как профессионального психолога пока такого ответа нет. Я опубликовала, скажем, статью в “Огоньке” — “Скучно жить в России”: усталость общества, равнодушие, мещанские настроения, какая-то индифферентность к большим переменам. А вот что за этим стоит?

Я — кросскультурный психолог. По терминологии Алексея Богатурова, инициатора дискуссии, прошедшей в журнале “Pro et Contra”, я отношусь к “поколению излома”, то есть к генерации ученых среднего возраста, которые к началу активного освоения западных подходов уже успели пропитаться “дымом отечества”, а их профессиональное мышление было сформировано в лоне отечественной гуманитарной традиции. Когда мы учились, был

еще жив Алексей Лосев, и все переживали, успеет ли он закончить шестой том своей “Эстетики”. Событием научной жизни стал выход “Категорий средневековой культуры” Арона Гуревича. Психологию мышления нам читали по Мерабу Мамардашвили и Эвальду Ильенкову. Отдельным поводом для психологических анализов служили русская классическая литература (все те же Достоевский и Толстой), русский формализм в литературоведении (мы учились в годы расцвета Тартуской школы), русская религиозная философия (то, что издавалось “УМСА-пресс” и попадало в нашу страну в ксерокопиях). В то время подобная разбросанность интересов не выглядела чем-то необычным в среде молодой, становящейся науки, ищущей себя как в пространстве базовых мыслительных интуиций, так и в эмпирической проблематике.

Потенциально “поколение излома” оказалось в особо продуктивной ситуации: оно уже не могло отказаться от старого, выстроив свои диссертации в академическом ключе, но и не потеряло интерес к предмету исследования, предвкушая возможность теперь уже совсем самостоятельной работы, всегда связанной с интеллектуальными и личностными рисками. Для нас — я с уверенностью могу это утверждать о своих коллегам-сверстниках — было ясно, что предстоит тяжелая работа по выбору, разработке и соотношению категорий и концепций. Собственно, нормальная научная работа, которая с открытием доступа к западным источникам стала только интенсивнее. Но, как потом выяснилось, эта существенная часть построения отечественного научного дискурса оказалась “немодной”, а к тому же и неоплачиваемой.

— *Произошел тот самый “излом”?*

— Были одна реальность, одни установки. Была заявка на определенную карьеру. Я шла в науку совершенно сознательно. Готова была тратить время, ресурсы. Но не была готова к тому, что у меня вообще отберут возможность артикулировать свои идеи. Хоть как-нибудь. А излом произошел именно потому, что вся технология продвижения и нормальной научной работы была, на мой взгляд, разрушена.

Мы все за последние годы пытались приспособиться и реализоваться. Создали некие виртуальные клубы, куда входят люди из разных стран, разных профессий и возрастов. Если я посмотрю свою записную книжку (по уму там должны быть родные и близкие плюс сотоварищи по профессии), у меня там и бизнесмены, и журналисты, философы, актеры, телеведущие — все те, с кем я пыталась взаимодействовать. Решали какие-то конкретные задачи. Я не тусовочный человек. У меня нет времени и уже не тот возраст, чтобы просто “перетирать” новости. Но, думаю, так приспособляюсь не только я, вынужденная искать что-то на личностном уровне и в профессиональной области. Примерно все так. Может быть, это в чем-то похоже на 60-е годы, когда огромную роль играли неформальные контакты. Была безобразная идеология и был андеграунд, интеллектуальная оппозиция, которая практически никак не была представлена в официальных текстах. У меня, честно говоря, мало к этому интереса, потому что фактически то поколение представляли мои родители; становясь и эмансипируясь, я пережила этап незаслуженного, наверное, по отношению к ним предубеждения именно из-за колоссальной демагогии, которая, когда мне, уже взрослому человеку, пришлось решать свои проблемы (а перестройка совпала с окончанием университета), отнюдь не помогала. Романтизация отношений, уверенность в том, что ты живешь в лучшей стране. С этого, как и с зарядки (мои бабушка и дедушка делали зарядку со сталинских времен), начиналось утро, говорилось о чем угодно, и притом очень важные вещи вообще не проговаривались. И это сказалось. Одна из моих тем или парадигм восприятия того, что происходит: дети расплачиваются за ошибки родителей; мы — своих, те, в свою очередь, будут расплачиваться за наши ошибки. Поскольку у меня уже подрос сын, я как-то очень внимательно слежу за тем, куда направляю его бессознательно. Для психолога ведь важны не только отработанные и понятные всем технологии, но и то, что ты делаешь непроизвольно. Психология — наука с некими секретами.

Классик отечественной психологии Павел Блонский, работавший в 30-е годы в Харькове (я, кстати, сама с Украины, окончила Харьковский университет), считал, что

эмоциональная память конституирует целостность психики и влияет на восприятие реальности. Не случайно, мне кажется, русская философия строилась на принципах субъективного идеализма: мы живем в обществе с высоким уровнем социального волюнтаризма, которое не подчиняется устойчивым моральным или культурным нормам. То, как участник события воспринимает ситуацию, оказывается самой существенной характеристикой поведения. Эмоциональная составляющая любой ситуации, личностное, волюнтаристское начало всегда были центральными, определяющими. И это поле деятельности психолога. Принцип интериоризации (перехода внешней деятельности во внутренний план) — ключевой в отечественной психологии. Особый интерес всегда вызывали анализ, описание, конструирование социокультурных контекстов, в которых происходят становление и развитие личности. У меня была иллюзия (как у провинциалки, наверное), что существует наука, которая даст ответы на все вопросы, что занятые в ней — это и есть авангард, сливки общества. Но мы попали в разряд не то что вторичного — третичного интеллектуального производства.

*— Вместе с тем, согласитесь, психолог сейчас все активнее входит в нашу жизнь. Что реально он может сделать для человека и общества? И может ли?*

— Я пыталась определить сама себя как психолог. Объектами моего анализа были такие разнородные области, что иной скажет: “Чем только она ни занимается!” Диссертацию я защищала по международной коммуникации. Существовал огромный международный проект, который вырос из известных телеместов с Филом Донахью и Владимиром Познером. Я была тогда начинающим исследователем (с сыном в коляске ездила проводить опросы) и увидела, как перекошено в свою пользу сознание бывшего советского человека. Какие бы мы ни предлагали модели, они всегда перекашиваются в сторону стереотипов. Если человек склонен воспринимать себя позитивно, то “чужого” — негативно. Это не национальная особенность (то же наблюдалось и у американцев), это фактор, который приходится учитывать.

Потом, много позже, я была приглашена на фондовый рынок как “хороший качественный”; мы смотрели, как функционируют новые организмы — фондовые компании по западному типу. Между этим занималась телекоммуникациями, что тоже было связано с экспансией западных моделей и реакцией на них наших людей. Характерно, что ученый, которому выдавали компьютер и платили деньги за участие в коммуникации, отказывался от общения. Еще как-то можно было наладить электронную переписку, научить человека с большим научным багажом сидеть за компьютером. Но в телеконференциях и международных дискуссиях русские практически до сих пор не принимают участия. Есть формальные правила открытости, обсуждения, которые важны для западных людей. А для наших оказалось важнее, чтобы статус не пострадал. Статусная страна. Если я директор, то необходимо, чтобы все понимали, что вес моего слова много выше, чем вес слова какого-то профессора из Мичигана. Вообще данный вопрос, кто я есть в этом мире в рамках, категориях иерархии, для человека из нашей страны крайне важен (с чем мы сталкивались и в дальнейшем, в других исследованиях). Эта замкнутость на себе и своих амбициях мешает человеку развиваться.

— *В академической среде в том числе?*

— Академическая среда оказалась очень жесткой, очень консервативной. Можно было предполагать, что как раз ее представители, люди с широким кругозором, быстро переключатся, однако в ходе реализации того же проекта по внедрению в международную коммуникацию российских гуманитариев ориентация на иерархию в этой среде обнаружилась, пожалуй, особенно четко. Иные директора вообще отказывались отправлять сообщения, даже когда им приходили приглашения на конференцию, все оплачивалось и т. д., потому что считали это секретарской работой (“печатная машинка”). Причем тут, как и везде, конечно, прослеживалась поколенческая градация: молодые стремились выехать на Запад — любыми путями (учеба, стажировка), продавать им, грубо говоря, было нечего,

как специалисты они пока не состоялись; а вот мы, те, кто уже защитил диссертации и подтвердил свою квалификацию, пытались развивать совместные проекты, участвовать в серьезных конкурсах. Существовал негласный запрет на публикацию моих данных — считалось, что это помешает развитию проекта по включению российских ученых в телекоммуникацию. Уже имелся негативный опыт с телемостами: двум аудиториям дали возможность поговорить, а они забросали друг друга “гнилыми помидорами”; быстро достичь эффекта взаимного приятия не удалось; что будет дальше — никто не знал, психологи и социологи оказались не готовы спрогнозировать, какие этапы нужно пройти, чтобы использовать эту модель более гибко. Огромные деньги. Непонятные результаты. Проект был закрыт. Точно так же с телекоммуникациями: деньги вгрохали очень большие, а эффект оказался очень маленький. Российские ученые не стали общаться на хорошем информационном уровне. Люди были обеспокоены зарабатыванием денег, причем, чем хуже становилась у нас ситуация, тем более, я бы так сказала, меркантильную позицию занимали россияне. Если им об этом мягко говорили, они сразу вставляли “в стойку”, напоминая: мы великие российские ученые, мы и без вас... Такого рода были конфликты, которые, по-видимому, имеют культурологическую основу. Феномен закрытого общества.

Но, надо сказать, мы наблюдали разные стратегии, и те, которые не заключали прямой отказ от каких-либо коммуникаций, в общем срабатывали позитивно. Я сама, как уже говорила, принадлежу к тем, кто что-то пытался в этом плане делать. С трудом, перебирая контакты. Мы становились членами международных ассоциаций, получали книги, журналы (естественно, не бесплатно). Иными словами, сеть дала-таки возможность ориентации в науке. У меня все контакты потом были сетевыми, но не были, могу твердо сказать, случайными. Это долгая работа — понять, какая проблематика актуальна, кто ею занимается. Сеть позволила попробовать взаимодействовать, найти общие точки зрения, с кем-то договориться, то есть включиться в процесс, прежде нам не знакомый. “Нас этому не учили”, потому что в рамках той же научной иерархии есть ученый



совет, заседания секции, лаборатории, а они не готовят к международному общению. Нам до сих пор трудно выезжать и выступать (я не говорю о тех, кто сразу уехал и уже там прошел эту школу). У нас другой стандарт. Я просто вижу, бывая на всякого рода международных собраниях: приезжают наши невероятные умницы, но психологически не выдерживают презентацию. Думаю, это действительно вещь поколенная. Одна из моих работ называлась “Влияние прошлого опыта на восприятие коммуникативных событий”. Если тебя постоянно били по рукам, то ты выходишь на кафедру международного конгресса с ужасом: сейчас тебя заклюют, не поймут, не примут. Если не переживешь этот шок, не знаешь, что дальше последует что-то другое, а все время откатываешься назад, никакого прогресса не наблюдается. Негативный опыт обязательно переносится. Я не считаю, что ученый в этом смысле сильно отличается от других людей, всегда хотела думать, что это не закрытое сообщество. Во всяком случае, к себе отношусь как к типичному субъекту и решения принимаю совершенно типичные. Единственное — могу еще что-то про это написать, проанализировать, понаблюдать. Но уже как бы разочаровалась в своей способности открывать какие-то невиданные горизонты, при всем моем желании.

— *Это потому, что вы глубже вошли в общемировую науку и появилась возможность сравнений?*

— Нет, я думаю, просто не надо себя переоценивать. Вот есть интеллект, который образование позволяет нам тренировать — мы можем изучить языки, перечитать массу книг и т. д. А есть уровень личностного развития человека (такая была модель у Колмогорова). Личность и интеллект: чем более развивается интеллект, тем сильнее личность репрессируется. Советская школа воспитания строилась на том, что тренировался интеллект. Я всегда пыталась быть с собой честной, потому неоднократно переживала шок по поводу самой себя. Ну, например: я училась только на “пять”, считала, что надо показывать high class и таким образом держать себя в тонусе — такая была “закладка”, с которой я долго должна была прощаться, с тех пор,

как закончила университет и вышла в жизнь. В Москве я до этого почти не бывала, распределение сочла прекрасным (меня направили на огромный ткацкий или прядильный комбинат, уже не помню). Доверена самостоятельная творческая работа, первый раз в жизни. Я приехала туда — и мне не о чем было говорить с этими людьми. Мне надо было выстраивать отношения, а я постоянно попадала в конфликты (при том, что была пай-девочкой, но это в своей среде). Я хотела понять, почему я, такая умная по всем формальным показателям, не могу нормально налаживать контакты. Ответ находила в том, что, занимаясь интеллектуальным развитием и показывая на всяких олимпиадах лучшие результаты, до какой-то степени получаешь удовлетворение. Но выходишь в реальный мир с огромными амбициями. Мне пришлось пережить в своей жизни много конфликтов, когда мою самооценку не то чтобы снижали, а делали адекватной, пока я не научилась в разных ситуациях вести себя по-разному и не стала более пластичной. Из этого монолита, из этого бетона нужно было делать пластилин. Да, развитие интеллекта позволяет нам и на международном уровне действительно с легкостью осваивать огромные массивы данных и чему-то обучаться, но если ты становишься психологом-практиком, то не хватает твоего личностного развития. Ты застреваешь на своей исключительности, которая ничего тебе не дает в общении с ткачихой или продавщицей, а ты переживаешь по поводу того, что тебя, твою богатую душу не понимают. К такому ответу — для себя самой — надо было прийти. Жизнь начала верифицироваться.

*— Но ведь естественно, что человек выбирает свою, близкую ему группу общения, ученый работает на свою референтную группу. У психолога иначе?*

— Конечно, мы пытаемся выбирать свою группу. Но, боюсь, это невозможно. Профессия должна вооружать. Иногда говорят, что, если человек, идя в психологию, не может решать собственные проблемы — профессиональные, личные, ближайшего окружения, — он будет плохим психологом. Это некоторое заблуждение, потому что в своем

“супе” трудно разбираться. Западные психотерапевты идут друг к другу, чтобы чему-то научиться. Но ты — как минимум — должен кому-то помогать. Установка как у врача: ты идешь в профессию, чтобы помогать. И, конечно, при этом узкий репертуар общения, тесный круг знакомых формировать трудно. Безусловно, приятно и интересно общаться с хорошими журналистами, психологами, социологами. Но это мне чаще всего не помогает решать практические задачи, ведь потом делаешь очень много вещей сугубо практических.

Сразу вспоминается мой первый опыт такой колоссальной и вряд ли профессиональной работы, когда я, кажется, готова была сойти с ума. В условиях нищеты мы хотели “одарить” наших одаренных детей... Меня пригласил “Евроталант” — есть такая организация при Совете Европы, своего рода профессиональная ассоциация специалистов, занимающихся проблемами одаренности. Мы решили организовать конкурс и победителей в качестве награды отправить летом во Францию. Очень хотелось, чтобы дети наши туда поехали. “Евроталант” всячески поддерживал идею конкурса, в нем принимали участие многие ребята, мы выработали критерии, смотрели и на “семейный контекст”, родители тоже связывали с этим какие-то свои надежды. И когда конкурс уже шел к концу, нам выставили цены — две тысячи долларов за поездку ребенка в международный лагерь. По тем временам — бюджет нескольких лет целой семьи. Оказалось, мы взяли на себя огромные обязательства. Я в этом участвовала в качестве кросскультурного психолога: на связи была вся Европа, и предполагалось, что специалист такого уровня нужен. И вот мне пришлось искать те деньги. Естественно, это не назовешь психологической задачей, но все же задача на общение, на организацию. Деваться было некуда. Помню, первый раз шла на такого рода переговоры (просить деньги) к мэру города Ногинска. За спиной у меня стояли родители, которые у нас в стране твердо считают, что школы и всякие организаторы отвечают за их детей. Такую родительскую установку мы не скоро еще переломим. Скажем, в той же Франции или в Америке родители не могут делегировать эту ответственность школе. У нас ее делегируют еще с со-

ветских времен, поэтому прессинг был колоссальный. Я собирала деньги не в свой котел (просто ходила от бизнесмена к бизнесмену), успела за положенную неделю, и дети уехали. Но едва ли не сразу они стали звонить домой и просить, чтобы их забрали обратно. Я только расслабилась, думая, что совершила подвиг, что за такое медали дают, а мне уже звонили родители и спрашивали: куда вы отправили наших детей? Я там никогда не была. Я лишь могла доверять проспектам, статусу организации и т. д. Тогда мы искренне полагали, что там специалисты экстра-класса, что это возблагодарится... Но дети же, извините, не идиоты, чтобы уехать во Францию, а потом звонить и плакать. Вот вам идеи “шестидесятничества”, между прочим, которые изживаются годами: это я сейчас стала циничным прагматиком, но тогда пыталась телом прикрыть амбразуру; поехала туда сама, понимая, что меня разорвут на части. В общем, в международном лагере никто не говорил даже по-английски, а наших детей мы натренировали, они знали элементарный французский и у них был хороший английский, их готовили так, как, наверное, Юрия Гагарина в космос. И наши перемотивированные дети от многого были в шоке (не к месту, думаю, перечислять здесь все это подробно). Получилось, что мы их бросили в ситуацию культурного шока, не пережив его сами. И мне пришлось тогда самой налаживать изостудию (кстати, заявленную в проспекте), менять расписания, сосредоточить всех этих “образователей”, которые оказались студентами, и заставить их работать, чтобы дети месяц не потратили зря. И чтобы мы не срывались с места, что никак не было связано с возвратом денег (французы в этом смысле большие “молодцы”). А главное, я так полагала, все равно в том “супе” надо как-то разбираться (кстати, теперь дети ездят каждый год во Францию и Шотландию по совместно разработанным программам). Наверное, я тогда могла сказать: это не педагогика, это вообще черт знает что, забрать детей и уехать. Но было же понятно, что мир теперь станет открытым и что эту дорогу кто-то должен пройти, описать.

— *И как далеко ушли за десять лет? Утратились иллюзии, отношения стали более трезвыми?*

— Скажем так: более адекватными. Не в том смысле, что появились разочарование, некоторая отчужденность, хотя охлаждение, конечно, есть, потому что ожидания были огромные. Американцы, например, прямо рвались помогать русским. Когда я приехала в Америку в первый раз двенадцать лет назад, меня на руках носили (думала: за что мне такое счастье?). А когда приехала два года назад, никто и внимания не обратил.

— *Потеря интереса к России?*

— Потеря интереса, конечно. Но отношение разное — и у нас, и у них, что очевидно. Сейчас бы эту разницу описать, и не только словами “плохо — хорошо”. Социологи у нас фиксируют массовые антиамериканские настроения, многие люди, никогда никуда не выезжавшие, связывают реформы с американской экспансией. А есть немало и тех, кто детей своих туда отправил, считая, что там больше возможностей для самореализации, что их дети будут иметь более реальные шансы устроить жизнь. Много и таких, как я: когда сыну исполнилось десять, мы с ним тоже выезжали, прошли, можно сказать, через все эти круги, но, оказалось, не были готовы и вооружены на сто процентов, чтобы принять радикальное решение. Мы каждый раз возвращались, поскольку я видела и понимала, что для сына это будет травмой, что там он должен переживать какие-то свои иллюзии (в итоге выбрали нашу Высшую школу экономики, сейчас он учится на социолога). Моя последняя книжка “Соблазн эмиграции” о женской эмиграции. Это и мой личный опыт. Хотелось показать, какие тут есть вариации, нет ли чего-то единого. Уезжают люди, чаще всего “готовые на все”. У меня такой готовности никогда не было. Будем считать, что чувство собственного достоинства помешало...

— *Вам удастся все же сочетать сугубую прагматику с некими научными обобщениями, творчески перерабатывать полученную информацию? При таком многотемье не сужается, как это ни парадоксально звучит, само понимание психологии как науки?*

— Несомненно, репертуар интервенций психологии в жизнь сейчас очень широк: политическая, детская, клиническая психология... Что ни произойдет в стране — это как-то “занозит”, хочется понять драматургию события. Думаю, такая широта, способность экстраполяции наблюдений и выводов, полученных в разных ситуациях, может быть чрезмерной с точки зрения американца или француза (у француза, скажем, отсутствие четкой специализации сразу вызывает иронию). Но это характерно для российской гуманитарной мысли — такой широкий, мировоззренческий подход. А главная тема, по сути, сейчас одна: поведение человека после резких перемен. Психология как наука, думаю, призвана помочь людям оценить собственные ресурсы в ситуации, когда им приходится решать острые жизненные проблемы.

Другое дело, что наука теряет функцию эксклюзивного, авторитетного анализа. Или уже потеряла. Эту функцию стал выполнять кто угодно — общественники, социальные работники, депутаты, журналисты. Кстати, еще одна из моих иллюзий — экспертиза в Госдуме, где, казалось, можно как-то организовать, работать “командой”. Но кто эти люди, эксперты, откуда взялись? Все при каких-то невероятных дипломах (не исключаю, что приобретенных). Когда мы там провели первый круглый стол, я поняла, что он и последний — во всяком случае в моей истории.

— *Довольно типично суждение насчет “вытеснения ученых (умников) из их исконных рефлексивных ролей”. Возможно, тут вина (или беда?) и самих ученых?*

— Могу только сказать, что наука, безусловно, хочет быть полезной, но она не всегда знает, в частности моя наука, как это сделать. Психология сейчас действительно в особом положении. Когда мы учились, был огромный конкурс и очень мало факультетов и отделений. А в прошлом году только в Москве их было 90. Притом все говорят, что этого мало, надо больше. Скорее всего, такая массовость влияет на психологическую образованность. В итоге человек, считающий себя психологом, может просто что-то рассказывать как специалист обществознания. Или рож-

дать экзотические ожидания: стоит как-то там “поколдовать”, и жизнь переменится. Стало своего рода формой досуга — сходить к психоаналитику. Я, например, не понимаю, как работает та часть психологов, которые напрямую заимствовали западные модели анализа, тот же психоанализ. Ведь существует довольно устойчивый поверхностный уровень сценариев поведения, характерных только для той или иной культуры. Люди ведут себя и дома, и вне дома типичным “советским” образом, или “постсоветским”. Фрейду такое и не снилось в его снах и сновидениях. Иногда необходимо “разгрести” проблемы человека, развести его в роли, поправить жанр, что называется...

К сожалению, надо признать, что наша область часто становится кормушкой для дилетантов и прибежищем для несчастных женщин, не нашедших достойной социальной защиты для себя и своих детей и ищущих способов психологической компенсации и защиты.

*— Вам не кажется, что в последние годы мало заметна тема адаптации населения к тому, что происходит в России? Если в те же 90-е годы о ней много говорилось, писалось, публиковались данные всевозможных исследований, то теперь проблема, во многом психологическая, как бы ушла. Она решена, найдены способы ее решения? Или население стало другим?*

— Атмосфера, политика в стране стали другими. Была эпоха революционных преобразований, сейчас — стабилизация. Во всяком случае, такова общая установка. Адаптация в условиях стабилизации. Все: мы уже адаптировались. Сейчас спросите у людей: вы принадлежите к среднему классу? Большинство, я думаю, скажут: да. Это такой психологический феномен. Многие социологи говорят, что никакого среднего класса не существует, что это категория пустая. А для психолога — очень важная категория. Человек, по сути, заявляет о средней самооценке. Нормальный человек считает, что он нормальный, средний, как все. Слово “средний” — указание на норму. Потому у нас те, кто в среднем классе, составляют потенциальную норму.

Меня интересует семья — несомненная ценность, маленький социальный организм, где, по сути, произошла поломка (женская эмиграция, безумная детская бездомность). И это есть этап изменений. Чем семья по православному типу отличается от семьи католической, протестантской? Я изучала это во Франции и в Америке; и поверьте, есть много такого, над чем стоит задуматься, решая проблемы социализации, ведь основная функция семьи — социализация ребенка. Вопрос социализации поколения — тоже в семье, а она у нас часто строится на психологическом противостоянии. Эта модель исторически отшлифовалась, а то новое, что появилось, не дает оснований рассчитывать на надежность и ответственность семьи. Очевиден ее кризис, связанный с распадом устоявшихся связей, но она еще не достигла уровня какой-то другой нормы. Я ее пока не вижу.

Я всегда занималась маргинальными людьми. И маргинал для меня — не только человек, которому плохо, но и человек-прогрессор (если так можно сказать). В рамках социальных изменений отслеживаются судьбы того и другого, что, думаю, симптоматично для общества, поскольку они на кромке, более чувствительны ко всякого рода переменам. Это верхняя и нижняя нормы. Конечно, тот маргинал, который меня интересует, не может не понимать, что ему одному справиться с задачей социализации, что он может быть не принимаем. Такова его психология. Одиночество — переживание людей, которые не чувствуют себя привлеченными к жизни общества, полноценно, как они хотели бы. И в последнее время я все в большей мере переключаюсь на эту тему, на мой взгляд, весьма актуальную.

Если уж говорить о возможностях и особенностях адаптации, то тут иногда возникают вопросы, казалось бы, от темы далекие. Ну, например, по психологии мобильной связи. Массачусетский университет провел исследование, которое показало, что почти 30 процентов американцев ненавидят мобильники, хотя и жить без них не могут. Встает вопрос об упорядочении контактов. Мы только вступаем в эту фазу, но и для нас уже актуально, что любое новшество должно быть связано с самоограничением. В качестве небольшого отступления: когда мы проводили



исследования на фондовом рынке (задача была оптимизировать бизнес-процессы), решили использовать как инструмент любую связь, в том числе и мобильную, потому что на фондовом рынке люди сидят с наушниками и микрофонами. Нам позволили фиксировать разговоры, чтобы понять, над чем бьется мозг трейдера. И мы были поражены: за неделю чего только не наслушались — говорили о пиве, о девочках, о казино... Восемьдесят–девяносто процентов спама, что называется. Конечно, ни одна западная компания (чисто западная) не потеряла бы от своих сотрудников такого распыления средств...

— *Вы вообще с оптимизмом смотрите на то, как входит Россия в новый, глобальный мир? Как ощущает себя в этом мире, где происходят изменения и конфликты цивилизационного масштаба, наш, российский человек? Меняются ли, на ваш профессиональный взгляд, его представления, поведение, психология?*

— Чему меня научили последние 10–12 лет — это мыслить вариациями. Потому встречный вопрос: какой именно человек? Одни — элитная часть нашей молодежи — с легкостью вливаются в эти международные процессы. У них нет никакой, даже психологической проблемы адаптации, но они тоже разные (это к вопросу о шансах на их самореализацию). Выезжают из страны без родителей, избегая того конфликта, который замучил эмигрантов второго поколения и обычно губит или родителей, или детей. Пробуют себя в одиночку, все риски берут на себя. Кто-то, напротив, считает, что нужно оставаться здесь, но за этим нередко видится желание воспользоваться статусом либо материальными ресурсами своих родителей — у нас семейственность как была, так и остается. Среди них много этаких фанфаронов, которые, кажется, лоснятся от успеха. Но я не склонна связывать с ними наши надежды. Считаю, что действительно успешный человек независимо от революций, перестроек или стагнаций все равно нарабатывает свой уровень и достигает какого-то прогресса. Жизнь никогда не пойдет по течению, глупо готовить к этому молодых. Пережив этап проб, а может, и авантюр,

человек будет стоять того, чего он стоит сам по себе, на деле. И меня настораживает, что пока нет никаких механизмов продвижения этой молодежи, а они должны быть. Тех, кто хочет жить самостоятельно, делать что-то свое — а я очень хочу им верить, — необходимо поддерживать. Им хватит энтузиазма и амбиций для профессиональной социализации. А хватит ли их до этапа, например, создания семьи — следующего этапа социализации? Важно, как общество отнесется к тому, чтобы семья сложилась. Это некий встречный процесс. Пока можно только радоваться, что в новом поколении у нас есть такая прослойка.

Меня пугают девочки, выросшие на гламурных журналах, в том числе дочки моих знакомых. Я переживаю не за них даже, а за их мам, потому что дочки “трясут” прежде всего свою семью. Они не хотят никуда уезжать, не хотят уходить из дома, я это вижу. Паразитируют в чистом виде, при огромном самомнении. Если расцениваешь себя в качестве эпицентра, это не позволит потом работать в коллективе. Такой человек будет давить. Я могу представить много ситуаций, которые он не примет; будет выстраивать только постаменты себе, тянуть на себя. Правда, когда рынок вакансий насыщен, все-таки укрепляются требования к каким-то рабочим характеристикам, начинают смотреть не просто на “родословную” и английский, но и на способность “пахать”. Это несколько обнадеживает.

*— Как вы расцениваете социальную активность тех, кто следует за вашим поколением, их политические воззрения — если они есть?*

— Для нас, я считаю, было важно, чтобы мы делали нечто социально звучащее, общественно значимое — такой был критерий. Для нынешних молодых важно, чтобы им было интересно, чтобы они лично реализовывались. А вот методы у них будут разные: кто-то сядет на шею родителей, кто-то станет ездить и учиться, кто-то максимально использует все шансы, чтобы закрепиться в другой стране, более благополучной. Конечно, индивидуалистическое поколение, и политически менее ангажированное. Они пойдут в политику, мне кажется, если политика будет ин-

тересна им. Они просто хотят быть счастливыми. Если мы все еще хотим быть полезными, то они — счастливыми, и в этом смысле точно знают, что породят какие-то альтернативы, дабы не быть похожими на нас. Несомненно. Во что это конкретно выльется, пока вряд ли кто может сказать. Я, например, не готова.

— *Сегодня можно услышать такое суждение: наступает время, когда человек начнет менять самого себя; не в сиюминутном, конъюнктурном смысле, а в некоем глубинном, сущностном, чего не происходило на протяжении столетий, а то и тысячелетий; он наконец займетя собой. Вы лично ощущаете какие-то предпосылки к этому?*

— Знаете, меня все время занимает то, что человек постоянно декларирует свою готовность меняться, а ведет себя по-старому. Все поведенческие стереотипы столь живучи, так плохо сознаются, что ждать каких-то прорывов от одного поколения к другому не приходится. Есть как бы маятник. Если говорить, в частности, о женском поведении, то женщина гиперответственная, еще моего поколения, сменяется безответственной, инфантильной, которой нравится быть содержанкой и т. д., она на чем-то попадает без конца, потому что паразитирование — вещь тупиковая, разрушает личность; но потом, наверное, ее дети, сравнивая эти два варианта, выберут опыт бабушек... Пока видно, что происходит освобождение человека, он действительно может больше внимания уделять себе, но еще не знает, как это делать. Что значит “уделять внимание себе”? Бежать в клуб, идти в турпоходы или отправляться в турпоездки? Полученная свобода пока переплавляется, мне кажется, в какие-то внешние свои атрибуты. Не думаю, что нас ждут скорые перемены. Более того: если мы были обществом низкопроизводительным, то теперь становимся обществом высокопотребительным. А мы видим по американцам, что это не привело к какому-то личностному прогрессу. У меня такое ощущение, что стратегия насыщения никогда не реализуется, человеку всегда будет мало. В том-то и беда: тех, кто хочет что-то делать, никак не поддержи-

вают; рынок очень сильно поддерживает, стимулирует, иницирует потребителя. Все время хочется сказать: нет, это лишнее. Аскетизм предыдущего поколения, наверное, был чрезмерным, но человек действительно должен себя ограничивать. Задача самоограничения входит в задачу личностного развития. Пока же, повторю, личностных прорывов я не вижу; вижу, будто снова начинается этап стагнации, по старому типу: опять эти неформальные, невидимые клубы, люди не хотят ничего менять, потому что привычные связи в каком-то смысле обеспечивают их безопасность, благополучие; они готовы смириться с такого рода жизнью, лишь бы у них ничего не отобрали...

— *Но речь идет о перспективах более дальних, о веках.*

— Ну, о веках... Мы-то крутим глубинные механизмы и понимаем, насколько инерционно они устроены. Настолько, что жизнь положишь, стремясь человеку помочь, а он пойдет, выпьет с другом сто граммов, и ему все становится ясно.

— *У вас как исследователя есть та проблема, та тема, которой вы “болеете”, к которой всякий раз, на новом витке социальных изменений, стремитесь вернуться?*

— Конечно, я ее уже называла: социализация детей. Как, используя психологические либо какие-то материальные, социальные инструменты, дать ребенку больший шанс реализоваться? Эта исследовательская задача совпала с личной задачей. Моя мама работала в интернате для сирот и полусирот, мною практически не занимались, дом был забит другими проблемами. Я ходила в таком же халатике, как и все остальные, и испытывала комплекс вины: вот у меня есть семья, а у них нет, поэтому все отдавалось им. Те же “шестидесятники”-педагоги старались восполнить, компенсировать сиротам то, чего они были лишены. Возможно ли это? Существует психоаналитический, фрейдистский подход, согласно которому ранняя детская травма фактически ставит крест на судьбе ребенка или в значительной мере определяет его судьбу. Я-то считаю,

что есть механизмы компенсации. На разных этапах человеку можно помочь перепрыгнуть ту яму, и этим должна заниматься психология. Все мои проекты, потом детский интернет-клуб были попыткой понять, как устроена семья, попыткой оценить ресурс детского развития. И здесь я следую традиции отечественной психологии (можно вспомнить теорию Выготского о “зоне ближайшего развития”). Истоки понятны: нужно было растить нового советского человека, и сама общая идеология исходила из того, что хорошие перемены, возможно, не далеки.

— *С каждым поколением все лучше и лучше...*

— Ну, во всяком случае такую задачу можно решать. Психоанализ — это пессимистическая теория, которая говорит: если тебе в детстве не повезло (а не повезло практически всем), то можно ставить крест; ты как индивид должен всю жизнь опираться на психоаналитика и т. д. Возможно, в обществах откровенно индивидуалистических человеку и не на кого больше опираться; там установка на собственный успех, на изоляцию, крайнюю эмансипацию, и этот стандарт не все выдерживают. У нас же, я вижу, все-таки много форм компенсаций. Если пытаешься кому-то помогать, то прежде всего оцениваешь ближайшее окружение с точки зрения — кто поддержит? Поэтому тема-то моя была и осталась. Прогресс, безусловно, есть — в занятиях с одаренными детьми, в попытках понять, что приносят нам новые технологии, какие шансы они дают детям. Но этот прогресс я, скорее, назвала бы индивидуальным. Не могу сказать, что мои проблемы зависят от того, что происходит в стране. Каждый раз, решая конкретную задачу, важно понять, в какой нише ты находишься, потому что мы настолько атомизировались...

— *“Атомизировались” — это не есть то новое, что входит в нашу жизнь, а значит, если вы не поможете, то уже никто не поможет? То есть уже нет другого рядом.*

— Может быть, и так. Но все же установка на поддержку еще не изжита. Она изживается, но я как раз верю и в

ренессанс, ведь это такая глубокая, старая традиция. К нам до сих пор люди приходят на прием не про себя поговорить, а про кого-то. Вот я хочу ему помочь, я хочу вам описать проблему. Притом очень низка психологическая культура: описывают одно, а на поверку часто — совсем другое. Энтузиазм и желание помочь есть. Еще есть и такая норма, я считаю, позитивная: помогать — это правильно. Но иногда лучше бы не помогали, не всем нужна помощь каждый день и по всякому случаю. Чаще всего в тебе нуждаются, когда говорят: я хочу тебе помочь.

*— Вы сказали, что разочаровались в своей способности открывать какие-то новые горизонты. Но все же нам не уйти от вопроса, неизбежного при такого рода беседе: как вам представляется ваше будущее в науке и будущее собственно науки, в данном случае психологии?*

— Мне вдруг пришло в голову, что при всей массовости нашей науки от меня никто не потребовал какого-то конкретного результата. И не ждут? Как и от науки в целом? Я думаю, сама ценность социального анализа снижается. Мы уже сегодня прибегаем к помощи приглашенных специалистов, не видя пророков в своем отечестве. Чтобы использовать своих, нужно признать их авторитетность, право на принятие решений. Однако это трудно для страны, в которой ставка делается на административные авторитеты, вертикаль власти, а следовательно, на неоспоримость этой власти. Ученому предлагается риторическая роль по обслуживанию власти, и вариантов профессионального существования у него немного. Можно самому войти в научную бюрократию, что значит снизить уровень работы до номенклатурного функционирования, обеспечения академического заказа, сформированного людьми, далекими от практики. Можно, как принято сейчас говорить, “продаться” западным компаниям, которые уже столкнулись с российской спецификой и испытывают потребность в аналитиках. Есть еще вариант — социализироваться через виртуальные научные сообщества, в том числе международные (о чем я уже упоминала). Но все это суррогатные формы научности, которые ставят исследова-

теля в отношении зависимости, выводят его за пределы логики научного познания, не дают реальной возможности разрабатывать свою тему.

Мой диагноз: наука в России умерла, но те ученые, которые еще функционируют, социализируются через неспецифические коллективы (не секрет, что все самое существенное как в науке, так и в обыденной жизни у нас происходит за фасадом публичной и официальной жизни). По моему опыту я могу оказаться в любом проекте. Могу работать на телевидении, или снова на каком-то тяжелом производстве, или по большому счету как “качественник” начну собирать и анализировать информацию. Масса вопросов витает в воздухе. На них кто-то должен отвечать. Ученые, исследователи пытаются, но ресурсов в науке ответить научным образом нет.

— *Нет должного теоретического уровня?*

— Конечно, проблема и в этом. Но чтобы его наработать, нужно проводить систематические исследования. А как по-другому? Меня как раз и пугает, что возрождается дух кухонных разговоров. Теперь можно все не только говорить, но и публиковать, однако неплохо бы эти замечательные, яркие идеи как-то верифицировать. По силам ли это ученому? У меня, скажем, есть своя тема, я знаю, что такая проблема стоит, причем остро, и у меня есть какие-то соображения по этому поводу. Но у меня нет возможности выбирать проект как таковой, стало быть, нет и ресурсов. Говорят, в принципе деньги сейчас найти можно. Я вас уверяю: когда я одержима какой-то идеей, я иду с этой просьбой не в одну структуру, а в 25. Никто никогда не говорит прямо “нет”. В свое время я потратила год, чтобы найти одну такую организацию. На само исследование уже физически не хватает времени и сил. Хорошо понимаю, сколь низок КПД такого поведения. Если нет нормальных механизмов финансирования науки, то пускай со мной встанут еще десятка два человек. Но это, конечно, не способ. Как комиссар, занимаешь агитационную позицию — и на “ура”! Наука же деятельность спокойная, требует скрупулезности, тишины кабинета. И очень подробной ра-

боты с текстом, тоже тяжелой. Можно, наверное, продержаться какой-то отрезок на таком энтузиазме, но выстроить новую науку на энтузиазме, мне кажется, не удастся.

Все это, конечно, сильно компрометирует науку. И ученые стали, скажем так, “всякие”. Думаю, никогда не позволю себе говорить “мы, ученые”, имея в виду общую массу. “Мы” для меня — это люди разных специализаций, так получилось, что междисциплинарных, которые показывают в своих текстах очень высокий стандарт. Все-таки уровень анализа в тексте для меня является критерием научности, и я считаю, что он может быть выдержан в любом стиле, любом жанре. Хороший научный анализ не противоречит ясности. Я принадлежу к науке, которая очень близка к людям. Передо мной задача популяризации и объяснения стоит с утра до вечера. Если я не смогу объяснить, я не смогу помочь. И что бы мы ни писали в психологические или какие-то другие специализированные журналы, одновременно, мне кажется, человек моей профессии должен уметь написать и в прессу. И я пишу, вернее, учусь писать, ведь это очень не просто. Помню свои первые робкие опыты, когда я поняла, что миссия науки — и задавать некую интеллектуальную, более адекватную моду. То, что делают журналисты, но на основе другого опыта, другого анализа.

*— Наука все же открывает для вас, представителя “поколения излома”, какие-то перспективные направления теоретической деятельности?*

— Хочу на это надеяться. Думаю, самые интересные открытия и дискуссии нас ожидают в области сравнительного науковедения. Работая в разных субкультурах, я пришла к выводу, что людей, которые ищут оригинальные пути, принимают на себя риски и ответственность за возможные просчеты, всегда не более 15 процентов. Полагаю, среди ученых процент такой же, и он вбирает так называемых интегративистов — как раз ученых “поколения излома”, призванных решать задачу сплава, интеграции разнородного концептуального и эмпирического опыта, который им пришлось черпать из самых разных источников. Стра-



тегия интеграции считается наиболее продуктивной, но и наиболее сложной. Она требует времени, колоссального напряжения интеллекта, теоретической чуткости, художественного вкуса и даже литературного таланта, а в личном плане — смелости и азарта, интереса к проблеме и самому себе, с тем чтобы прийти к формированию как оригинального научного подхода, так и научной школы. Прошу прощения за некоторое нахальство, на меньшее я бы не поставила.

Но мы живем в эпоху такого безграничного хаоса мыслей...

## *Часть третья*

А.В. Леденева

“Понять происходящее как оно есть”

*— Алена Валерьевна, вы довольно долгое время живете и работаете в Лондоне, уехав из новосибирского академгородка, и по-прежнему занимаетесь социологией. В чем изменились за эти годы ваш подход к рассмотрению российских реалий да и само видение социологии (а они наверняка изменились)? Что приобретает и что, возможно, утрачивает ученый, смотря на объект своего изучения уже несколько со стороны?*

— Начну, наверное, с самого простого, расскажу немного о себе, с новосибирских времен, вернее, со времен Инны Владимировны Рывкиной (в среде социологов ее хорошо знают). Люди склонны приписывать себе разные формативные влияния. Должна сказать, что вот я — человек Рывкиной. То, как Инна Владимировна преподавала, как она проводила исследования, строила свой рабочий день, — во многом репродуцируется в моей жизни. Причем я это обнаруживаю в себе без всякого стремления ей подражать. Каким-то образом передалось... Я начинала со стратификационных исследований (мой диплом был написан по стратификации сельского населения Новосибирской области и Алтайского края, 1986 год). Это было интересно и шло вразрез с официальной идеологией: нельзя было отыскивать различия в том, что должно было быть гомогенным. Забавно, что впоследствии сам принцип “нельзя, но можно” станет предметом моего изучения. В сибирском Институте экономики и организации промышленного производства имелся огромный массив данных, который я перекодировала, пытаюсь найти как раз в однородном элементы стратификации. Использовались математические методы. Считали на перфокартах, — да, тогда еще на перфокартах — и работалось, на-

до сказать, хорошо. Ну а потом начинается “великий отъезд”: в советники к Горбачеву уезжает Татьяна Ивановна Заславская, которую мы все очень любили и с именем которой в значительной мере ассоциировалось все то, что тогда представляла из себя социология. За ней уезжают Инна Владимировна, Людмила Александровна Хахулина и многие другие значимые для меня люди. Достаточно быстро уезжаю и я. Но не в Москву, а в Кембридж. А получилось это так.

Теодор Шанин, — которого я не могу не упомянуть, если мы говорим о формативных влияниях, — при поддержке Джорджа Сороса организовал три социологические школы для молодых советских социологов. Во вторую из них, в 1990 году, попадаю я. В университете Кента для аудитории из двадцати человек выступали самые известные в социологии люди, представляющие достаточно разнообразный спектр британской социальной мысли. Для меня это был в каком-то смысле шок — я не узнавала социологии, какой ее знала: эмпирической, с опорой на математические методы (шок, усиленный еще и тем, что живешь в Сибири, иностранцев не видишь, иностранной речи не слышишь)... Так фактически сложилась идея поучиться еще. Опять при поддержке Сороса в 1991 году получаю стипендию и еду делать магистерский диплом по социально-политической теории в Кембридж, в наименее по тем временам эмпирическое место. Моим научным руководителем становится теоретик Энтопи Гидденс — можно сказать, уникальная возможность посмотреть на дисциплину с другой стороны и поработать над преодолением своего “черно-белого” подхода, за который нас частенько критиковали в Кенте. Сказать откровенно, было трудно, но, видимо, продуктивно в том плане, что меня рекомендовали на PhD (наш аналог — докторантура), всячески поддержали и дали стипендию. В результате я оказываюсь в ситуации, когда мне за два года нужно написать докторский текст по теме моего выбора. И тогда первый раз встает вопрос: если у тебя есть стипендия и кембриджская библиотека, и потрясающее окружение, то на что, на какие социальные идеи можно это потратить? Вот когда тебе дано все? Это был 1993-й год. На тот момент мне казалось важным просто запечатлеть новое в постсоветском

наполнении развития и найти такой угол зрения, под которым ситуация России начала 1990-х увидится необычным образом.

— *Каким именно?*

— В начале 1990-х годов было понятно, что старое уходит, новое приходит и нужны идеи, дающие представление о том, каково это новое. И было очень много попыток заимствовать идеи, уже существовавшие на Западе, чтобы описывать происходящее в России. Перенос понятий “демократия, социальный капитал, гражданское общество” привел к тому, что желаемое выдавали за действительное (точнее сказать, действительное описывали желательным), фактически в прежнем телеологическом паттерне “коммунизм — равенство — братство”. Мне же хотелось передать ощущение того момента, постараться понять происходящее как оно есть, “здесь и сейчас”. Смотреть на процессы, не заимствуя категории у Запада. Не пытаться концептуализировать, а взглянуть на самый микроуровень перемен, чтобы понять, насколько фундаментальны перемены в постсоветском обществе. Когда мы начинаем по-другому вести себя в повседневной жизни — вот оно, глобальное изменение. Революция в общественной гигиене складывается из изменений рутины каждого; скажем, когда люди начинают принимать душ каждый день, эта повседневная микропрактика транслируется на макроуровень и производит фундаментальный сдвиг в состоянии здоровья общества. Таким образом, мой вопрос на тот момент сформулировался так: найти изменения на микроуровне и понять, на какой фундаментальный сдвиг они завязаны. Микропрактики можно отследить эмпирически (а я эмпирического склада человек).

То обстоятельство, что я провела год в Англии, оказалось очень важным не только в смысле концептуализации идеи. Год по тем временам был потрясающим количеством времени. Ты возвращаешься, фиксируешь новые слова или “игры слов” (в терминологии Витгенштейна) и за ними видишь те “игры дел” или формы жизни, которые не существовали в советское время. Помимо языка, можно отсле-

дить трансформацию форм обмена или использования времени, также характеризующих “повседневность”.

В 1970-х Пьер Бурдьё стал прилагать антропологический метод, используемый им в Алжире, для изучения парижской Академии, французской аристократии и т. д. Вот я подумала: интересно, а если таким же способом посмотреть на трансформацию в России? Что получится? Когда я показала план изучения паттернов языка, обмена и времени в постсоветском контексте Энтони Гидденсу, он сказал: “Тут три диссертации, выбирай что-то одно”. Я выбрала обмен и со временем обнаружила, что “блат” — это интересная, достаточно не изученная и в чем-то парадоксальная тема. При том что блат был везде и мы все про него знали, в литературе и письменных источниках о блаате нашлось совсем немного. Так, новым оказалось старое, широко распространенное и совершенно повседневное. Когда я приходила к людям брать интервью и объясняла, чем занимаюсь, у многих это вызывало недоумение. Помню, когда первый раз вернулась после Кембриджа и сказала Инне Владимировне, что диссертация у меня будет о “блаате и практиках”, она меня чуть из дома не выгнала — ненаучная какая-то тема... А для меня это исследование оказалось формативным. Я думаю, на определенного рода темы трудно выходить без маргинальности, потому что важно вырваться из контекста, отстраниться от него, чтобы потом увидеть то же самое другими глазами. Смена перспективы выдвигает фоновые практики на передний план, тем самым задвигая то, что было на нем до этого. Выход на фоновые практики позволяет глубже оценивать идущие процессы. Например, блат можно рассматривать как компенсаторную практику жестко централизованной системы, как своеобразный индикатор эффективности плановой системы: несовершенство планового распределения ресурсов, централизованного управления из Москвы компенсировалось практиками неформальными, включая толкачество в индустрии, блат в сфере личного потребления, патронаж и клиентелизм в иерархических структурах. Сейчас, конечно, уже многие занимаются теневыми практиками и никого это больше не удивляет.

— *То есть вы считаете, что блат — не только экономическое явление, но и некая компенсация, скажем, недостатка властных полномочий?*

— Я не считаю, что блат — экономическое явление. Это форма человеческих отношений, форма обмена, которая, будучи включенной в экономическую и политическую систему, при каковой мы все жили, явилась альтернативной формой обмена, обслуживающей много социальных и экономических функций. Если хотите, блат — это альтернативная социальная валюта, то есть обмен услугами, которые я называю “услугами доступа”. Вы ведь не просто кредитовали кого-то из своего кармана или, так сказать, делились с соседом, а помогли соседу получить доступ к тому, к чему сами имели доступ по должности, распоряжаясь, по сути, тем, что вам не принадлежало. Интересно, конечно, проследить трансформацию этой формы взаимодействия в постсоветское время, поскольку все теневые практики, как их у нас называют, являются индикаторами системы. Не бывает формальной и неформальной экономики — они сосуществуют, и если мы исследуем что-то в неформальной сфере, то результаты нам говорят о том, какие дырки закрываются в формальной экономике и как она функционирует. Можно сколько угодно говорить о реформировании России, об удивительных сдвигах в смысле продвижения к демократии. Но когда я смотрю на свои любимые темы — неформальные практики, использование личных сетей и альтернативные валюты обмена — на динамику дискурса и форм жизни, иллюстрирующие отношение ко времени, я вижу, что изменения в системе происходят гораздо медленнее, чем того хотелось бы. Многие тексты об институтах демократии, о гражданском обществе, политических партиях, связанные больше даже с политологией, чем с социологией, мне кажется, забегают вперед.

— *Вы акцентируете внимание на слове “блат”, а не есть ли это, по сути, та же коррупция, о которой сейчас так много говорят и которую стремятся объяснить, изучить, побороть? Вы сознательно разделяете эти термины?*

— Для меня “коррупция” — один из чересчур всеобъемлющих, но конкретно ничего не означающих терминов, которые употреблять бесполезно (как и слово “глобализация”), по крайней мере в перспективе практик. Вместе с тем я читаю лекционный курс “Коррупция в мире: причины, последствия и контроль”. Студенты ведут мониторинг коррупционной ситуации в выбранных ими странах и составляют аналитические отчеты. Что интересно: феномен коррупции универсален для человеческого рода. Но формы его конкретного воплощения могут различаться. Вот у нас есть блат, а у них — “old-boy-network”, разновидность корпоративной этики или неформального обмена между людьми, которые ходили в одну и ту же привилегированную школу, а потом доросли до больших должностей. Я как раз сейчас собираю аналоги таких практик по разным странам мира — как они звучат в языке, как человек относится к ним, — и чем больше присматриваешься, тем очевиднее осознаешь эту универсальность. И в данном смысле указывать на Россию как на страну, где коррупция особенно распространена или где утвердился своеобразный национальный характер, побуждающий к коррупции, мне кажется, неправильно. Отнюдь не это определяет специфику России.

— *Как вы охарактеризовали бы российские реалии на фоне тенденций мирового развития? Вы не склонны считать, как некоторые ваши коллеги-ученые, что мы переживаем критический момент в истории цивилизации?*

— В практической парадигме происходящее в постсоветское время не имеет особой значимости, потому что фундаментальные формы социальных отношений не изменились. Универсальные паттерны (например, в отношениях индивид — власть) остаются такими, какими и были. И на фоне этих базовых паттернов можно видеть лишь какие-то конкретные, частные перемены. Да, были перетряски, когда личные сети в 90-х годах очень сильно перетряхнуло. Произошло расслоение на бедных и богатых. Какие-то сети сжались, какие-то, наоборот, расширились; одни заглохли, другие стали более открытыми. Вот эти вещи



произошли. Но паттерн неизбежного использования неформальных сетей, для того чтобы достигать успеха, карьеры, чтобы жить более комфортабельно, сохранился. То есть опять повторю: изменилось наполнение, но паттерн тот же самый. Изменится ли он в качественном смысле? Надеюсь, что изменится, и здесь более всего важен экономический рост. Будет экономический рост — все будет нормально. Другое дело, как его достичь.

— *У вас это под знаком вопроса или есть уверенность, что рост непременно произойдет?*

— Под знаком вопроса. Если смотреть на тенденцию развития России до революции 1917 года и Первой мировой войны, то она была правильной, и в этом смысле, если думать в терминах возврата, ну, как бы к нормальному состоянию, то должно быть все нормально. 1917 год всегда считался водоразделом, то есть началом новой советской эпохи, устремленной в коммунизм, в светлое будущее. Потому, как шутят историки, каждый день 1917 года изучен настолько, что и скучно и грустно. Сейчас, в связи с распадом Советского Союза, 1917 год “задвигается”, а на передний план выдвигается иной формативный период. Если для анализа зарождения революции очень большое внимание уделялось распаду монархии, сейчас в аналогичной ситуации оказывается эпоха “брежневизма”. Ведь именно в брежневское время сложились тенденции, приведшие к распаду, о чем так настойчиво в свое время пытались говорить Абель Аганбегян и другие экономисты. Сейчас этим тенденциям придается эпохальное значение, то есть они “въезжают в фокус”. “Брежневизм” часто воспринимался как период, когда ничего особенного не происходило, просто застой, хотя теперь-то мы понимаем значимость отсутствия событийности. Так отсутствие событийности становится событием, то есть событийность конституируется герменевтически. На Западе появляется много публикаций про брежневское время. Опять попытка понять, что именно этот период привнес в российское развитие.

Процесс модернизации можно рассматривать по-разному. Существует громадная литература о модернизации и о

том, как она связана с революциями в коммуникациях, в росте населения, в технологиях и с другими факторами глобализации. Иными словами, на мир как бы наезжает этот массовый процесс. Но мне опять же интересно взглянуть на него в перспективе локальных практик, на микроуровне. Смотришь на постсоветскую трансформацию и видишь, что локальные практики действуют как фильтры и пока что препятствуют интеграции России в “глобальную” среду. Понятно, что происходит столкновение процесса, которому часто приписывают неотвратимость, и вот этих местных, повседневных практик.

— *Сохраняется ли интерес к России?*

— В ситуации “холодной войны”, в биполярном мире советская империя являлась одним из его полюсов. Трудно было говорить о глобализации в полном смысле, потому что существовал “железный занавес”, и, если посмотреть с американской точки зрения, Советский Союз был врагом номер один. Интерес к России подпитывался этой полярностью, “русские центры” имели сильную идеологическую направленность, существовали специальные правительственные финансовые программы, потому что нужно было знать своего врага. Но когда Россия перестала им быть, когда глобализация как бы настигает и эту часть мира, — естественно, специального финансирования и особого интереса к России уже нет. С приходом администрации Буша была предпринята попытка относиться к России в соответствии с размером ее съжившейся экономики, но появление нового (и общего) врага номер один после 11 сентября 2001 года поправило ситуацию для России. Логика “знай врага” заметна в определении приоритетов финансирования. Сначала угрозой был Советский Союз. Когда угроза коммунизма исчезла с лица земли, место врага номер один заняла коррупция и организованная преступность. В 1990-х материалы о коррупции захлестнули мировую прессу, 1995-й год объявляется “годом коррупции”, создается много некоммерческих организаций для борьбы с ней. Финансирование Мирового банка, бесконечные отчеты об исследованиях коррупции в России. Сейчас это

все схлынуло. Сейчас враг номер один — терроризм. Программы, связанные с терроризмом, специалисты по Ближнему Востоку выходят на первые позиции. И если мы говорим о новых идеях и о том, куда идти, то нужно смотреть вперед — кто будет следующим врагом номер один? Очень большую роль сейчас на Западе приписывают религии, социальным и этическим проблемам, связанным с биотехнологиями, экологии. Думаю, и в России это тоже присутствует.

С точки зрения российских реалий, мне кажется, важно в общем виде отметить как тенденцию то, что Россия перестает быть уникальной. Не только в том смысле, что интерес к ней пропадает и финансирование уходит. Но и в смысле практик: Россия вписана в мир гораздо лучше. Действует ряд факторов: чисто экономические, международные (скажем, международные стандарты отчетности, международная интеграция на экономическом уровне). Россия стала членом “Большой восьмерки”, рассматривается ее членство в ОЕСД (Европейской организации развития и сотрудничества), во Всемирной торговой организации. Россию убрали из различных “черных списков”. Все эти вещи обсуждаются, есть определенный сдвиг, по крайней мере, в дискурсе. Меня как исследователя это меньше интересует. Но вот и на микроуровне, могу сказать, все же идут перемены. В Лондоне русскую речь слышишь везде. Люди путешествуют. Туризм стал повседневной практикой для многих, круг выезжающих по делам и отдыхать за границу увеличивается. Кажется, люди стали жить лучше и богаче в смысле ощущений, они все больше включаются в мировое сообщество. И таким образом процесс “вписывания” России в более-менее универсальные мировые практики нарастает. Россия как бы разворачивается лицом к миру, потому что люди хотят больше узнать, больше увидеть, больше попробовать.

Еще одна очень важная форма интеграции — это, конечно, образование за рубежом. Опять же то, что мне видно из Англии: очень много русских детей в английских школах и университетах, особенно на экономических специальностях. И дело не только в их количестве, но и в качестве. Школы необычайно заинтересованы в том, чтобы

взять наших детей, потому что наши дети “делают им статистику”, они очень быстро адаптируются и показывают потрясающие результаты. Тут, видимо, сказывается родительское влияние: большинство родителей понимает, что надо вкладывать в то, что называется “человеческим капиталом”. В России образование считается огромной ценностью, это важно, этим стоит гордиться. Где-то в начале 1990-х, буквально на несколько лет, это было несколько утрачено, но сейчас вернулось, и очень важно это сохранить. В таком контексте особенно горько слышать про коррупцию в образовательной сфере в России. Ведь коррупция коррупции рознь: одно дело, когда ты оплачиваешь услугу, не подрывая качества этой услуги, скажем, ускоряя проведение операции, и совсем другое дело, когда хирург получает свою специальность, оплачивая экзамены, зачеты, дипломы. В первом варианте нарушаются принципы справедливости, в последнем — подрываются компетентность молодого поколения и потенциал страны. Получится так, что те, кто идет на смену нашим ученым, инженерам, докторам, будут купленными, вернее говоря, проплаченными специалистами. Это огромный ущерб человеческому, социальному капиталу России, что очень опасно. Гораздо опаснее, чем так называемая бизнес-коррупция. Правда, согласно исследованиям фонда “Информация для демократии” Георгия Сатарова, бизнес-коррупция доминирует (90 процентов), и только 10 процентов составляет “повседневная” коррупция. Образовательная сфера, на мой взгляд, здесь ключевая. То есть, если коррупция в образовании станет систематической, это создаст пропасть, в которую все и обрушится.

Наконец, еще один момент в контексте вписанности России в мировое сообщество. Тут, видимо, немалую роль сыграет объединение Европы, включение восточноевропейских стран в Европейский союз. Ситуация может сложиться по-разному, и не исключено, что чем больше будет объединена, интегрирована Европа, тем более изолированной окажется Россия, противопоставляя себя такому союзу. Ведь несмотря на все переговоры, Россия пока остается аутсайдером большинства мировых “клубов”. Хочется надеяться, что такой изоляции не произойдет и что Россия

каким-то образом найдет свое место в новой Европе. Посмотрите хотя бы на изменения в дискурсе, которые симптоматичны, указывая на изменения в микропрактиках. Скажем, сейчас уже не говорят “за бугром”, потому что “бугра” в общем-то нет. “За рубежом” тоже уже меньше употребляется. Говорят все чаще “за границей”, что логично, потому что границы никуда не денутся. А в принципе, в отношении подвижек в сторону Европы (уже не на уровне микропрактик, а на уровне глобальном) важна международная политика в смысле протекционизма, в смысле торговых квот, в смысле отношений между лидерами... Мне кажется, российская власть сделает то, что в интересах России. И если это подразумевает, скажем, некий экономический протекционизм, не нужно думать, что Россия — единственная страна, которая прибегает к подобным мерам. Мы уже пытались пойти, что называется, путем “нового мышления” и сыграть в открытую. Можно сказать, что в политическом смысле это было оправдано, а можно сказать, что та потеря статуса России в экономической сфере, которая произошла по факту, явилась результатом такой политики. Потому каждая страна соблюдает свой интерес и осторожно идет на компромиссы, стоит только последить за переговорами членов Европейского союза.

Однако тут вопрос не только компромисса или противостояния — вопрос еще и в том, что многие проблемы глобального уровня не имеют решения. Вышла книга вице-президента Мирового банка Жана-Франсуа Ришара (Jean-François Rischard, *High Noon: 20 Global Problems, 20 Years to solve them*), где он формулирует двадцать проблем, которые необходимо решить в следующие двадцать лет, иначе мир вообще перестанет существовать. Это проблемы, связанные со всемирным потеплением, биосредой и экологической системой, с вымиранием морской фауны и флоры, дефицитом воды в мире, проблемы болезней и бедности, этнических войн... Как утверждает автор, сейчас есть всего четыре способа воздействовать на данные сферы: договоры и конвенции; конференции ООН; группы таких стран, как “Восьмерка”, “Двадцатка”; и наконец, 45 международных организаций типа Международного валютного фонда, Мирового банка, Института Мирового банка и т. д.

— Вопрос, видимо, не только в том, что таких инструментов мало, но и в том, насколько они действенны. События вокруг Ирака достаточно наглядно показали, чего стоят, например, резолюции ООН — самой, казалось бы, авторитетной международной организации. Разочарование сильно.

— Книга, о которой я говорю, как раз и посвящена тому, насколько недейственны эти четыре механизма принятия решений на наднациональном уровне. Автор раскрывает конкретные причины — почему не работает конференция ООН, почему соглашения и конвенции не внедряются в практику, почему вот эти наднациональные структуры вообще не в состоянии решать те самые проблемы. Автор предлагает путь сетевых решений (networks solutions), что очень близко к моей исследовательской позиции. Если проблемы слишком объемны либо слишком малы, для того чтобы их решали формальные институты, каковыми являются международные организации и соглашения, то тут начинают играть ключевую роль неформальные институты. Предлагается создать глобальные сети, которые будут адресованы этим конкретным проблемам. Идея интересна тем, что сети будут неформальными и объединят тех людей, у которых есть и экспертиза, и власть. Понятно, что для существования таких неформальных сетей нужно финансирование...

— Предположим, будут найдены и источники финансирования, и решения. А вот мы же, к примеру, скажем: “У нас свои условия, особый путь, мы будем все делать по-другому”. И что?

— Вот поэтому, говорит автор, в эти сети должны входить люди, принимающие решения на национальном уровне. И поскольку они станут частью неформальных сетей, они будут иначе воспринимать саму значимость проблем: одно дело, когда ты приехал подписать соглашение и видишь, что Соединенные Штаты не подписывают, и ты, соответственно, можешь тоже не подписывать; и совершенно другое дело, когда решение проблемы является твоей кон-

кретной задачей. Вы заметили новое явление в мире? Премьер-министры и президенты становятся моложе и моложе и, естественно, после своих двух избирательных сроков являются людьми, обладающими громадным потенциалом, личным влиянием, компетентностью. Они создают в мире как бы новую категорию влияния. И фактически глобальные проблемы как раз могут стать делом вот этих людей.

*— Уже существует Римский клуб, созданный примерно в тех же целях. И что меняется? Их рекомендации содержательны, благожелательны. А что далее? Поговорили, пообщались, разъехались. Не утверждает ли все это некую общественную необязательность?*

— Необязательность — да. Это как раз то, из-за чего автор книги критикует подобные соглашения и рекомендации. Его идея — как бы раздвигать эти сети, то есть не замыкать их только на бывших президентах и компетентных людях, но сделать неформальные сети проводником, транслятором необходимых изменений на уровень микропрактик. И примеры этого есть. Фактически очень многие вещи лежат на микроуровне, и многие рычаги управления — у нас с вами. Но чтобы нам их задействовать, нужно понять, каковы они. А чтобы мы это поняли, нужна та самая трансляция через неформальные сети.

*— А хотим ли мы это понять? — вот в чем вопрос. Часто говорят: “раньше было лучше”. В чем? “Да нет, просто лучше”. Люди все больше уходят в себя, в частную жизнь, все меньше интересуясь политикой, теми же “рычагами управления”, будущим страны. На уровне микропрактик это, наверное, самое заметное явление. Как вы его оцениваете?*

— На этот вопрос, наверное, нужно отвечать на нескольких уровнях. Если отвечать на уровне индивида, то тут действительно есть определенный сдвиг: в России люди хотят заниматься своими делами и не хотят никакой политики. Существует определенная усталость, связанная с тем

информационным шоком, который мы испытали в конце 80-90-х годов. Все перипетии перестройки и постсоветского периода, “грязная” политика и компромат подорвали нашу способность верить и интересоваться политикой. Вполне естественно, что на уровне индивида произошло замыкание на повседневную жизнь. Но мне кажется, что это неплохо. Появляется возможность достичь успеха именно в данной среде, что хорошо содействует росту экономики и вообще развитию жизни. А в долгосрочной перспективе, я думаю, у людей, которые добиваются в этом смысле успеха, все равно наступит момент осознания — для чего это все было? Элементарный ответ — для своих детей, ведь когда мы живем для семьи, для себя и детей — это и есть устремленность в будущее. Но есть еще один интересный, можно сказать, системный аспект ответа на тот же самый вопрос об уходе в частную жизнь, если посмотреть на мировоззрение “для себя и семьи” в историческом цикле. Идеологическое и культурное однообразие сменяется ситуацией культурно-ценностного релятивизма. Если в одном цикле люди уходят в свои семейные, материалистические ниши, то в следующем цикле их дети, особенно при экономическом достатке, часто испытывают потребность в духовных ценностях и идеалах (по крайней мере, таковы выводы Ингльхарта). Мне кажется, что мы все равно придем к тому, что для следующего поколения (или через поколение) вопрос идеалов возникнет опять. Культурная релятивность как среда уже будет приниматься настолько естественно, что захочется некой направленности. Каждый период истории характеризуется фазой цикла: либо культурной релятивности, либо материальной озабоченности, либо некоего взрыва в социальных отношениях. В каждом обществе новое поколение ищет свой взгляд, свой путь, и в этом смысле через несколько поколений возможна цикличность. Может быть, и мы зайдем на такой круг.

— *Можно сказать, что в принципе в любом современном обществе циркулируют три крупные идеи, сменяющие друг друга: консервативная, либеральная и социалистическая?*



— Сейчас идут большие дебаты в мировой околополитической прессе по поводу того, имеют ли смысл понятия “левый” и “правый”. Такое ощущение, что все три базовые концепции, которые вы назвали, сегодня пытаются адаптироваться к процессам глобализации, с одной стороны, и тенденции к центризму — с другой. В общих словах можно сказать, что консервативная идеология не может существовать без интеграции неких элементов социалистической доктрины (иначе не изберут). Аналогичная логика применима и по отношению к лейбористам и либералам. По крайней мере, в контексте Великобритании мы видим, что платформы партий перестают радикально отличаться друг от друга. В партийной риторике их пытаются разводить, а аналитики отмечают подмену партийной политики так называемой маркетинговой демократией. Если раньше политик вел за собой массы, формулировал программу или социальную доктрину, то есть предлагал идею, за которую проголосует население, то сейчас идеи для политического лидера формулируются на основе фокус-групп и разного рода тестирования электората, по результатам которых выстраивается политический имидж кандидата, привлекательный для голосующих. Идет подстраивание политической программы под типы избирателя. Если раньше демократические процедуры строились на предположении, что избиратель — носитель сознательного выбора определенной политической платформы, то в современном контексте избирателю такой роли не отводится. Наоборот, проектируются его иррациональные реакции на политический продукт. Снимаются психологические предпочтения, проводится тестирование, изучаются стереотипы различных групп электората и, соответственно, организуется маркетинг политических продуктов. Можно, конечно, называть это манипуляцией электоратом в очень изысканной форме...

— В этой связи, а возможно и совершенно самостоятельно, хотелось бы задать вопрос, который тоже в последнее время довольно широко обсуждается: о “конце науки”. Прежде всего социальной. В новых условиях обществоведение действительно изживает себя?

— Мне кажется, о конце говорить невозможно. По моим представлениям, идея конца также вписана в “цикл” социальных идей, когда сегодня одни идеи выходят на передний план, а другие становятся фоном, и т. д. В этом смысле, когда центральной была идея революции, особую важность приобретала теория конфликта и его разрешения, в другие моменты истории на первый план выдвигались идеи консенсуса. Мы говорили выше о цикле духовных и материальных ценностей. Так же и в науке, пожалуй, хотя я бы рассматривала науку и обществоведение отдельно. В этом смысле следует согласиться с существующим английским делением на научные (точные) и академические (социальные и гуманитарные) дисциплины. Академические дисциплины предполагают некоторую релятивность, однозначного предпочтения не отдается никакой отдельной парадигме в общественных науках, функционализм сосуществует с марксизмом, постмодернизмом и этнометодологией, с точки зрения которой теории бесполезны. Обществоведение можно представить себе как ромашку. В центре — большая буква “О”, “общество”, а каждый лепесток — парадигма изучения общества, но лишь одна из многих. Новые парадигмы (постмодернизм, скажем) пытаются закрыть аспекты, недоизученные в других парадигмах. Правда, сам термин “парадигма” сейчас мало используется в западном мире, считается, что парадигмы как бы “закрыты” по смыслу, а вот “перспективы” — открыты, потому принято чаще прибегать именно к этому термину. В то же время люди, стремящиеся к единству представлений об обществе, могут “сесть” в определенный “лепесток” и работать там, имея возможность видеть, что существует некая парадигма. Я думаю, это может означать конец науки для тех людей, для которых наука должна конституировать единственно правильное объективное представление. Для них, если все распадается на “ромашки”, — это конец. Но не для меня, например. Для меня важны, повторю, маргинальность и междисциплинарность — два слова, которые, как мне кажется, описывают мой подход; в том, что я стремлюсь делать, я открыта различным дисциплинарным перспективам. На уровне принятия решений также важно рассматривать тот

или иной аспект общества в разных перспективах, используя их для достижения определенных целей.

— *Вы не наблюдаете в Англии некоего разрыва между поколениями в научной среде? Или это только наша особенность?*

— По-моему, это зависит от области знания. В социальных науках, как мне кажется, отсутствует среднее звено. Ушли из жизни Гадамер, Бурдьё, Мертон, Козер. Мы сейчас действительно находимся на такой стадии, когда, с одной стороны, их идеи могут получить некое дополнительное развитие, потому что они становятся классиками и их трудам уделяется очень много внимания. С другой стороны, может произойти обратное, потому что теоретиков в социально-политической теории очень мало. Хочется верить, однако, что на самом деле они уже есть, просто нам нужны время и дистанция, чтобы их увидеть.

— *А какова, на ваш взгляд, сейчас основная функция науки?*

— Обслуживание финансовых интересов.

— *Любой общественной науки?*

— Фактически да, мне кажется. Но это же и всегда так было. Сейчас просто более прояснились финансовые источники. Они очень разные. Есть западные фонды, у них одна система приоритетов, они поддерживают совершенно определенную сетку проектов. Есть Российский государственный гуманитарный фонд, у которого другие приоритеты. Есть частное финансирование и спонсоры. Соответственно, и работа на заказ. Прагматично, но это связано с тем, что в ситуации социального перелома науке очень трудно выживать, приходится приспособливаться к новым условиям. Должно пройти время, прежде чем наука выйдет на некие стабильные источники финансирования и академические профессии опять начнут опла-

чиваться обществом. Пока же и на Западе, и здесь стыдно признаться, что работаешь в университете. Престиж академии упал катастрофически. Зарплаты академиков (там всех сотрудников академической сферы называют академиками, а в Америке профессорами) — мизерны. Все меньше выпускников идет в академию, в докторантурах — в основном иностранные студенты. Многие ученые уходят либо вынуждены заниматься консультативными услугами или проектами со специальным финансированием (что возможно только в лучших университетах). А это опять же означает, что сфера твоей деятельности немножко программируется, фильтруется финансированием. Вот этот аспект науки очень усиливается. В общем, здесь нет ничего страшного, я думаю. Ведь наука — это сектор экономики, да?

— *Раньше говорилось: главная производительная сила...*

— Если статус науки подрастет и она начнет оплачиваться налогоплательщиками, через государство, через источники, которые не приватизированы, то тогда она, может быть, и не станет менее зависимой от обслуживания финансовых интересов, но финансовые интересы будут другие. При этом, я думаю, в науке весьма важна роль личности. Такие люди, как Гадамер или Мертон, все равно стали бы ими при любом раскладе. Если мы говорим о каком-то прорыве в науке — теоретическом, эмпирическом, — все равно в центре его человек, который не удовлетворится прагматическими соображениями и будет “прорываться” в силу ли своей маргинальности, в силу ли своего видения дисциплины или ее ограничений. Фактически такого рода прорыв всегда происходит через сильную книгу, через сильный текст. В последнее время, на мой взгляд, они появляются. Может быть, их пока трудно выделить, потому что нет определяющей дистанции (в чем, по моему мнению, сложность и вашего проекта). То, что ясно видно сегодня и образует некий шум в прессе, на телевидении, связано на Западе с популяризацией науки. Потому, если описывать тренд, я бы говорила не о “конце науки”, а о ее

популяризации. О науке, которая приходит в таком вот упакованном виде.

— *Если говорить о вашем собственном будущем в науке, с чем вы его связываете?*

— Меня спрашивают иногда: “Что ты там делаешь, на Западе? Почему бы тебе не учить наших студентов, у тебя бы даже лучше получилось. И тут ты была бы полезнее”. Ну, конечно, когда слышишь такое, задумываешься. Действительно, почему я работаю там, а объект моего изучения здесь? Можно, конечно, сказать, что для поддержания маргинальности, для отстраненности взгляда. Однако ведь взгляд может стать слишком отстраненным... Но на самом деле, когда я задумываюсь над этим серьезно, свою функцию, свою полезность я вижу в некой кросскультурной экспертизе. Я довольно хорошо ориентируюсь и в Англии, и в России, и в нескольких дисциплинарных дискурсах, что дает мне в каком-то смысле уникальную перспективу. И еще. Ведь можно ответить на вопрос коллег встречным вопросом: “Почему большинство региональных (азиатских, латиноамериканских и других) центров на Западе возглавляют выходцы из этих регионов, а в русских центрах даже и российских сотрудников мало?” Значит ли это, что Россия хуже интегрирована в мировое академическое сообщество, или же это специфика социальных наук (физики, например, гораздо более успешны)? Так что если заглядывать в будущее, то, наверное, было бы логично возглавить центр по изучению России и ответить на поставленные вопросы собственным примером.

М.В. Ремизов

“Мысль должна соучаствовать  
в процессе изменений”

— Михаил Витальевич, недавно вы выпустили сборник своих публикаций, который объединили названием “Опыт консервативной критики”. Нас заинтересовала его центральная тема, он и строится соответственно: Утопия новой России; Утопия новой Европы; Утопия нового мира. Роль утопии как двигателя социального развития? Идеалы, утверждают, исчезли, но утопии и теперь движут людьми в их действиях? Хотелось бы, чтобы вы развили здесь свои представления, попытались прояснить суть и противоречия утопии в современном мире. И прежде всего — что вы имеете в виду, говоря об утопии?

— Попробую. И сначала — некое теоретическое введение. Вы сразу поставили вопрос об утопии как движущей силе социального развития. Собственно, таково наиболее обиходное критическое понятие утопии. Когда говорят “это утопия”, имеют в виду что-то отнесенное к гипотетическому будущему и что-то невозможное. Такое понятие в социальной философии выражено Карлом Мангеймом. Естественно, он не мог сказать как социолог знания, что утопия — нечто невозможное. Он говорил несколько по-другому: утопия — это то, что кажется невозможным представителям данного конкретного общественного порядка и что, при своем переходе в практику, взламывает существующие социальные структуры. Идеалы, о которых вы упомянули, могут быть вообще лишены такого практического запала. Например, возможна такая идеалистическая установка, которая лишь стабилизирует статус-кво. Сидит в каком-то своем гетто критик и порицает все существующее от имени идеала, но он вписан в сложившуюся систему самым способом своего пребывания в ней. Вот

Мангейм специально об этом говорит, замечая, что не всякая идеальная установка, которая противоречит сложившемуся порядку вещей, является утопической; утопическая лишь та, что действительно имеет практический взрывной запал, способна привести к серьезным системным трансформациям общественных отношений.

Должен сразу сказать, что понятие утопии, которое я взял за основу при структурировании книги, немного другое. Это понятие утопии, которое опирается не на расхожий критический штамп и теоретически восходит не к мангеймовскому определению, а, скорее, к определению, данному в небольшой заметке Карла Шмитта. Он пытается вернуться к этимологически наивному, первичному прочтению слова “утопия” (место, которого не существует, или, скажем так, отсутствие места) и говорит, что утопия — это не какой-то идеал, недоступный либо предполагаемый к реализации в будущем. Нет, не этим специфицировано понятие. Утопия — это способ мыслить общественный порядок, способ утверждать нормы в отрыве от связей пространства, в отрыве от связей конкретного места и времени. В этом смысле утопией, положим, можно считать классическую модель общественного договора. Понятно, что политические философы либерализма довольно быстро внесли пояснения-комментарии к Гоббсу, к Локку: мы вовсе не утверждаем, что когда-то в истории было такое состояние; мы предлагаем модель, которая позволит нам мыслить легитимность общественного порядка. Но эта модель такова, что легитимность общественного порядка, оправданность власти, принципы господства, принципы законности проектируются вне зависимости от локальной идентичности сообщества. Они проектируются как универсальные, вне связей пространства.

Вот такое понятие утопии представляется мне наиболее плодотворным именно для консервативной критики. Я сейчас оставляю за скобками вопрос, как шмиттовское понятие связано с мангеймовским. Вполне возможно, что утопия внепространственного мышления и является чем-то нереализуемым в чистом виде. Но у нас перед глазами пример страны, которая достаточно близка по своему генезису именно к типу утопического проектирования, — это Соеди-

ненные Штаты Америки. Рациональный “утопический” порядок, который учредили американские поселенцы — “общественный договор”, который они заключили, — логически *безграничен* как в пространстве, так и во времени. Он ограничен лишь фактически, но *граница* и сам факт его локализации носят как бы случайный характер. Они не несут собственной смысловой нагрузки в самосознании общества, в конструкциях его политической легитимности. И это естественно, ведь у поселенцев преобладало чисто “количественное” отношение к “новой” и “ничейной” земле. Эта земля ни о чем им не говорила, ничего им не предписывала, она могла быть такой, а могла быть другой. Именно потому она была очень хорошей площадкой для социального проектирования. Вот утопический сценарий создания государства.

— *Но который был реализован.*

— Совершенно верно. Любопытно сравнить в этом отношении спроектированное государство Соединенные Штаты Америки с другим, тоже спроектированным государством — Израилем. Тоже был, что называется, социальный конструктивизм. Когда сформировался и был сформулирован сионизм, эти люди не рассчитывали, что само собой, естественным образом где-то возрастет их государство. Была поставлена четкая задача, которую необходимо было выполнить и для выполнения которой воспользовались благоприятной внешнеполитической конъюнктурой. Но изначально в проект “государство Израиль” была заложена совершенно антиутопическая идея — они ехали именно на конкретную землю, связанную для них с каким-то священным преданием, а разговор о том, какой общественный порядок они там установят, был заведомо вторичным. Таким образом, изначально проект этого государства мыслился в контексте его связанности с определенным пространством, определенной почвой.

Попросту говоря, утопия для меня в широком смысле слова — это беспочвенное, неукорененное политическое мышление. И в этом смысле — она везде. Утопические моменты присутствуют в социальных институтах, в тех ролевых играх, которые разыгрываются в политике, и т. д. Со-



циалистическое общество изначально двигалось силой веры в утопию — понятно, что коммунизм тоже в общем-то утопический идеал, причем в обоих смыслах. И в смысле того, что это установка, обращенная в будущее, которая взрывает существующие социальные отношения; и в смысле того, что это программа общественного порядка, принципиально не связанная с локальными особенностями тех или иных мест: коммунизм, предполагалось, может и должен быть установлен везде, где живут люди. Когда обрушилась советская система, возникла атмосфера колоссальной усталости от мобилизационных утопий, усталости от всего, что потребовало бы веры, самоотверженности как от элит, то есть инициаторов общественных движений, так и от масс, которые за ними следуют. Утопия в мангеймовском смысле была дискредитирована: не надо ничего, что способно взорвать, сломать сложившуюся кору отношений, сложившуюся социальную коросту. Но синдром утопического мышления вместе с той усталостью не был устранен. Он остался и более того — усилился. Почему? Потому что изначальная идея, которая в том числе разрушала советское общество и советское государство, выражалась в словах: “Посмотрите, как люди живут на Западе”. Преимущества их жизни, достигнутое ими благополучие зиждутся на превосходстве реализуемой ими модели общественного порядка — демократии, и социальных отношений — рыночной модели. Если мы сейчас в сжатые сроки, волевым образом, скажем так, привнесем эти институты в наш социальный контекст, то получим схожие результаты. Ясно, что это действительно утопический способ мышления — мы мыслим общественное устройство вне связей пространства и времени, вне конкретного контекста его возникновения и локальной исторической традиции данного общества.

Мне могут возразить в этой связи: капитализм, собственно говоря, отличается от всех иных способов общественного устройства именно тем, что не требует от людей какой-то специальной веры и, соответственно, не порождает сопутствующей вере усталости. Ну, люди устают верить, ждать, могут разувериться. В этом действительно сила рыночных обществ. Но сама методология мышления, в соответствии с которой трансплантация институтов возмож-

на, — безусловно, утопическая. Мы привыкли считать, что уже сейчас живем в атмосфере деидеологизации. По крайней мере, если судить по публичной риторике власти, по конфигурации наличных общественных сил. В этой атмосфере выдвинут лозунг эффективности, который призван заменить идеологическое кредо. Понятно, что в общем-то это кредо, с которым пришел президент. Его спрашивают: “Какова национальная идея России?” И он отвечает: “Идея эффективной страны”. Это, казалось бы, подчеркнуто антиутопическое мышление содержит в себе колоссальный утопический ингредиент, а именно веру в ту аксиому, тот постулат, согласно которому эффективность может быть достигнута вне и помимо идеологической рефлексии о собственных основаниях, об основаниях того культурно-исторического, геокультурного пространства, где мы живем. В этом смысле сама технократия, идея технологии, самодовлеющей и универсально применимой, безусловно, утопична. Но кульминацией утопического мышления, словом, которое является просто концентратом утопизма, является слово “Запад” — не только для нас, но в общем-то для всего мира. Запад, взятый не как локальная цивилизация (в книге Шпенглера “Закат Европы” он, естественно, взят как локальная культура, которая подвержена точно таким же циклам, как и другие культуры), а Запад как общественный проект, обращенный ко всему миру и основанный на приоритете потребления и рыночных ценностей. Любопытно, что, основываясь на этом универсальном понятии, французские “новые правые” еще в 70–80-е годы выдвинули лозунг “Европа против Запада”. Здесь просто надо уяснить методологическую принципиальную разницу. Европа — исторически существующая культура, которая определяется именно своим культурным наследием, способами его трансляции. Тогда как Запад — это общественный проект, основанный на утопии неограниченного роста.

— *То есть новая дихотомия: Европа — Запад?*

— Да, совершенно верно. Дихотомия, которую пытаются артикулировать европейские, скажем так, патриоты или, говоря конкретнее, культурные фундаменталисты. В этом

смысле противоположной утопизму, чисто методологически, интеллектуальной стратегией для меня является фундаментализм. Это попытка мыслить и выстраивать общественный порядок исходя из того, что есть наше собственное, исходя из исторических корней и границ нашей идентичности, из воссоздания платформы, на которой мы развиваемся. На мой взгляд, критика утопического мышления — это попытка прояснить основания консерватизма в современной ситуации. Консерватизма как самостоятельной политической философии. Как философии, которая не сводится к стремлению сохранить в каждом случае статус-кво (есть такая сильная тенденция толкования консерватизма как стратегии удержания статус-кво). Если все же мыслить консерватизм как самостоятельную политическую философию, как политическую аксиологию — философию ценностей, отличную от либерализма, отличную от социализма, то мы неизбежно возвращаемся к тому “осевому времени”, когда произошло размежевание консерватизма с философией Просвещения. Консерватизм возникает, отталкиваясь от философии Просвещения, и ключевым пунктом, от которого он отталкивается, является политический универсализм Просвещения. Пытаясь оформить собственный стиль политического мышления, консерватизм становится жестким оппонентом политического универсализма.

*— Консерватизм для вас — это современный фундаментализм?*

— С научной точки зрения можно было бы сказать, что фундаментализм в том смысле, как я его сейчас пытаюсь воссоздать и как говорю о нем в книге, — одна из ветвей, одно из направлений консерватизма. Но для меня эти вещи тождественны. Что такое быть консерватором в современной России? Что мы должны консервировать? Достижения ельцинского режима либо останки советского режима? Либо воспоминания о царизме (тут уже только воспоминания)? Обычно этим попрекают всех, кто пытается играть в риторику консерватизма: “Вот вы консерватор. А что вы собрались консервировать?” Ответ, который, к сожалению, наиболее часто дается, положим, идеологами совре-

менного либерального консерватизма: все-таки консервировать статус-кво, чуть-чуть дотянув его до ранга приемлемой реальности. Потому что мы не можем консервировать уж совсем какое-то безвременье. Чтобы консервировать существующий порядок вещей, мы должны ощутить его как порядок, как систему, как закономерность.

— *То есть это, скорее, не консервирование чего-то, а некая попытка не дать бежать слишком быстро?*

— В общем-то вы правы, да. Это попытка играть в обществе модернизации роль такого тормоза, причем очень продуктивную с точки зрения данного общества роль, так как понятно, что некоторые радикалы хотят перепрыгнуть через стадии развития, двигаться слишком быстро, а при таких скоростных перегрузках машина может ломаться. Поэтому в современном обществе консерваторы статус-кво — это антирадикалы. Те, кто напоминает, что двигаться надо постепенно. Но рельсы, по которым идет паровоз, все равно прокладывают радикалы. Вот, на мой взгляд, парадокс консерватизма статус-кво в современном мире.

— *Не только в обществе переходного периода?*

— Я думаю, это касается не то чтобы всего мира, но всех обществ, для которых политическая культура современности является сколько-нибудь значительной, то есть которые пытаются мыслить себя в политической культуре современности. Исходя еще из Просвещения, Французской революции... А мы в эту игру очень серьезно включились благодаря коммунизму. Консерватизм фундаменталистского толка фактически является альтернативой консерватизму статус-кво. Он вступает в права в ситуации, где уже нет общепризнанной и непрерывной традиции, на которую можно было бы опереться. В этой ситуации уместно предпринимать своего рода “возобновление истоков”, то есть выстраивать дискурс, реконструирующий опорные моменты собственной традиции. Это будет, конечно же, стилизация национальной “самости”, но она жизненно необходима, для того чтобы сохранять целостность общества и вос-

производить его в мире. В нашем случае необходимо возобновление истоков и констант российского цивилизационного опыта. Следовательно, если говорить об актуальной задаче консервативно настроенных интеллектуалов — публицистов, социальных философов, социологов-теоретиков и особенно культурологов, — на мой взгляд, она состоит в том, чтобы произвести сейчас эту самосборку, реконструкцию, заложить прочные основания представления о России как *локальной цивилизации*.

— *Вы шли от этих теоретических посылок к практике или, наоборот, вас привела к ним практика?*

— Нет, безусловно не от теории к практике. Как раз одна из очень важных для меня методологических презумпций состоит в том, что всякая философия является прежде всего определенной философией действия, философией практики. Поэтому первичный момент — безусловная ангажированность, просто идущая из глубин какого-то социального инстинкта. Политическая ангажированность, которая рационализируется и обрастает философскими эшелонами защиты и инструментарием нападения тоже.

— *Иначе говоря, вы берете как предмет осмысления сегодняшнюю реальность и, притягивая свои философские знания, уже выходите к какой-то конструкции?*

— Нет, корректнее сказать немного по-другому. Первична в этом отношении, в отношении “политика — философия”, для меня, безусловно, политика; но политика, понятая не как ограниченная институциональная область, где происходит борьба за публичную власть, а как достаточно вездесущее пространство борьбы, в том числе за власть. Политика разворачивается в самых разных сферах, включая и сферу мышления. Иными словами, я не противопоставляю политику философии, для меня политика есть то, что структурирует саму философию. Не будем забывать, что и “сова Минервы”, философская птица, является хищной.

— *Политика — это всегда борьба?*

— Да, я склонен переживать политику через приоритет размежевания. Политика — для меня прежде всего размежевание, то есть само мышление есть процесс глубоко полемический. Мышление — это война. В пределе некоторые тексты я пишу просто как интеллектуальные погромы. Хотя это не всегда видно, потому что я остаюсь корректным. Но смысл всегда жестко полемический. В противном случае машина мышления, маховик мышления просто не раскручивается. Поэтому политический аффект для меня первичен, а философская рационализация — вторична. А почему я стал думать и говорить о консерватизме? Дело в том, что консерватизм неверно рассматривать как политическую программу, он не является таковой. Это стиль мышления, внутри которого могут формулироваться те или иные программы. И в качестве стиля мышления я бы противопоставил в данном случае либерализм консерватизму. Я шел от того, что все мои частные оценки, когда я пытался отрефлексировать соединяющую их внутреннюю логику, приводили к критике либерализма как мировоззрения.

— *Вы говорите это, исходя из нашей практики или каких-то трудов либералов?*

— Что касается нашей практики, здесь совершенно особый случай. Положим, такой мыслитель, как Борис Капустин, с симпатией относится к классическому либерализму, но мы найдем мало столь жестких критиков либеральной практики российских реформаторов. Ну, псевдолиберальной, как он скажет. Наверное, практика, да — это первичный контекст, в котором мы живем. Конкретные политические оценки — первичный контекст. И уже от этого мы идем к философским методологиям. Но могу сказать, что, когда я пытаюсь мыслить, работать в этой системе понятий, конечно, я пытаюсь оспаривать либерализм как таковой. Не его искажения, не отходы от него, допущенные нашими реформаторами, а либерализм как таковой, в том числе как утопический способ мышления. Консерватизм же представляет собой иную методологию проектирования политических ценностей.

— *В чем ее плюсы?*

— Плюсы в общем-то связаны именно с тем, о чем я уже говорил: это мышление контекстуальное и это мышление почвенническое. Но мы видим: судьба современного консерватизма такова, что, будучи почвенническим, он одновременно вынужден быть конструктивистским. Другими словами, мы постулируем, что есть какое-то наследие, которое принадлежит нам как членам данной культурно-исторической общности, как людям, рожденным в российской цивилизации. Факт такой принадлежности — первичный. Но он только ставит проблему — проблему проектирования и адаптации данного наследия к современности. В этой связи в ответ на ваш вопрос, отталкиваюсь ли я от конкретных обстоятельств, от событий либо от теоретических посылок, — должен сказать, что, наверное, тем мегасобытием, точкой отталкивания для меня и моих единомышленников, принадлежащих к моему поколению, является, конечно, крах Советского Союза, понятый как наше поражение в “холодной войне”. Что касается моих эмоциональных переживаний: 21 августа 1991 года стало ясно, что все, поражение страны окончательное и на ближайшие годы бесповоротное; крах ГКЧП — это роспуск Советского Союза.

— *Вот вы говорите: “мое поколение, те, которые близки мне”... Это кто? На какую референтную группу вы ориентируетесь, постоянна ли она? Для кого, интересно, вы пишете?*

— Те люди, о которых я могу говорить как о своих единомышленниках, совсем не обязательно те же люди, для которых я пишу. Ну а пишу я, скажем так, для экспертов в области обществоведения и политической философии, которые могут быть выходцами отчасти из околополитической, отчасти из научной среды. Ни для собственно политической или научной аудитории я, видимо, не совсем правильный и пригодный автор, потому что в первом случае не хватает конъюнктурной заостренности (если просто быть политическим журналистом, то весь философский инструментарий избыточен), а во втором, если быть научным автором, — лишним является политический темперамент. Референтную группу, я, естественно, четко не определяю — она есть

следствие наработанного стиля. Много ли тех, кто близок мне по мироощущению, по трактовке сегодняшних реалий? Думаю, мы сможем ответить на этот вопрос постфактум, положим, лет через десять, потому что важно не то, было ли их много, а то, значимое ли это поколенческое ядро. Если пытаться определить поколение, к которому я принадлежу, именно как историческую единицу (если оно состоит как историческая единица), то, на мой взгляд, тем вызовом, под знаком которого оно начинает себя осознавать и может выйти на сцену, является именно поражение страны в “холодной войне”. В некотором смысле — да, это поколение “детей поражения”. Знаете, у Павича есть очень хороший момент в романе “Последняя любовь в Константинополе”, где он как раз говорит о детях победителей и детях побежденных. И там есть замечательный афоризм: мир никогда не будет принадлежать сыну победителя. Когда я говорю о наследии поражения, я вижу в том залог определенной силы и шанс на успех, потому что в каждой следующей схватке дети проигравших хотят взять реванш. Дети проигравших, которые выросли в тоне мобилизационном, напряженном, которые изначально воспринимают мир драматично, сталкиваются с детьми победителей, растущими в ореоле достигнутого успеха и рискующими почивать на лаврах.

Кстати говоря, если сейчас попытаться воссоздать феноменологию позднего советского общества, то это, конечно, колоссальное почивание на лаврах. Когда я учился еще в начальной школе, то слышал всю эту риторику: “Люди принесли в жертву свои жизни в Великой Отечественной войне, чтобы мы могли жить так, как живем сейчас”. Все очень ценили эту героику, но с собой соотносили ее именно таким образом, что теперь вот можно хорошо жить в Стране Советов. То есть несколько такое успокоенное сознание. Если посмотреть с этой точки зрения, — а это, конечно, плохой социологический метод, но хороший способ мифологизации существующей ситуации, что нам и нужно (я, честно говоря, не верю в нейтральную социологию в условиях столь интенсивной общественной динамики, социология внутренне сращена с мифами), — так вот, если посмотреть на политическую среду сквозь эту призму, то мы увидим, что и в США, и у нас до сих пор у руля стоят поколения, которые



у них стали победителями, а у нас — проигравшими в одной “холодной войне”. Даже нынешние 45–50-летние, пусть они и не были у руля к концу 80-х, зачастую лично *вовлечены* в это событие поражения, они его соучастники.

— *Этому поколению вы противопоставляете свое?*

— Почему моя книга называется “Опыт консервативной критики”? Пока этому поколению мы противопоставляем только критику, потому что альтернативная поколенческая и социальная сила еще не оформилась. В ближайшие годы она будет становиться все более и более отчетливой. И, кстати, в этой связи интересно проанализировать изменения в восприятии советской эпохи. Постепенно наглядные представления о ней, носителями которых являются старшие поколения, уступают место мифическим. И это хорошо, потому что материалом для исторической идентичности является не фактография, а мифология. И очень важно понимать, что советский миф будет для нас не утопическим, а фундаменталистским, не коммунистическим, а консервативным. Он будет говорить нам не об универсальном общественном идеале, а о силе нашей исторической судьбы, о творческом развитии российской цивилизации.

Но здесь есть большой риск. Я говорю о “поколении реванша”, но обычно реваншизм — серьезный упрек в нашей политической риторике. Действительно упрек. И несмотря на то что я вполне принимаю реваншизм как совершенно нормальную социальную и эмоциональную установку, нужно очень четко оговориться, что речь ни в коем случае не идет и не может идти о сохранении, продлении логики “холодной войны”. Именно в нынешних условиях попытки мыслить категориями биполярности, включая попытку подать свою заявку на биполярность для России, были бы в корне неправильными и губительными, потому что именно сейчас, возможно, мы присутствуем при достаточно интересном кризисе цивилизации-гегемона — западной цивилизации. Я отнюдь не утверждаю, что этот кризис фатален, но его симптомы активно обсуждаются. Предположим, это очень тревожные книжки, которые пишут западные консерваторы (европейские, американские) о цветной мигра-

ции. Это, скажем так, достигшее исторического накала осознание угроз терроризма. Все это, на мой взгляд, не есть общемировые проблемы, а именно вызовы тем обществам, которые повязаны логикой западного проекта. Например, если мы возьмем наиболее обсуждаемую тему — тему террористических вызовов, корень опасности не в том, что существуют люди, готовые для реализации своих целей прибегнуть к террористическим методам. Корень в том, что эти люди уверены: прибегнув к таким методам, они будут услышаны. Кроме того, у них нет другого способа коммуникации, возможности поставить беспокоящие их вопросы в повестку дня современных массовых обществ. Иными словами, террор является следствием и функцией символического устройства современных массовых обществ западного типа, которые, с одной стороны, слишком могущественны технически, чтобы против них можно было бороться напрямую, с другой — крайне уязвимы, слабы перед лицом информационно-психологического воздействия.

— *Вы согласны с утверждением, что проблема терроризма — это проблема цивилизационного столкновения, западного (европейского, назовем это так) и исламского мира?*

— С одной существенной оговоркой: да, это конфликт цивилизаций, который является внутрицивилизационным фактором, что крайне важно и что характеризовало, кстати, отношения ислама и Европы, европейской цивилизации, давшей ответвление в Америку, с давних времен. Ислам в общем-то не выдерживал фронтальных, позиционных войн. И сейчас он не может их выдержать. Его стратегией является проникновение в поры цивилизации-гегемона, в том числе мировоззренческое. И в этом сила ислама. Принципиально важно зафиксировать, что разворачивающийся конфликт цивилизаций является именно внутрицивилизационным феноменом и что та угроза, которую представляют для Запада миграции, терроризм, — следствие внутреннего устройства западных обществ. Понятно, что сейчас неоконсерваторы попытаются максимально жестко озвучить эти угрозы и найти на них ответ. На каких путях он может быть найден? На

путях сворачивания просвещенческого универсализма. А если он будет свернут усилиями западных неоконсерваторов, то логически у них останется два варианта: либо, отказавшись от универсализма Просвещения, западная цивилизация должна будет признать себя локальной цивилизацией наряду с другими — и это было бы, конечно, существенным достижением, позволило бы и нам заняться собственным цивилизационным строительством; либо будет продолжаться мировая экспансия, но уже с позиции силы. Сейчас об этом много говорят в связи с ловушкой и кризисом легитимности международных действий Соединенных Штатов. Утверждают, что их политика перерастает в политику “голой” силы. Почему? Потому что та универсалистская риторика, которой всегда эта политика оперировала, которой она прикрывалась (нормально, когда универсализмом прикрываются какие-то партикулярные интересы), становится в данных конкретных случаях все менее убедительной и все более опасной. Например, проблема демократизации Ирака. Если ваша задача состояла в обеспечении гарантий прав человека в этой стране, в свержении диктаторского режима Хусейна, то, будьте любезны, предпримите широкую демократизацию Ирака. А предпринять это — значит получить гражданскую войну, приход исламских клерикалов к власти, широкое партизанское движение и т. д. Альтернатива — жесткие антипартизанские стратегии колониализма. Но этого не допускает внутриамериканский контекст. Вот на ту или на другую сторону им надо бы и встать. И в данной ситуации, когда возникает кризис легитимности и нарастают противоречия внутри цивилизации-гегемона, лучшее, на мой взгляд, что может сделать Россия — это оставлять их наедине с их проблемами. Иными словами, исповедовать стратегию умного изоляционизма.

О каком изоляционизме идет речь? Изоляционизм — это то, чем пугают, от чего отрециваются. Я же подразумеваю не отказ от рыночного сотрудничества, не отказ от координации действий с теми или иными центрами силы, не отказ от политики союзничества и поиска баланса в тех или иных вопросах с международными партнерами разного статуса. Ничего похожего. Я подразумеваю примерно то, что сжато в известной фразе: “Россия сосредоточивается”.

Обычно она понимается как оправдание просто отступления. В действительности эта фраза была сказана немного в другом контексте: Россия сбрасывает с себя те, скажем так, стратегические, союзнические обязательства, которые она набрала прежде. Это было сказано, в частности, в контексте отказа от политики Священного союза — политики, продиктованной универсалистскими доктринами. Умный изоляционизм в нашей ситуации, в ситуации конфликта цивилизаций (повторю: с оговоркой, что это конфликт цивилизаций как внутрицивилизационный феномен) — признание того, что Россия не является частью какой-либо из враждующих цивилизаций, но является самостоятельной цивилизационной платформой, которая должна быть консолидирована по своему периметру, по периметру СНГ.

По периметру СНГ — не значит “с присоединением” всей Средней Азии. Речь идет не о едином государстве, а о выстраивании эшелонов влияния и обороны. Это совершенно необходимо, потому что, естественно, объединить всех бывших граждан Советского Союза в рамках одного государства, в рамках общей концепции гражданства совершенно непродуктивно. Пришла пора делать градацию разных форм контроля над территорией, населением и т. д. Скажем так: это просто периферия, которая должна быть укреплена. Вот в общих чертах то, что я понимаю под имперским изоляционизмом. И, на мой взгляд, несмотря на то что эта стратегия имеет сугубо оборонительную форму, ее реализация потребовала бы от нашей политической культуры — и от политической культуры элиты, и от массовой политической культуры — достаточно серьезной жесткости и агрессивности. Принципиально важно учитывать соображение, которое все держат в уме: при достаточно слабом уровне освоенности пространств, при очень низкой демографической плотности, при демографическом росте Юга, при энергетическом кризисе Запада будет все сложнее удерживать суверенный контроль над территориями, недрами и т. д.

— *Традиционными способами?*

— В том, что касается категории суверенитета, традиционные способы, я думаю, самые правильные и простые.

Это — юрисдикция, пространственная монополия, контроль нации над пространством, гарантированный присутствием войск. И в ситуации демографического роста Юга и энергетического кризиса Запада жители вот этого российского субконтинента могли бы осознать то, что у них уже есть, а именно пространство, ландшафт, как своего рода сверхценность в современном мире. Принадлежащий нам субконтинент — это наш большой ковчег, пространство геостратегического спасения. У нас широта пространства (о чем хорошо пишет в своих работах А. Филиппов) является внутренним аспектом идентичности, даже внутренней формой исторического сознания русских. Но было бы очень важно дополнить этот аспект широты пространства аспектом его освоенности. Мы воспринимаем пространство за Уралом как “больное” — очень разреженное, плохо освоенное, куда уже начинают проникать “чужаки”, и т. д. Потому, возможно, одной из таких праксиологических компонент национальной идеи могла бы стать идея внутренней колонизации.

*— Всегда в таком случае хочется привести в пример Канаду, где практически все население живет вдоль американо-канадской границы и где столь же разреженные территории.*

— Канада — очень комфортная страна, которая исторически не вовлечена в конфликты (там мало вот этих “ниточек”, тянущихся из истории), у нее комфортное окружение, и ее благополучие пока стратегически и естественно гарантировано Соединенными Штатами. А понятно, что Россия находится в зоне риска в силу своей близости с Югом — исламским и конфуцианским, китайским.

*— Скажите, Михаил Витальевич, в какой мере мы способны — и способны ли — как-то корректировать идущие процессы?*

— Ну, я изначально заявил, что отчасти я сторонник конструктивистских подходов, несмотря на свой консерватизм. В частности, идеологию Русского ковчега я и рас-

сматриваю как попытку трансформировать реальность, “подложив” под нее сильный центростремительный миф.

— *А в условиях глобализации это возможно?*

— Разумеется, мировая взаимозависимость стала системной реальностью для современных обществ. Причем стала гораздо раньше, чем начались разговоры о “глобализации”. Нужно лишь понимать, что те или иные описания реальности еще не являются ответом на вопрос о нашем месте в ней, о том, будем ли мы субъектом, о том, кто такие *мы*. В частности, новые вызовы, связанные с усложняющимся устройством мира, могут послужить в равной мере как увеличению роли государства — как гаранта *совместного* выживания нации на данной территории, — так и распаду, выхолащиванию государственной формы жизни. Это зависит от нашего политического выбора и нашей способности реализовать свой выбор. Конечно, у социологов есть представления о том, что формы коммуникации и развитие средств коммуникации объективно воздействуют на формы социальной связи, видоизменяя человеческие сообщества. Это очень существенно, так как даже обычное развитие средств связи колоссальным образом увеличивает плотность социальной среды. Сейчас люди еще как-то не очень этим озабочены. Феномен “постиндустриального тоталитаризма” пока в большей степени занимает воображение писателей и субкультур, склонных к паранойе. Но потихонечку, усилиями фантастов, в том числе практикующих, идея универсального “общества контроля” будет приближаться к наглядности. Одной из привлекательных черт идеологии Русского ковчега может стать именно то, что она обеспечит сохранение пространства автономии. Иначе говоря, это одна из стратегий противодействия глобализму на уровне государства-цивилизации.

— *Это же и есть утопия.*

— Это можно назвать утопией в том смысле, в каком о ней говорит Мангейм, — это представление, социальная установка, которая противоречит существующим стерео-

типам здравого смысла, отделяющим “возможное” от “невозможного”. Но сами эти стереотипы подвижны. Одна из задач и стратегий социального конструирования состоит именно в том, чтобы аккуратно смешать представления общества о возможном. Ну, например: до 11 сентября все были уверены, что “боинги” существуют для гражданских перевозок, ножи для резки картона существуют для резки картона, а человек существует для счастья. В локальное время на локальном участке была создана модель, которая опровергла эти стереотипы, и наши представления о возможном существенно расширились. Уже, может быть, не за горами момент, когда благодаря этому в военную доктрину государств широко внедрится представление о комбинированном оружии как особом оружии сдерживания и устрашения, — потому что новая гонка вооружений уже началась. Только, естественно, ее ставкой является не достижение паритета с гегемоном, как раньше было, а попытка удержаться выше того порога, который маркирует неприемлемый ущерб для гегемона. Значит, если американцы летят тебя бомбить, они должны знать, что понесут неприемлемый ущерб. Для этого приходится залезать в военный космос, разрабатывать новые поколения истребителей... Но для тех, кто этого не потянет, всегда есть и более простые средства устрашения. Колоссальная незащищенная коммуникационная инфраструктура современных мегаполисов. Мировой гегемон может просто в какой-то момент понять, что, десуверенизируя то или иное достаточно крупное государство с большими возможностями, он может получить у себя в тылу цепную реакцию диверсий, означающих для него неприемлемый ущерб. Границы представлений о возможном расширились.

— *Приходится часто слышать об утрате старых идеалов и о невозможности возникновения новых. Причем нередки и такие формулировки: “Был идеал коммунизма, но он оказался утопией”. Как все же вы разграничиваете эти понятия? И если действительно нереально сегодня говорить о новых социальных идеалах, то правомерно ли ставить вопрос об утопии новой России, новой Европы, нового мира?*

— Для меня сама категория идеала — это одна из форм утопического сознания, потому что идеал, так или иначе, — нечто привнесенное в действительность, нечто, простите за такое слово, трансцендентное действительности. В истории этики есть характерное разночтение относительно того, в чем состоит нравственность: нравственность как соответствие системе нравов данного конкретного общества или соответствие универсальному моральному закону. Именно поэтому один из специалистов по политической философии мог сказать, что либерализм, или идеология естественного закона, требует норм, по которым можно судить общество; а консерватизм пытается проследить, как в каждом конкретном случае нормы вырастают из самого общества. Вот эта первая позиция, то есть попытка судить общество или конкретную действительность с какой-то абстрактной высоты, и является идеалистической — то есть слабой в настоящее время, поскольку не существует самоочевидной инстанции, от имени которой могли бы провозглашаться “моральный закон”, универсальные нормы. Надо прекратить их провозглашать и пытаться мыслить этику, исходя из существования конкретных исторических общностей.

— *Возвращаясь к выстроенному в вашей книге ряду утопий, попытаемся резюмировать: что же такое утопия новой России?*

— Могу пояснить, почему я говорю об утопии новой России, хотя из сказанного это вытекает. В начале нашего разговора я не случайно упомянул 21 августа 1991 года. Этот день называют днем нашей “бархатной” буржуазной революции. И понятно, что именно этот день — осевое событие истории новой России. Для меня этот день и эта так называемая революция являются ничем иным, как жестом отказа от собственной исторической судьбы. За разговорами о наличии или отсутствии особого русского пути мы забыли, оставили в тени гораздо более важный вопрос — сохраняем ли мы волю к продолжению особой судьбы. Новая Россия — попытка от нее отказаться, примкнуть к лагерю победителей, как он мыслился на тот момент. Уже сейчас ясно, что мыслился он очень наивно и очень далеко от ис-



торической динамики. На тот момент умами реформаторов владела идея начать Россию с чистого листа и на нем написать правильные формулы, вычитанные у Адама Смита. Вот это я называю утопией. Я в данном случае не противопоставляю утопию истине. Истинно в конце концов в истории то, что будет реализовано. Утопия чудовищна не потому, что она нереальна, а именно потому, что может войти в реальность. И в этой связи, еще раз повторюсь, мы уже живем утопически.

Что является утопическим элементом в нашей актуальной идеологии? Попытки интеграции с западным миром. Собственно, это и значит интегрироваться в утопию, верить в возможность трансплантации институтов и систем ценностей, проектирования общественных отношений в отрыве от исторической и культурной преемственности. И ведь нынешнее западничество верит в тиражирование западных технологий успеха посредством тиражирования западных символов потребления. В действительности же все в точности наоборот: чем больше мы принимаем в себя “современные ценности”, тем больше удаляемся от современных технологий. Потому, естественно, мой методологический антиутопизм связан с политическим антизападничеством, которое, кстати, не следует путать с антиамериканизмом. Америка — конкретная страна, а западничеству подвержены интеллигенция да и массы в самых разных обществах. К сожалению, наш правящий слой — тоже. Поэтому могу вам сказать, уже не в плане социологии, а в плане поколенческого психоанализа, в порядке моих наблюдений за средой: одна из идефикс нового поколения — это идея полной, революционной ротации элит.

*— Не могли бы вы несколько подробнее охарактеризовать — психологически, политически — эти два поколения, которые отчасти сейчас противостоят друг другу? Тех, кто осуществлял ту буржуазную революцию 91-го года, и тех, кто намерен их заменить, кто приходит к власти.*

— Честно вам скажу, я плохой феноменолог и не взялся бы за такое эскизное и эмоционально убедительное создание этих портретов. Но я выделил бы две ключевые харак-

теристики, которые категорически неприемлемы для меня в действующем политическом поколении и фактически служат “пунктиками”, питающими миф о национальной революции. Первая черта — экономизм действующего политического поколения, назовем это так. То есть его универсальная стратегия — попытки конвертировать власть в деньги. Деньги считаются более надежным социальным ресурсом. И за этим вторая, гораздо более существенная, антропологическая черта — гедонизм, желание, находясь в политике, получать от жизни удовольствие прежде всего. Это накладывает неизбежный отпечаток на всю философию жизни. Есть политические элиты, ориентированные на собственное благополучие, а есть — ориентированные прежде всего на власть. Принципиально разные человеческие доминанты. Следовательно, первая характеристика — экономизм, гедонизм, приоритет экономического над политическим, приоритет удовольствия, благополучия над служением и над властью. И вторая характеристика — интеграционизм. Задача действующего поколения элит, их сверхзадача, фоновая задача — интеграция в пирамиду международных элит. На десятых, одиннадцатых, на каких угодно ролях, но именно там они видят гарантии собственного состояния и т. д. Они, может быть, серьезно ошибаются, но пока это так.

Интересно что обе эти черты с точки зрения классической философии элит являются чертами глубоко антиэлитарными. Возьмем первую. Как Ортега писал о том, чем отличается человек элиты от человека массы? Человек массы просто живет и остается доволен собой, он получает удовольствие от жизни. Человек элиты служит, подчас безжалостно по отношению к себе и другим. А вторая черта уже, скорее, касается гегелевской и ницшеанской философии элиты, где она рассматривалась в категориях раба и господина. Это рабская психология — согласиться на безопасность, будучи десятым, нежели находиться в постоянной зоне риска, но быть первым. Если возможна скольконнибудь серьезная ротация элит, то она будет иметь смысл только в том случае, если эти две характеристики окажутся пересмотренными. Конечно, я сейчас говорю о политической элите. Анализировать, как подобная проблематика связана с элитой в разных сферах жизни — творческой, на-

учной, экономической, — особый, очень интересный вопрос, но сейчас я бы за это не взялся.

— *А черты вашего поколения, в противовес действующему?*

— Мы — пока “темная лошадка”. Давать какие-либо характеристики сейчас совершенно бесполезно. Могу сразу оговориться, что позиция, которую я изложил относительно черт действующей элиты, рискует выглядеть романтической — просто вот это не те люди, не те герои, которых мы ждем. Дело не в том. Дело во многом и в структурных характеристиках, и в социальных отношениях. Пока они таковы, что, с одной стороны, преобладает экономическое, а не политическое; с другой стороны, преобладает логика встраивания в мировую элиту, а не логика построения собственной страны “под ключ” (что может быть единственной гарантией безопасности). И та и другая предпосылки могут быть опрокинуты в ходе вполне реальных социальных процессов.

— *Скажите, Михаил Витальевич, вы, по вашей самооценке, оптимист или пессимист?*

— Эмоционально я оптимист, безусловно. Хотя и не считаю, что история должна обходиться с нами мягко. Скажем, то философское поколение, которое мне наиболее близко, поколение немецкого младоконсерватизма — Шмитт, Юнгер, Хайдеггер, Фрайер, — в ходе своей жизни потерпело колоссальное поражение. В какой-то момент они с энтузиазмом восприняли национал-социалистическую революцию; примерно в середине 30-х этот энтузиазм был погашен логикой их персональных отношений с системой. Но так или иначе понятно, что поражения во Второй мировой войне были их личные поражения. Эти люди лично подверглись “денацификации”. И интересно, что они — не скажу, что не потеряли оптимизма, потому что в данном случае это плоское слово, — не потеряли нить истории. Они продолжали оставаться внимательными наблюдателями и участниками исторического процесса, постольку, поскольку мыслитель соучаствует в истории, будучи чувстви-

тельным именно к тому новому, что происходит. Фрайер стал одним из первых теоретиков индустриального общества, Юнгер — одним из первых, предложивших осмысление постмодернистской ситуации, Шмитт — одним из первых наблюдателей и системных аналитиков “холодной войны” и “теории партизана”, которая становится актуальной прямо сейчас, и т. д. Таким образом, конечно, если оптимизм, то такой неколебимый, который не рассчитывает на счастье. В этом смысле я оптимист.

— *И вы столь же оптимистично настроены относительно нашего будущего?*

— Я категорически против того, чтобы выступать в жанре прогноза. Потому что отвечать серьезно — значит фактически перейти совершенно в другой регистр обсуждения и начать говорить о текущей политической ситуации, и смотреть, как изнутри нее начинает заявлять о себе какое-то будущее... Скажем коротко: все, чему *стоит быть*, — *будет*. История продолжается. Для меня фигура мыслителя, выходящего на сцену в конце истории, просто логически и эмоционально недостоверна. Мысль должна соучаствовать в процессе изменений, должна быть креативной. Креативность — это фактор социальной практики, сейчас, может быть, становящийся все более значимым. Даже креативность, которая бурлит где-нибудь в современной философии и литературе, имеет серьезные шансы проникать, по крайней мере частями, в дело проектирования и создания будущего. Для меня важно зафиксировать, что пространство политического влияния расширяется. И поэтому даже область интеллектуального влияния понемногу начинает становиться тоже политической областью. Хотя питать иллюзии интеллектуализации политики не следует, естественно.

А.В. Кураев

“Задача-минимум — поставить вкус к религиозной мысли”

*— Сейчас нет недостатка в утверждениях, что мы живем уже в новую эпоху. Так или иначе, но переживаемое нами время рассматривается как критический момент в истории цивилизации, как период перехода человечества в качественно новое состояние. Что можете сказать в данной связи вы, Андрей Вячеславович, — выпускник и преподаватель философского факультета МГУ, профессор богословия? Отвечает ли это вашему мироощущению?*

— Новая эпоха? Может быть... Но всякая ли новизна достойна радости? Для меня в словосочетании “новый мировой порядок” ударение стоит на слове *ordnung*. Прежде всего потому, что появились непредставимые в былые времена возможности управлять жизнью общества и отдельного человека, контролировать их.

Современные технологии масс-медиа позволяют вскрывать наши мозги без трепанации черепа. Статистика говорит, что у сегодняшних семей больше телевизоров, чем ванн, из чего следует, что мозги люди промывают чаще, чем что-либо остальное. Так что, с одной стороны — невиданные возможности промывать мозги каждому из нас, с другой стороны — небывалая неприватность человеческой жизни.

И то, что тиранические режимы XX века, будь то гитлеровский или сталинский, отжили свое еще до появления массового телевидения, — это, конечно, своеобразная милость Истории или промысла Божия.

Власть — это прежде всего информация. Идеал власти — возможность в режиме *on-line* получать информацию о поступках, движениях, словах отдельного человека. Преды-

душие режимы, какими бы тираническими они ни были, просто технологически не имели такой возможности. Сегодня же каждый человек компьютерно прозрачен. Технологии слежки, показанные в голливудском фильме “Враг государства”, — это не выдумка. Уже и в самом деле принципиально возможно спутниковое наблюдение за отдельным человеком (хотя оно еще и слишком дорого). У людей появляются электронные имена, документы, деньги, на них заводятся электронные досье. В современном западном обществе исчезает анонимность потребителя, зрителя, даже читателя: электронные деньги позволяют фиксировать, какие именно информационные продукты покупает человек, а из этого легко сделать вывод о его политической и идейной ориентации.

По моему убеждению, тот факт, что на телевидении во всем мире, не только в России, появились проекты типа “За стеклом”, имеет некий политический подтекст. Это не просто шоу. Людям, особенно молодому поколению, пробуют внушить, что, вообще-то говоря, жить голеньким — это нормально. Жить в прозрачном аквариуме — модно, престижно, в этом нет ничего плохого. Нам готовится жизнь аквариумных рыбок.

В былые времена определенные группы людей (скажем, те же староверы или казаки) просто уходили из общества, с которым у них были конфликты. Уходили и жили, соглашаясь быть маргиналами. При новом мировом порядке даже это оказывается почти невозможным. В условиях глобальной “макдональдизации” всюду пережевывается одинаковая информационная, идеологическая жвачка. От планетарного государства уходить некуда. И спрятаться от него мало кто сможет: современный человек, при всей своей видимой свободе, на самом деле чрезвычайно зависим; он не умеет жить натуральным хозяйством, а живя в городской квартире, должен оплачивать какие-то блага цивилизации, которые потребляет. Значит, ему нужен легальный путь получения денег, а следовательно, нужно согласие и с властной идеологией.

А кто может дать гарантию, что у государственной власти не появятся со временем свои идеологические пристрастия? Так вот: если однажды у социальной элиты обнару-

жаты свои идеологические симпатии и антипатии, то это будет означать, что в современном западном обществе, частью которого является и Россия, возникнет самое жесткое в истории тоталитарное государство.

Проблески этой грядущей идеологии уже заметны. Они достаточны, чтобы насторожить христиан. Например, летом 2001 года Ги Ферхофштадт, премьер-министр Бельгии и в ту пору председатель Европейского союза, опубликовал статью, обращенную к антиглобалистам. Это действительно странные ребята, придерживающиеся левых взглядов (маоисты, троцкисты и т. д.). И вот председатель Евросоюза попробовал их на этом поймать. Как же так, писал он, вы — крайне левые, но ваши антиглобалистские выходы сближают вас с крайне правыми политиками и идеологами типа фашистов, расистов, нацистов и — дальше уже буквальная цитата — “религиозных фанатиков, которые считают, что и в наши дни можно жить и умирать по Библии или Корану” (*Ги Ферхофштадт. Парадокс глобалізації // Евробюлетень. Інформаційний бюллетень Представництва Європейської Комісії в Україні. 2001, окт. С. 4*). Понимаете, когда первое лицо Европы заявляет, что жить по Библии — это не “комильфо”, у христиан есть основания “напрячься”, задуматься над тем, в какой мере нынешние стандарты политкорректности, политического преуспевания соответствуют тому, что заложено в христианской этике, в христианском мировоззрении.

Еще одна новость из Новой Европы: 12 марта 2002 года Европарламент одобрил радикальную феминистскую резолюцию, содержащую нападки на католицизм, православие и антиабортное движение “про-лайф” (в защиту жизни). Проект резолюции, озаглавленный “Женщины и фундаментализм”, был вынесен на рассмотрение европейских парламентариев еще в октябре 2001 года по инициативе депутата от Испании Марии Искьердо Рохо. С критикой текста выступила парламентарий от Ирландии Дана Розмари Скаллон, отметившая, что статья 4 резолюции может быть истолкована как призыв к католической церкви рукополагать женщин. Эта статья, в частности, гласит, что Европарламент “осуждает административные органы религиозных организаций и лидеров экстремистских политических дви-

жений, способствующих расовой дискриминации, ксенофобии, фанатизму, а также недопущению женщин на руководящие посты в политической и религиозной иерархии”. Помимо этого, статья 23 резолюции призывает не принимать в состав Евросоюза страны, в которых человеческая жизнь охраняется законодательно с момента зачатия, а статья 31 гласит: “Европарламент призывает верующих любых исповеданий выступать за равные права для женщин, в том числе за их право контролировать свои собственные тела и решать, когда им заводить семьи...”. Статья 33 заходит еще дальше, призывая Папу Римского и Патриарха Румынского изменить свое отношение к гомосексуализму. Европарламент, говорится в этом пункте резолюции, “выражает поддержку лесбиянкам, оказавшимся в тяжелой ситуации и страдающим от фундаментализма, и призывает религиозных лидеров, включая Румынского Патриарха и Папу, изменить отношение к этим женщинам”.

Комментируя новую резолюцию по радио Ватикана, кардинал Роберто Туччи назвал ее “плодом фундаменталистского секуляризма”. “Эта мания навязывать Церкви определенные правила поведения, исключая ее из общественной жизни, свидетельствует об образе мысли, совершенно противоположном светскому духу”, — сказал кардинал. Он выразил обеспокоенность тем, что данная резолюция сможет оказать негативное воздействие на составление Европейской конституции.

А посмотрите, как Европейский парламент принимает Хартию прав человека, которая должна прийти на смену Декларации прав человека. В этой Хартии содержится параграф, запрещающий дискриминацию при приеме на работу в зависимости от пола и половой ориентации. Если бы здесь говорилось, что запрещены такого рода предпочтения при приеме на госслужбу, в государственные структуры, — это было бы нормально. А когда подобный запрет налагается вообще на все объединения людей, то это уже очень серьезно для религии. Традиционные религии, где есть институт мужского священства, или, скажем, религии, интерпретирующие гомосексуализм как грех, соответственно, оказываются вне закона, то есть они уже не смогут функционировать как субъекты публичного права.



Считать ли все это случайностями? Но дискуссии вокруг проекта Европейской конституции не позволяют отделиться столь легким ответом. В преамбуле Евроконституции сказано, что культура и история Европы созданы под влиянием античного наследия и идеологии Просвещения. О христианстве — ни слова. Само по себе это умолчание было бы обычным, если бы не упоминание лишь одного из идеологических течений европейской истории, а именно Просвещения. Почему из всех философских школ была с благодарностью названа лишь одна — отнюдь не самая глубокая, но зато самая антицерковная?

Такого рода колючек, ранящих христиан, в современной идеологии “политкорректности” немало. Для христиан все это вещи довольно узнаваемые, потому что когда-то нас преследовали в Римской империи по очень похожим мотивам. В те времена начала христианской веры церковь вошла в конфликт с империей именно потому, что христиане отказывались “широко” смотреть на вещи. Их гнали не за то, что они верили во Христа, а за то, что не оказывали знаки почтения официальным государственным культам (“ну, что вам стоит возложить щепотку ладана перед этой прекрасной статуей работы Фидия, умеете не настаивать на истинности вашей веры, ее уникальности”). Христианам выкалывали глаза, требуя от них широты взглядов.

Те же упреки христианам бросаются и сегодня. Увы, исторический опыт нас учит, что от менторско-осуждающей нотки, когда нас тихонечко журят за недостаточную открытость современности, и до прямых гонений дистанция может оказаться весьма короткой.

Наконец, есть третья проблема, характерная для современного общества: человек впервые в состоянии конструировать себя (и путем генной инженерии, и тем же идеологическим путем). Марксова мечта — с помощью социальной инженерии создать нового человека — в XIX веке была лишь утопией, а сейчас, при современных технологиях, в том числе социальных, появляется возможность ее осуществить. И здесь Церковь предлагает не спешить. У новатора, прогрессиста чешутся руки: попробовать новые игрушки. У консерватора беспокоит совесть: сначала лучше обсудить, каковы возможные моральные критерии при при-

менении тех или других новых технологий, каков возможный человеческий и общественный контроль над ними. До какой степени удастся сдерживать применение этих технологий? Вопрос остается открытым.

— *Вы считаете, что уход в консервативный мир — спасение? Тот именно путь, что позволяет остаться самим собой, не дать себя поглотить убыстряющемуся потоку нововведений?*

— Чтобы не быть заложником современной идеологии, надо уметь смотреть на происходящее со стороны. У каждой культуры есть свои бельма на глазах (“это кажется очевидным... разве можно считать иначе... ведь все так считают...”). И у прежних эпох были свои бельма. Но они находились в других местах, а потому в чем-то были более зрячими, чем мы. Надо уметь быть сложным, а не одноклеточным; надо владеть техникой современного мира и при этом питать свое сердце Достоевским и Августином, а не мыльными телесериалами.

— *Вам это подсказывает и собственный опыт? Почему вдруг случился столь резкий поворот в вашей жизни и мировоззрении?*

— У Пастернака есть замечательная строчка: “Не потрясения и перевороты для новой жизни открывают путь, а откровенья, бури и щедроты души воспоминанья чьи-нибудь”. То, что происходит во внутреннем мире человека, бывает гораздо важнее того, что происходит на каких-то политических баррикадах. Для меня такими событиями стали две книги. Сначала в отцовской библиотеке я разыскал “Архипелаг ГУЛАГ”. У нас до сих пор есть это издание. Отец тогда прятал его под суперобложкой книги Копнина, название которой было столь тоскливо-диалектическим, что была гарантия: никто такую книжку случайно в руки не возьмет и листать ее не станет, так что она вполне открыто даже мне мозолила глаза несколько лет. Знакомство с “ГУЛАГом” (а я был первокурсником) уже тогда избавило меня от прогрессистского мифа: “ориентация толь-

ко на будущее, с каждым десятилетием новым поколениям все лучше и лучше...”. Подростком-то я жил в мире фантастики, где будущее рисовалось феерическим, а прошлое однозначно темным... После Солженицына стало понятно, что с советской идеологией мне все-таки не по пути.

А затем, года через два, прочитал “Братьев Карамазовых”, что заставило уже всерьез задуматься над христианством. Я не читал эти книги, я ими болел...

На философский факультет МГУ я поступал в силу семейной традиции. Правда, ушел на кафедру атеизма, чтобы изучать немарксистские взгляды на жизнь. Но учили меня, конечно, не вере, а технике ее разрушения у других людей. В этом была нравственная неправда: получалось, что я учусь разрушать веру другого человека, не умея ничего предложить ему взамен. Даже если его вера неправильная, но у меня-то вообще никакой веры нет. С другой стороны, меня больно укололи своей неоспоримой правотой слова отца Сергия Булгакова: “Неверующий человек, занимающийся изучением религии, подобен евнуху, который сторожит чужой гарем”.

Так что я решил поставить на себе эксперимент и понудить себя войти в мир Церкви. Причем именно Церкви православной. Я сказал себе: “Если Бог и в самом деле есть, то ты не первый, кто пришел к такому выводу, и поэтому, прежде чем говорить что-то свое, изучи то, что уже было”.

Ну и немножко мистики, конечно, тоже присутствовало. Один из самых поразительных моментов в моей жизни: когда я был еще совершенно атеистическим теленком, на лекции куратора православной церкви из Совета по делам религий (товарищ Варичев читал у нас такой полусекретный спецкурс — “РПЦ сегодня”) я слышу, что в Духовных академиях РПЦ сегодня пять “профессоров богословия”. И вдруг меня пронзает ощущение, что это про меня, что я должен быть среди них, в этом мое призвание. Я сам удивился, как это у меня, атеиста, вдруг всколыхнулось сердце при упоминании о преподавателях богословия...

Через некоторое время — опять подобный инсайт: нам цитируют статью из “Журнала Московской патриархии” с упоминанием о семинаристах, и снова промелькнуло ясное ощущение: это мой мир, я почему-то должен оказаться там.

А спустя год узнал, что мое детство прошло в здании семинарии (отец в то время работал в Праге, в международном журнале, и редакция располагалась в бывшей католической семинарии).

— *Но, оказавшись в новом, теперь уже вашем мире, утвердившись в нем, вы вернулись в МГУ, чтобы преподавать на том же философском факультете. Что-то к этому побудило?*

— Что ж, это был еще один такой странный инсайт: почему-то, еще только поступая в семинарию, я мечтал все-таки вернуться в МГУ. По тем временам это казалось совершенным безумием. Я, конечно, и тогда встречался со студентами, но это было “тайнообразующе”. Тогда и представить было невозможно, что я снова появлюсь в МГУ, и тем не менее... Я и там, и там, причем не я один. Многие выпускники университета сейчас в Церкви. Помню, был в МГУ прием, на котором присутствовали и ректор В. А. Садовничий и Патриарх. Когда слово предоставили мне, я сказал, что пора признать очевидность: “Ваше святейшество, прошу Вас объявить о том, что Московский государственный университет официально является высшей духовной школой Русской православной церкви”.

В университете немало молодых людей, которые пред лицом глобализации задумываются над тем, кто же мы такие в этом общепланетарном, но при том все-таки слишком западном мире? Начинают читать русских философов. Через них — к Отцам...

— *А что вы хотите сказать своим сегодняшним студентам? Как вы сами себе представляете смысл и роль вашей научной, церковной, общественной деятельности?*

— О нынешних студентах у меня в общем хорошее впечатление, хотя бы по тому, что обязаны меня слушать 12–15 человек, специализирующихся на кафедре религиоведения, а реально сидят и слушают раз в пять больше. Значит, есть интерес. Поначалу, наверно, им было непри-

вычно, что лекцию читает человек в рясе. Но я им сказал: надеюсь, вы достаточно терпимы, чтобы разрешить мне носить одежду, которая мне нравится; а в остальном относитесь ко мне как к обычному преподавателю.

Главная моя цель — “поставить” им вкус к религиозной мысли (акцент на втором слове). Это задача-минимум, чтобы потом они уже обрели какую-то меру защищенности и гарантированности от сектантского болота. Сохраниться в качестве светски мыслящего человека в наше время уже очень немало.

Конечно, как человек и как преподаватель я был бы рад, если бы для кого-то из них мой мир стал их миром, но это отнюдь не является задачей курса. Моя задача — просто показать им: вот там, за той дверью, которая для вас пока закрыта и на которой написано “православие”, есть пространство, где можно жить. И с первой же лекции поясняю: существуют две разные интеллектуальные процедуры — объяснить и доказать. Я не могу вам доказать троичность Бога или что креститься надо тремя пальцами, а не двумя (либо наоборот), но могу объяснить. В религии много недоказуемого, но нет ничего бессмысленного.

В моем обращении к Церкви многое значило детское увлечение фантастикой. Это я потом понял, что на философском языке фантастика — это привитие человеку навыков феноменологического мышления. Феноменология интересуется смыслом, а не правдой. Дело не в том, так “на самом деле” или нет. Феноменолог анализирует текст, изначально воздержавшись от суждения о его “истинности”. Важна внутренняя логика сюжета, переключки смыслов. Если ты принял некоторые условия фантастического романа, дальше ты следуешь этим правилам игры. Вот и встретившись с миром религии, поначалу именно так, феноменологически я к нему и относился. Для атеистически воспитанного человека нельзя было сразу поставить вопрос: правда это или нет, воскрес Христос или не воскрес? Но прежде чем сказать для себя “да”, он может попробовать понять: если “да”, то... То есть начать понимать внутреннюю логику православия. И однажды воля говорит разуму (именно так — не уму, а воле дано решать, что есть, а чего нет): все, я хочу жить именно в таком мире, где есть

вот это, я хочу, чтобы это было всерьез. Игра кончается, начинается жизнь.

— *Сейчас многие обращаются к Церкви. Вы верите, что искренне?*

— Мне не нужно верить, я это вижу.

— *Ну, когда видишь на телеэкране наших начальников со свечками...*

— Почему сразу разговор о них? Миллионы людей искренне пришли в церковь, а тычут в глаза десятью лицемерами! Посмотрите, в России, скажем, в 1988 году было всего три монастыря. Сейчас же — более 700 монастырей. И на каждого монаха, живущего в обители, приходится человек сорок, которые пробовали, хотели, но не смогли понести этот крест. Но раз пробовали, то желание-то было! Было желание всецело служить Христу! А это значит, что сотни тысяч людей весьма всерьез пережили обретение своей родной веры.

— *А отчего люди, на ваш взгляд, туда бегут?*

— А кто сказал, что бегут? Нельзя в монастырь убежать, как нельзя жениться с отчаяния. Должно быть позитивное притяжение, даже влюбленность.

— *Наши коммунисты, и в частности их руководитель, нередко утверждают, что, отстаивая коммунистическую идею, они, по сути, выступают за христианскую идею справедливости. Вот он, социальный идеал! И если люди сейчас идут в церковь, обращаются к религии, то именно в поисках такого идеала. Это может быть реальным мотивом, по вашему мнению?*

— В таких случаях я вспоминаю французскую поговорку: “Дьявол прячется в деталях”. Конечно, существует идеал христианского коммунизма, и как будто он похож на

ленинский коммунизм. Но есть одна маленькая деталь: христианский коммунизм исповедует тезис — “что было моим, пусть будет твоим”; марксистский же призыв к насильственной экспроприации означает — “что было твоим, пусть станет моим”. Это все-таки не совсем одно и то же, мягко говоря. А что касается мотивов обращения к религии... думаю, все же не в поисках социального идеала. Большинство сегодня приходит в храм, действительно убегая, но не от социальных проблем, а от магических.

— *Например?*

— Многие попробовали заниматься магией, оккультизмом, а теперь приходят в храм как подранки духовные: защитите и спасите. Начиналось с мелочей — “раз в крещенский вечерок девочки гадали”, — а потом там такое явилось, что голливудские мистические ужастики показали репортажем с места событий...

— *Ну, это поветрие какие только формы сейчас ни принимает.*

— Нет, только со стороны кажется, что поветрие, а это очень серьезно. И серьезно сказывается на жизни людей. Достоевский говорил: “Дьявол с Богом борется. Поле битвы — сердца людей”. Черный религиозный мир крайне опасен.

— *Не так давно в газете “Известия” прошла заметная дискуссия “Наука и религия”. Довольно длительная и на очень высоком уровне, с привлечением авторитетных имен. Была проявлена отнюдь не стандартная — искренняя озабоченность. Чем, по вашему мнению, и почему?*

— На призывы “синтеза науки и религии” я реагирую сдержанно: “Чем выше забор, тем крепче дружба”. Профессионал всегда знает границы своей компетентности, границы применимости своего метода. Когда это забывается, порождаются идеологии: научно-атеистическая, оккультно-теософская или инквизиционная. Между идеоло-

гией эпохи сциентизма и современным оккультизмом есть общая черта: воля к власти. Фаустовская идеология (Фауст ведь ученый и колдун в одном лице). Различие между верующим человеком и колдуном в том, что верующий человек поклоняется Богу — Тому, Кого он сам ставит выше себя. Колдун же считает, что он может манипулировать духовной реальностью. Она ему кажется послушной его формулам, его власти. В этом отличие молитвы от заговора. Молящийся человек просит, колдун приказывает. Пример заговора-приказа: “Встань передо мной, как лист перед травой”. У сциентистов та же установка на обладание: “Мы не можем ждать милостей от природы”... У технаря, начинающего исследовать религиозную область, часто сохраняется прежняя установка на исследовательское, а потом и практическое покорение, препарацию. И дальше начинается то, к чему пришел академик Раушенбах: математическая формула Троицы. Он был верующим человеком, но эту его формулу я признать не могу.

— *А это не любопытно?*

— Это редуccionистское мышление. Вот в том и отличие оккультизма от религии. И не случайно отсюда симпатия оккультизма к буддизму, потому что буддизм радикально редуccionен: никакой целостности мира не существует, а существуют только элементарные психические атомы. Такие проекты озабочены скорее тем, чтобы увидеть безликие структуры за человеком, нежели человека за безликими структурами.

— *Есть такое суждение: все мировые религии при всем возможном различии имеют общий моральный знаменатель. И выстраивается такой логический ряд: моральные нормы как основа единства религий; а на этом основании — столь необходимый сегодня диалог цивилизаций. Как смотрите на это вы?*

— Верно: наиболее продуктивный путь диалога религиозных культур — размышления об этике. Но в собственно религиозной области различия очень велики.



Если мы поставим вопрос, как религия исполняет свое призвание, то есть вдохновляет человека на поиски высшего, поиск Бога, связь с ним, какие средства для этого предлагает, то здесь различия совершенно поразительные. Начиная с того, что есть тот же буддизм как атеистическая религия, в которой просто нет понятия Бога. Значит, в самой сердцевине своей это уже абсолютно другая религия. Существует классический памятник христианской литературы, который явно испытал влияние Индии, — повесть о царевице Иоасафе и Варлааме. В общем-то жизнь царевича — несомненная калька жизни Будды. По этому поводу иногда на журналистском уровне говорят, что Будда канонизирован христианской церковью под именем Иоасафа. Но скорее всего не буддисты принесли этот сюжет на Запад, а христианские миссионеры в Индии попытались переложить узнаваемые для индусов ситуации на христианский лад.

Сама история достаточно известна. Живя во дворце, царевич не знал, что такое страдания, смерть, старость, болезни, его окружали только прекрасные молодые люди. А однажды, во время прогулки в город, увидел человека, состояние которого его потрясло. Он спросил: “Что с ним?” Ему сказали: это болезнь. Потом увидел старика. “Он болен?” — “Нет, просто старик”. Наконец, увидел труп, что стало шоком. Оказывается, люди болеют, стареют, умирают. И оказывается, тот кружок счастья, в котором он жил, не есть весь мир, а это некая иллюзия, искусственно созданная. И царевич меняет свою жизнь, уходит из дворца, становится отшельником и т. д. Легенда красивая и общеизвестная, но интересно сопоставление разных ее вариантов. В канонических буддистских текстах царевич не сам решает выйти из дворца и посмотреть на городскую жизнь, это делают боги. Они рождают в нем такое желание, они ставят спектакль, создавая иллюзию старика, больного и т. п. В христианской же версии: царевич сам, еще до встреч в городе, желает стать другим, нежели отец, пойти самостоятельным путем. Иначе говоря, в буддистской канонической литературе он становится жертвой заговора богов; в христианской же повести подчеркивается его личностная активность, стремление вырваться из привычного течения жизни.

От различия философий рождается и различие этик. Если все сущее я считаю иллюзией, в таком случае этика получает довольно мало обоснований. Вершинные тексты буддистской философии говорят, что нельзя спасти другого человека, ибо нет того, кого ты спасаешь, и нет того, кто спасает. Таким образом, и мое собственное Я — это иллюзия, и ваше Я — тоже иллюзия. И потому высшим оказывается идеал недеяния: не порождай никакой кармы, даже доброй; все, что есть, должно распасться. Христианский идеал совершенно другой — увековечивания личности. Исходя из христианской позиции, я должен любить вас не потому, что вы есть я (по формуле индуизма); вы — не я, вы — другой, и именно как другому я и должен послужить вам.

В конце концов, разными становятся и социальные проекции этики и религиозной философии. Например, Махатма Ганди, вроде бы чистейшая душа, достаточно резко высказывался против создания больниц. Он считал это ненужным. Каждый должен изжить свою карму. Если ты болен, если ты поражен проказой, значит, заслужил это прошлой жизнью. И не надо мешать течению кармы. В Индии до сих пор большинство больниц — результат деятельности христианских миссионерских центров.

Этика не может рассматриваться сама по себе, вне религиозной аксиоматики. Культура — целостный организм: даже богословие и математика тесно связаны между собой. После Шпенглера просто даже не интересно делать на этом акцент. Но что меня все время удивляет в современной интеллигенции: вроде бы все читали и Шпенглера, и Тойнби, и Хантингтона и вдруг запросто говорят: “Да не важно, во что они там верят, лишь бы человек хороший попался”.

— Хантингтон, известно, рассматривает будущее человечества как столкновение исламской и христианской цивилизаций. Вы склонны это поддержать или оппорить?

— На мой взгляд, позиция Хантингтона слишком оптимистична. Беда в том, что христианский Запад сам себя сожрал изнутри. Он не христианский уже. И в этом пробле-

ма аллергии исламского мира на Запад. Если бы Запад был христианским, легче было бы найти общий язык. Есть все-таки более или менее общая иерархия ценностей, и, скажем, в России православные и мусульмане прекрасно друг друга понимают. У нас общее неприятие воинствующего западного гедонизма. Классический христианский мир и ислам поняли бы друг друга, поэтому сейчас нет их противостояния, а есть довольно интенсивно идущее изживание остатков христианства в западном мире. На руинах христианской цивилизации строится технотронная гедонистическая цивилизация, которая будет противостоять всем религиозным традициям в мире. Это классическое противостояние цивилизаций сотериологических и гедонистических. Сотериологические — средневековая Европа, Древний Египет, цивилизация Стоунхэнджа — всюду, где человек придавал трансцендентный смысл своей жизни. Даже большевистская цивилизация была сотериологически-жертвенной (и исчезла, как только перестала переживаться религиозно).

— *Вы активно выступаете за то, чтобы уже с детства знакомить людей с церковным учением, даже ввести в школах специальный предмет. Однако религия, церковь не могут играть в жизни человека большую роль, занимать большее место, чем он сам им отводит?*

— Выбор ведь очень простой: или мы оставляем людей (и маленьких, и больших, и детей, и учителей) наедине со стихией религиозной иррациональности, в мире бескультурия, в мире примитивнейших религиозных и магических практик, которые сегодня проповедуются на каждом углу; или мы даем им возможность прикоснуться к традиции человеческой мысли на религиозные темы.

История преподносит неожиданные сюрпризы. Ну, кто бы мог подумать, что в начале XXI века судьба человечества окажется в руках богословов? А это и в самом деле так, правда с тем уточнением, что речь идет о богословах мусульманских. Исламская умма (церковь) устроена иначе, чем православная или католическая общины. Умма управляется учеными; личное образование значит больше, чем

прохождение через церемонию посвящения. Голос ислама — это голос улемов, знатоков богословия. От них сегодня, скажем, зависит, как будет истолкована кораническая заповедь джихада. И из Библии, и из Корана можно вырастить “богословие любви”, а можно сконструировать “богословие ненависти”. Разве человеку, обществу это все равно? Потому, я считаю, так важно сегодня учить людей не отождествлять случайно услышанное ими мнение с церковным учением. Для этого и нужна церковная воспитанность.

Кроме того, основы православной культуры — это и рассказ о том, как не потеряться в Церкви, рассказ о ее сложности, о том, что даже святые не всегда были согласны между собой; о том, что не надо и сегодня бояться дискуссий. Предупрежденный об этой сложности человек поостережется ломать свою судьбу о совет случайно встреченного монаха, призывавшего (ввиду наступления “последних времен”) разрушить обычную колею жизни, семью, бросить работу или институт. Человек, знающий основы православной культуры, готов к тому, чтобы при встрече с такими наставлениями хотя бы про себя сказать: в Церкви есть и иные мнения по этим вопросам.

*— Насколько известно, в церковных кругах разрабатывается своя социальная программа. Что такое социальная программа Церкви? Если она предусматривает некий выход на общество, на те проблемы, которые не удастся решить светской власти, то как это пересекается в двух различных мирах?*

— Вернее говорить о социальной концепции. И речь не о том, чтобы предложить обществу какую-то программу действий. Речь идет о том, чтобы мы, церковные люди, сами осознали для себя возможные координаты нашей оценки тех или иных вызовов современности. Проблемы биоэтики, генной инженерии, контрацептивов, клонирования — это новые вызовы, на которые не могли ответить богословы прошлых веков. Вопросы новые, но ответить на них мы должны как люди ортодоксальной христианской традиции. Потому наша концепция вызвала немалый интерес у западных богословов. На Западе социальные доктрины тех

или иных церквей известны давно. Но у них есть вполне сознательная установка на обновление. Русская же церковь сознательно позиционирует себя в качестве ортодоксальной, консервативной, и при этом в обществе, которое радикально меняется, где трансформация происходит гораздо быстрее, чем, например, в Бельгии или Италии. Следовательно, к нашей концепции интерес особый: как все это совместить?

Но изначальной установкой при разработке нашей социальной концепции было уйти от политики. Мы исходили из того, что социальная концепция Русской православной церкви — это концепция для всей Церкви, а не только для России... Иными словами, она адресована православным людям и в Прибалтике, и в Молдавии, и на Украине, и в США, и в Германии, и в Японии, — поэтому там нет оценки деятельности российских правительств и вообще никак не упоминается политический контекст современной жизни в России.

В чем-то мы разошлись с современной светской этикой, и главной точкой конфликта стал вопрос о том, что есть человек. Светская этика, биоэтика в понимании этого стремится, как ни странно, сузить границы человеческого феномена. Наша задача — их расширить. Отсюда и отношение ко многим “земным” человеческим проблемам, к допустимости и перспективам того или иного рода экспериментов.

— Скажите, Андрей Вячеславович, к кому все же прежде всего обращается сегодня Церковь? Судя по выступлениям некоторых иерархов (отца Кирилла, например), вы обрели новых верующих в городах, особенно в крупных городах. А на селе их практически нет. И Церковь как бы ставит перед собой задачу: “вернуть верующих на селе на новой основе”. Любопытно, вроде как все перевернулось. Понятно, что ушли какие-то поколения, привычные для местных приходов старички и старушки... Но почему сейчас — именно крупный город?

— Еще в 1999 году в книге “О нашем поражении” я писал, что сегодняшнее православие — это урбанистическая

религия, причем в наших городских храмах практически нет рабочих. Как-то в Московской духовной академии проходил круглый стол на тему “Церковь и молодежь”. Наиболее здравым там было выступление одного провинциального батюшки, отца Бориса Нечипорова, выпускника психологического факультета МГУ, избравшего полем своего служения не Москву, а районный городок Конаково в тверской глубинке. И вот отец Борис говорит: “По тому, что я вижу в своем городе, есть только одна группа молодежи, в отношении которой у нас есть надежда, что мы сможем о чем-то говорить, понять друг друга. Это те, кто занимается в клубе боевых искусств. Все остальные — или пьяные, или уже “на игле”. Беседовать о душе, вечности, смысле жизни, Боге можно только с трезвым человеком. Да, и пьяница с радостью поговорит, но ничего не поймет, не запомнит и выводов не сделает. Трезвыми же бывают только ребята, которые занимаются спортом; а спорт для них — это в основном боевые искусства. Конечно, там насаждается, скорее, оккультная философия. И тем не менее есть какое-то общее проблемное поле”...

А мое выступление было следующим, и я говорю: по моим наблюдениям и опыту — как столичного жителя — есть еще и другая группа. Кроме “боевиков”, есть еще шанс найти общий язык с “карьеристами”. По той же причине: они хотя бы трезвы. Это те ребята, которые хотят чего-то добиться в жизни, а потому держат себя в форме, без водки и наркоты. Они поступают в престижные университеты, учатся думать. Вот с кем можно беседовать. Вот у кого мысль может перейти в веру.

— *А тех, всех остальных, — побоку?*

— Церковь ведь инвалид сейчас. Если бы мы были в таком состоянии, как католическая церковь, например, у которой всего достаточно, начиная с земель, банков и кончая университетами, семинариями, тогда, конечно, можно было бы заняться маргиналами. Но Русская церковь сегодня в таком состоянии, что сама маргинализирована. Когда сил мало, надо делать то, что можно. Грубо говоря, есть три участка поля. Одно все забито асфальтом...

— *А вы возделываете только чернозем.*

— Конечно.

— *Но, кажется, всегда функция Церкви была помогать сирым, убогим.*

— Этими социальными работами Церковь занималась только тогда, когда была мощной. Апостолы, то есть заведомое меньшинство в языческом море, не шли к бомжам. Апостолы не работали с пьяницами. Есть священники, у которых талант — общаться именно с такими людьми. Но повернуть всю Церковь к работе с маргинальными слоями — это самое страшное, что может сейчас произойти с Церковью. А именно в эту сторону нас тщательно подталкивают: идите к маргиналам и маргинализируйтесь вместе с ними. Моя позиция обратная — идти к элитам.

— *К успешным? Они и так успешны.*

— Во всех отношениях, кроме духовного... Хорошо, наш разговор понуждает меня дать православный вариант “веберовской” модели. Когда-то Макс Вебер показал, как оказались связаны между собой протестантская теология и становление раннекапиталистического общества. А может ли у православного человека быть мотивация к тому, чтобы добиваться мирского успеха?

Церковь не может отказаться от своей мечты о “симфонии”, ибо это вопрос о том, может ли остаться внехрамовая жизнь людей вне соотнесения с Евангелием. Не будем забывать, что вопреки современным евразийским толкованиям двуглавый орел — это герб Византии, и две головы означают отнюдь не Запад и Восток, а двойное возглавление единого имперского народа — светской властью и церковной. Идеал “симфонии” неустраним из православия. Но вопрос: “симфонии” с чем?

Главный итог размышлений русских философов на тему “Церковь и государство” состоит в том, что этот разговор надо вообще перевести в другую плоскость — не Церковь и государство, а Церковь и общество, Церковь и лю-

ди. Во многих традиционных обществах власть жестко иерархична и персонализирована. С одной стороны — царь, с другой — патриарх или папа римский. Между ними идет диалог, при этом патриарх выступает в роли духовного наставника царя. Это одна модель — традиционная византийская. В последние сто лет она уже невозможна.

Сегодня очевидно: вопрос не в том, чтобы договориться с Кремлем. Вопрос в том, чтобы люди понимали, что такое вера, как она может влиять на нашу жизнь — в нашей семейной жизни, и в экономике, и в политике. Не надо забывать греческие корни: политика — от слова “полис”, это публичная составляющая моей жизни, а экономика — от слова “икос”, это моя домашняя, частная жизнь. И христианин должен быть христианином везде — “и дома, и в школе”. Соответственно, возникает масса проблем, как в своем профессиональном служении оставаться христианином. Будь то судья, адвокат, журналист... Неочевиден, например, ответ на вопрос: во всякой ли школе может учительствовать христианин? Вопрос о допустимости работы христианина в языческой школе и о службе в языческой армии очень резко был поставлен в III–IV веках.

Мнения Отцов разошлись. Так что далеко не всегда очевиден ответ на вопрос, что можно и чего нельзя делать христианину.

В любом случае стоит помнить, что Церковь — это не только священники, но и миряне. И вот они-то могут работать в области массовых межчеловеческих отношений, то есть в политике. Тут, правда, важно одно условие: они должны это делать профессионально, качественно. Это вообще необходимое требование к любому патриоту России, к любому православному человеку: хочешь помочь России и Церкви — стань профессионалом. Не в смысле “профессиональным патриотом”, а в смысле “профессионалом в своей светской работе”. Если православный ребенок учится на “тройки”, он дает повод хулить свою веру — мол, он потому и верит, что ничего не знает! Православный учитель должен быть лучшим в школе (ну, хотя бы самым улыбчивым!), а православное перо — лучшим в газете.

В политике тем более надо уметь быть предельно аргументированным, корректным, трезвым. Демонстрация бо-



гословской эрудиции не должна подменять собою серьезных знаний по экономике, праву и социологии.

Пока в нашей церковной атмосфере не чувствуется желания воспитать таких людей. Всем заметно, что приходская атмосфера в наших храмах “старушечья”. Само по себе это не ново и не плохо. Всегда в храмах было больше стариков, чем молодых. И всегда Церковь этому скорее радовалась, нежели скорбела об этом. В отличие от светских организаций Церковь больше дорожит стариками, а не молодежью. Ведь задача Церкви — готовить людей к последнему переходу. Финиш важнее старта. “В чем застану, в том и сужу”. И если бы в наших храмах было много молодежи и не было бы бабуль, вот это было бы для религиозного сознания катастрофой (кстати, половина этой катастрофы уже налицо: у нас много бабушек и почти нет дедушек, то есть половина русских людей “финиширует” вне Церкви).

Малое присутствие молодежи в православных храмах не было бедой для Церкви в прошлые века. Наш “дом престарелых” охраняло сильное православное государство.

Сегодня у нас нет такой защиты. И с устрашающей правдивостью звучат слова одного русского мужика. Он живет в Саратове, прошел Афганистан, а в Церковь так и не пришел, но как-то точно подметил: “У меня есть друзья-татары, есть русские друзья. Я бываю в их мечетях, захожу и в наши храмы. Но смотрите: у них в мечетях стоят молодые, вдобавок мужики, а у нас — женщины, вдобавок старушки. Мы проиграем”.

Не может быть православной России без православной элиты. Делегировать в государственные и общественные элиты наших бабушек уже несколько поздно, можно только молодых. А чтобы они согласились идти этим путем карьерного роста (а как еще попасть в элиту?), их духовники должны привить им соответствующую мотивацию. Значит в молодого прихожанина надо уметь заронять не только мечту о монашестве, но и нечто другое. Хотя бы часть из наших молодых прихожан и неофитов надо уговаривать оставаться в том звании, в котором они призваны. Ты хочешь служить Христу? Но это можно делать не только в рясе. Стань добротным профессионалом, добейся ус-

пеха ради Христа, а не ради номенклатурных благ. И то влияние, которое ты со временем сможешь приобрести, обрати на пользу своего народа и Церкви.

В библейской книге Судей есть притча об участии в выборах и карьере: “Когда рассказали об этом Иофаму, он пошел и стал на вершине горы Гаризима и, возвысив голос свой, кричал и говорил им: послушайте меня, жители Сихема, и послушает вас Бог! Пошли некогда деревья помазать над собою царя, и сказали маслине: царствуй над нами. Маслина сказала им: оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревьям? И сказали деревья смоковнице: иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им: оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревьям? И сказали деревья виноградной лозе: иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человек, и пойду ли скитаться по деревьям? Наконец сказали все деревья терновнику: иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал деревьям: если вы по истине поставяете меня царем над собою, то идите, покойтесь под тенью моею; если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры Ливанские. Итак смотрите, по истине ли и по правде ли вы поступили, поставив Авимелеха царем?” (Суд. 9: 7–16).

И я пробую пояснять на церковных собраниях: неужели не понятно, что со своими нынешними гипертрофированными страхами, с мечтой о православном гетто, с чаением ухода “в келью под елью” мы гробим будущее православной России? Об этих двух разрывающих Россию тягах хорошо сказал Валентин Распутин: “И эти гонки на чужом были теперь во всем — на тряпках и коже, на чайниках и сковородках, на семенах морковки и картошки, в обучении ребятишек и переобучении профессоров, в устройстве любовных утех и публичных потех, в карманных приборах и самолетных двигателях, в уличной рекламе и государственных речах. Все хлынуло разом, как в пустоту, вытеснив свое в отвалы. Только хоронили по-старому. И так часто теперь хоронили, отпевая в церквях, что казалось: одновременно с сумасшедшим рывком вперед, в искрящуюся и горячую неизвестность, происходит и испуганное спячивание назад, в знакомое устройство жизни, заканчивающееся по-

хоронами. И казалось, что поровну их — одни, как бабочки, рвутся к огню, другие, как кроты, закапываются в землю” (“Дочь Ивана, мать Ивана”).

Чтобы не слишком решительным было наше добровольное зарывание в подполье, в прошлое, я и пробую сказать: в православии достаточно силы, чтобы дерзить современности, чтобы отстаивать древнюю, средневековую систему ценностей. Но при этом в православии достаточно любви, чтобы видеть доброе и в мире современных людей.

И когда я защищаю “Гарри Поттера” или Интернет, “Матрицу” или рок-музыку, я это делаю не ради Голливуда, а ради России XXI века. Через самые разные сюжеты я хочу один месседж донести до молодежи: в Церкви есть место для вас. “Церковь” и “бабушки” — не одно и то же. Между словами “православие” и “средневековье” нет знака равенства.

*— Социологи отмечают доверие населения к Церкви как институту, но не стремление ориентироваться на ее ценности в личной и общественной жизни. Это так?*

— Пожалуй, что так. Вполне обычная потребительская установка. Человек готов потреблять позитивные для него переживания, связанные с Церковью, то есть отметить Рождество, Пасху или при случае потешить самолюбие (“я тоже православный”), но не готов на поступки во имя той веры, которую, как ему кажется, он исповедует; брать что-то из экзотического мира веры, но при условии, что этот мир останется экзотическим, таким туристическим пирожным. И, конечно, только брать, ничего не отдавать, ничем своим не поступаться...

Всем понятно, что в Церкви много императивов. А очень не хочется впускать императивы в свою жизнь. Но там, где нет повода к росту, нет усилий, там ничего и не растет. Потревожить такое болотце — значит причинить ему некое неудобство. И в этом смысле задача сегодняшнего проповедника и священника — разочаровывать людей. И я разочаровываю, когда говорю некоторым фактическим атеистам или язычникам: не обольщайтесь, у вас нет оснований считать себя христианами. Христианство предполагает то-

то и то-то, а в вашей жизни и даже в вашем сознании этого нет. Я не спрашиваю, поститесь ли вы, часто ли ходите в храм... — в эти вопросы я не вмешиваюсь. Но быть христианином — значит соглашаться с хорошо известными и вполне определенными мировоззренческими тезисами (“Символ веры”). Если вы их не знаете, или не соглашаетесь с ними, или противоречите им — вы не христианин. Сегодня, повторю, одна из задач священника — отгалкивать людей от Церкви, готовя возвращение “оттолкнутого” с большей степенью осознанности.

Масса людей приходит: мы креститься хотим. Почему? А нам госпожа Люба сказала, что она нашу карму поправит, если мы окрестимся. Что делать с таким человеком? Крестить? Нет, иди к своей Любе. Или — или. Надо думать. Не просто слепо доверять любым рекламным заверениям любых проповедников, а знать, что в поисках Бога человек может сломать себе душу. Надо помнить технику религиозной безопасности.

Культура сомнения, культура мысли сегодня редка, поскольку современный стиль жизни строится на клиповом восприятии. Новостные и рекламные сюжеты, никак не связанные друг с другом, эстрадные номера, не имеющие общей идеи, телепередачи, взаимно аннигилирующие друг друга... Человеку не дают возможности вдуматься, вчувствоваться. Пестрая телелента несется и несется, зачищая голову и ничего в ней не оставляя... Что ж, тем более надо копить “подкожный жир”: личный опыт и книжные классические знания.

— Приходилось читать о том, как вы выступали с проповедью на рок-концерте в Петербурге, перед непредсказуемой аудиторией в 14 тысяч человек, цитируя Данте: “Я поднял глаза к небу, чтобы увидеть — видят ли меня”...

— Это главный вопрос в жизни человека: нужен ли я миру или я просто космическая плесень?

А.Ю. Ашкеров  
“Философия вершится  
здесь и сейчас”

— Вам самому, Андрей Юрьевич, нет еще и тридцати, а вы уже ряд лет читаете курс студентам философского факультета МГУ и, видимо, лучше, чем многие другие, чувствуете эту аудиторию. В поколенческом смысле вас наверняка можно и объединить. Как складываются ваши представления о сегодняшней России и современном мире? По многим оценкам, это поколение аполитично, несколько консервативно — не признает, скажем, либерализм, все то, за что активно выступало в 90-е годы поколение, которое сейчас у власти, — но и не спешит заявлять о своих позициях. Хотелось бы услышать ваше мнение.

— У меня не сложилось мнение, что мое и идущее следом поколения аполитичны. Это совершенно не так. Но изменились формы политики и политического участия. Мне кажется, что поколенческая разница, даже не то чтобы конфликт поколений, а некая дистанция, которая между ними существует, — вещь обязательная. И мы не вправе требовать от наших потомков, тем более от наших предшественников, чтобы они соответствовали нашим собственным устремлениям. Это просто невозможно. Достаточно представить, как мы бы себя вели, как мы бы сформировались, если бы оказались в совершенно другом историческом контексте. Возникает масса различий, которые никак невозможно подогнать под одну мерку. Сейчас появилась какая-то мода на сериалы из жизни 40–50–60-х годов. Герои абсолютно современны по установкам, по способу существования, если угодно, они помещаются в предшествующий исторический контекст, и сразу становится видно, что это некий монтаж. Очень искусственно, не чувствуется аромата времени.

— *А вы-то, молодые, как чувствуете дух того времени?*

— Говорят, что “плохо жить в эпоху перемен”, а я считаю — нам посчастливилось жить в эпоху перемен, когда очень много исторических слоев напластовалось. Десятилетия, прошедшие после войны, — такие микроэпохи, очень непросто связанные друг с другом, тут нет какой-либо преемственности, но существует сложное взаимоналожение, может быть, иногда сложный синтез, иногда сложный разрыв, опять-таки трудный, конфликтный разрыв одной эпохи с другой и т. д. Если говорить о моем личном становлении, то я был погружен в прошлое с самого детства. Это прошлое было представлено в старых газетах, журналах, начиная с довоенных лет.

— *Вы кончали тот же философский факультет МГУ?*

— Да, но политологическое отделение. Все эти съезды, политические кампании, конфликт дискурсов, который постоянно проявлялся подспудно. Безусловно, здесь основным моментом было так называемое разоблачение так называемого культа личности. Все было как бы и с нами, и уже не с нами. И это ощущение чего-то ускользающего, что нужно ухватить, настигнуть, бесконечно интересное ощущение. Я получал большое удовольствие.

Одновременно это был своего рода практикум по исследованию политики, точнее, текста политической власти; нередко мной открылось поле очень специфической герменевтики: нечто было зашифровано, существовали какие-то подспудные течения. Например, события XX съезда, затем XXII съезд... Отказаться от Сталина, но как, каким образом, если нет никакой возможности отринуть собственное прошлое?

Кстати, уже тогда чтение было связано с определенно-го рода ностальгией...

— *Ностальгией по чему?*

— Речь не идет о ностальгии по “дооттепелным временам”, хотя и они могут быть адресатом этого чувства, не

стоит смешивать ностальгическое мироощущение с идеологическим выбором.

Идеология — ретроактивное чувство, в каком-то смысле она и делает прошлое прошлым. Ностальгия же делает прошлое вечным, современным в буквальном смысле слова. Ностальгируя, мы продлеваем надежду на то, что не все изменилось, что вообще не все меняется (по крайней мере на наших глазах). Служа составной частью Воображаемого, ностальгические образы обладают счастливым преимуществом — они сотканы из той же ткани, что и представления о том, что еще может случиться. Поэтому ностальгия — это всегда еще и воспоминание о будущем. Сейчас я понимаю, что всегда выбирал то будущее, которое уравнено в правах с прошлым — с точки зрения своей несбыточности...

И теперь я глубоко убежден, что без чувства ностальгии (кстати, в равной степени и психологического и социального) нельзя подойти к проблематике взаимоотношений поколений. Мы привыкли твердить, что между ними должна быть преемственность, но именно в способе обозначения преемственности следует конкретный набор средств, с помощью которых проводится дистанция. Никакой спаянности поколений быть не может.

— *Каждый раз разрыв?*

— Я бы не сказал, что это только разрыв (или, тем более, “конфликт”). Каждый раз какой-то сложный комплекс взаимоотношений — ведь и похожи друг на друга поколения именно тем, как они хотят друг от друга дистанцироваться. Когда мы пытаемся отстраниться, или *обособиться* — вот достаточно емкое слово! — от родителей, в этих-то стратегиях и тактиках дистанцирования мы на них похожи, мы их воспроизводим. Это проявляется на микроуровне — в конкретной семье, но и на макроуровне — в обществе тоже. Очень много говорят о модернизации, иногда эти разговоры кажутся едва ли не назойливыми, а вот поколенческое измерение модернизационных перемен практически никогда не учитывалось.

— *А если вернуться к вопросу о ваших сверстниках?*

— Начнем вот с чего. Вы с некоторой, как мне показалось, ностальгией говорите о том, что им чужды идеалы либерализма. Но ведь был определенный опыт реализации либерального проекта. Его можно по-разному оценивать, но я вижу много негативных последствий такой реализации. Это не значит, что я мгновенно себя отнесу, скажем, к консервативному лагерю (что бы ни понималось под этим лагерем). Но отношение современного поколения к политике, насколько могу судить, соотнося себя с этим поколением и во многом себя ему противопоставляя, не может не выражать множество этих последствий, не сводимых к одной “реакции”, имя которой аполитичность.

Проблема в том, что возможности политической деятельности, которые открываются перед моим поколением, в неизмеримо большей степени показывают торжество абсентизма и коллапс политического участия, нежели пресловутая “аполитичность”, о которой так любят поговорить. Посмотрите, чем сейчас является политика? Бизнесом, причем очень и очень “грязным”. На каких условиях молодежь может заниматься политикой? Только на тех, что диктуются поколением 40–50-летних. Какие роли здесь возможны? Либо роли статистов в молодежных организациях партии власти, либо (одно, впрочем, не исключает другого) — подмастерьев: политтехнологов, работающих на региональных выборах, помощников депутатов, исполняющих иногда весьма специфические поручения, мелких чиновников с невесть откуда взявшейся выучкой тоталитарных времен и т. д. Пройти процедуры посвящения здесь — значит согласиться изгнать из политики все, что отличает ее от бизнес-деятельности с наивысшими нормами прибыли.

Вместе с тем я отмечаю, что молодое поколение с большим удовольствием, я думаю — многие интуитивно, но многие и осознанно, и они мне ближе всего, — дистанцируется, отстраняется от этой постсоветской эпохи, в каком-то смысле перечеркивая опыт неудачных изменений.

А на формы политического участия, политизации давайте взглянем иначе. Люди старших поколений привыкли взирать на политику из перспективы всеобъемлющего участия. Так, как будто бы она открыта, как будто у нас столбовая дорога либерализма уже построена и, выходя на



нее, мы видим эту перспективу. Я думаю, что все совсем не так. Никакого всеобъемлющего политического участия сейчас нет. Кстати, аполитичность молодежи, ее определенная деполитизированность может складываться и под знаком либеральной (либералистской) прагматики — “мы будем заниматься бизнесом, а не политикой”; это такая, если воспользоваться сленговым словечком, “мажорная” форма абсентеизма. Но и в данном случае мы должны четко отдавать себе отчет в том, что речь идет об очередном эффекте тотальной или почти тотальной ограниченности реального политического участия. И деполитизация во многом связана с невозможностью такого участия.

*— И в то же время именно сейчас мы наблюдаем толпы молодых, куда-то идущих, что-то кричащих. Это не признак времени? А антиглобалисты по всему миру?*

— Это совершенно разные вещи: начиная с 60-х годов у нас складывался некий эстетический идеал политического участия, вызревавший как бы подспудно, в основном “на кухнях”. Некоторые и сегодня пытаются помыслить какие-то политические выступления в соответствии с этим идеалом. Однако эти выступления — на мой взгляд, неподготовленные, сиюминутные — я не рассматривал бы как символ эпохи. Действия их инициаторов не то чтобы неосознанные. И дело даже не в том, как это выглядит. Скорее, я бы это по-другому сформулировал. Если говорить гегелевским языком, эти выступления не принадлежат действительности. Они не что иное, как инсценировка прошлого.

*— Прошлого очень далекого?*

— И далекого, и близкого. Последние реальные всплески этого прошлого, когда оно еще как-то пыталось быть настоящим, мы видели в эпоху перестройки. На Западе, кстати, то же самое: мы видим, насколько любой пафос молодежного политического участия содержит в себе некую примесь горечи, оттого что это принадлежит прошло-

му, ушедшему. Вспомним хотя бы фильм Бертолуччи “Мечтатели”. Он как раз о революции 1968 года, об эстетико-политических установках того поколения. Многие его представители, между прочим, стали благополучными функционерами Евросоюза, ведь радикализм был исчерпан. Взять хотя бы основного идеолога 60-х Кон-Бендита — прекрасно сейчас существует в качестве руководителя движения “зеленых”, заседает в Европарламенте.

— *Это человеческая природа?*

— Я не говорил бы о такой категории, скорее, переформулировал бы это в терминах возрастного становления и, конечно, индивидуального онтогенеза, индивидуальной истории. Но с другой стороны, если выбирать революцию, то уж последовательно и до конца. Ничего подобного не было. Мы не должны идеализировать революцию 1968 года и связанную с ней неким странным образом революцию 1991-го как такие образцы революционности. Скорее, обе они были признаками угасания жанра. Сейчас угасает жанр революционного действия. И одновременно мы присутствуем при тотальном испарении политического смысла. Когда в ходе проведения выборов определяются квоты для голосования за ту или иную партию (это действительно существует) — о каком смысле тут можно говорить...

— *Что, на ваш взгляд, движет молодыми людьми, которые сегодня поступают учиться на философский факультет?*

— Люди и их устремления, естественно, разные. Есть разряд таких современных анахоретов, которые пытаются найти на философском факультете некое прибежище от тягот “внешнего мира” и одновременно место, где можно обрести свой “внутренний мир”. (Возможно, к их числу захотела принадлежать и недавно поступившая к нам певица Земфира.) По крайней мере, здесь достаточно комфортные условия, чтобы заняться чем-то подобным. Такие люди не думают о карьерных выгодах (разве что в контексте своего

анакоретства), им прямая дорога в преподаватели. И хотя почти сразу после поступления в аспирантуру стал тоже преподавать, себя я, в общем, к этой категории не отношу. Наверное, потому, что не делаю столь четкого разграничения между “внутренним” и “внешним” мирами. В подобном противопоставлении слишком много следов слишком уж религиозного отношения к философии. Я не сторонник подобной инициации, подобного обращения, ибо подобный подход к философии превращает ее в метафизику. А это всегда было мне чуждо.

— *Можно ли назвать то, что вас интересует, практической философией?*

— Замечательное словосочетание: “практическая философия”. Начнем с того, что философия — это и есть практика. И античное понимание философии, которому я стараюсь следовать (боюсь, может быть, даже слишком в том преуспел), — это превращение некоей истины в способ существования. Истина должна таким образом воздействовать на человека, чтобы он менялся. Вот забытая античная постановка вопроса об истине: ты не просто прикасаешься к ней как к какому-то абсолюту, ответ которого на тебя падает; истина непосредственно “цепляет” тебя, затрагивает экзистенциальную сторону твоей жизни и меняет тебя под своим влиянием.

Вот еще одна мотивация выбора, о котором мы говорим. Есть люди, которые приходят на факультет просто получать некое общее образование. Есть те, кто намерен получить хорошее гуманитарное образование и имеет при этом вполне определенные практические устремления. Ни для кого не секрет, что среди выпускников философского факультета много и политтехнологов, и журналистов, и людей, специализирующихся в области арт-бизнеса. Конвертировать знания, полученные на факультете, можно достаточно легко. Однако мне больше нравится некая принципиальная незаинтересованность в будущем применении знания, ведь должно быть в философии что-то от роскоши, без которой, по словам Ахматовой, не обойтись.

— Сказанное вами относительно истины не созвучно вопросу о возможной коррекции социальных процессов?

— Я в это не верю. Дело в том, что политический процесс (и это тоже наследие 90-х) сильнейшим образом технологизирован, он вписан в определенный алгоритм, совершается по общим очень четким и очень простым правилам. Можно много и долго говорить о креативности и креативных возможностях, но я не вижу, каким образом вернуть все это политическому процессу, понятному в узком смысле как *real politics*.

Сейчас ситуация такая, что сама постановка вопроса предельно релятивизирована. Если вы хотите сделать так, чтобы этот потенциал креативности, о котором вы говорите, существовал, и думаете, что он существует, — он существует. Если не думаете и не хотите — он не существует. Только так. Он существует на уровне технологических решений и технологизированных проектов, имеющих очень небольшое отношение к собственно жизненному выбору. Более того, любой жизненный выбор, который ориентирован на социальное признание, на успех в его современном понимании, предполагает такую технологизацию. И очень многие во имя нее готовы отречься от всего. Это легкий путь. После того же философского факультета очень просто заниматься пиаром. У тебя есть навыки, знания, все прекрасно, ты делаешь реальные вещи, получаешь реальный результат. Зачем думать о том, какими издержками это обернется, нужно ли это вообще, может, стоило сделать что-то иначе?

Вообще, в этих заниженных требованиях к себе, к жизни ощущается какая-то слишком явная готовность к (само)варваризации или к тому, что я называю *само(о)козлением*. (Не сочтите последнее словечко вульгарным: как мы помним, трагедия в переводе с древнегреческого есть всего-навсего “песнь козлов”.) Само(о)козление — это выбор сценария упрощения. Подобная простота вместо комплекса решений и ресурсов, обеспечивающих пространство маневра, предоставляет лишь однозначные альтернативы, ни одну из которых невозможно предпочесть, если ориентироваться на более или менее масштабную перспективу. Иными словами, простота оборачивается ситуацией, поме-

щая в которую себя мы одним махом закрываем выход (в том числе и выход из игры). Это такая система сиюминутных выгод, которая в одно мгновение превращается во всемирно-историческую “мышеловку”.

Мне никогда не хотелось выбирать нечто подобное, и я неизменно выбирал сложное вопреки простому (многим подобные “сложности” казались избыточными, даже нарочитыми). В итоге для меня лично выбор в пользу комплексности оказался выбором в пользу философии, которая представляет собой некую парадоксальную анатомическую практику, когда расчленение порождает не менее сложные образования. Эти образования не имеют общего первоисточка, под них не подведен один фундамент, они не сводятся к одному целому и т. д.

При этом мысль была и остается для меня *политикой*. Но политикой отнюдь не платоновского толка, то есть не политикой, обращенной к поиску целостности (а также фундаментов, первоисточков и пр.). Философская мысль — это политика различий и различения, через которые вершится устройство мира. Такой же политикой является для меня и философское высказывание. Именно в таком качестве философию можно противопоставить технологизированной, технологичной деятельности (ведь в рамках технологий различия существуют как бы в готовом виде — как сущности или данности).

Мысль всегда есть политика. Высказывание — политика. Но философская мысль и философское высказывание суть политика особого рода. Политика миропонимания, политика мироустройства. Определение этого позволяет нам противопоставить философию (которая всегда есть способ существования) деятельности технологичной, технологизированной. Избежать технологизации можно только в том случае, если мы вступаем в игру с заранее не предрешенным результатом. А когда мы ведем речь о мысли, тем более о мысли как о политике, всегда ставим некий эксперимент, результат которого не предрешен. И в этом основная миссия исследователя, которую он четко должен себе представлять. Ведь очень многие работники науки (замечательное словосочетание, изобретено в советские времена!) относятся к этой своей деятельности как к некой идеологии, где то-

же все расписано, где тоже понятно, какую миссию надо выполнять. Это происходит естественно, бессознательно и осознанно одновременно. Они исполняют определенную роль, откуда тоже уходит эксперимент. Я был на массе каких-то круглых столов, семинаров, где очень четко видно, что люди играют в некий профессионально-должностной статус. Это не отношения, связанные с тем, что истина должна себя каким-то образом применять. Это не эксперимент над собственной судьбой — цена очень дорога.

Я против того, чтобы научное знание все более дистанцировалось бы от политики. Это не значит, что я верю в марксову постановку вопроса о научном планировании, кладущемуся в основу преобразования социальной жизни и последующего господства людей над вещами. Я не разделяю идеала тотальной спланированности всего и вся, который, безусловно, является сциентистским, научным идеалом. Но, повторяю, я против фатальной дистанцированности науки и политики, которая сейчас есть. Наука востребована лишь как форма интеллектуального сервиса, аналогичного любому другому сервису. Образование, кстати говоря, тоже превращается в сервис: гостиничный сервис, сервис по уборке помещений, интеллектуальный сервис. Через запятую. Я категорически против этого.

Сблизить науку и политику сегодня нужно для того, чтобы понять: пестовать какой-то идеал сейчас совершенно недостаточно, чтобы действительно преобразовать мир. Можно вспомнить в таком контексте о Сартре, о его образе социально-ангажированного исследователя. Достаточно правильно сформулировать нечто в голове, как окружающая действительность мгновенно преобразится; идеал и будет знаком твоей ангажированности, если ты осознаешь, что занимаешь некую классовую позицию, а она говорит за тебя; и, осознавая, что твое осознание связано с твоим социальным происхождением, ты оказываешься вовлеченным в политику, причем вовлеченным *автоматически*. Не буду заниматься здесь вопросами исторической генеалогии, для нас во всяком случае эта точка зрения является сугубо “шестидесятнической” и в настоящее время неприемлемой — слишком много в ней благостной самоуспокоенности.

Это совсем не значит, что я в принципе против идеалов. Но сейчас идеал тоже существует как ностальгическая форма. Вопросы об идеале и политической роли интеллектуала нужно по-другому сформулировать. Прежде всего — каковы социальные условия производства новых идей? Каковы социальные условия их “потребления”? (Так ли нужны здесь теперь кавычки?) Каковы социальные условия трансформации общества под влиянием неких совершенно конкретных проектов? Вот мое кредо — социальные условия производства. Об этих словах мы забыли. И совершенно зря. Конечно, для нас тут плохую службу сыграла чрезмерная увлеченность производством и производственной деятельностью в марксизме. Но надо переформулировать эти постановки вопроса, задуматься не только об экономическом производстве, но и о социальном производстве в широком смысле слова. Именно поэтому мое политическое кредо — теоретический анализ. Как вы понимаете, он не может быть ориентирован только на реализацию идеала. Однако идеал исполняет миссию ореола, окружающего теорию и делающего ее чем-то завораживающим, как это произошло, между прочим, и с марксизмом.

Но опять-таки: я бы не хотел, чтобы эту позицию представили позицией такого отшельника, который забился в башню из слоновой кости и думает, что навсегда укрылся от всех тягот мира. Нет, я хочу подчеркнуть: анализ нужен как политическая программа, политическая позиция, связанная с автономизацией научной деятельности. Наука в нашей стране вынуждена отстаивать право на существование. Вопрос стоит именно так: в какой мере сохранится возможность существования науки, научной деятельности? Помимо того интеллектуального сервиса, помимо экспертизы, которая, безусловно, востребована и хорошо оплачивается...

— *А что станет результатом анализа?*

— Я не хочу, повторю, чтобы этот результат был предсказуемым, иначе чистота эксперимента нарушится. Как только мы ликвидируем непредсказуемость, мы перестанем воспринимать общество как систему отношений, свя-

занных с рисками, неопределенностью, негарантированностью. То есть сам предмет наших исследований, если мы говорим о социальной теории, о социальной науке, будет лишен важнейших своих качеств. Ну и сама наша познавательная деятельность, если мы четко поставленные цели будем связывать с определенно предсказуемыми способами их достижения, станет действовать против нас.

Сегодняшнее положение таково, что спектр позиций или ролей достаточно четко определен. Альтернатив немного. Экспертное сообщество, готовое признать себя элементом всеобъемлющей системы интеллектуального (научно-образовательного) сервиса. Академические инстанции, чахнувшие на глазах и воспроизводящиеся только в виде декораций. Независимые интеллектуалы, непризнанные гении, выступающие на страницах интернет-изданий. Политические публицисты, публицисты от культуры, от философии; их достаточно много, и, может быть, пребывание в роли такого публициста — необходимый этап становления мало-мальски признанного исследователя, занимается ли он гуманитарными науками, социальными, философией и т. д. Однако тут слишком легко свыкнуться с образом идеолога, который в какой-то момент просто сумеет более выгодно себя продать некой корпорации. Возможно, эта корпорация будет неким модным изданием о моде (есть емкое словечко, которое все это описывает, — “гламур”), но, возможно, она будет носить гордое имя “Государство” (хороший тон политического “гламура” задают ныне разговоры о корпоративном государстве).

Мой интерес здесь — понять социальные условия производства теоретических и идеологических позиций, условия производства разнообразных дискурсов и т. д. Как правило, превращение исследователей, ученых в идеологов сопряжено с тем, что они принципиально ничего не хотят ведать об условиях производства собственного продукта. Этот момент всегда затемняется, оказывается как бы не в фокусе. А это самое важное. Удвоение собственной рефлексии, не только по поводу того, что ты произвел, но и по поводу того, каким образом это стало возможным, — это как раз та исследовательская стратегия, которая одновременно является и политической. Я хочу по



крайней мере полностью отдавать себе отчет в реалиях интеллектуального производства. Это для меня политическая задача, и она важна хотя бы потому, что моя ставка здесь — расширение возможностей этого производства. И опять-таки, недостаточно создать себе некий идеал. Может быть, наоборот, создать сейчас некий идеал — препятствие для того, чтобы нечто осуществить. Надо посмотреть, каким образом это можно произвести. Но здесь возникает призрак тотальной технологизированности, поскольку сейчас произвести как проект можно абсолютно все. Это раньше (например, у Сартра) категория проекта была наделена совершенно особым, поистине экзистенциальным статусом, теперь же она его лишена. Проект отныне — это то, что делается из подручного материала, форма бриколажа, не более того. Я предвижу, допустим, формирование проекта под названием “Новая генерация ученых”. Ну, возникнет такой проект и что дальше? Вспомним о французских “новых философах” (о Б.-А. Леви, например), которые хотели, чтобы их такими считали, но самим фактом своего возникновения продемонстрировали некий коллапс философии, ведь если ты и вправду “нов”, не нужно об этом объявлять...

*— Ваш коллега в каком-то смысле — дьякон Кураев, который тоже читает свой курс на философском факультете МГУ, — говорит, что хочет как минимум “поставить вкус к религиозной мысли”. А какую задачу ставите вы?*

*— Не знаю, что Кураев вкладывает в эту фразу “поставить вкус”, но мне тут нравится слово “поставить”. Я вижу задачу преподавателя в том, чтобы действительно определенным образом ставить умение, некие навыки. Знаете, как ставят умение двигаться, например, в танцклассе, голос у певцов. Об этом очень хорошо писал французский социолог Пьер Бурдьё. Вот так же действительно надо “ставить” и вкус. Но вкус не к чему-то, например, к тому же сценическому движению или пению, а вкус вообще, который и есть “философский” вкус.*

*— А что интересно лично вам?*

— Что меня действительно интересует, так это возможность показать, что между этикой и эстетикой не существует никакой непроходимой границы. Мне не хочется ни эстетизировать мораль, ни морализовать эстетику. Более того, я искренне убежден: между денди и ханжой нет никакой принципиальной разницы, они парадоксальным образом оказываются как бы по одну сторону баррикад. Или, если говорить о литературных фигурах, нет никакой пропасти между эстетом Уайльдом или моралистом Достоевским. Один посвятил жизнь тому, чтобы создать ригористический культ красоты, другой — видел красоту в самом ригоризме (это вообще характерно для русской литературной традиции).

Превращая красоту в краеугольный камень морали, мы изгоняем ее из мира, однако именно эта “красота в изгнании” и призывается для того, чтобы его спасти. Как возможно нечто подобное, если мы предварительно сделали все для того, чтобы красота не имела бы к нам никакого отношения? И более того, отчуждает нас от самих себя. Это вечная проблема, которая связана с нарциссизмом, характерным для людей искусства. И не имеет значения, что питает их творчество: религиозный экстаз или эротическая завороченность. Обе эти вещи имеют общий исток — в фиксации невозможности иметь дело с неким объектом, которым на поверку оказываешься ты сам. Иногда, впрочем, эта фиксация — в качестве побочных продуктов, конечно, — удивительные, чарующие творения. Однако мы не должны забывать о том, что каждое из этих творений еще и протокол некой дереализации. Дерееализации, которая как раз и приводит к нашему раздвоению и дистанцированию от самих себя.

В отличие от литераторов я фиксирую не отчуждающее нарциссическое желание “прикоснуться к красоте”, а безобразное соприкосновение красоты и реального, возвышенного и повседневного. В моем представлении не существует никакого эстетства, есть причудливые конфигурации долга, который мы имеем перед собой и другими. Эстетизированная мораль возвещает нам о том, что долг предполагает последовательность, умеренность, добропорядочность и много чего подобного. Однако только абсолютно аморальный человек может принять эти “призраки дол-

га” за сам долг. В действительности его исполнение нередко может предполагать очень странное поведение, оно кажется вызывающим, к нему невозможно привыкнуть... Ведь личность — не сосуд привычных качеств, а некая онтологическая *модальность*, которая возвещает о себе человеку как бремя *должестования*. То, что человек *способен совершить*, всегда, подобно бумерангу, возвращается к нему в виде того, что он *должен сделать*.

Осмыслить долг невозможно, если пытаться проводить границу между внутренними побуждениями и внешним принуждением, между мотивациями и детерминациями. В tomto и дело, что он находится где-то посередине, обращаясь к исполнению долга, мы не можем сказать, движет ли нами в этот момент нечто “внешнее” или нечто “внутреннее”. Говоря о долге, мы предполагаем некую рецепцию невозможного и, одновременно, невозможное рецепции. Таким образом, долг как странная смесь “внешнего” и “внутреннего” и есть то, что составляет предмет эстетики без-образного.

— *А что, на ваш взгляд, можно сказать о социальной философии сегодня? Она востребована?*

— Раньше была серия сборников “Над чем работают философы”. Это как раз тот случай, когда, отвечая за себя, ты отвечаешь за всех. Здесь тоже изменилась постановка вопроса: недостаточно сказать, что я не собираюсь говорить “от имени и по поручению”; наоборот, сейчас мы, говоря от своего имени, отвечаем за очень многих. Потому что можем осмыслить генеалогию собственного мнения, собственного взгляда, генеалогию собственной теоретической, идеологической или мировоззренческой позиции. А значит открыть и самую возможность мысли, проследить ее модальности.

Какова, на мой взгляд, ситуация в социальной философии? Очевидно, вы знаете, что в 1960–1970-е годы возникла генерация философов, которые были чужды традиционной, чрезмерно идеологизированной проблематике классовый борьбы, диктатуры пролетариата и т. д., составлявшей лейтмотив рассуждений начиная с 20-х годов. Что они сделали? Перевели проблематику социальной философии и философии вообще в область некой схоластики.

Схоластические споры, как известно, в советском марксизме велись всегда, но по поводу вполне определенных тем и были крайне политизированы в связи с самими этими темами; все это выражалось потом в поиске врагов непосредственно в собственном стане (отсюда эти философские чистки, критика Деборина, например, и т. д.) и было нацелено на то, чтобы выкристаллизовать образ врага как такового. Врага народа, например. В 60-е годы схоластики не стало меньше, но она как бы оторвалась от политизации и стала менее привязана, уже по понятным причинам, к процессу выкристаллизовывания образа врага — как внутреннего, так и внешнего. Вместо этого занялись категориями, как и подобает схоластам.

Генерация философов, которым теперь от 55 до 70 и выше, формировалась в русле этих тенденций. И сама одновременно формировала эти тенденции. Некоторые молодые представители этой генерации и сейчас занимают статусно значимые позиции. Очистив, может, и несколько трансформировав свои взгляды, они пишут учебники. И, разумеется, это схоластическое знание по-прежнему остается основой для преподавательской деятельности. Есть такая форма знания, которая нацелена на то, чтобы делать некие экзерсисы и управлять некими экзерсисами: присесть 25 раз, привстать 25 и т. д. Она пригодна для такого рода интеллектуальной муштры, если угодно.

Социальная философия сегодня представляет собой наполовину (но только наполовину!) очищенную от марксизма и приправленную другими научными направлениями теорию, акцентирующую внимание на проблематике антропосоциогенеза, проблематике сознания, потребностей, деятельности. Те же 60–70-е годы обозначили так называемый деятельностный подход в марксизме, и до сих пор многие из тех, кто принадлежит к старшему поколению, его разделяют, по крайней мере считают чем-то значимым. Эта позиция приправлена некими фрагментами Вебера, Дюркгейма, может быть — по вкусу — Зиммеля или Сорокина, Франка. На такой основе создаются учебники: все очень легко излагается, потому что заранее систематизировано и опять-таки не требует какого-то эксперимента. Это предполагает и сугубо идеологическое отношение к научной дея-

тельности. А идеологией здесь выступает само преподавание, что не всегда плохо. Я не говорю, что и в принципе плохо. Но это так, и это имеет огромные издержки...

К тому, чтобы заниматься социальной философией, я стремился давно, но пришел случайно, поскольку, как уже говорил, специализировался в области теоретической политологии, преимущественно философии политики. При всей близости эти дисциплины на философском факультете разнесены и относятся к разным отделениям: социальная философия — к философскому, теоретическая политология — к политологическому. Для меня и сейчас исследование властных отношений является наиболее важным аспектом анализа общества и человеческой идентичности.

Возвращаясь к вашему вопросу, могу сказать: я не думаю, что сегодня уже можно говорить о новой генерации социальных философов — новые интеллектуальные фигуры вряд ли себя позиционируют в качестве социальных философов. Во многом потому, что в последнее время у нас само понятие социального в значительной мере сузилось, как бы скукожилось. Оно ассоциируется, скорее, с социальной работой, с бюджетной сферой, с институтами общественного призрения, как раньше говорили. И соответственно, социальная философия превратилась в каком-то смысле в вариант такой работы, особенно если речь идет о государственных вузах. Такая специфическая социальная работа, не то чтобы интеллектуальный сервис, поскольку там более хитрые способы получения дохода. Но что-то такое, связанное с раскрытием смысла существования института общественного призрения и одновременно с функционированием в роли одного из таких институтов. Что-то в этом есть вызывающее толику жалости.

Для меня социальная философия (и в этом тоже заключается мое кредо) есть принципиально другое: это направление развития социальной мысли, которое, может быть, определит собой философию XXI века, не побоюсь сказать так, потому что в области философии, в области гуманитаристики произошел своего рода социологический поворот. XX век — это лингвистический поворот, и мы все знаем, какую роль играла лингвистика в формировании разнообразных философских дисциплин — от Витгенштейна до

структуралистов, помним, какую роль сыграла “Общая лингвистика” Фердинанда де Соссюра и “Общая фонология” Трубецкого на становление гуманитарной или обществоведческой мысли. Теперь такую же роль будет играть социология, потому что нельзя ни один онтологический вопрос задать вне контекста социального, социологического вопрошания. Это и обозначается как некий социологический поворот.

— *Именно социологический — не социально-антропологический?*

— Если социальная антропология является дисциплиной, которая онтологически ангажирована, которая задумывается о том, как бытие сопряжено с социальным, то можно назвать его и социально-антропологическим поворотом. Но вопрос о бытии в контексте вопроса о социальном — вот самое главное. Дело не в “этикетке”. Нельзя говорить о социальном, не затрагивая вопроса бытия, человеческой экзистенции; и нельзя говорить о человеческом бытии, человеческой экзистенции, не касаясь социального.

— *Какие крупные фигуры, на ваш взгляд, обозначают новые направления и, возможно, будут определять состояние социальной философии?*

— Их не так мало в современном мире. Но со многими из них судьба сыграла злую шутку. Есть мощное и (не знаю, хорошо это или плохо) до сих пор влиятельное направление — постструктурализм. Это Фуко и многие другие, такие как Барт, Деррида, Делёз, Гваттари. Только сейчас, после их смерти, мы можем осознать, насколько это крупные фигуры. Бесконечно их цитирование, риторизация их текстов, когда они затираются, превращаются в некое подобие разменной монеты. Не случайно говорят о том, что Фуко — ругательное слово в теоретическом глоссарии, играя на написании этого имени (Foucault — F-word). Бесконечны ряды феминисток, которые постоянно ссылаются на Фуко, не мыслят и шага без Фуко, и т. д. Все это, несомненно, работает против фукианской мысли, в частности против ее акту-

альности. Нельзя бесконечно актуализировать нечто, потому что именно жест актуализации лишает актуализируемое всякой актуальности.

Думаю, что очень интересна немецкая философская мысль, в частности наследие Лумана. Мысль Лумана интересна тем, что он попытался соединить системно-функциональный анализ, который, казалось, уже изжил себя, отжил свое, с исследованием истории, исследованием случайного, ситуации неопределенности, риска, конфликта. Для меня очень значимы работы Хабермаса, представляющие повод для бесконечных возражений.

После таких крупных социологов, как Пьер Бурдьё, критическая теория не может не снабжать себя некими ресурсами для самокритики и саморефлексии, потому что он блистательно показал, что без этого она уже невозможна. Энтони Гидденс рассуждает об обществах постмодерна, о так называемой структуриации, о тех образованиях, которые не могут быть интерпретированы в терминах традиционного системно-функционального анализа. И именно на уровне выявления этих образований сейчас как бы и позиционирует себя социально-философская, социально-теоретическая мысль и гуманитаристика в целом. Это, безусловно, возвращает нас к вопросу о структуре, понятии, которое приобретает сейчас отчетливо онтологическое звучание.

Начало тому положил, на мой взгляд, Клод Леви-Строс, к работам которого я обратился как только поступил на философский факультет. Чтение Леви-Строса захватило меня тогда полностью. Подобно любовной страсти это было интуитивное и безотчетное увлечение. Более всего в его текстах нравилось мне образцовое для социальной и гуманитарной науки сочетание “прикладной” и философской увлеченности. Быть может, именно Леви-Строс впервые представил нам нечто вроде практикума по превращению философского размышления в полевое исследование.

Вообще я против традиционного канона “посвящения в философию”. Он предполагает очень простую постановку вопроса: философия берет начало в античности, и причаститься философских даров мы можем, только если сразу обратимся к чтению древних авторов. В противовес этому я

считаю, что вхождение в философию можно осуществлять “с разных сторон”, в том числе и с чтения современников. Тут все может служить первоначальным толчком.

И главное: не понимая, что философия вершится *здесь и сейчас*, мы рискуем с легкостью превратить ее в музейный раритет.



А.Г. Гордон  
“Естествознание  
versus обществознание”

— Александр Гарриевич, мы с интересом следили за циклом передач, которые вы довольно долгое время вели на телевидении и которые так и назывались: “Гордон”. У вас, как представляется, накопился уникальный опыт: общение с учеными-естественниками и гуманитариями позволяло сопоставить, синтезировать различные точки зрения в разных областях науки. Потому именно вам мы решили адресовать ряд связанных с этим вопросов. Интересно, как современное естествознание влияет на обществознание? Некоторые естественно-научные достижения и открытия явно выбивают камни из фундамента общественных теорий, которыми руководствовались. Что сейчас, по вашему мнению, движет миром, побуждает людей к гражданской активности, если рухнули увлекавшие нас идеалы? Из тех почти четырехсот передач, о которых вы говорили в одном из своих интервью, наверняка вырисовывается картина современного мироустройства, контуры будущего?

— Напротив, в упомянутом интервью я как раз сетовал на то, что не складывается такой картины. И мое мировоззрение не претерпело никаких изменений, несмотря на то что я единственный человек, который видел все программы. Я ожидал, что по диалектическим законам количество рано или поздно перейдет в качество. Но не перешло: то ли количество недостаточное, в чем я сомневаюсь, то ли качества и не могло быть, потому что это телевидение. Вот вы спрашиваете о взаимосвязи естественных и общественных наук. Естествознание versus обществознание? Опасения, которые возникали уже в самом начале, что междисциплинарного разговора не получится, подтвердились. Процесс

углубления ученых в точечную область знания — “разбегание по кельям”, как я его называю — зашел довольно далеко. Объем информации сейчас такой, что если человек профессионально занят какой-то областью биологии, то ему не хватает времени даже для того, чтобы изучить последние данные только в этой области, не говоря уже о том, чтобы поднять голову и посмотреть, что делается вокруг. Так и в математике или квантовой механике. У меня изначально была мысль: вот на досуге, расковавшись, он, может быть, и увидит что-то. И были “попадания”, случалось, нам удавалось свести тех же биологов с математиками, а программистов с физиками. Но это единичные случаи. Передача превратилась в научно-развлекательную, как я теперь ее определяю. Самое большее, чего удалось достичь и что даже стало в нашей программе рабочим моментом, — это эвристическое озарение с повышающейся самооценкой: “Я понял! О, как здорово!”. И всё. “И тишина”. Я списываю это не на формат передачи, не на свое неумение, а на отношение к телевизионному смотрению как развлечению.

*— И все же: ведь гуманитарии, которые смотрят естественно-научные циклы, наверняка задумываются, скажем, над тем, что если квантовая механика ставит под сомнение причинно-следственные связи, то и в сфере их интересов такой вопрос может стоять. Соответственно, возможно, это влияет на видение проблем социального свойства?*

— Вашими устами да мед пить. Есть несколько тем, которые я пытался “тащить”, в том числе в каких-то очень разных естественно-научных и фундаментальных преломлениях. Мы записали, например, передачу с Ази Штейнзальцем. Это раввин, хасид, интереснейший талмудист, автор перевода двух книг Талмуда на русский язык с огромным историческим комментарием. Такой типично еврейский мудрец. И он начал притчами и анекдотами доказывать, что не может жизнь человека существовать в человеческой формальной логике, а все подчинено диалектике. С примерами из квантовой механики и из личной жизни. Вот одна из тех тем, которые я пытался “тащить”.

Другая, скажем, называлась “Диалектическое мышление” — попытка объяснить квантовую механику с точки зрения формальной или неформальной логики. Собственно, это был подход с позиций религии, где формальная логика не применима: “верую, потому что абсурдно”.

Понятно, наверно, что человечество вступает в какую-то новую эпоху своего развития. Но в какую? Тот же Ази Штейнзальц говорил о трех этапах в становлении мира. Первый этап — до Книги, многобожие и все с этим связанное, греческая культура, Рим и т. д. Второй этап — собственно Книга и ее влияние на европейскую культуру во всем, что касается монотеизма и выстраивания отношений (причем, говоря о Книге, он подразумевал и Ветхий и Новый завет). И наконец, с его точки зрения, точки зрения талмудиста, пришло время Талмуда, особенность которого как раз и заключается в признании того, что есть некая синусоида в жизненном движении, и без диалектической логики, диалектического восприятия этого движения современный мир уже объяснить нельзя. Скажем, не было никакой логики в нападении США на Ирак, сколько бы ни говорили про ту же нефть (нефть — это даже не подоплека, это просто то, что бросается в глаза). А логика все же была какая-то совсем другая — логика завершения некоего этапа бушевского миссионерства: ему просто кажется, что после него ничего не будет; вот он сейчас должен завершить тот самый этап, потому и действует по этой логике.

И, по-моему, раввин прав. До остроумия прав. Я спросил: “А как же, интересно, тогда решается основной вопрос диалектической логики: есть Бог — нет Бога?” Он опять перешел на притчи: “Представьте себе. Вы выходите на улицу. Лежит раненый человек. Как истинный верующий, зная, что все находится в руках Господа (в том числе и судьба этого человека), вы должны пройти мимо, дать Ему исполнить Его волю... Но вы же бросаетесь как последний атеист к тому человеку на помощь”. Вот в этом и есть диалектика — с его точки зрения.

То, что изменения происходят, — ну, это просто в воздухе чувствуется и слышен гул грядущих перемен. Но мы сейчас находимся как раз в такой точке развития, что лю-

бой прогноз, даже самый противоречивый, не поспеет за событиями. Вот те выводы, которые мне удалось сделать из разговоров ученых.

— *То есть логики в жизни быть не может?*

— Не может. Какая логика, кроме абсурдной, в стремлении ученых, скажем, ядерщиков, на новом поколении ускорителей провести эксперимент, который способен (теоретически) привести к созданию минимум — черной дыры, максимум — новой Вселенной? Какая логика может заставить их это делать? Это же даже не атомная война. То, что может произойти, они предсказать не в силах. Маховик раскручен, остановить его очень трудно. И у меня возникло ощущение (скорее образ, чем мысль), что человечество сильно уменьшилось в масштабе. Были какой-то путь, какая-то лестница к заветной двери. Вот мы сейчас ее откроем, за ней — счастье, изобилие и абсолютное понимание всего и вся. Каждое третье письмо на передаче, кстати: “Я открыл теорию всего”. Эта страсть к открытию “теории всего” — она и в физике, и в истории. Везде. Но вот мы подошли, дверь открыли, и мгновенно изменился масштаб, потому что там оказалось пространство еще большее, чем мы уже освоили. И человек опять стал маленьким-маленьким и испуганным-испуганным. Этот испуг сквозит даже у ученых, самых уверенных в правильности общей теории относительности. От социального испуга до колоссального вселенского...

— *Испуг, не страх?*

— Думаю, детский испуг. Страх — это все-таки нечто, с чем можно бороться. Преодоление или излечение. А испуг настолько рефлексивен и первобытен, что проявляется в растерянности и продолжении прежней жизни в абсолютно изменившихся условиях. Ведь это парадокс, что мы живем ровно так, как было до того, хотя все изменилось. Очень и очень странно.

Всякий раз вздрагивал, когда находил подтверждение этим выводам в очередной передаче. И тут удивительные

совпадения: самый большой отклик, начиная с псевдорейтингов и кончая посланиями в Интернете, на телефоруме, получали как раз те программы, где я вздрагиваю от того, что ожидаемое так или иначе материализовалось. Такой испуг был выражен где-то словами, где-то темой, иной раз просто отказом о чем-то говорить. То есть, как я понимаю, это очень многих заботит. Не волнует и не интересуется даже, а настораживает. Что-то мы такое недоговариваем себе о том, что должно вот-вот произойти. Головокружительный успех имела передача с Капицей и Бестужевым-Ладой и даже была повторена в субботу в прайм-тайме. Но почему? Потому что они пугали “по-черному”, с цифрами в руках.

— *И вы говорите при этом о вашей программе лишь как о развлекательной?*

— Оттого что шла та передача, ни один из ее постоянных зрителей, с которыми я знаком, не стал ни умнее, ни образованнее, ни нравственнее. Не начал лучше ориентироваться в физическом пространстве. Он стал, если можно так сказать, натруженно-любопытным. Это несколько наркотическая зависимость от того, что каждый вечер имеешь возможность посмотреть программу и получить новую информацию. Но так действует любое телевидение: есть некое информационно-сенсорное голодание, и оно удовлетворяется.

— *Вашими собеседниками, как правило, становились люди солидного возраста. Были попытки привлечь молодых?*

— Были. Но как только в кадре появлялся человек моложе 30 лет, рейтинг — ноль, потому что нет никакого доверия. Должны быть старцы, умудренные опытом. Грубо говоря, основная установка у зрителя — гость не должен быть моложе меня. И самые смелые идеи, самые экстравагантные выражения в такой передаче не проходят. Не случаен и перекосяк в сторону естественно-научных дисциплин. Из гуманитарной области знания наукой можно на-

звать очень немногое и очень относительно. Ну что — философию, психологию? Как только разговор уходит в спекуляции, когда нет научного знания, доступного для проверки, каждый у экрана становится философом и психологом: “А чего я его буду слушать, если сам могу так же?” Но вот был цикл — четыре передачи о гравитации. Все выступали с разных позиций, говорили как бы о разных гравитациях. Однако есть понятие “гравитация”, есть формула, и человек у экрана понимает: гравитаций может быть много, сейчас признается не один закон — несколько, но все участники говорят о физических явлениях, которые реально существуют. И слушают.

*— А не было ли корреляции по образованию, возрасту аудитории, поколенческим различиям? Какие-то исследования в этом плане проводились?*

— Проводились, и результаты самые неожиданные. Если я вам скажу, что на 30 процентов наша аудитория состояла из домохозяек старше 40 лет, со средним образованием, вы будете, наверное, удивлены. Как и я был удивлен. Молодых людей было мало (до 25 лет, если не ошибаюсь, процентов 7). Основной возраст — 45–65 лет. Признаться, у меня нет полного доверия к этим исследованиям, и все-таки они отражают некую реальную тенденцию, что заставляет задуматься...

Вообще говоря, я не придаю особого значения поколенческим различиям. Может быть, потому, что уже в юности общался с людьми, которые годились мне в отцы. Я не чувствую этой проблемы — проблемы поколений. Приходит на передачу 60-летний человек, и он абсолютно мне близок; приходит 25-летний, блестяще образованный — то же самое. Я бы затруднился выделить черты, скажем, “шестидесятников” или “семидесятников”. И про себя не могу сказать, что отношусь к такому-то определенному поколению. Единственное, что сказал про себя, когда была истерия по поводу вхождения в XXI век, что остаюсь в XX. Я в XXI век не хочу.

*— Почему? И что для вас их столь отличает?*

— Отличают отношения, характерные для так называемого постиндустриального и коммерческого потребительского общества. У меня, в отличие от большинства граждан нашей страны, адаптация к тем условиям, в которых мы сейчас живем (практически постиндустриального, рыночного общества), прошла в эмиграции и совершенно по-другому, чем это было здесь. То есть там были условия, которые я сам выбрал. Там были детально разработанные и цивилизованные рыночные законы. И когда я вернулся и увидел, что происходит и что наступает здесь, мне это было уже совершенно понятно. В первую очередь — “всё на продажу”. Все отношения, включая самые интимные, так или иначе курируются финансами. Есть государство и есть функция навязывания маниакального страха перед завтрашним днем, этакое бытового страха. В Америке такое состояние достигло своего совершенства, стало одним из стимулов существования. Далее — колоссальное социальное расслоение в обществе (бесстыдное в наших условиях), отказ от общественной собственности, в том числе на природные ресурсы и собственно природу. Недалек тот день — я с ужасом его жду, — когда в моей деревне, в нашем лесу появится табличка: “Частное владение. Посторонним вход воспрещен”.

А вместе с тем среди новых черт общества, для меня неприемлемых, — отсутствие общественного давления на художника и, как следствие, разрушение самоцензуры. Я не говорю о тех, кто сам себя называет художником и может сегодня спокойно существовать, о таких как Пелевин или Сорокин. Я говорю об отсутствии общественной востребованности, пусть даже на профессиональном уровне, на уровне некоего сообщества единомышленников. Я не имею в виду, скажем, конкретный Союз кинематографистов, но произошло ведь абсолютное разрушение такого рода структур... Потому я и говорю: не хочу всего этого. Лучше попробую создать свой ретромирок.

— *Получается?*

— Когда как. Порой есть ощущение, что бьешься головой о стенку. Вот что ненавижу, так это конкуренцию. На-

вязанная борьба — это всегда ужасно. Почему я должен с кем-то конкурировать? С тем же Дибровым, с которым я параллельно существую? Он делает точно такую же передачу, как и я? Нет. Какая же конкуренция? Если ты знаешь про себя какие-то вещи, какая тебе разница, назовут тебя первым, третьим или шестым. А это общество конкуренции, соревнования. Соревнование — это когда вы сидите на пляже и кидаете в банку камешки; грубое мальчишество, всегда стимулирующее к подъемам, необходимым для движения. В остальных случаях это сотрясение воздуха.

Но при всем при том я не знаю, что такое российское общество, что такое современная Россия. Ее нет. Есть Москва, причем в районе Капотни и в пределах Садового кольца — это тоже два разных государства, с разным населением. Разное население — разная историческая память, разное прошлое, будущее, разные цели. Отъедешь сто километров от Москвы, там совершенно другая жизнь. Мы с приятелем дискутировали на ту же тему. Я ему говорю: “Ну, вот выключи телевизор на неделю. И где та Россия? О какой России ты будешь говорить?”

Если вернуться к той же Америке, то там ярко выраженное классовое общество (как бы это они сами ни отрицали). Грубо говоря, классов три, и в каждом еще есть подклассы. Об этом, кстати, писал очень хороший американский социолог. Он немного социальный сатирик Боб Фассл. Книга так и называется — “Классы”, и вот как он их определяет: *пролетариат*, но есть низший пролетариат, высший пролетариат и т. д.; *средний класс*, который тоже делится на группы, наконец, *high group*. Выделяет еще маргиналов всех мастей. High group он почти не рассматривает, потому что это невидимая часть общества (они сильно перепугались в Великую депрессию, отдали государству и продали свои замки, картины), и если ее отсечь, тогда остаются два основных класса. А вот эти два абсолютно противоположны. Пролетариат — такой оседлый, малотребовательный, легко поддающийся на политические новации класс, хотя и консервативный, очень религиозный; те самые “жирные американцы”, о которых столько говорят. Средний же класс — это перелетные птицы; нет своего дома, квартиру меняют в среднем раз в 5–7 лет, по-



стоянно перемещаясь по странным траекториям вслед за работой, то есть за уровнем жизни.

У нас этого нет, и еще долго не будет, потому что все-таки для того, чтобы перемещаться, нужно иметь возможность получить лучшие социальные условия, чем были. У нас расслоение не социальное, а экономическое. Мой вчерашний сосед по подъезду, которого я сто лет знаю, сейчас живет за тройным забором в замке, а я в той же разрушающейся пятиэтажке. Значит ли это, что мы стали разными людьми? Что уже принадлежим к разным социальным классам? У людей общий background. У них одни интересы, одинаковое образование. Ну, это те же люди, грубо говоря. Я помню замечательный социальный эксперимент, который был проведен в московских новостройках в конце 60–70-х годах. Тогда я жил в подъезде, куда свезли, с одной стороны, выселенных из центра Москвы (с Пречистенки, Воздвиженки), а с другой — из снесенных деревень, на месте которых эти новые дома и строили (из Чертаново, Зюзино, еще откуда-то). Вот это был восхитительный социальный сплав: на первом этаже жили одни люди, на втором — совсем другие, то есть это был просто материализованный разрез социальной структуры. Их дети уже подверглись какой-то нивелировке: одна школа, один двор, один телевизор. Внуки совсем похожи. И теперь вот те дети и те внуки оказались в разных концах города. Это значит, что они разные? Когда вот тот, живущий за тройным забором, пошлет своего ребенка в Англию, ребенок там выучится, приедет сюда, ему здесь все разонравится, он попытается что-то под себя переделать (но не получится), приедет еще раз и, может, даже совсем вернется — вот тогда это будет человек уже другого социального класса. Пока — все те же люди, мне кажется.

*— И вы пытались каким-то образом трансформировать это сложившееся, или, напротив, не сложившееся общество, создав в свое время, насколько мы знаем, “Партию общественного цинизма”. Это была игра?*

— Скорее даже пародия — на все, что происходит вокруг. Мало того, я выставил и свою кандидатуру на прези-

дентских выборах. И была пародийная кампания, абсолютно популистская, возведенная в квадрат. Со своей программой, где предлагались свои реформы и законоположения. Хочешь, скажем, стать государственным чиновником — просто заплати столько-то, потому что украдешь, мы знаем, больше, и получи соответствующую лицензию на должность. А для высших государственных чиновников вводилась смертная казнь после исполнения ими своих обязанностей. Хочешь быть президентом? Никто тебе не мешает, пожалуйста, будь. Если для того, чтобы обеспечить свою семью на все оставшиеся годы, тогда уж пожертвуй собой — в прямом смысле. Или ты хочешь вытащить Россию из болота? Но тоже придется пожертвовать собой ради великой цели... Такая шутовская программа, но со здравым смыслом, как мне казалось.

— *Ну а если серьезно: нужны ли и возможны ли в современном обществе новые социальные идеи, социальные идеалы? Как вы ответили бы на вопрос, который многие задают сегодня себе и особенно людям ученым, — куда должна двигаться Россия?*

— У меня нет ясного представления, потому что, на мой взгляд, мы проходим сейчас через вторую мировую трансформацию: пытались построить коммунизм, теперь пытаемся построить демократию. В мире нет ни одного демократически устроенного общества. Везде либо олигархия, либо социализм — в той или иной степени развитые. Американская олигархия или шведский социализм. Тирания? Наверное, да. Но: “Ах, русское тиранство — дилетантство, я бы учил тиранов ремеслу”.

Как обозначить то, что сейчас устанавливается в России? Олигархия, вне всякого сомнения. Коррупция — образ жизни большей части населения, снизу доверху (или сверху вниз?). У меня нет никаких моральных претензий к людям. Это правила игры, только они не легализованы. Значит, у каждого есть возможность понимать сии правила по-своему. Что получается, когда нет общепризнанных правил игры? Тот, кто сильнее, может вдруг объявить партнеру: мы вот сели играть в шахматы, но сейчас я уже в шашки играю.

Что приключилось, скажем, на моих глазах с телекомпанией НТВ? Им сказали: “Ребята, надо делать бизнес”. Пришли бизнесмены, установили свои правила — бизнес есть бизнес. Потом им сказали: “Да, есть бизнес, но есть и политика. А политика, понимаете, — это политика”. То есть сели играть в шахматы, а теперь играем в шашки. Поэтому вали-те отсюда... И тут нелепо обижаться: это образ жизни. Как его поменять? Не знаю, возможно ли это.

Почему-то обвиняют большевиков в цинизме и лицемерии. Не могу понять почему. Тогда как раз были правила игры, абсолютно “железные”. Да, мы бароны, мы новые красные бароны, мы белая кость, мы красная кость, а вы все остальные. Хотите стать как мы? “Делай, как я”. Все предельно просто. Кроме того, они умудрились создать, как ни крути, лучшее в мире образование, особенно это касалось начальной и средней школы. И они умудрились сохранить великую русскую литературу, искусство, науку (что за последние десять лет просто сметено). И вот встает вопрос: если нас будут рассматривать, изучать не завтра и не послезавтра, а этак через три-четыре тысячи лет, — кто выиграет при таком рассмотрении? Когда уйдут людские страхи и слезы, смерть, мораль, когда фигура Сталина сравняется с фигурой Петра или Александра Великого, потому что кровь на расстоянии видится иначе, будто ее становится меньше, когда вымрут поколения, которым что-то дали или у них что-то отняли, — как все будет видеться и оцениваться? У меня нет ответа.

— *Россия советская и Россия нынешняя и сейчас противостоят друг другу как созидание и разрушение?*

— Нет. И то, и другое — сумерки. Впрочем, советская Россия — это утро, когда солнце еще не взошло. А нынешняя — вечер, когда солнце только что зашло за горизонт. Вот это состояние между днем и ночью. И там, и там. Думаю, что это сумерки цивилизации. И не просто какой-то особой российской, а западноевропейской цивилизации, культурно управляемой Книгой, которой была Библия. Потому что оказалось, что даже с морально-нравственной точки зрения она больше не является нормообразующей книгой.

Мир сильно изменился и будет меняться. Смотрите: сейчас, на мой взгляд, Соединенные Штаты совершают акт самоубийства; эта страна очень скоро исчезнет с карты мира в том виде, в котором она существует, что вызовет, конечно, колоссальные катаклизмы по всему миру. И мы еще останемся абсолютно изменившеюся картину, потому что оказалось: за 200 лет можно пройти весь путь, от начала до конца, но при этом набрать столько инерции, что страна, как воронка, засасывает, тащит за собой в омут огромное число стран, наций, народов.

— *То есть это уже не “закат Европы”, а закат Америки?*

— Закат цивилизации. Что такое Америка? Это Европа с зубами. С зубами и с мускулами. Не такая старая. Но оказалось, что этого недостаточно для выживания. Все-таки, наверное, мироустройство с таким населением и в таком контексте уже невозможно по той модели, которая называется “западная цивилизация”. Что будет дальше? Рассчитывать на китайцев, их цивилизацию? Но они сейчас имеют те же правила игры. Мало верю и в так называемый молодой арабский мир.

— *Мир разрушается, потому что стал однополюсным?*

— Вот выяснилось, что он не однополюсный. Европа же напрягается и пытается противостоять Америке, тот же Китай пытается противостоять. Просто надо понимать, что противостояние Восток — Запад сменилось на противостояние Север — Юг. Мне, правда, кажется, что и это не совсем точно, потому что осталось и прежнее, и наложилось новое. Притом все очень хотят глобализации и выжить. Грубо говоря, все сводится к тому, что есть люди, которые контролируют весь рынок, во всем мире. Кто эти люди? Никогда не узнаешь.

— *В одной из ваших передач говорилось, что нет сейчас таких ученых, мыслителей-синтезаторов, которые*

*оказались бы способны охватить умом все перемены в мире и понять их в единстве, стать вровень с такими “синтезаторами”, как Леонардо да Винчи или Эйнштейн, попытавшийся все же создать единую теорию поля. А почему нет? Мир не дозрел до того, когда полнее проявились бы все тенденции его развития, когда он стал бы более понятным, либо люди “не дозрели”, а может, и не дозреют никогда?*

— Примеры есть. Дмитрий Сергеевич Чернавский, победитель нашего конкурса, синергетик и мудрец.

— Александр Гарриевич, а как вы сами определяете себя по роду деятельности? Вы в первую очередь кто?

— Я всегда с этим затруднялся. Хотелось бы определять себя как кинорежиссера, но для этого одного фильма явно недостаточно. В Америке есть хорошее определение, по нашему, это можно обозначить как “профессионал”. Одна дама еще на заре моей телевизионной карьеры написала: “Он умудрился из характера сделать профессию”. Возможно, это обидно, но очень точно.

К.В. Ремчуков

“...Ввести в повестку дня страны”

— *В наше время жить непросто. Всем. И все об этом говорят. А вот вам, Константин Вадимович, жить в такое непростое время интересно?*

— Да, и просто, и интересно. Я приехал в Москву учиться из города Волжский Волгоградской области, когда мне не было и семнадцати, мне все было интересно. Сосед по комнате в общежитии, он был физик, принес от кого-то стихи на ночь. Автора я не знал, но они оказали как бы методологическое воздействие на мое восприятие времени. Стихи звучали так:

Ни к чему, ни к чему, ни к чему полуночные бдения,  
И мечты, что проснешься в каком-нибудь веке ином.  
Время? Время дано — это не подлежит обсуждению,  
Подлежишь обсуждению ты, разместившийся в нем.  
Ты не жди, что грядущее вскрикнет, всплеснувши руками:  
“Ах, какой тогда жил, да бедняга от века зачах”.  
Нету легких времен. И в людскую врезается память  
Только тот, кто пронес эту тяжесть на скорбных плечах.

И до такой степени я воспринял это как правду... Потом уже, работая в Америке, я набрел на эти стихи. Оказалось, автор — Наум Коржавин. Значит, я прочитал их в 1971 году, а в Америке был в 1986–1987 годах, в Пенсильванском университете, — пятнадцать лет у меня сохранялось это представление об отношении ко времени; не зная автора, я разделял его точку зрения. Поэтому, когда я думаю о 20–30–40-х годах, я отнюдь не считаю, что тогда жилось легче. Сейчас трудное время? Не более трудное, чем когда бы то ни было. Как представишь, что пережили мои роди-

тели или родители моих родителей, — это же ужас! Мы сейчас живем в раю, я считаю, по многим параметрам. У нас изменились риски, структура рисков, но на самом деле я не думаю, что к нам предъявляются бóльшие требования, чтобы мы выжили. Время непростое, но как всегда — значит, эпитет “непростое” выносим за скобки: время есть время, в котором мы разместились. А интересно ли жить? Лично мне очень интересно.

— *Мы обратились к вам, Константин Вадимович, как человеку, в известной степени объединяющему авторов книги. Вы профессор-экономист, ведете курс макроэкономического регулирования и планирования; вы политик — были депутатом Госдумы; вы бизнесмен, причем не чуждый духовных потребностей: насколько известно, вы возглавляете исполком попечительского совета Большого театра. Вам в этом году исполняется пятьдесят, младшему из наших авторов нет и двадцати пяти — именно на этом временном отрезке родились и другие наши собеседники... Словом, есть все основания узнать ваше мнение о вопросах, над которыми размышляют сегодня в обществе. И первый такой вопрос: сейчас особо подчеркивается, что реализация всех намеченных планов возможна только в “свободном обществе свободных людей”; формула уже прижилась, однако для нас, в современных условиях — это не абстрактные понятия?*

— Раз уж мы отталкиваемся от формулы, которая привнесена высшим должностным лицом страны, то мы обязаны подумать о ее реальном содержании. Так вот, я абсолютно убежден, что оно либо совсем отсутствует именно в устах главы государства, либо подразумевает что-то такое, что отличает его от сущностного понимания свободного общества свободных людей. Если говорится: “и дальше развивать демократию, свободу слова” — это же абсолютно в стиле ЦК КПСС, когда на всех пленумах ставилась задача “дальнейшего совершенствования, развития, углубления, повышения”. “Дальнейшего” — то есть все будто и так развивается, повышается, но надо еще чуть поднажать. Год

назад в одном из интервью я для характеристики типа сегодняшней власти использовал термин “принципат Путина”. Прочитал несколько книг по принципату римского императора Августа (Октавиана), и меня поразило сходство. Молодой, благополучный военачальник Октавиан приходит в страну, которая устала от гражданских войн, проблем, и вскоре становится императором — как бы первым среди равных. Он говорит: надо прекратить разврат. Но разврат в империи процветает. Он говорит о свободе, а никакой свободы нет. Говорит о демократии — на самом деле это диктатура...

Мы сейчас охотно манипулируем базовыми категориями демократии, но их содержание у нас существенно расходится с тем, как понимает его большинство населения цивилизованного мира. Если учесть, какой достигнут сегодня в этом мире стандарт свободы... Именно поэтому мне кажется, фраза “свободное общество свободных людей” бессодержательна, несозвучна тому, что происходит в нашей стране в последние годы. Она формально воспроизводит звуки, соответствующие терминам, но за ней не стоит политика, которая отвечала бы принципам свободного общества, нет системы ценностей, характерной для свободных людей и свободного общества, нет приоритетов, нет общественного консенсуса о минимальном необходимом наборе институтов (частных электронных СМИ общероссийского охвата, например), примеров борьбы за свободное общество и за свободных людей. Наоборот, огромное количество примеров, включая судебную практику, говорит, скорее, об обратном. Поэтому, когда я называю “принципатом Путина” тот тип политического режима, который складывается сейчас в России, я как раз и имею в виду, что сами по себе правильные слова лишены содержательного смысла — надо внимательно смотреть на реальные процессы, которые происходят в стране, и на тенденции этих процессов.

— *Наше общество — не для такого рода перемен?*

— Нет, мне кажется, что мы имеем дело с зигзагами развития. Ведь есть же какой-то вектор развития. Эле-



менты свободы, на мой взгляд, были в конце 80-х годов, но устойчивых периодов такого развития у нас не было. Хотя не было и таких темпов глобализации, распространения глобальных феноменов.

— *Вы считаете, это должно повлиять на динамику происходящих у нас процессов?*

— Безусловно, поскольку в стране действуют ограничения развития производительных сил (используем марксистскую трактовку). А когда что-то выступает в качестве ограничения развития производительных сил — в данном случае можно заменить этот термин “развитием капитала”, “потребностями капитала”, то оковы будут сброшены, безусловно. Мировая тенденция такова, что успешно развивающаяся корпорация является двигателем современного социально-экономического прогресса. В свое время современник В.И. Ленина Дж. Шумпетер, говоря о диффузии нововведений, объяснял, что именно она, диффузия нововведений — источник прогресса. Ленин тогда писал свою работу “Империализм как высшая стадия капитализма”, для него была существенна классовая борьба в контексте так называемой диалектики производительных сил и производственных отношений, и, зная работу Шумпетера, он проигнорировал ее выводы. Таким образом, и наша общественная наука фактически проигнорировала Шумпетера на многие десятилетия. И вдруг в 1990 году выходит огромный, содержательный доклад “ТНК в современном мире”. Читаю в одной из глав: “Социально-экономическое развитие в мире обусловлено диффузией двух типов нововведений”. Первый тип — нововведения технологического свойства на базе информационных технологий, и второй тип — нововведения организационно-управленческого характера на базе новых подходов к менеджменту, ярким примером которых явилась Япония. Методология исследования источников экономического и социального прогресса — шумпетеровская. И в этом смысле ТНК рассматривается как источник изменений (поскольку они являются и фабрикой, и реципиентом нововведений).

Получается, что успешная корпорация развивается только на пути к децентрализации. Не централизации, не

выстраивания вертикали власти, а децентрализации ответственности, полномочий, децентрализации всех производственных процессов. Если мы посмотрим, например, на глобальную торговлю в машиностроительном секторе, то увидим, что 75 процентов в нем — внутриотраслевая торговля, хотя и трансграничная. Это различные подразделения. Отсюда и такое мощное давление — чтобы снижались тарифы, тарифные барьеры. Торгуют не просто различные собственники, а идет торговля внутри структур, потому и нужно, чтобы не было никаких границ. Потому на самом деле это интеграция специализирующихся производств, но специализация лежит в основе производительности труда, именно она является единственным измерителем конкурентоспособности, она по-прежнему — цель развития национальных экономик, корпораций и т. д. Децентрализация нужна еще и для того, чтобы меньше было ошибок: вы спускаетесь на уровень низовой, где лучше знаете клиентов и их потребности. А опережающее выявление этих потребностей и поиск способов их удовлетворить — основа ментальности конкурентоспособной организации, основа той экономики, которая заключена в формуле “предложение рождает спрос”.

“Спрос рождает предложение” — это алгоритм дефицитной экономики, которая не думает о потребностях клиентов, по крайней мере об их упреждении. Она знает, что нужны хлеб, носки, стиральный порошок, и как-то пытается их обеспечить. Но экономика современная... Если я видел только старый черный телефонный аппарат, то и в магазине говорю: “Я хотел бы телефон с такими-то кнопками”. Но если я увидел телефон с видеокамерой, то пойду и куплю такой. Предложение сформировало мой спрос, но это произошло лишь потому, что велись опережающие исследования, выявляющие мою потребность в телефонной связи. Более того, в рамках такого подхода существует много иерархий, которые позволяют взглянуть на клиента, то есть потребителя (фактически это ключевой субъект современной жизни) совершенно с других ракурсов. Если говорить о тех же мобильных телефонах, то в начале 90-х они воспринимались как атрибут крупных бизнесменов, которые должны быть в курсе происходящих процессов в посто-

янном режиме. Телефоны были громоздкие, дорогие, но все признавали: это статусная вещь. И потом произошло изменение, кстати при интересных обстоятельствах. Руководители фирмы “Nokia” поняли, что проигрывают конкурентную борьбу “Ericsson” на рынке мобильных телефонов. И перед тем как “закрыть лавочку”, собрали своих ведущих менеджеров и сказали: “Все равно мы уходим с рынка, поезжайте в Калифорнию, отдохните, поплавайте, развейтесь. Это как бы и наш бонус вам”... Поехали люди туда и вернулись с идеей: мобильный телефон, оказывается, может быть предметом моды для целевых групп, которые никогда прежде не рассматривались компанией — для молодых ребят, подростков; здесь нет содержательного смысла передачи информации — есть смысл попожонить где-то на пляже, показать, что имеешь такую вещь. И компания совершенно иначе подошла к производству телефонов — стала выпускать аппараты типа мыльниц, цветные футляры и т. д. Сейчас она бесспорный мировой лидер в этом сегменте, свыше 30 процентов мирового рынка принадлежат ей (с большим отрывом от “Siemens”, скажем, а “Ericsson” вообще проиграл борьбу). Из чего следует, что можно упредить даже такую потребность, которая, по сути, иррациональна...

Недавно был опубликован доклад, где говорится, что в России подростки тратят больше миллиарда долларов на изменяющиеся модели мобильных телефонов. Миллиард долларов — рынок подростков, которым не связь важна даже, не функции какие-то, а просто чтобы была новая модель. Вот это и есть другой мир. И чтобы в него вписываться — по бизнесу, по доходу, — требуются не централизованные решения людей, которые могут и не видеть этих подростков (все большие начальники так много работают, что и своих-то детей видят, когда те спят), а децентрализация функций. И она происходит. Мы знаем свою клиентскую базу, знаем, что этим людям нужно, и т. д. А вот идущие в стране процессы, связанные с вертикалью власти, с централизацией многих функций, противоречат объективным потребностям развития капитала, производительных сил. Поэтому с неизбежностью эта система будет...

— ...самоликвидироваться?

— Нет, не все сразу.

— *То есть формула, о которой мы говорим, сгодится только потом когда-нибудь?*

— Нет, она годится как потребность. Это же не то, что кто-то подумал: “А произнесу-ка я красивую формулу”. Ведь с неизбежностью наступит наказание за то, что ты не следуешь сути этой формулы. Только кажется, что можно ее обойти, потому что свободное общество свободных людей — это общество, которое в состоянии адекватно вписаться в тенденции глобализации. Если ты думаешь, что удастся кого-то обмануть, используя только лейбл, ярлык, а содержательно ничего не делая, наказание настигнет тебя, и чем раньше цена на нефть пойдет вниз, тем быстрее выяснится, что страна не готова ни привлекать капитал, ни адаптировать новые технологии и т. д.

— *Ну, не получится с этой формулой, придут новые люди и выдвинут другую формулу или просто лозунг, скажем: “Долой вертикаль!”*

— Это не выход. Дело в том, что есть запасные системы существования при фальшивых или лицемерных формулах. Как, например, советская система. Уже давно, скажем, в последние десять лет брежневского правления, чувствовалась неадекватность системы. Потом наступил слом, когда ресурс стал уже не способен удержать даже эту систему, то есть выдержать военный стратегический паритет с американцами, опираясь на существенно меньший экономический потенциал.

— *То есть, строго говоря, риторика властей не отвечает ни запросам страны, ни ситуации в мире. И как долго тогда продержится власть?*

— Она продержится ровно столько, сколько у нее будет ресурса, прежде всего экономического, чтобы поддерживать себя имиджево и решать какие-то вопросы, которые эта власть ставит, например, на международной арене.

Вот сейчас у Путина такой финансовый ресурс, который позволяет ему быть независимым на международном уровне. Он не кланчит денег, не просит кредитов МВФ, как раньше было: “Приезжает Комдесю, что скажет Комдесю?” — “Налогов собираете 11 процентов от ВВП, а надо 13”. — “Ой, 13 процентов надо, ой-ой-ой!” Сейчас мы собираем 18 процентов, и никто об этом не говорит. То есть его (Путина) репутация, в том числе и достоинство, обусловлена феноменальными экономическими показателями, которые были вызваны нефтяными деньгами и тем, что произошло замещение импорта внутренним производством после дефолта 1998 года, когда российский производитель начал занимать те ниши на рынке потребительских товаров, откуда ушел импорт — от пива до тефлоновых сковородок. Золотовалютные запасы к концу 2004 года достигнут 100 миллиардов долларов (в 98-м их было 11 миллиардов). Долгов будет выплачено с 98-го года 60 миллиардов долларов, при этом не взяли, повторю, ни одного цента. Все основные показатели говорят, что прибыли частных корпораций увеличились. Федеральный бюджет был 18 миллиардов долларов, сейчас — 90 миллиардов, вырос в 5 раз. Откуда все эти деньги? Они являются продуктом роста, и потому кажется, что это результат централизации функций, наведения так называемого порядка, хотя на самом деле все не так.

Макроэкономическая ситуация начнет ухудшаться, она с неизбежностью будет ухудшаться, если не произойдет развития; развитие же может происходить (поскольку исчерпаны источники модели роста, связанной с нефтью и замещением импорта) только на основе замены фиксированных активов, или основных производственных фондов, по-русски. Вот эти фиксированные активы требуют больших инвестиций, поскольку изменение технологической базы является источником конкурентного преимущества страны. Как только деньги сверху улетучатся и если не будут за ближайшие годы (думаю, еще года три есть) приняты реальные меры по обновлению производственного аппарата российской экономики, наступит кризис. Кризис никогда не является смертным приговором; это — лишь дикий способ восстановления пропорций, это повод пере-

осмыслить оболочку, в которой основные производительные силы развиваются. Значит, скажут: надо больше свободы. В чем эта свобода для бизнеса должна выражаться, чтобы капитал сюда шел? Должна быть предсказуемость экономической политики. Есть! Мы сделаем политику предсказуемой. Должна быть предсказуемой судебная система и вообще вся правовая среда. Этому будет содействовать вступление России в ВТО — очень многие законы будут изменяться в соответствии со стандартами ВТО, то есть предсказуемость станет повышаться. Что еще нужно? Чтобы гражданские суды были менее коррумпированными и принимали самостоятельные решения; чтобы арбитражи тоже стали более независимыми и несли ответственность за принимаемые решения; должна быть система контроля, основанная на горизонтальном разделении властей, а не вертикальном и т. д. Эти действия выйдут на передний план, когда вдруг поймут: национальный капитал не хочет вкладывать деньги в условиях непредсказуемости и ужесточения административного контроля со стороны региональных или федеральных властей. Зарубежный капитал никогда не идет туда, где национальный капитал плохо себя чувствует. То есть системы страновых рисков, которые установлены в ведущих корпорациях мира — будь то банки, страховые общества, инвестиционные, пенсионные фонды, — включают так называемые *hard factors* (это макроэкономические объективные показатели: состояние бюджетного дефицита, бюджета как такового, платежного и торгового баланса, валютного курса, инфляции и т. п.) и *soft factors*. А *soft factors* как раз относятся уже к политическому окружению. Конечно, когда мы говорим “политическому”, мы тем самым резко сужаем рамки. Но политическая власть, безусловно, в нашей стране играет большую роль.

— *Это одна часть формулы — “свободное общество”. А “свободные люди”?*

— “Свободные люди” — еще более сложная категория, потому что свобода все-таки, по большому счету, внутри человека. Не говоря уже о такой субъективной вещи, как

ощущение свободы: ведь кто-то может чувствовать себя свободным только потому, что его точка зрения никогда не отличается от точки зрения власти. Как пел поэт: “И счастье не в том, что один как все, а в том, что все как один...” Поговорите с любым представителем “Единой России”. Он будет отстаивать именно ту позицию, которую сегодня сформулирует власть. Власть поменяла позицию — и он с точно таким же энтузиазмом станет поддерживать другую точку зрения. Приходилось неоднократно наблюдать это в Думе: власть вносит какой-то законопроект, мы, допустим, его критикуем, доказываем, что он “не такой”, а нам говорят: “Нет, такой”; потом из Кремля поступает другая редакция, и те же люди начинают агитировать нас за нашу же интерпретацию. И они свободны в этом, то есть они ошибаются “вместе с генеральной линией партии”. Самые свободные люди — им может так казаться. И опять: насколько это соответствует стандарту? Почему до такой степени выражено это колебание вместе с генеральной линией? Почему вообще существует такая генеральная линия? Это все вопросы, которые означают наличие атавистических остатков, наростов от предыдущей системы. А вообще у меня ощущение, и, скорее, это даже мое убеждение, что пропорция свободных людей в обществе не меняется тысячами.

— *И какова же она?*

— Думаю, процентов пять. И две тысячи лет назад, и в системе рабства, и в системе феодализма, дикого капитализма, позднего цивилизованного капитализма...

— *Вы считаете, это мировая тенденция?*

— Я очень много езжу по миру. У меня немало друзей в других странах. И я вижу, как они живут — в Америке, Англии, Швейцарии. Вижу, какая это жесткая система, намного менее гуманная, чем наша; но она негуманна как бы гордо, потому что ее негуманность встроена в некое представление о справедливости. Эта система делает человека очень осторожным, внутренний цензор в нем сидит

очень глубоко; он понимает уже не на уровне слов, а на уровне опыта папы, бабушки, прабабушки и прапрабабушки, что, выпав из обоймы, очень сложно туда вернуться. Потеряв работу, ты реально оказываешься один на один со своими проблемами, а дом у тебя заложен или на так называемом ипотечном питании, выматывающем душу (сумма коммерческого кредита в США такая же, как ВВП, вся страна живет в долг). Жить в займы невозможно — надо платить и проценты, и основную часть долга, и это делает тебя дисциплинированным, а не призывы “не пей”, “хорошо работай”. Негативные стимулы к труду реально доминируют, и только очень узкий круг людей (типа тех, кто работает в Силиконовой долине) воспринимает труд как внутреннюю потребность, что ближе к марксовской интерпретации коммунистического труда. А у подавляющего большинства эта потребность, безусловно, неправильно сформирована, даже в базовом представлении о том, что такое “актив” и “пассив”. Это поразительно, потому что ведь смысл американской мечты — иметь, скажем, свой дом, и большинство людей исходит из того, что дом и есть главный актив в жизни, то, что должно приносить деньги; пассив — то, что деньги забирает. Однако поддержание и эксплуатация дома как раз постоянно требуют денег. Вот купите дом из последних сил, и вы увидите: канализацию надо чинить, водопровод, крышу — это огромные средства. Таким образом, люди загоняют себя кредитами, в том числе многолетними ипотечными, на приобретение пассива, что еще больше берет за горло. И так живут 90 процентов.

— *А если речь идет о свободе духа?*

— Нет, это опять иллюзия. Ведь когда Буш говорит о том, что несет в Ирак демократию и свободу, он же абсолютно верит в это. Я только что вернулся со съезда республиканцев в Нью-Йорке и могу подтвердить, что так же считает и большинство провинциальных американцев — в Миссисипи, Арканзасе, Теннесси. Что за явление люди, которые говорят: “Мы несем свободу и демократию — иракцы должны быть свободными”? А кто такие иракцы?



Что такое для них Коран, что является ценностью и, вообще, какое у них представление о свободе? Это американцев не интересует, им кажется, что есть некое универсальное для всех времен и народов представление свободы по-американски, которое они несут, и в этом их мессианство. Выступавшие не съезде так и говорили под бурю оваций: еще 50 миллионов человек в Афганистане и Ираке стали свободными!

Я все же склонен считать, что свобода — это внутреннее состояние человека, и связана она прежде всего со способностью жить в ладу с собственным представлением о должном. Свобода как реальность применима к очень небольшому числу людей — всегда, везде и равномерно.

*— Это не те же люди-делатели, созидатели, генераторы идей (трудно определить их одним словом), которых тоже, как считают и некоторые наши авторы, в пропорциональном соотношении крайне немного, 3–5 процентов?*

— Не совсем так. Не все свободные люди — делатели, созидатели, как это понимается, прежде всего материальных благ. Многие из них, даже, может, большая часть, производители, скорее, благ духовных. Это художники, музыканты, писатели, философы. Они могут занимать очень пассивную, как раньше говорили, жизненную позицию; у них нет потребности, скажем, развить производство и выйти на международный рынок, заняв там определенную нишу. Мне кажется, это несколько разные делатели. Предпринимательство — самостоятельный талант, самостоятельная потребность и естественная, а иногда и единственная, форма существования. Отними у людей с предпринимательским духом эту их ипостась — им ничего не нужно будет. В этом смысле они так “заточены”. Я много наблюдал крупных предпринимателей — это просто дар, этому нельзя научить. Есть очень умные люди, но у них нет такого дара. В одном из интервью мне приходилось рассказывать о разных типах интеллента (академическом, эмоциональном и практическом), необходимых для успеха в жизни. Вот эти люди обладают невероятно высоким практическим ин-

теллектом, который позволил им в условиях социально-политического хаоса первыми нащупать систему координат, ведущую к успеху (в их системе приоритетов и ценностей).

А если вернуться к формуле “свободное общество свободных людей”, то, конечно, само количество еще не является необходимым, достаточным и исчерпывающим критерием ее реализации. У нас это определяют другие вещи. У наших людей совершенно другие потребности, и чем лучше они станут жить, тем дальше будут уходить в сторону именно этих потребностей, где свобода в таком вечном, философском смысле занимает совсем мало места. Вообще, эволюция современной цивилизации непонятна. Что является как бы конечной целью? Одни ценят возможность каждый день ходить в ночной клуб, возвращаясь из него в пять утра. А кто-то говорит: “Для меня это совершенно невыносимый, неприемлемый образ жизни. Даже если бы мне приплачивали за то, чтобы я туда ежедневно ходил, я не пойду. Дайте мне Канта или Гегеля, я буду читать их, и для меня это ценнее”. В данном случае я не могу осуждать кого-то. Я и в Америке вижу людей, для которых простые формы проведения досуга являются безусловной ценностью, смыслом существования. Человек упорно работает, а потом он должен что-то иметь для души. Много лет назад я столкнулся с ситуацией, когда одна наша компания должна была перевозить нефть с западного на восточное побережье Англии (или с восточного на западное, точно не помню). Но при этом люди должны были трудиться ночью, им платили двойную зарплату, и через месяц примерно 80 процентов водителей отказались работать, потому что, по сути, были выдернуты из контекста их жизни. То есть пропустили матч по регби, не были в пабе, не обсудили, как кто-то играл, пропустили матч “Арсенала” с “Манчестер Юнайтед” — и в результате им оказались не нужны эти двойные деньги. Тот самый контекст важнее. Казалось бы, это абсолютное институциональное ограничение развития бизнеса. Но я не могу осуждать непрактичность этого британца, шотландца или уэльсца, поскольку полагаю, что он понял уже смысл жизни, который для него не в том только, чтобы зарабатывать деньги, а в том, чтобы заработанные деньги тратить, как принято в его социальном микромире.

— *Играет ли, по вашему мнению, какую-то роль применительно к свободе то, что мы называем “призванностью”?*

— Если честно, я не очень понимаю термин “призванность”. Кем должны быть призваны свободные люди — Богом, властью? Власти они не нужны: свободный человек не управляем, а власть стремится к управлению, потому что ей иначе, чем через процессы управления, проявить себя невозможно. Слово “призванность” напоминает, кстати, о том, как Горбачев во время перестройки призывал творческую интеллигенцию, и все потонуло в словах; в результате дискредитирован Горбачев, дискредитированы “прорабы перестройки” — хорошие, в сущности, люди, “шестидесятники”, дети XX съезда. Общество сказало: “Нам они не нужны”. Что делает Путин? Он не обращает на них никакого внимания, выстраивает вертикаль власти и управляет системой по крайней мере лучше, чем Горбачев. Повезло ли ему — это потом другой анализ покажет. Пока мы способны видеть, что такая система управления не требует призывать кого-то, совершенно другие цели стоят...

— *Обратимся к другой известной формуле, которая звучит в наши дни едва ли не чаще: “нам необходимо гражданское общество”. Что такое “гражданское общество”? Мы сделали что-либо для того, чтобы оно действительно возникло?*

— Думаю, самая важная структура для становления гражданского общества — это независимый суд. Будет независимый суд — и он станет инкубационной средой для развития других институтов: политических партий, общественных движений и т. д. Тем самым начнет происходить по горизонтали развитие субъектов народовластия. Сейчас у нас, при разделении властей по вертикали, одна матрешка входит в другую — президент, потом пошли правительство, Дума, Совет Федерации, и все там сидят. Настоящее же разделение властей — по горизонтали. Как только оно становится реальностью, так появляется граж-

данское общество. А важнейшей политикой, ведущей к этому, может быть — даже в таком, плохо структурированном в политическом плане пространстве — воздействие на процесс формирования ценностей общества. Независимость суда должна стать на данный момент основной ценностью.

— *Не получается ли замкнутый круг: для того чтобы было гражданское общество, нужен независимый суд, который рождает бы гражданское общество?*

— Который будет, то есть суд, важнейшим элементом его формирования. Но я ведь не могу представить здесь некую программу действий. Мы с вами просто беседуем на эту тему, а вы вроде как хотите сделать меня ответственным за нее. Если бы у меня была идея посвятить себя этому, я бы, скажем, стал лидером СПС (что, кстати, мне предлагали); мы ввели бы в повестку дня страны эти содержательные вопросы, именно в повестку дня страны. Ведь сегодня она формируется кем? — президентом, а общество на нее не влияет. И тогда мы бы думали о том, что нужно сделать для судов, какие акции предпринять, какие законы принять, как поднять народ, как внушить другим политикам, что сейчас мы должны сфокусироваться на этих вещах.

Я знаю одно: проблемы должны решаться “по-взрослому”, то есть нужен бизнес-подход. Если я, допустим, менеджер политического проекта, то должен все организовать как в корпорации: написать бизнес-план (как мы сделаем, чтобы суды стали основным институтом); провозгласить миссию (создать основной институт гражданского общества — независимый суд); разработать стратегию под эту миссию; наметить этапы, обязательно прописать риски, сказать о конкурентной среде и т. д. Лишь после этого начнется работа, предварительно детально продуманная, в ежедневном режиме. И тогда деятельность политика приобретет конкретный смысл. Но это тяжелый труд... Сейчас политика для меня не очень интересная реальность. И я не политик. Я свободный человек и живу в 50 лет так, как хочу. Вот решил, что у меня есть шанс повлиять на то, чтобы изменить терри-

ториальные пропорции, поэтому буду помогать проводить новую региональную политику (я читал в университете авторские курсы по региональной политике). Поскольку является, мне кажется, возможность содействовать тому, чтобы существующие диспропорции стали объектом размышления сначала в министерстве экономики (где я уже тружусь над этим), а потом и выше. Задачи удвоения ВВП, борьбы с бедностью должны иметь региональный разрез, иначе говорить о них бессмысленно. Речь идет, собственно, о регионализации основных целей развития. Вот в этой области я и пытаюсь сейчас что-то делать.

— *Как свободный человек?*

— Да, как свободный человек. Просто потому, что понял: могу тут оказать и интеллектуальную, и организационную помощь, привнести какие-то элементы бизнес-планирования в процессы инвестиционного, регионального планирования и т. д. Но я не политик, а это опять-таки забота политиков. Если, конечно, осознавать, что влияние на политическую повестку дня страны — не чья-то, а их задача. Иначе они обречены на бесславное существование.

— *Скажите, Константин Вадимович, а почему вы в свое время пошли в Думу?*

— По следующим соображениям. Я по бизнесу столкнулся с целым рядом предпринимателей и политиков. И мои наблюдения показали (это были 97–99-е годы), что в стране существуют, условно говоря, два типа “правых”. Пока правые “сверху”, которые шли с либеральными реформами, что-то там монтировали и демонтировали, образовался слой стихийных правых “снизу” (предприниматели, губернаторы), которые, может, и не читали трактатов по либерализму, но по образу актуализации своих способностей оказались более склонны к конкурентному рынку. Своего рода либералы-практики. Они верят в себя, у них очень высокий уровень компетентности. И мы решили объединить, подтянуть эти силы. Я был одним из “теневых архитекторов” проекта. И он оказался достаточно успешным.

Я избирался в Думу в том числе и в интересах этих самых либералов-практиков. Кстати, я единственный представлял их в федеральной части СПС.

— *Не было потом разочарований, сожалений?*

— Нет. В ранней молодости я понял и то, что все сожаления — “в пользу бедных”. Несколько позднее, уже в аспирантские годы, я вычитал у Хайдеггера мысль — очень глубокую, мне показалось, — которая системно оказала влияние на мой подход к жизни: “существование предшествует сущности”. В каждый миг нашего существования нам неизвестна полная сущность; она познается в процессе существования... Действительно, начинаешь по-другому подходить к жизни. Ведь большинство людей, особенно в молодости, живут, выстраивая систему ожиданий как бы транзитом по сегодняшнему дню: вот поступлю в университет и тогда... а когда окончу его... женюсь — разведусь — куплю квартиру... И вдруг человек оглядывается, и выясняется, что светлая, счастливая жизнь, о которой он думал как о будущем — там, позади. И я сделал равновеликим каждый день существования. Вот без нашего с вами интервью моя сущность тоже не была бы полной. Для меня полноценно существование каждый день, каждый месяц, поскольку все это добровольно. Потому и пребывание в Думе, и приобретенный опыт не стали для меня “транзитом”. Все-таки тогда в ней не было такого уровня подчиненности Кремлю. Больше было свободы выражения, депутаты чувствовали себя раскрепощеннее. Сейчас они представляются мне подразделением администрации президента.

Как мы говорили, нужно разделение властей по горизонтали; опыт подсказывает, что самая сбалансированная система для развития свободы и прочих прогрессивных вещей обеспечивается с помощью такого разделения. Мы не можем игнорировать те закономерности, которые выработаны на пространствах земного шара, — политических, географических, социально-экономических. Особенно на тех, что являются, на наш взгляд, относительно успешным проектом человеческой жизни — не совершенным, но все же успешным. Думаем, что опять найдем какой-то свой

путь развития? По-моему, никто уже так не думает, поскольку стало очевидным, что никто серьезно его и не ищет.

— *Мы рассматриваем либеральный путь развития как и наш путь, но либерализм предполагает приоритет личности, чего у нас, прямо скажем, никогда не было.*

— Я либерал, если угодно, на бытовом уровне. Я отец троих детей и не мог не думать об их воспитании: как, любя детей и имея материальную возможность их баловать, все же их не избаловать? Я пришел к выводу, что не избаловать и вырастить их достойными людьми смогу, если буду уважать их личность, вплоть до права этой личности на ошибку. В общем, так и получилось — выросли скромные, дисциплинированные, хорошо учащиеся, много читающие ребята (хотя, конечно, я их балую). Вот в этом смысле — либерализм как уважение личности я практикую в своей семье в течение 28 лет.

Что же касается либерализма как основы политической системы, то он мне тоже импонирует, но вы правильно подметили — у нас в России нет этой традиции. В Англии, допустим, на вопрос: “Что важнее, свобода или демократия?” — настоящий либерал ответит, что, конечно, свобода. Потому что свободная личность появилась задолго до того, как возник демократический институт. Думаю, что и в России немало людей, однотипно понимающих как ранг этих категорий, так и важность воспитания именно в духе этих ценностей. Мы говорили с вами о социально-технологических диффузиях. Идеи тоже диффундируют. В свое время, когда кто-то сказал, что надо извлечь статью 6-ю из Конституции, это казалось, во-первых, безумно смелым, во-вторых, нереальным. А сейчас никто даже не вспоминает об этом. Или частная собственность: помните, нам предлагали в качестве экономического рецепта то строй цивилизованных кооператоров, то аренду двух типов, а как оказалось — нужна частная собственность. Вот эволюция. Есть ценности, которые на самом деле могут распространяться в общественном сознании с помощью носителей. Но мы, конечно, имеем де-

ло с множеством противоречий, стереотипов, клише. Многие и сейчас склонны думать, особенно старшее поколение, что они нормально жили, были свободны, никто их не унижал. Я не очень верю советской социологии (которой и не было), поэтому опираюсь на чтение документов, на воспоминания того времени и по крупинкам пытаюсь реконструировать общественное сознание. И вот то, о чем я говорил: когда ты встраиваешься в генеральную линию и обретаешь чувство свободы, то, наверное, многие люди сегодня как раз и ищут эту генеральную линию, пытаются ее угадать; может быть, феномен популярности Путина в том, что он как бы намекает на реальность существования такой линии, и люди начинают это поддерживать, хотя им не обещают ровным счетом ничего. Что это такое? Наша архетипическая особенность?

— *В последнее время много говорят, ссылаясь на Ключевского, о нашем холопстве и связанной с ним нашей приверженности “сильной руке”. Но ведь столько революций, всяческих поворотов произошло с тех времен...*

— А что такое “сильная рука” в другом приложении? Это заботливая, защищающая рука. Наверное, все-таки, поскольку мы люди не протестантской веры, то есть не индивидуализировали пока свои отношения с Богом, мы и по жизни не можем индивидуализировать свои отношения с социальным миром. И в этом, мне кажется, самое большое отличие нашей версии христианства. Для нас высшей христианской ценностью было повторить путь Иисуса Христа, оказаться на Голгофе. И это как высшая ценность, насколько я понимаю, внедрялось в том числе и властью исполнительной (нужны были солдаты, чтобы защищать Российскую империю). Отсюда и понятие “Святая Русь”. И отсюда же игнорирование, как выражаются философы, “наличного бытия” (“да какая разница, соломенная у меня крыша или шиферная, если я готов или мне придется умереть за родину, за отечество, за братьев православных”). И вот это, мне кажется, более серьезная архетипическая особенность, объясняющая, почему людям нужна “сильная рука”. Потому, что “сильная рука”, если ты лоялен, дает в



ответ регламентированное то-то и то-то, но дает. Конечно, сюда не вписываются люди, которые, оценив свои риски, решают, что индивидуально они больше приобретут, чем та рука даст. Именно этот небольшой класс людей с предпринимательским духом, индивидуализирующий свою ответственность и перед Богом, и перед семьей, и перед партнерами, является двигателем нынешних изменений в России.

— *В том числе молодые поколения?*

— Мне кажется, есть основания полагать, что именно с точки зрения предпринимательской, с точки зрения индивидуализации своей ответственности молодое поколение все-таки ближе протестантскому христианству. И в этом, возможно, заложен еще один конфликт: люди формально ходят в православную церковь, ставят там свечку и думают, что молятся православным святым, а на самом деле они уже индивидуализировали свой быт, они менее соборные, менее коллективистские. Я вижу молодых ребят: они действительно иные. Мне кажется, эта прослойка будет нарастать. Если мы говорим, что число в высшем смысле свободных людей не меняется в историческом плане, то предпринимательски ответственных за себя, может, в чем-то менее интересных как собеседников, но более прагматичных, — становится больше. Я думаю, что эти люди, в возрасте 30–35 лет, с доходом от 600 до 1000–1500 долларов на человека в семье, через 20–30 лет (а уж тем более их дети) могут стать реальными сторонниками политиков, выступающих за гражданское общество.

— *Вы следите за современной российской общественной мыслью? Она не представляется вам как нечто цельное, развивающееся, полезное?*

— Нет, я не ощущаю общественной мысли. В 80-е выпи-сывал “толстые журналы”, “Вопросы философии” и, мне кажется, был в теме. А сейчас... Я много читаю, много изда-ний выписываю, много времени провожу в Интернете. Как правило, я очень рано встаю и очень поздно ложусь, чтобы

все это успеть. То есть я в курсе, но такое ощущение, что не докатывается до меня импульс “нетленки”, — качественных фрагментов общественной мысли. А если такой увлеченный чтением человек не охвачен... Я предполагаю, что она развивается в каких-то формах, но, видимо, слабо ориентированных на достижение целевых аудиторий.

Раньше многие мысли, идеи черпались из литературы. Мне очень нравился Трифонов. Я его знал всего — от спортивных рассказов до последних романов. Прозу Окуджавы — она совершенно другая — я воспринимал как волшебную и умную. Великолепен был, на мой взгляд, ранний Битов. Я очень любил поэзию, много знал наизусть и даже помню какие-то вещи совершенно неожиданные: понятие о стиле, например (которое потом мною применялось к другим вещам), я приобретал не по Пушкину и Гоголю, а по Арсению Тарковскому, его поэме “Чудо со щелгом”... Есть ли сейчас книги такого масштаба? У нас большая библиотека, тысяч двадцать томов. Жена всю современную литературу покупает и читает. Но чтобы встретить что-то на уровне открытий или духовной сопряженности с тем, что читаешь, за чем хотелось бы потянуться, такого нет. Последним произведением такого масштаба был роман Л. Леонова “Пирамида”. Может, это я постарел и стал другим. Вполне вероятно. Просто я не задумываюсь над вопросом “почему?”. Но, конечно, хотелось бы видеть людей, которые генерировали бы идеи и были бы бесспорными авторитетами в каких-то вопросах. Хотелось бы знать, что есть люди, готовые отстаивать свои убеждения, грубо говоря, вплоть до плахи, до костра, — из тех, что становятся моральными лидерами. У нас же многие еще находятся в стадии интереса, но никак не убеждения. Отсюда кажущаяся зыбкость вектора общественно-политического развития страны — не развернется ли? Идеи могут стать незыблемыми ценностями как представления о том, без чего жить не можешь, — другого способа в нашем российском контексте я пока не вижу. Вероятно, бывают... Вот у Энгельса написано, что развить теоретическое мышление можно, только изучая историю философии. Он как бы рекомендует, каким образом теоретическое мышление, которое дано каждому из нас в виде способностей, можно актуализировать в виде реальной

возможности: изучай историю философии, то есть знакомься с идеями, сопоставляй... Россия, я считаю, очень способная страна, и я не вижу причин, почему бы наши способности не превратить в возможности.

— *И что впереди? У нас, у страны?*

— Все как у Галича: “Все шло по плану, но немного наспех”.

Очень сложен процесс адаптации к условиям неопределенности. Это самое тяжелое. Неопределенность сводит с ума, что показали еще Достоевский и Кафка. Тут и вопрос о патернализме, и о потребности в “сильной руке”. Глобализация и конкуренция будут заставлять людей как-то привыкать к тому, что вполне реально работать в 3 раза больше и больше зарабатывать. В исторических масштабах такой процесс в России происходит. Думаю, 25–30 процентов людей это уже ощущают. Так что мы довольно быстрыми темпами входим в мировую систему. Вектор развития понятен. Он будет таким, каким его требуют развитие производительных сил, бизнеса, капитала, экспансия этого капитала, которые приносят нововведения. Нововведения — очень важный фактор и в идеологии, для распространения комплекса идей (мы с вами об этом говорили). Тут надо целенаправленно работать.

Вот вы подготовили книгу, но, если посчитаете, что опубликуете ее и на этом все закончили, — нет. На базе этой книги надо организовывать семинары, публикации, выступать по телевидению, по радио. Если сформируется комплекс идей фундаментальной важности (их не может быть много), их надо донести до большего числа людей, чтобы тем самым оказать воздействие на интеллектуальную, духовную среду страны, на формирование этих ценностей как потребностей — потребностей свободы, дискуссии, плюрализма и — на этой основе — счастливой, нормальной жизни.

## Вместо послесловия

*Культур много, а цивилизация — одна.*

Мераб Мамардашвили

“Каждая культура представляет собой остров — да, она имеет сообщение с другими островами, но, в конечном счете, и трагедию, и юмор мы сполна переживаем только в своей родной среде”\*. Эти слова Артура Кёстлера выражают широко распространенное в наши дни убеждение о самобытности культур, их самоценности. Когда национальная культура предстает как некая уже реализованная потенция устоявшихся человеческих способностей и умений, которые воспроизводятся в виде обычаев, привычек, предпочтений, эстетических вкусов, норм поведения и т. д.

Однако не менее очевидно, что в состав *современной* культуры входят при этом и такие изобретенные когда-то человеком области деятельности, как наука, философия, искусство, в которых люди продолжают экспериментировать с *новыми* возможностями собственной реализации. Именно на это обстоятельство я хотел бы обратить внимание читателя этой книги, авторы которой — специалисты различных областей знания — уже заявили о себе в сфере науки, политики, бизнеса, общественной деятельности. В своих интервью они размышляют о новых реальностях России и мира, о потенциале креативности российской культуры.

В чем заключается этот потенциал? В уверенности авторов, что меняться в своих же собственных рамках культура может в той мере, в какой она способна осваивать и сохранять продукты реализации свободных “безразмерных” усилий человека. Иными словами, когда она открыта к присутствующему в ней “фону” деятельного бытия, не являющемуся культурой в строгом смысле слова. Иначе

---

\* Кёстлер А. Автобиография // Иностранная литература. М., 2002. № 8. С. 203.

было бы невозможно объяснить появление других культур и ответить на вопрос: почему культур много, а не одна?

Следовательно, можно сказать так: именно потому, что кроме видимой культуры есть области экспериментирования с возможным образом человека (в религии, искусстве, науке, философии), существует разнообразие культур. Факт их множественности или мультикультурности. Когда культуuroобразующую функцию, например, науки можно понять, лишь понимая скрытые условия производства самого научного знания. В противном случае мы попадаем в неразрешимое противоречие с нашей интуицией, которая подсказывает, что такое понимание явно не зависит от случайности того, что мысль думается в одной какой-либо культуре. Как говорил по этому поводу Людвиг Витгенштейн, мысль — это символический процесс, и совершенно неважно, где он происходит, а мышление — лишь интерпретация схемы\*.

Таков парадокс единства культурного многообразия, с которым мы сегодня сталкиваемся и который наблюдаем — фактически впервые — в эпоху Нового времени. Когда европейские народы выходили за рамки своей предшествующей культуры, и их стремление к свободе выразилось в универсальных принципах экономического либерализма, политической демократии и индивидуализма в личной жизни. И когда в демократии стали видеть не определенное государственное устройство, а процесс *общественного развития*, так как считалось, что ликвидация внешнего принуждения, внешней зависимости является необходимым условием для достижения свободы каждого человека. А с другой стороны, речь шла тогда (в рамках религиозной традиции) о “выработке” адекватных такой свободе чувств, более возвышенных и совершенных, чем наши обычные, природные чувства, что находило свое символическое выражение в искусстве. То есть сама возможность становления личности ставилась при этом в зависимость от того, насколько человек сам мог преодолеть в себе природу, что предполагало, выражаясь языком Евангелия, его “второе рождение”.

---

\* См.: Людвиг Витгенштейн: человек и мыслитель / Пер. с англ. М., 1993. С. 294.

Этот проект создания новой демократической культуры реализуется и в наши дни, расширяя границы новых возможностей человека в условиях глобализирующегося мира, в котором активно развивается процесс либерализации коммуникаций на основе Интернета и других технических средств связи.

В России сегодня, утверждают авторы книги, также существуют все предпосылки для вхождения в этот мир. Однако, чтобы эти предпосылки реализовались, должна измениться власть, отказавшись прежде всего от идеологии государственного патернализма, а народ — согласиться на этот отказ и принять глобальную трансформацию общества, включиться в нее. Возможно ли это? Принимая во внимание, что на практике это означает изменение вековых устоев Российского государства и затрагивает непосредственно интересы его многомиллионной бюрократии. Насколько это осуществимо политически — при отсутствии необходимой культуры? Экономически — при “тощем” государственном бюджете? Психологически — в условиях существующего социального раскола? Идеино, когда отсутствует ясный реформаторский курс? На все эти вопросы пока в стране нет внятного ответа. Но есть другое.

Несмотря на социальный раскол и существующие противоречия, коррупцию, сохраняющуюся ментальность народа, в современной России, считают авторы, есть главное: свобода, складывающаяся многопартийность, развивающийся рынок, плюрализм мнений, то есть принципиальные завоевания последних десятилетий. И если мы как наблюдатели и участники данного процесса знаем об этом, значит, уже что-то понимаем, когда занимаемся политическим просвещением, экономическим и гражданским образованием, формированием общественного мнения, исследованиями, воспитанием подрастающих поколений.

“Культур много, а цивилизация — одна”\*, — мудро заметил Мераб Мамардашвили. Свобода порождает только свободу. И именно поэтому общение, взаимный обмен информацией и контакты между людьми возможны. Все это

---

\* Мамардашвили М. Как я понимаю философию / Сост. и общая редакция Ю.П. Сенокосова. М., 1992. С. 334.

и есть цивилизация, которая “старше нашего государства” (А.Тойнби). Только общаясь, мы начинаем жить в цивилизованном мире. Или, другими словами, в обществе, которое не имеет формальных границ.

Умение практиковать сложность жизни — основное условие развития демократической культуры, когда конкуренция и солидарность не исключают, а взаимно дополняют друг друга, открывая перспективы для более широкого сотрудничества, диалога, проводимых реформ, трансформации и интеграции России в мировое сообщество.

*Ю.П. Сенокосов,*  
директор издательских программ  
Московской школы политических исследований

## Об авторах

**Алхазуров Магомед Исаевич** (р. 1973) — окончил Грозненский нефтяной институт по специальности горный инженер-нефтяник. После учебы в Российской академии государственной службы — менеджер государственного и муниципального управления; в настоящее время — аспирант этой академии. Возглавляет общественные организации “Национальный совет молодежных объединений Кавказа” и “Ассамблея народов Чеченской Республики”.

**Ашкеров Андрей Юрьевич** (р.1975) — окончил философский факультет Московского государственного университета, кандидат политических наук, руководитель образовательной программы “Философия политики и властных отношений” философского факультета МГУ, главный редактор журнала “Платное образование”.

**Васильев Сергей Александрович** (р.1957) — окончил экономический факультет Ленинградского финансово-экономического института, доктор экономических наук, профессор. Член Совета Федерации, председатель Комитета по финансовым рынкам и денежному обращению.

**Гавриленков Евгений Евгеньевич** (р.1955) — окончил факультет прикладной математики Московского авиационного института, кандидат технических наук, профессор. Главный экономист, управляющий директор ИК “Тройка Диалог”, проректор Государственного университета Высшей школы экономики.

**Гордон Александр Гарриевич** (р.1964) — окончил Театральное училище им. Щукина. Занят в сфере театра, кино, телевидения; в 1989–1997 годах работал в США. Одним из



наиболее заметных проектов как телеведущего стала научно-познавательная программа “Гордон”.

**Захаров Сергей Владимирович** (р.1959) — окончил Московский экономико-статистический институт, кандидат экономических наук. Заведующий лабораторией анализа и прогнозирования воспроизводства населения Центра демографии и экологии человека при Институте народнохозяйственного прогнозирования РАН.

**Кравец Сергей Леонидович** (р.1962) — окончил факультет журналистики Московского государственного университета. Руководитель церковно-научного центра “Православная энциклопедия”, ответственный редактор издания “Большая Российская энциклопедия”.

**Кураев Андрей Вячеславович** (р.1963) — окончил философский факультет Московского государственного университета, Московскую духовную семинарию, Бухарестский богословский институт, Московскую духовную академию. Кандидат философских наук, профессор богословия. Дьякон. Преподает на философском факультете МГУ.

**Леденева Алена Валерьевна** (р.1964) — окончила экономический факультет Новосибирского государственного университета, PhD. Научный сотрудник Школы славянских и восточноевропейских исследований Лондонского университета.

**Малева Татьяна Михайловна** (р.1957) — окончила экономический факультет Московского государственного университета, кандидат экономических наук. Директор Независимого института социальной политики.

**Маховская Ольга Ивановна** (р.1963) — окончила психологический факультет Харьковского государственного университета, кандидат психологических наук. Старший научный сотрудник Института психологии РАН.

**Мкртчян Никита Владимирович** (р.1971) — окончил географический факультет Московского государственного педагогического института, кандидат географических наук.

Старший научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместитель главного редактора журнала “Демоскоп Weekly”.

**Недорослев Сергей Георгиевич** (р.1963) — окончил философский факультет Алтайского государственного университета. Председатель совета директоров группы компаний “КАСКОЛ”.

**Ремизов Михаил Витальевич** (р.1978) — окончил философский факультет Московского государственного университета. Директор информационных проектов Института национальной стратегии, главный редактор веб-издания “АПН”.

**Ремчуков Константин Вадимович** (р.1954) — окончил факультет экономики и права Университета дружбы народов, кандидат экономических наук, профессор. Помощник министра экономического развития и торговли.

**Рыжков Владимир Александрович** (р.1966) — окончил исторический факультет Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук. Депутат Государственной думы.

**Согомонов Александр Юрьевич** (р.1959) — окончил историко-филологический факультет Владимирского государственного педагогического института, кандидат исторических наук. Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН.

**Филиппов Александр Фридрихович** (р.1958) — окончил философский факультет Московского государственного университета, доктор социологических наук. Заведующий кафедрой практической философии философского факультета Государственного университета — Высшей школы экономики, руководитель Центра фундаментальной социологии, главный редактор электронного журнала “Социологическое обозрение”.

**Черныш Михаил Федорович** (р.1955) — окончил переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков, кандидат философских наук. Ве-

душий научный сотрудник Института социологии РАН, исполнительный директор научного центра “Социоэкспресс”.

**Шмелев Владимир Алексеевич** (р.1980) — окончил факультет теоретической и прикладной лингвистики Российского государственного гуманитарного университета, аспирант Института русского языка РАН. Депутат Муниципального собрания “Хорошевское” г. Москвы, руководитель общероссийского общественного движения “Первое свободное поколение”, председатель правления партии “Новые правые”.

#### Авторы и исполнители проекта

**Волков Александр Иванович**, доктор исторических наук.

**Пугачева Марина Геннадиевна**, старший научный сотрудник Института социологии РАН.

**Ярмолюк Светлана Федоровна**, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН.

Библиотека Московской школы  
политических исследований

## Ускользящий мир

Корректор Л. *Малова*  
Компьютерная верстка О. *Козак*

Подписано в печать 14.09.2004.

Формат издания 60x90/16. Бумага офсетная. Гарнитура “Таймс”.  
Усл. печ. л. 31,00. Тираж 1000 экз. Заказ № 363.

Московская школа политических исследований  
121854, ГСП-2, Москва, ул. Большая Никитская, 44/2, комн. 22.  
E-mail: [mmps@co.ru](mailto:mmps@co.ru)  
<http://www.mmps.ru>

ЛР № 00972 от 14.02.2000

Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Московская  
типография № 6», 115088, Москва, Южнопортовая ул., 24